

НЕВА



9·2025

Ценим прошлое.
Открываем новое



НЕВА

9
2025

ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 1955 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- Кира ГРОЗНАЯ**
Полночный сумрак патокой разлит. *Стихи* • 3
- Игорь ГЕЛЬБАХ**
Записки с бульвара. *Повесть* • 9
- Игорь ЛАЗУНИН**
Стихи • 82
- Алексей НЕБЫКОВ**
Воден дьявол. Ученая шпана. *Рассказы* • 85
- Игорь МИХАЙЛОВ**
Эшелон. *Рассказ* • 97
- Игорь МАЛЫШЕВ**
Мои девяностые. *Рассказ* • 104
- Дина ДРОНФОРТ**
Когда-нибудь. *Стихи* • 106
- Марк АМУСИН**
Превращения. Иерусалимское превращение.
Петербургское превращение. Венское превращение.
Рассказы • 110
- Алексей МИРОНОВ**
Моя жизнь в искусстве. *Стихи* • 121

ЛЮБИМЫЕ УГОЛКИ РОССИИ

- Александр ГИНЕВСКИЙ**
Соловьиная река. Мефодий.
Последняя рыбалка. *Рассказы* • 127

ВСЕЛЕННАЯ ДЕТСТВА

- Елена РУМАНОВСКАЯ**
Хронологическая пыль. Тетя Лиля и двадцать
первый трамвай. Кинотеатр «Миниатюр». *Рассказы* • 139

АРХИПЕЛАГ БЛАГОРОДСТВА

- Никита НИКОЛАЕНКО**
Городская зарисовка. Рассказ • 152

ПУБЛИЦИСТИКА

- Александр МЕЛИХОВ**
Национализм романтический и геополитический • 156

- Владимир ЧЕРВИНСКИЙ**
Одесская история без хеппи-энда • 161

КРИТИКА И ЭССЕИСТИКА

- Дмитрий АНИКИН**
Анна Ахматова. Памятник самой себе • 199

- Александр МЕЛИХОВ**
Гончаров как зеркало русского консерватизма • 204

ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК

- Территория памяти.** Виктор Никифоров. Высоцкий в Ленинграде, или Причуды памяти. Михаил Хлебников. Иванов и Алданов. **Рецензии.** Владимир Спектор. «Детство не подлежит оценке...» • 209

ПИЛИГРИМ

- Архимандрит Августин (НИКИТИН)**
У берегов Испании. Часть I • 233

Издание журнала осуществляется при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Перепечатка материалов без разрешения редакции «Невы» запрещена. Электронную распечатку рукописей присылать на почтовый адрес журнала (191186, Санкт-Петербург, а/я 9). Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Главный редактор
Александр Мотелевич МЕЛИХОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Игорь Сухих (шеф-редактор гуманитарных проектов). **Ольга Малышкина** (шеф-редактор молодежных проектов). **Наталья Ламонт** (редактор-координатор). **Дмитрий Зенченко** (контент-редактор журнала, редактор интернет-сайта).

Дизайн обложки **А. Панкевича**
Макет **С. Булачевой**
Корректор **Е. Рогозина**
Верстка **Д. Зенченко**

Кира ГРОЗНАЯ

ПОЛНОЧНЫЙ СУМРАК ПАТОКОЙ РАЗЛИТ

* * *

Я бродила по городу с мальчиком сиротливо-нелепым.
Побывали на стареньком кладбище — статуи, склепы,
Забрели в его дикую часть, где болото, шиповника кущи.
Там ты мне погадал — на грязи, будто бы на кофейной гуще,
Предсказал особняк, и розарий, и пару свиней в сарае.
Я тебя попросила убрать свиней из этого рая.
Ты ответил: придется попрыгать на левой ноге,
Прокричав двадцать раз: «Ква-ква!»
Вместо двадцати я квакала тридцать два,
Правда, ногу, устав, сменила
И свиней, к сожалению, не отменила.

А когда на прогулке по крышам у меня голова закружилась, ты
Объяснил, что вот так проявляется страх высоты
И что взрослые потому не летают,
Что им с детства гулять по крышам родители запрещают.
А потом мы летали с качелей: притащив с помойки матрас,
На него пикировали, промахнувшись всего лишь раз.
Разорвали штаны, и колени — вдрызг,
Мамы дома подняли визг.

Мы всегда избегали увесистых тем и фраз,
В основном подшучивали друг над другом, лишь как-то раз
Ты заметил, что люди не умирают, пока не устанут не умирать.
Я тебе показывала свою «особенную» тетрадь.

Кира Грозная — петербургский поэт и прозаик, журналист, редактор. Родилась в 1975 году в Майкопе. Окончила РГПУ им. А. И. Герцена, специальность — «практический психолог». Кандидат психологических наук. Член Союза писателей Санкт-Петербурга, Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Автор шести изданных книг. Стихи и проза публиковались в журналах «Юность», «Дружба народов», «Звезда», «Урал», «Зинзивер» и других, в коллективных сборниках и альманахах. Лауреат литературной премии им. Н. В. Гоголя в номинации «Шинель» (2018) и премии Правительства Санкт-Петербурга в области журналистики в номинации «Лучшие публикации в городских печатных СМИ» (2019). Финалист Всероссийской премии искусств «Созидающий мир» в номинации «Лучшая проза» (2020) и Всероссийской литературной премии им. А. И. Левитова в номинации «Проза. Мастера» (2022). Заняла первое место в номинации «Поэзия» на фестивале авторской песни «Покровский сбор» (2024). Живет в Санкт-Петербурге.

А однажды ты вдруг
На моих глазах провалился в открытый люк.
У тебя были странными все вокруг:
Папа, мама, рыбки и одноглазый кот.
Ты все делал наоборот.

И когда тебя выдуло ветром в форточку и унесло туда,
Где шиповник вяжет рот, как хурма, и река течет в никуда,
Я сначала оцепенела, а потом удивилась,
Потому что время остановилось,
Превратилось из речки — в лужу. Да и я не скажу, что жива:
Не скачу на одной ноге, не кричу: «Ква-ква!»,
Избегаю кладбища, за версту обхожу болота,
И боязнь расшибиться всегда перевешивает восторг полета.

* * *

Золотятся берег, вода, трава,
Корни сосен, сырой песок.
До локтей закатаны рукава,
Солнце жжет сквозь рубашку бок.
И купаться рано — и тянет, все
Сняв с себя, побежать, нырнуть...
В Петербурге лето — короткий сон,
Чаще — морок, туманы, муть.

В сером мареве, облаке мошкары,
Влажной измороси болот
Нашей северной злой и слепой жары
Ожидаем за годом год.
Наконец дождемся, — и тогда,
График, план и дедлайн забыв,
Едем прочь из города, кто куда,
Мы — на Щучье (прости, залив).

Но — взгляни, нахмурился Посейдон,
Поскучнел, обезлюдел плес.
Отбивая свой у Борея зонт,
До парковки бежишь сквозь лес,
И, внезапно урвавший счастливый час,
Испытавший озноб-восторг,
Ощущаешь, как постарел сейчас
Лет на десять, а может, сто.

* * *

Полночный сумрак патокой разлит.
Приходит в ночь игрушечный пиит —
Худ, строен, аккуратна голова.

Бесшумно-деловит, находит дом,
Крадется через двор, как тихий гном,
Бормочет непонятные слова.

Приходит до рассвета, тих и скор,
Прошмыгивает в двери, словно вор,
И до утра, неугомонный бес,
Рисует мне морщины между век,
И пальчики мокры, как талый снег,
И все бормочет, с рифмами и без.

Слова, как рыболовные крючки,
Вонзаются в мой разум, далеки
От бытового, облачно-легки —
О том, что ночь невинна и чиста,
В ней — совершенство белого листа
И вкрадчивость ласкающей руки.

И я, в постельном скорчившись гнезде,
Их слушаю — иначе быть беде:
Вал штормовой накатит, унесет,
А в нем — мои ушедшие друзья,
Любви исход, стареющая я,
Все, от чего поэзия спасет.

И этот мальчик с пальчик — даже он
От ужаса и мрака защищен.
Нелепая субстанция моя,
Нашептывает, в ухо мне бубнит,
Владеет мной игрушечный пиит,
И подчиняюсь я.

* * *

На Щучьем озере всегда закат,
И влажное тепло, и штиль, и стихопад.
Там ненавязчивой тончайшей краской
Подцвечен каждый куст, сбегаящий к воде.
Мы станем вечны в заповедной сказке,
Когда нас не окажется нигде.

Единство душ, посмертное слияние —
Оставим теософскую пургу,
Как ужин, отдадим ее врагу.
Нет для перерождения названия.
Сосной, корягой, уткой, комаром —
Мы будем сразу всем, над всем, во всем.

Одновременно и попеременно,
Вдвоем, с другими вместе и посменно.
Мы будем tête-à-tête, alone и qui pro quo,
Уже не соревнуясь, кто кого,
На Щучьем, в Щучьем, сбоку, под и над,
Где вечный август и всегда закат.

* * *

Уходит лето — Божья благодать.
В подъезде пахнет сыростью опять.
Сны поутру так беспокойно сладки,
Как будто заостряются ростки
Отчаянья, блаженства и тоски.
Болеет поздний август лихорадкой.

Вдруг в одночасье сбросив летний жар,
Он неохотно опускает пар
На двор, окутав вишню паутиной,
Одев тутовник в легкий дымный шелк.
Очередной сентябрь почти пришел,
Быт горожан чуть оживив рутинный.

Спит девочка. В рассветный час всегда
Сны детские прозрачны, как вода
В реке — живой, оттаявшей, весенней.
Бормочет бабушка, крестясь тайком:
«Куда уходит ночь, туда и сон», —
От внучки отгоняя чьи-то тени.

Спит девочка, и снится ей река,
И жизнь, намного меньше городка,
Плывет в лодчонке берегом знакомым,
Минуя склон пологий, лес густой,
Любовь и нежность бабушки простой, —
Вдаль, прочь от детства и родного дома.
Струится сон, течет, течет река
Вдаль, прочь от детства, мимо городка...

* * *

Когда промозглой осени пята
Опустится на землю, пустота
Заполнит пространство, невесома,
И станет изнуряющей истома
И нежно-осторожной, как уста.

Она коснется шеи, губ, души,
И в неглубокой, как сундук, тиши
Слова вдруг зашевелиятся, и валом
На ту, что столько месяцев молчала,
Накатят, заурчат: «Пиши, пиши!»

И встрепенется разум, и опять
Захочется забытую тетрадь
Листать, терзать и прятать под подушку,
Впотьмах записывать, тревожа душу
Отца, который не ложился спать

(Бог знает с кем, Бог знает что за дочь
Болталась... Впрочем, и отцу понятно:
В той пустоте исчезли безвозвратно
Ее коса, зачетка, слезы, ночь.)

Ушел отец. Утеряна тетрадь.
Шумит в висках, но слов не разобрать,
Лишь пустота все вязче и плотнее
Удавкой осень стягивает шею,
Ложится тенью на мою кровать.

Пиши, пиши, — шум в голове утих,
Там в колыбельке спит младенец-стих,
Но чуток слух и разум взбудоражен,
И, словно из артезианских скважин,
Бьют точные слова — я слышу их.

* * *

Сидит мой друг в Париже и брюзжит:
Где бритвенный прибор его лежит,
Что тут за сервис, что за общепит
И почему в мешках все бабы ходят?
Не лечат арманьяк и куантро
Душевных ран, полученных в метро,
Где плавится парижское нутро —
И друг страдает, и меня изводит.

А лишь два дня назад всему был рад!
И вот — ворчит, утяжеляя взгляд,
Что я пишу не то и невпопад,
Что я — дитя антикультуры, что я
Смеяться не умею, говорить,
Глаза не крашу, мать мою едрить,
И даже не пытаюсь угодить
Начальственной мадам, и все такое.

Да, не люблю экскурсии, театр,
Но я ведь так стремилась на Монмартр
И в вуз, где защищался Жан Поль Сартр,
Войти хотела — то не от культуры?
Мечтала в Лувр попасть, увидеть храм —
Готически-суровый Нотр-Дам,
А не косою прищур его мадам,
А он сказал: «Да не о том я, дура».

И мне открылся вдруг Париж иной —
Замусоренный, пасмурный, больной,
И стало ясно нам, какой ценой
За все заплатим при таком раскладе.
И мне открылся по-иному он —
Усталый и поблекший Аполлон.
Клубился восемнадцатый район,
Мы жили не в Париже, а в Багдаде.

Шел мелкий дождь, туманилось стекло,
Мы выпивали, ели устриц зло,
И примириться было запахло:
Моя «культура» — девушка с причудой.
Но наступила ночь — куда идти?
И он пришел, сказал мне: «Прекрати
Французский фарс, нам завтра к девяти», —
И я сказала: «Хорошо, не буду».

Мы не уснули, а под потолком
Сгорала ночь последним мотыльком,
На лампу налетевшим. Старый дом
Шептался, и томился, и плевался.
Был девушки-красавицы портрет
На полке — к ней он ехал тридцать лет,
И близилась заря, и тихий свет
Над Эйфелевой башней разливался.

И в памяти вставали города,
И стало ясно: ехать никуда
Не нужно было нам, но — вот беда,
Все кажется, что счастье — лишь в Париже, —
Не в сумерках за письменным столом
И не в рассвете, встреченном вдвоем
В промозглом Петербурге, и не в том,
Что в нас самих — не дальше и не ближе.

ЗАПИСКИ С БУЛЬВАРА

Повесть

Часть первая

I. МОСКВА

Стояло небывало жаркое лето восемьдесят первого года, конец лета, когда я встретил его в зале музея имени Пушкина на выставке «Москва—Париж. 1900—1930». Рубин застрял у контррельефов Татлина, совершенно сгорбленный. Постукивая палочкой, он брел сквозь толпу к работам Поповой.

— Я знал ее, — сказал Бая, — когда-то она вела у нас живопись, Боже мой.

— А «Черный квадрат»? Вы видели его?

— Разумеется. Он висел в помещении одной писательской организации; нас, студентов, там подкармливали.

— Это был ХЛАМ?

— ХЛАМ был в Харькове. Я был на том заседании в цирке, когда Хлебников стал Председателем Земного Шара. Ему надели на палец железное кольцо... Давайте спустимся отсюда вниз, выкурим по сигарете и поедем... Все умерли, я их почти всех знал.

— Бая, застегните ширинку, — сказал я, когда он отошел от писсуара.

— К черту ширинку, дайте мне лучше сигарету. Что это за сигареты? Болгарские? Турецкие лучше, — он затянулся, присел и замолчал.

— Очень жарко, — сказал он минуту спустя, — где вы теперь живете?

— В мастерской у Ламма.

— Ну и что, это интересно?

— Жить в мастерской?

— То, что он делает?

— По-моему, да. Хотите посмотреть?

Пепел падает ему на брюки. Он докуривает сигарету, обжигая кончики пальцев. «Мы едем к вам, — говорит он, — немедленно, у меня есть идея. Вам надо написать роман...»

И я умудрился ввязаться с ним в спор, — стоит ли это делать вообще... Позиция его была довольно последовательной.

Игорь Гельбах родился в 1943 году, окончил физфак Тбилисского государственного университета. Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Автор нескольких книг прозы, его произведения переводились на английский и грузинский языки. Участвовал в международных писательских фестивалях. Печатался в журналах и газетах России, Грузии, Италии, США, Австралии, Израиля. Повесть «Играющий на флейте» номинирована на Букеровскую премию в 1994 году, роман «Утерянный Блюм» вошел в шорт-лист Премии Андрея Белого в 2004 году. Лауреат премии им. М. Алданова 2013 года и премии Ю. Штерна 2018 года.

— Я смотрю на историю как на своего рода театр, — говорил он, — некоторые роли и реплики можно поручать личностям только гениальным... — тут он засмеялся и закашлял.

Мы ехали в метро, и ему приходилось напрягать голос. Вагоны грохотали. Рубин плел нескончаемую паутину рассуждений, вспыхивали и гасли станции за стеклом... Наконец мы домчались до «Кировской», я хотел поддержать его, но он выскочил из вагона сам. Мне запомнились его веки — почти белые, в розовых прожилках, веки без ресниц. Он очень внимательно на меня смотрел.

— ...Но весь фокус в том, что открой это кто-нибудь иной, это стало бы истиной общепринятой, своего рода дежурным блюдом в ресторане..., а это был тот выход в спектакле, который переворачивает все вверх дном... Вы знаете, какие выходы ставил Мейерхольд для Зиновки Райх! А ведь она была бездарна... Ну а здесь, вы понимаете разницу?

— По-вашему, все это спектакль, — спросил я. — Кто ж его поставил?

— А кто вам мешает посмотреть на всю эту историю с такой стороны? — ответил он вопросом. И закончил: — Мир нуждается в чудесах и магии.

— Бая, — сказал я, — мне кажется, все это бесконечно далеко от сути дела...

— Вы ее знаете? — спросил он, усаживаясь на скамейку, — расскажите, я послушаю.

В тот раз он так и не убедил меня, но кое-что от этой беседы осталось. Встречая меня, он спрашивал:

— Ну как? Вы еще не оценили того, что я вам предложил? Зря, — говорил он, — бросьте писать никому не нужные вещи. У вас есть шанс, попробуйте. Это именно то, что будет интересно всем. Это будут читать и перечитывать.

— «На какую жизнь замахнулись?» А? Помните?

— Вы сами наделали массу глупостей, — сказал Бая, — подумайте наконец серьезно о романе...

Вот так, без околичностей, Рубин предлагал мне написать роман о «познании мира» — именно так он и выразился, и, естественно, в число действующих лиц должно было войти какое-то количество исторических персонажей, — те реплики Рубина, что приведены были выше, относились к Альберту Эйнштейну.

— Мы живем в том мире, что они проектировали, но не домыслили, — сказал Рубин однажды.

— Это напоминает Гёте, — попробовал отшутиться я.

— То была великая эпоха, — сказал он, — люди разбивались в кровь, они хотели переделать мир... Кстати, — остановился он, — вы когда-нибудь задумывались о своей жизни, вам никогда не хотелось предпринять что-нибудь этакое?

— Что вы имеете в виду? — с Баяй я предпочитал вести диалог в прохладной манере, это его раззадоривало.

— У вас приличное образование, — сказал он, — в сути этих проблем вы можете разобрататься вполне профессионально, отчего бы вам не рискнуть и не написать роман?

— Ну, хорошо, допустим, я это сделаю, — сказал я, — что из того... «Что он Гекубе?» И зачем он вам?

Бая остановился, в аллеях уже темнело, в витринах магазинов и окнах зажигались огни; кроны лип отдавали набранное за день тепло. Хотелось курить и пить свежее пиво.

— Дайте мне сигарету, — мы уселись на чуть влажную от водяной пыли скамью, и он продолжил: — Я щедр и великодушен...

— В самом деле?

— Ну, во всяком случае, по отношению к своим ученикам...

II

Сама идея написания романа казалась мне не такой уж плохой, но обстоятельства в то лето казались совсем неподходящими для такого занятия; я подрабатывал чтением лекций от общества «Знание», а с начала лета у меня появились ученики, которых я готовил к вступительным экзаменам в московские вузы.

Абитуриенты являлись ко мне в мастерскую по утрам, следующие несколько часов мы занимались, а затем наступало время второго завтрака с хозяином мастерской, который к этому времени являлся поработать, — он писал огромные холсты-штудии, трактовавшие новооткрытую им систему перспективы. Работал он медленно, очень тщательно, но результат того стоил, работы и впрямь были хороши: зависшие в пространстве объемы, казалось, двигались и жили — сложный эффект, частично обязанный своим происхождением иллюзии, порожденной инерцией зрительного восприятия, воспитанного в системе Леонардовой перспективы.

Итак, мы пили кофе, толковали о проективной геометрии, о житье-бытье, а потом я уходил: я знал, что он любит работать без посторонних.

По вечерам я пытался делать кое-какие наброски или встречался с одной моей знакомой. Нельзя сказать, чтобы все это было как-то особенно увлекательно или интересно, скорее, достаточно предсказуемо и лишено даже грана прелести или шарма, но после всех проблем прошедшей зимы мне и не хотелось каких-нибудь новых коллизий; скорее всего, я медленно приходил в себя после отъезда из Питера. Никаких великих планов у меня не было, я полагал, что надо постепенно становиться на другие рельсы, и надеялся, что в конце концов смогу зарабатывать деньги трудом на литературной ниве. К ноябрю, когда я перебрался из мастерской Ламма в квартиру на двенадцатом этаже дома в Чертаново, я уже вполне привык к своей новой жизни. Хозяева квартиры уехали на пару лет за границу, плата была относительно невысокой, и это меня устраивало.

Тогда же, в поисках литературных заработков и возможностей публикаций, я натолкнулся на журнал «Наука и нравственность». Редакция располагалась на шестом этаже обычного жилого дома, занимая несколько объединенных и перепланированных квартир. С редактором одного из отделов я обычно встречался в вестибюле, где мы курили и беседовали, сидя на старом кожаном диване.

Это был терпеливый, интеллигентный человек, и мы вместе подыскивали тему для очередной моей публикации. Своих идей по поводу нравственности у меня не было. В конце концов мы дошли до проблемы самоубийства, или «суицида», — как он это называл, пользуясь термином из судебной медицины. В то время в Москве уже был создан центр по проблемам суицидологии, выпускались отдельным сборником работы по этой тематике, и при одной из больниц был организован клинический центр по предупреждению суицида и реабилитации.

Идея состояла в написании обширного репортажа, вернее, статьи о работе этого центра. Мы обсудили общий план работы, я получил телефоны сотрудников центра, право ссылаться на редакцию в процессе сбора материалов и вскоре начал медленно обрывать наблюдениями, выписками и краткими конспектами бесед с сотрудниками центра и его пациентами. Помимо этого, я внимательно читал работы, помещенные в сборниках, знакомящих с опытом и проблемами отечественной и зарубежной суицидологии. Но через месяц ситуация изменилась, и сегодня, мысленно возвращаясь

к обстоятельствам той зимы, я вспоминаю, что именно с той поры я и потерял всякое желание писать обещанную статью.

Ездил я в клинический центр не один раз, но встречался не более чем с затертыми или изрядно знакомыми историями, — может быть, это и звучит цинично, но дело обстояло именно так. Студентка, участвовавшая в спектаклях народного театра, и ее любовь к молодому режиссеру, перешедшая в банальную связь... Измученный суточными дежурствами и домашними неурядицами инженер-электрик, несколько несостоявшихся гениев, одинокие пожилые люди и тому подобное... Все это было печально и вызвало к сочувствию; врачи выглядели утомленными и нервными, времени на длительные собеседования у них не было, — то была обычная работа, а руководителем центра была женщина властная и энергичная, с кавказскими чеканными чертами лица и избытком авторитарности в руководстве, в прошлом, как говорили, любовница Берии... при ней все вытягивались...

Однажды меня пригласили на концерт, в холле клиники. В назначенный час я занял свое место с врачом группы; эта седая дама вела с больными курс аутотренинга и весьма подробно объяснила мне в свое время содержание *«принципа относительной лишенности»*. Начался концерт, выздоравливающие пели — увлеченно, но непрофессионально. Моя соседка слушала их с энтузиазмом, а меня интересовало: как совместить чрезвычайную деликатность ситуации с энтузиазмом по поводу фальшивых рулад? Во всяком случае, тогда это меня резануло. Вскоре я извинился, сослался на дела и ушел.

В тот же день я отправился в мастерскую к Ламму. Мы выпили, после чего я позвонил своей приятельнице, но на работе ее не было, дома ее тоже не оказалось, и мы за сиделись в мастерской допоздна, хотя первоначально я собирался помочь ему в сколачивании ящика для картин — вскоре он должен был, вернее, собирался уехать в Штаты. Я совсем позабыл о концерте, меня больше занимал вопрос о том, каким образом мы упакуем в стандартные трехмерные ящики живописные пространства, заполненные летящими сферами и тороидами. Потом мы разъехались восвояси. Вернее, мы прошлись до метро по чистому снегу — давно уже была зима, — нырнули в метро и, проехав до центра, разошлись на разные радиальные.

На следующее утро я никуда не спешил, можно было выспаться, потом я принялся решать какие-то хозяйственные проблемы, минимальные, но они отвлекали, а днем, когда в квартире было очень светло, решил что-нибудь почитать. Проглядывая одну книжку, я обнаружил в ней слова немецкого теолога Карла Ранера о том, что *«предвосхищение простого и чистого бытия в его безграничности является частью фундаментальной конституции человеческого существования»*, — и слова эти напомнили мне о человеке, который умер, упав на заснеженную землю с четвертого этажа... Я встречал почти всех участников тех событий, что завершились падением знакомого мне человека с четвертого этажа, и в свое время полагая, что я могу внести в трактовку этой истории излишне субъективный момент, связанный с ощущением погруженности в огромное заснеженное пространство; решил позволить истории отстояться... Но в тот выходной мысль Ранера, выраженная, правда, тяжело и коряво, произвела на меня впечатление. «Черт побери, я был на верном пути», — подумал я.

Я глядел с двенадцатого этажа вниз, на снег, на голые деревья, на медленно ехавший в горку по обледенелой дороге автобус и представлял предельно ясно, вплоть до иллюзии осязания ладонью и замерзшими пальцами кирпичного бордюра стены, до страха из-за скольжения подошвы о край цоколя, по которому он пытался переи-

ти с балкона к открытой лестничной площадке, и, наконец, до физически поднимавшего диафрагму ощущения падения вниз, к снегу... Последующее зрелище я со временем научился вытеснять «Черным квадратом», но забыть, что под ним разбитый затылок и кровь, мне не удавалось... Вскоре у меня оказалось несколько фотографий этого мелком знакомого мне человека, и разглядывание фотографий наводило на мысль о черных, щелкающих шторках-гильотинах в отверстии диафрагмы, о черном квадрате на снегу, о снеге...

Итак, я решил написать нечто вроде повести и начал медленно прикидывать, как мне это сделать. Кроме того, я продолжал свою репетиторскую деятельность, теперь ученики приходили ко мне во второй половине дня, с утра же я составлял планы и делал наброски, а иногда и просто валялся с сигаретой в зубах. Все шло медленно, слова никак не шли на ум, более того, помянутый уже визуальный ряд никак не отступал, свет лез в глаза, потом напозлали черные пятна, внутренности каких-то механизмов, различных конструкций, черные шторы фотозатворов, деревянный черный же остов башни Татлина; все это странно спутывалось, цеплялось друг за друга, но словесный ряд за всем этим никак не возникал, лишь однажды, проходя по Пушкинской улице, услышал я словно бы фразу: «Князь, князь, поспедай на казнь», — прошелестело где-то и исчезло; и безъязыкость эта, немота, меня мучила, я никак не мог избавиться от ощущения подъема диафрагмы от падения вниз, от осзания кирпичной кладки стены... они преследовали меня, я разглядывал балконы, останавливался на улицах, задираю голову, а слова все не шли... Безъязыкость эта преследовала меня во всем, решительно что-то во мне было заторможено, многое меня раздражало, и постепенно я стал задумываться: не чересчур ли упрощенные отношения с моей приятельницей одарили меня невольной немотой? Потом я стал замечать, что часто сижу с сигаретой в зубах, тупо уставившись на снег и ожидая, узнаваемые положения дыхания, света и черноты не посетят меня, пока не обмерзнут пальцы и в висках не заломит от холода...

Со временем припомнил я старое: нет ничего сложнее, чем писать то, что хорошо, до деталей, знаешь: словно теряешь инстинкт, ведущий тебя к цели, и топчешься, как собака на снегу, испещренном чужими следами, в недоумении и немоте. Не раз я видел таких собак на Страстном бульваре — потоптавшись, они, лая, мчались на чистый снег...

III

Спустя пару месяцев я снова решил отложить осуществление этого замысла, последовать совету Рубина и свернуть в сторону, углубиться в иные края и события, да хотя бы и в историю науки начала века, — естественно, уже дежурно-знакомую мне; в свое время я ознакомился с ней, как с ледяной дорожкой, изъезженной до мутного стеклянного блеска. А с черным квадратом на снегу, с историей четвертого этажа мне следовало попрощаться. «Это все снег», — убеждал я себя; странно было, отчего мне все виделось черно-белым, мысли мои возвращались к старым, давно виденным фильмам; раз я даже съездил в Коломенское поглядеть на снег и собор Вознесения — внизу, за застывшим в пируэте собором, лежала замерзшая река с пробитой посреди льда прорубью...

В ту зиму снег одарил меня немотой, и дальше набросков, заметок и планов дело решительно не шло, дыхание не открывалось, выкладывались на бумаге лишь черные буквы, выстукиваемые машинкой; живые письма диалогов, цезуры и паузы,

ритмические повторы не рождались; бумага медленно заполнялась строчками в затылок строившихся букв — все было мертво на снежной пустыне листа, заправленного в каретку пишущей машинки. Книги и те не читались, утомляли. Тогда я тянулся к черной трубке телефона, и она глотала и выплескивала мои и чужие слова, — я звонил знакомым, договаривался с приятельницей о встречах; в ту зиму мы часто ходили в театр, это вносило разнообразие.

Обычно по понедельникам мне не сразу хотелось ехать к себе, в другой конец города, и я заезжал в мастерскую к Ламму, приготовления к отъезду которого шли во все возрастающем темпе; он уезжал, как говорил мне, ради своей живописи. «Хуже всего для картины, — говорил он, — жизнь в запаснике, в ожидании когда-нибудь в будущем возникшей выставки», — и тут мы снова возвращались к «Черному квадрату», башне Татлина и Филонову, но, собственно, дело не в этом, в ту пору «черный квадрат» уже отходил от меня, дни удлинялись, и вместе с землей я постепенно сворачивал...

Однажды, сняв трубку с захлебывающегося звонками телефонного аппарата, я услышал голос Рубина,

— Куда вы исчезли? — спросил он немедленно. — Я вам вызванивал весь конец недели.

— Я был за городом, на даче, — сказал я.

— Ну что ж, неплохо. Что вы надумали?

— Это сложный вопрос, Бая, — попытался уклониться я.

— Мне надо с вами встретиться, — сказал он, — вы можете подъехать к зданию ВТО? Это на улице Горького...

— Часов в шесть, — сказал я, — не раньше.

— Не опаздывайте, я буду ждать вас у входа. Мы поднимемся наверх и выпьем кофе.

Ему просто не с кем поболтать, подумал я. Надо будет его с кем-нибудь познакомиться. Бая обожает экзотические встречи. Однако все обстояло несколько иначе.

— Я ездил в Сухум, — сказал он, — я недавно вернулся.

— Ну и как там?

— Там солнце — солнце и набережная. Хачапури, кофе. Масса публики. Очень милые люди. Меня всюду прекрасно принимали. В аптеке ко мне отнеслись просто потрясающе. Я накопил целую кучу лекарств. В Москве их не достать. Теперь я здоров как бык. Дайте мне сигарету.

Я протянул ему пачку. Он курил не переставая.

— Кстати, я встретил Штейна, — и он посмотрел на меня, выжидая.

Я промолчал.

— ...И он рассказал мне любопытную вещь. После войны библиотека института имени Кайзера Вильгельма попала в Сухум. Туда же привезли кое-кого из бывших сотрудников института. Они работали. Им дали прекрасные квартиры. Большинство не так давно уехало в Германию. Кое-кто остался.

— Очень интересно, — сказал я.

— Эйнштейн был первым директором этого института. А эти люди были его сотрудниками когда-то. Представьте себе: если бы все было немного иначе, Эйнштейн попал бы в Сухум. Он ведь прожил всю Первую мировую в Берлине, могло быть и такое. Куча журналов в библиотеке с его пометками... Ну как, это интересно?

— Это интересно. А что вы там делали? Ставили спектакль?

— Я ставил там Лопе де Вега, но это было давно. У меня там были дела.

— Может быть, выпьем еще кофе? — предложил я.

— Там есть бутерброды?

— Какие вам?

— Один с сыром. И дайте мне еще сигарету.

Я направился к стойке за кофе и бутербродами. Стоя в очереди, я глядел на Баю. Он сидел, недвижимый, как сфинкс, с сигаретой в зубах. Кепка лежала рядом на стуле, подбородок он упер в набалдашник трости. Рабочий день закончился, кафе постепенно наполнялось, кое-кто здоровался с Баем. Из бара доносились звуки музыки. Бая отвечал легкими кивками. Один раз он привстал и поцеловал руку даме. Получалось это у него элегантно. В том был аромат времен, когда руки целовали всерьез.

Я вернулся к столику, и он вновь обратился к занимавшему его вопросу.

— Вы представляете, он мог попасть в Сухум. Работать в институте, гулять по набережной. Как вы думаете, быстро бы он выучился говорить по-русски?

— Давайте прикинем, — сказал я. — В сорок пятом году ему было шестьдесят четыре. Пожалуй, трудно выучить новый язык в таком возрасте. К тому же он был бы уже на пенсии, — я намеренно говорил глупости.

— Бросьте нести чепуху, — немедленно отпарировал Бая, — такие люди не уходят сами, их выносят. В конце концов, он мог попасть сюда и в тридцать третьем. И что тогда? Кто бы написал письмо Рузвельту?

— Это называется методом неоправданных экстраполяций.

— Чепуха, — ответил он, — кто мог бы подумать, что такое произойдет с Мейерхольдом? И что я, один из его оставшихся в живых учеников, буду писать о нем, добиваясь его реабилитации? Вы совершенно несерьезны, вам не хватает фантазии. Эйнштейн мог попасть в Сухум. Вот почему он заблуждался? Почему тридцать лет проработал впустую? Вы слышали об этом? Этого я понять не могу...

— Как-то раз он сказал, что заслужил право улыбаться.

— Почему, — спросил Бая, — какой смысл в ошибках?

— Вы меняете акцент, — заметил я, но ответа на его вопрос я не знал.

— Кстати, — сказал он вдруг вне всякой связи с предыдущим, — вы знаете, что Геля умерла?

— Когда? — вырвалось у меня.

— Пока я ездил в Сухум. Ей стало плохо, она вызвала своих родственников. Мне они сообщили, когда все уже было кончено. Они настояли, чтобы я не приезжал на похороны. Боялись получить еще один труп. На улицах очень скользко. Переломы и все такое. Кого-то убило сосулькой. Я подумал и решил, что в этом есть резон. Теперь ее нет. Я думаю переехать в Москву. Здесь у меня родственники, кое-какие друзья. В конце концов, я провел здесь свою молодость. — «Боже мой, когда это было...» — пронеслось у меня. — К тому же здесь интересней, — закончил он, по-видимому ожидая моего ответа.

— Да, здесь, пожалуй, интереснее, — сказал я и поспешил выразить свои соболезнования. Он выслушал, сухо кивнул, и я понял, что он не желает возвращаться к этой теме. В тот момент мне показалось, что я уловил важную его черту: настоящее всегда служило для него лишь отправной точкой, эмоции его вспыхивали лишь при обращении к будущему или прошлому. Странный тип сознания, тяготевшего к ratio.

Сам по себе поразивший некоторых его знакомых факт, что он не приехал на похороны жены, меня не очень взволновал; в свое время Алена рассказывала мне, что уехала отдыхать в то лето, когда ее мать умирала: «Но ведь я ничем не могла ей помочь, ты понимаешь?»

Тогда мы встретились после очередного разрыва, была осень, я не видел ее с весны, и вся эта история со смертью ее матери проскользнула мимо моего сознания; вооб-

ще, я тогда несколько отгораживался от ее прошлого. «Ну что об этом рассказывать, — говорила она, — в той моей жизни не было ничего интересного...»

Между тем к нам подседа — Боже, как тесен порой бывает мир — моя питерская знакомая Лена Смоленская, с юности ринувшаяся в мир кулис. В прошлом она была студенткой Рубина, именно он обнаружил ее сценическое дарование, попав на чашку чая в дом, где она росла, — его пригласил брат Лены, вторая скрипка в оркестре Мравинского. Брат был невысок, черноволос, пряди ниспадали на выпуклый лоб и лепные скулы, делая его чем-то похожим на льва, когда же он облачался в концертный фрак, сходство достигало неоспоримой степени. Что-то подобное было присуще и Лене, только она напоминала диковатую кошку с крупными, чуть заостренными зубами и ломаной, стремительной линией фигуры.

Знакомство наше завязалось в ту пору, когда я по предложению Рубина написал свою первую пьесу. Когда начались репетиции, Лена стала появляться у нас, странным для меня образом сблизилась с Аленой, — быть может, тут сыграло роль и сходство имен, — они подолгу сидели на кухне за кофе, мы были в курсе всех ее страстей, тревог и неурядиц. Позднее Лена скоропалительно вышла замуж, через год муж исчез, и мы о нем никогда уже не спрашивали, а вскоре и ее потеряли из виду: она переехала в областной театр и редко появлялась в Ленинграде.

Оказалось, что она прибыла в Москву несколько дней назад и остановилась где-то у знакомых, у нее были планы относительно новой, недавно возникшей студии, куда ее как будто приглашали, и к концу вечера она спросила, нельзя ли какое-то время пожить у меня, — и, право, она смеялась, спрашивая; ситуация повторялась: пару лет назад я встретил ее на спектакле в БДТ, и она спросила, можно ли у нас переночевать. Алена тогда уехала в областной архив, я повез Лену к нам, мы засиделись, а под утро оказались в одной постели. С тех пор мы больше не виделись.

— Ты не жалеешь о том, что уехал? — спросила она по дороге.

— А о чем жалеть? — ответил я. — Хорошо, что детей у нас не было.

— Она и не хотела их иметь, во всяком случае, с тобой, она всегда так говорила, — глаза Лены превратились в темно-зеленые, это было заметно даже в тусклом свете позднего вагона метро.

— Хватит об этом, все похоронено и забыто, — сказал я.

Но она не согласилась.

— Неправда, ты к ней еще вернешься, тебе просто необходимо, чтобы тебя кто-то изводил...

— Постараюсь не возвращаться, даю тебе слово, — ответил я.

Она засмеялась,

— Ты ведь не думаешь, что я покушаюсь на твою свободу?

— Это из какой пьесы? — спросил я.

Нам обоим было легко и весело; на мгновение забытое ощущение, что вот к такой-то простоте и легкости надо стремиться, вновь посетило меня — почему-то в странном соседстве с наблюдением, что Лена годами ходит все в том же зеленом, с темным мехом пальто и вязаной шерстяной шапочке... Когда мы вышли из метро, она подняла воротник, было холодно. Вскоре подъехал автобус, и мы поехали ко мне, на двенадцатый этаж.

— Я голодна, — сказала она по дороге, и в это мгновение сходство с дикой кошкой достигло очевидного, превращаясь в тождество.

— Ужин при свечах, — пробормотала она, входя в подъезд.

«Она никогда не бросит театр», — подумал я. «Могучей страстью очарован, вотще я рвался...» Лифт остановился, мы вошли в квартиру. В комнате она огляделась, вперила взгляд в лист, запроваленный в пишущую машинку, и спросила.

— Что пишешь?

— Да я и сам толком понять не могу, — сказал я и понял, что честно ответил на заданный вопрос.

IV

Между тем материал к ненаписанной повести о «черном квадрате», или о четвертом этаже, или о снеге — неважно, как все это называть, я стараюсь припомнить лишь преследовавший меня визуальный ряд, — казалось, теснил и обступал меня, так, что порой я спрашивал себя: ну а скажи, ты в самом деле хочешь это писать? Или ты хочешь отринуть это от себя, но у тебя не получается? И что в этом тебя притягивает? И не отождествляешь ли ты себя с мертвым человеком? И чего ты, в сущности, хочешь?.. Но потом голоса эти замирали, и я понимал, что по-прежнему бреду по кругу...

В ту пору я время от времени встречал вдову покойного. В первый раз это случилось на проводах одной знакомой семьи: муж и жена занимались архитектурой и собирались в конце концов обосноваться в Канаде или США, — и вскоре уловил знакомые, исходившие от нее нервические токи, напомнившие мне о временах Алены. Естественно, все было несколько иначе: классическая, присущая Питеру неврастения с ностальгическими обертонами отсутствовала, и внешне все было подернуто флером столичной респектабельности. Более того, говоря о нервических токах и атмосфере — но вспомнив об Алене, следует отметить, что все это, пожалуй, было тоньше, интеллигентнее, что ли, и все же присутствовала и здесь какая-то темная, исходная непрозрачность, нечто от смутной, не осознающей себя природы, тоски унылых, однообразных пространств.

Это увлекало и неясной угрозой, ощущением того, что за мной наблюдают, оценивают, — все это как будто обещало посвящение; речь велась не прямо, а смутными, неясными намеками — о бумагах с заметками и набросками покойного, — вслед за отцом он занимался историей литературы, но подчеркивалось, что его смерть встроена в известный ряд последовательных суждений: «Ворон — птица, человек — смертен, Россия — наша родина...»

И можно ли, думал я, разобраться до конца во всей этой истории? И насколько широки возможности ее интерпретации? И какую из этих возможностей следовало выбрать? И не порочный ли это круг, еще один омут, которого следовало бы избежать?

Спустя неделю я снова оказался в мастерской у Ламма, — все уже было обмерено, рассчитано, сфотографировано; ящики стояли, готовые к предстоящей погрузке картин, лишь смотровая комиссия никак не появлялась. Мы прождали ее пару часов, затем телефонный голос сообщил, что комиссия придет завтра утром, и мы уехали к художнику домой, — там ему предстояло разложить по папкам свои графические работы и проверить их на соответствие отпечатанным спискам, после посещения мастерской комиссия должна была побывать у него на квартире.

Дома жена показала ему открытку: он должен был явиться в правление Союза художников для получения ордера на новую мастерскую. Как видно, механизмы действовали несогласованно. Это было смешно, но и грустно. «Сколько же лет прошло?..» — пробормотал он, и я попробовал поговорить с ним еще раз: «Ну зачем ты это делаешь? —

говорил я. — Едешь на край света, а здесь остается все твое прошлое, какие-то истоки, корни... — я говорил все, что говорят в подобных случаях. — Тебе пятьдесят четыре года, у тебя остаются здесь дети...» — «Они уже взрослые», — оборвал он меня. «Какие-то работы, определенное положение...»

— Я знаю, все это знаю, — сказал он, — но я не хочу мирно полусуществовать в ожидании старости, поддерживать связи ради заказов; стареть, быть полупризнанным, прислушиваться к мышинной возне сотоварищей... нет, ты понимаешь, — он повысил голос (отец его был глуховат, и я опасался, что к старости его ожидает нечто подобное), — я хочу попробовать все сначала! Понимаешь? Я должен попробовать все сначала, пусть мне будет худо, пускай, но я попробую. А здесь я знаю все наперед, знаю, как таблицу умножения, — ты же знаешь таблицу умножения, так? Она-то ведь не меняется? Вот так оно все и будет. Ты молод и пока воспринимаешь это просто, а для меня дни идут быстрей...

Тут я понял, что мне его не переубедить.

— Да, жаль и очень тяжело оставлять все это, — сказал он и неопределенно широко взмахнул рукой, — но я уже решил окончательно.

Следовательно, это был конец, и тут ничего нельзя было изменить. Он вновь заговорил о судьбе своих картин, ящики стояли в ожидании, томимые собственной пустотой.

А между тем Рубин преследовал меня. Во всяком случае, я хочу записать непреложные факты, но что касается отрывка, связанного с высказыванием Ранера и ненаписанной повестью, то здесь я, пожалуй, излагаю лишь общее воспоминание-впечатление, не больше. Черновики и планов, так же как и других записок этого периода, у меня нет, они не сохранились. И еще меня преследовал снег. Рубин появлялся в самых неожиданных местах, я наткался на него там, где, казалось, его совсем не может быть, и стоило нам остановиться, как он заводил разговор о романе. Что касается снега — он лежал повсюду; зима была снежной и холодной, по ночам, возвращаясь домой, я промерзал до онемения, — хорошо помню темные ночные ледяные дорожки на пустых вымерзших улицах. Я жил в Чертанове, на одной из московских окраин, и, выйдя из метро, шел к автобусу; по опыту ночного времени садился в любой, все они шли в одну сторону, только потом приходилось идти по ночному снежному полю между сугробами. Промерзший, влетал я в подъезд, поднимался на двенадцатый этаж, раздевался и, глядя на стол с бумагами и машинкой, давал себе слово по возможности не выходить больше из дому. Но всегда находились какие-то дела, да и снег, и эти ночные возвращения втайне манили меня...

В конце концов я понял, что повесть эту мне никак не написать, я слишком хорошо, как мне тогда казалось, знал материал; все тонуло в массе обычных московских несущественных подробностей. Тогда-то именно я и выстроил для себя ассоциативный ряд с черным квадратом, шторками диафрагм и черным пятном на снегу. Идея Рубина стала казаться мне выходом из ситуации. В марте на снегу обозначились голубые тени, обнаружили проталины и черные потеки; вечера были чудесные. Однажды я поймал себя на том, что напеваю, вдыхая весенний уже воздух. А в конце месяца я уехал в Ленинград: дом наш на Некрасова поставили на капитальный ремонт, и мне нужно было перепрописаться в предоставленную в маневренном фонде комнату.

V

Вернулся я в Москву в начале апреля. Бесконечный снег все еще лежал под солнцем на окраинах, в центре он начал таять; свет ослеплял — в отличие от Ленинграда, где было еще темновато и багрово даже в самый разгар дня. Из университетских знако-

мых я повидался только с Л. Э. Боже, он был уже совсем стар и рассказал о Рубине и его идеях. Я знал, что они когда-то были довольно близки. Более того, в начале тридцатых годов Л. Э. неоднократно встречался с Эренфестом...

Но тут я забежал немного вперед... Об Эренфесте мы заговорили не случайно. Сначала Л. Э. долго расспрашивал меня по поводу теории суицида, расспрашивал, как всегда, тщательно и дотошно, а я подумал: вот ведь, возвращаются старые времена, и все это никак и никогда не одолеть... Потом мы заговорили о статистике суицида: девяносто девять процентов попыток суицида, по данным клинического отделения, где я бывал, указывали на любовь и семейные проблемы как основные причины... И вот здесь мой собеседник вспомнил об Эренфесте...

Порывшись в книгах, он нашел то, что искал, — статью Эйнштейна, посвященную памяти ушедшего друга. Написана статья в 1934 году, и начинается она с того, что автор отмечает «уже никого не удивляющую» частоту самоубийств среди талантливых и неординарных людей как характерную черту переживаемого смутного времени. Кратко описав происхождение Эренфеста и историю их знакомства, Эйнштейн набрасывает психологический портрет своего коллеги. Касаясь последнего периода жизни Эренфеста, Эйнштейн упоминает и некую отчужденность, возникшую между Паулем и его женой, Татьяной Афанасьевой-Эренфест.

— Можно предположить, — осторожно сказал Л. Э., — что конфликт этот хотя бы частично связан был с идеей переезда в Россию, которая долгие годы волновала Эренфеста.

Вот слова самого Эйнштейна:

«На самом деле он был несчастнее всех бывших мне близкими людей. Причина состояла в том, что он не чувствовал себя на уровне той высокой задачи, которую должен был выполнить... Его постоянно терзало объективно необоснованное чувство несовершенства, часто лишавшее его душевного покоя, столь необходимого для того, чтобы вести исследования. Он... вынужден был искать утешения в развлечениях. Частые бесцельные путешествия, увлечение радио и многие другие черты его тревожной жизни происходили не от потребности покоя или безвредных маний, а, скорее, от странной и настойчивой потребности к бегству, вызванной психическим конфликтом, о котором мы говорили.»

Эта беседа с Л. Э. и соображения о том, что где-то рядом с биографией Альберта Эйнштейна лежит подобный драматический материал, меня вдохновили, во всяком случае, я подумал, что ситуация с романом, как его представлял Рубин, может быть, и не столь безнадежна. По возвращении в Москву я занялся подбором материалов. Кроме того, я надеялся, что сумею найти кого-нибудь из людей, встречавшихся с Эйнштейном, но этого не случилось. Впрочем, меня это не пугало.

А вскоре у меня на двенадцатом этаже появился Рубин.

— Тяжело было до вас добраться, но, как видите, я здесь, — сказал он, едва я закрыл за ним дверь.

Теперь попытаюсь описать нашу беседу. Иероглиф, или видеограмма Рубина, ударение на первом слоге, — старый, с зазубринами топор-колун. Ему около восьмидесяти лет, он прожил длинную и запутанную жизнь и в последние годы увлекся изучением Природы, — да, именно так, с большой буквы, как во времена Ньютона и старой философии. У него на руке и в карманах несколько часов. «Порядочный человек, — говорит он, — должен иметь несколько часов, часы должны отдыхать время от времени. А где ваши часы?»

Я показываю ему свои часы.

— Почему они не идут? — спрашивает он.

— Упали на пол. Их надо нести в ремонт.

— А где другие?

— Других у меня нет.

— Вам обязательно нужны вторые, — говорит он. — Эти часы неплохие, но вторые нужны. Видите, сейчас вы сидите вне Времени.

— Вот, — указываю я на часы с боем, висящие на стене. — Вот что меня спасает, это — и еще земной шар.

— Земной шар? — он вскидывается.

— Когда вы покупаете в магазине часы с маятником, в придачу вам дается земной шар, — говорю я, — это чужая мысль, но верная.

Он задумывается лишь на секунду.

— Тяготение, — говорит он. — Без него маятник не маятник. Так?

— Так.

— Ну, видите, вам нужны часы.

— Я тут сделал для вас выписку, — говорю я, — погодите... Вот она... *«Цвет сияет и хочет только одного — сиять. Если, желая понять и измерить его, мы разложим его на число колебаний, он исчезнет. Он показывает себя только в том случае, если остается нераскрытым и необъяснимым».*

— Что ж, это неплохо, — говорит он, — неплохо. Похоже на немца.

— Как вы догадались?

— У меня на них нюх, — говорит он, — я их видел в восемнадцатом году на Украине, — так же, как вас... Хотите, я спою вам песню, солдатскую песню о птицах в лесу. Она вам пригодится...

— Пригодится?

— Вы можете взять слова из песни в качестве эпитафии. Остро, а? Эффектно?

— А Эйнштейн?

— Что Эйнштейн?

— Что бы он сказал о таком эпитафии?

— Бросьте заниматься чепухой. По-моему, вы устали. Вам необходимы часы. Сейчас мы едем в Петровский пассаж, и вы немедленно покупаете себе часы.

— У меня нет денег.

— Не лгите. На прошлой неделе вы получили огромный гонорар.

— Давайте я лучше сдам в ремонт свои часы, — упорствую я.

— Собирайтесь, — говорит он, — поехали в город.

Все понятно. Ему скучно, и он хочет, чтобы я составил ему компанию. Мы выходим на улицу, затем погружаемся в метро. Рубин молчит. Может быть, поездка в метро представляется ему маленькой репетицией ада?

— Я бессмысленно растратил свою жизнь, — говорит Рубин, — если бы я начинал сначала...

Мы на Пушкинской площади, куда он меня тянет? В «Лакомку»? Чашка шоколада? Толпа, мы медленно плывем в толпе.

— Я хочу «Фанту», — говорит он, — станем в очередь и выпьем «Фанту».

Ярко раскрашенный киоск. Мы пристраиваемся в конце очереди.

— Что вы думаете о яхтах?

— Не понимаю...

— Вы умеете управлять яхтой?

— Нет.

— Тогда вы наделаете в своей книге кучу ошибок. Вам надо научиться управлять яхтой.

— Да?

— Я все устрою. Вы бросаете все и уезжаете в Сухум. Я приеду позднее, вы меня поняли? — говорит он. — Моя квартира простаивает зря. Маленький город. Меня там все знают. Набережная, пальмы, яхт-клуб. Я дам вам письма. Вы научитесь водить яхту. Возобновите контакты со Штейном и напишите книгу. Это гениально? Когда вы поедете?

— Почему именно туда?

— Вы же хотите куда-нибудь поехать. А там стоит пустая квартира, там уже лето, а у нас здесь слякоть и грязь...

Он жадно отхлебывает «Фанту».

— К тому же вы обучитесь водить яхту, один Штейн чего стоит, пошли в кассы, вы должны взять билет. Ну, хватить пить воду, вы согласны?

— Эх, Бая, на какую жизнь замахнулись, — говорю я, — и почему это мне следует ехать в Сухум? Достаточно того, что вы убедили меня пуститься в эту авантюру...

Тут я не лгал, я действительно полагал в ту пору, что писание подобного романа не более чем авантюра, авантюра с элементом возвращения... Литературные занятия интересовали меня как способ реализации в иной, совершенно не связанной с наукой сфере, — но тут надо оглянуться назад...

VI. ЛЕНИНГРАД

Отец мой окончил в свое время ИФЛИ, попал на фронт, воевал, после войны уехал в Ленинград и стал преподавать философию в университете. Жили мы втроем — отец, мать и я — в двух смежных комнатах, в длинной, изогнутой в форме буквы «Г» квартире на Некрасова. Окна наши выходили во двор, а в общую кухню, чуть возвышавшуюся над уровнем коридора, вели три деревянные ступени.

Мечтой матери была отдельная квартира; помимо всего прочего, профессия отца служила предметом пересудов и издевок соседей, мать переносила их крайне тяжело; окончательно же испортило отношения с ними приобретение старой, трофейной модели автомобиля «мерседес-бенц». Автомобиль часто приходилось чинить, чему отец охотно уделял время, а я в это время рылся в его библиотеке. Так попал мне в руки черный, в кожаном переплете том Декарта, с его «Рассуждениями о методе».

В конце концов чтение не всегда понятных книг стало моей страстью, я вознамерился поступить на философский факультет. Это намерение повергло мою мать в уныние, а Рубин, часто заходивший к нам в ту пору, был решительно против. «Посмотрите на меня, — говорил он, — я — режиссер, и мне стыдно в этом признаться, я терпеть не могу коллег и весь этот театрально-литературный мир, вот изучение природы — занятие гораздо более почтенное», — говорил он мне.

— Во всяком случае, — сказал однажды отец, — если бы ты сначала получил естественнонаучное образование, ты смог бы заниматься философией гораздо более основательно, иначе ты обречен на блуждание в трех соснах, — усмехнувшись, добавил он.

В этот момент ясно помню его потертый портфель — с ним он отправлялся на заседания кафедры, «мерседес-бенц», мать, вернувшись из кухни с селедкой «под шубой», и Рубин, философствующий, сидя в кресле и размахивая вилкой, слились в одно целое, — реальность, она чуть отодвинулась от меня и поплыла; мое сознание перебрало соседей, дальних родственников — близкие погибли в войну; двор, товарищей,

слякоть на улице; знакомых девушек; корпуса университета на Стрелке — мир, который я осудил на гибель ради обретения вселенной... И я вдруг согласился с отцом...

Но все то, что этому решению предшествовало, было, однако, не столь однозначным... Начать с того, что в свое время я еле закончил обучение на факультете. Сильнейшее желание все забросить появилось после того, как уже на предпоследнем курсе, сидя в библиотеке и разглядывая лысую макушку, возвышавшуюся над соседним столом, я вдруг ясно ощутил, что дисциплины, которые я изучал, имеют дело не столько с реальностью, сколько с ее более или менее изощренными моделями; тогда же я ощутил, что ситуация эта для меня психологически неприемлема и даже, более того, непереносима.

И в то же время казалось мне, что путь мой уже избран. Но было еще что-то, что не давало мне покоя. Возможно, мне не хватало в жизни риска, авантюры; возможно, и мой усложненный, почти болезненный роман с Аленой служил всему заменой для меня и отчасти, полагаю, — для нее...

С тех пор меня поддерживала лишь стоическая одержимость, унаследованная от отца: основным психологическим фактом его жизни было то, что он прошел войну и выжил, а многие его однокашники и друзья погибли, как и родители, жившие под Ленинградом. Да и далее жизнь его не баловала, особенно тяжело все сложилось в начале пятидесятых, и ту простую, но въевшуюся в его сознание истину о том, что человек обязан все выдержать и выстоять, он внушал мне постоянно. Не думаю, чтобы он был мною особенно доволен, — порой мне казалось, что его философия ведет к самоистязанию, и я бунтовал, в глубине души ощущая, что он прав.

Несколько слов о моем отце. В начале июня 1941 года он окончил курс в Ленинградском высшем военно-политическом училище и был направлен на должность политрука в танковую часть, расквартированную на границе Западной Белоруссии с оккупированной немцами Польшей. Командир части был в отпуске. Замещал его начальник штаба майор Попов, участник войны в Испании, кавалер ордена Ленина, редкая награда по тем временам. Часть проходила перевооружение, танки стояли без бензина, а винтовки были не у всех членов личного состава.

В день начала войны, ранним утром, на бегу по дороге в штаб, он встретил майора Попова, который сказал ему:

— Политрук, собирайте вещи и через полчаса будьте в гараже, там газик, бензин есть, попытаемся проскочить к центрам сосредоточения.

«К тому времени уже было ясно, что немцы обошли нашу часть с флангов», — пояснил мне отец.

— Это что, команда сверху? А рядовой состав? Надо же и их выводить? — спросил политрук у майора. Ему было в ту пору двадцать четыре года, пару месяцев назад он женился.

— Да мы тут просто пушечное мясо, — сказал Попов, — вы не понимаете, что происходит... Повторяю: будьте в гараже через полчаса...

Через несколько дней, двигаясь на восток во главе колонны, сформированной из остатков личного состава части, политрук наткнулся на газик, разбитый прямым попаданием снаряда. Тут же у обочины лежали трупы Попова, его ординарца и шофера. Покойники были без сапог. Ясно, что погибли они при бомбежке — прямое попадание, а сапоги сняли с трупов окрестные крестьяне. Иногда по дороге, пояснил отец, попадались мертвецы с отпиленными ногами. Крестьяне делали это ради сапог.

«Немцы тогда сбрасывали листовки, — рассказывал он, — предлагали сдаваться в плен и выдавать коммунистов, комиссаров и евреев. Многие сдирали знаки различия с гимнастерок, закапывали документы и партбилеты. Но у меня выбора не было.

Я был коммунист, комиссар и еврей. К тому же я был молод. И я решил выводить часть из окружения, после бегства Попова командование перешло ко мне».

Что же до бомбежек, то, как говорил мне отец, к ним быстро привыкают. Он вспоминал, как на одной из переправ попал вместе с бойцами под бомбежку и как, накрывшись плащ-палатками, он с товарищем ел холодную кашу из котелка.

«Вначале мы шли по дорогам днем, строем, — рассказывал он, — но несколько раз на нас налетали самолеты, и мы укрывались в полях, во ржи. Потом приходилось собирать людей. Мы были в тылу у немцев, и любой боец, отставший или сбившийся с пути, составлял для нас смертельную опасность. Потом один боец сошел с ума. Время от времени он начинал кричать: „Самолеты, самолеты...“ Люди в панике разбежались... Он не мог идти с нами. Его пришлось расстрелять как паникера. В конце концов вышли на соединение в районе Боровичей. Поскольку мы вышли с документами, оружием и знаками различия, нас просто рассортировали по частям, и никто не попал в штрафбат или под следствие».

Позднее за участие в захвате группы немецких парашютистов он был награжден именованным вальтером.

— Если бы не этот вальтер, быть бы мне калекой, — рассказал он, упомянув обстоятельства своего ранения в феврале 1942 года, когда Военный совет Калининского фронта направил его вручать награды отличившимся бойцам-танкистам. Один из награжденных, высокого роста боец, сказал ему, принимая награду:

— А что, товарищ капитан, давайте с нами на первом танке в бой...

Командир части покачал головой: представителям Военного совета запрещалось принимать участие в боевых действиях отдельных частей, но отец согласился, объяснив командиру части, что надо воодушевлять бойцов личным примером...

— Да ты понимаешь, что это против приказа? Что я за тебя головой отвечаю?

Когда танк с отцом не вернулся из боя, командир части направил бойцов из полковой разведки отыскать отца, живого или мертвого. Танк был подбит, лежал на боку и горел. Отца бойцы из полковой разведки обнаружили в воронке неподалеку. Он был без сознания, правая нога перебита разрывной пулей в середине голени. Ранили его на броне — он выскочил, когда танк начал гореть после прямого попадания немецкого снаряда. Остальные члены экипажа погибли. Увидев воронку и зная, что это лучшее убежище, он дополз до нее и скатился на дно. Пришел в себя уже в госпитале, услышав слова:

— На ампутацию...

Отец был в полусумеречном состоянии, но слово «ампутация» вернуло его в палату госпиталя, где главврач проводил обход вместе с хирургом. Назначена ампутация была на следующий день. После окончания обхода он попросил сестру позвать хирурга.

— Я недавно женился и не хочу быть калекой, — сказал он хирургу. — У меня есть пистолет. Вальтер. Сохраните мне ногу — и он ваш. А если вы ее ампутируете, я вас застрелю...

Хирург пообещал сделать все возможное. Ногу отец не потерял, но она стала короче на пару сантиметров. Вначале он ходил на костылях, затем носил ортопедическую обувь и при ходьбе использовал палочку. Он был признан годным к нестроевой службе и оставался в армии до конца войны. Отец сдержал слово, данное хирургу.

— Высокий, красивый мужчина, — говорил он. — Хороший хирург, капитан, рыжий поляк.

После выздоровления отец служил в Москве в Генштабе Красной армии, но через пару лет был переведен командовать танковым училищем в Среднюю Азию. Случилось это уже после того, как он отыскал мою мать, находившуюся в эвакуации вместе

с ее родителями. Он прибыл в военный городок, принял командование и перед приездом матери с родителями подыскал квартиру из нескольких комнат на первом этаже небольшого дома, с двумя входами: с улицы и со двора.

Накануне приезда матери заместитель по хозяйству пришел к отцу в кабинет и сказал, что начальник Смерша требует эту квартиру для себя. Тому якобы нужна квартира с несколькими входами, чтобы осведомители не сталкивались друг с другом, по правилам оперативной работы.

— Начальником Смерша был майор Лебедев, антисемит, пьяница и ничтожество, любивший при случае поиздеваться над людьми, — сказал отец. — Я попросил его зайти ко мне, сел за стол и расстегнул кобуру... Когда он пришел в кабинет, я спросил, зачем ему нужна моя квартира...

Лебедев был, как всегда, пьян и заорал:

— Не обязан давать вам разъяснения...

— Ты как со мной разговариваешь?

— Что? — закричал Лебедев и схватился за кобуру.

— Моя кобура была уже расстегнута, — рассказывал отец, — я достал пистолет первым, снял его с предохранителя и сказал Лебедеву: «Смотри, еще слово, застрелю тебя, как собаку...»

Лебедев повернулся и вышел, прошипев:

— Ну, майор, еще заплатишься за это....

Позднее отец узнал, что подаренный пистолет не принес хирургу счастья. В 1946 году тот застрелился из-за несчастной любви. С годами отец отказался и от ортопедической обуви, и от палочки. Он носил обычные туфли со специальной деревянной резной прокладкой в правой туфле и слегка прихрамывал. Я хорошо помнил его большой, широкий синий шрам на ноге — там, где была перебита кость.

Возвращаясь же ко временам, последовавшим за окончанием аспирантуры, надо сказать, что естественнонаучные познания мне действительно пригодились: срок защиты моей диссертации отодвинулся на некоторое неопределенное время после невозвращения моего шефа с международного конгресса, куда он повез доклад «Квантовое поведение и реальность»; отдел, при котором я проходил аспирантуру, был реорганизован.

В принципе, многое могло быть и сохранено, но необходимо было пройти через своего рода формальное отречение от шефа, с элементом публичного покаяния, после чего, возможно, появился бы шанс обретения нового начальника и переработки, но выглядела эта перспектива совершенно мерзко и, что главное, представлялась мне началом новой, вполне определенной жизненной траектории. Обязывало и положение отца на кафедре... поэтому я предпочел надолго «заболеть»...

В конце концов я нашел работу, связанную с переводами и реферированием статей в знакомых и полужаномых мне областях физики, кроме того, я начал готовить абитуриентов ко вступительным экзаменам. И вот когда наша с Аленой жизнь начала совершенно расстраиваться — тому было много причин, но самым важным, пожалуй, было мое полное нежелание бороться за место под социальным фонарем, — я начал писать и параллельно с этим положил прекратить всякие занятия наукой, я ощущал себя достаточно поработанным в ту пору, и идея все разом переменить сильно увлекала меня...

Казалось, путь мой уже избран, к тому же я любил ее, но что-то не давало мне покоя. Возможно, мне не хватало в жизни риска, элемента авантюры, и мой усложненный, почти болезненный роман с Аленой какое-то время служил всему заменой

для меня и отчасти, полагаю, для нее... Этому предшествовало несколько тяжелых и длительных разрывов, и тем не менее мы возвращались друг к другу, она — меняясь эмоционально, я — приобретая все более широкую, хотя и шаткую систему объяснения мотивов ее поведения.

Навык объяснения подводил меня, я постепенно терял способность к волевому изменению ситуации или собственного положения, потребность в стройной системе объяснения событий все чаще вела к постоянному пересмотру начал, положенных в основу моих рассуждений... Возможно, именно эта жизненная практика и привела меня к критическому отношению к самому принципу объяснения: он тормозил и парализовал меня.

Уход из аспирантуры показался мне началом освобождения. Не скажу, что решение это далось мне легко. Но выбора у меня не было. Рубин меня поддержал. Помню, мы встретились совершенно случайно в «Лягушатнике», он сидел там с почти незнакомой мне Леной. «Лягушатник» с его истрепанными зелеными полукруглыми диванами, тусклыми зеркалами и неизменным мороженым был одним из тех мест, куда мы заходили; в хороших ресторанах мы бывали редко. Иногда мы забежали выпить кофе в заведение на углу Невского и Владимирского проспектов, позднее, во время войны во Вьетнаме, кто-то присвоил ему ходкое в те годы имя «Сайгон».

Отношения мои с родителями к тому времени стали довольно сложными, скорее даже запутанными. Мой брак, планы, включая и обострявшееся желание уехать за границу, мои и их взаимоотношения с Аленой — все сплелось. Вот тогда-то Рубин и стал единственным посредником, поверенным, а порой и почтальоном. Не скажу, что ему это было безынтересно, он охотно общался с нашей компанией. В его жизнь мы попадали урывками. Он вел занятия на кафедре актерского мастерства в театральном институте; ставить спектакли он к тому времени уже перестал, но его по традиции приглашали на все премьеры и обсуждения, где он, по его собственному признанию, «нес всякую околесицу», то есть говорил все, что думал, — «мне это дозволено», объяснял он.

Впрочем, было бы малодушием и глупостью валить все на моего шефа, неожиданно не вернувшегося из Копенгагена; быть может, пребывание в Дании обернулось непредсказуемым решением и поступком и для него самого. Меня всегда поражала многогранность его подхода к тем или иным обсуждавшимся вопросам, бесконечное количество проблем, затронутых в его публикациях; порой, когда он пускался в общего рода сентенции, тут дивным образом соседствовали умеренный структуризм, реминисценции из Достоевского и масса сведений из древней истории, которые он излагал, совершенно уже захлебываясь. Следует упомянуть и его склонность к интимным излияниям, обращенным к женам сотрудников и аспирантов, — добавьте к этому изумительной формы голову, жидкую прядь светлых волос и выцветшие голубые глаза, вообразите не поддающуюся описанию гибкость в суставах — вот фантом, под знаком которого шло мое падение.

Вскоре после его исчезновения появилась у меня возможность начать работать в Пулковской обсерватории, с единственным, впрочем, условием переезда на работу в ближайшие полгода в обсерваторию на Северный Кавказ. И вот тут я отказался — из-за страха и возможности потерять Алену, нежелания покидать Питер и отсутствия чего-то главного, — вероятно, я опасался постороннего, точного и острого суждения о том, что занятия наукой мне не так уж и необходимы. Я предпочитал продвигаться в сторону этого решения сам, и со временем так и случилось, и я осознал, что нужно проститься и с Аленой, и с моими штудиями — все это было не мое, чужое... и тут сле-

довало идти до конца. Уже тогда я смутно ощущал значительность этого шага, ведь я терял целые миры. И такая тоска порой охватывала меня, — быть может, подобная тоске библиофила, бессильно наблюдающего за пожаром Александрийской библиотеки... сколько раз позднее испытал я это, глядя на летнее, ночное небо над Черным морем, где пылали синие гроздьи звезд...

VII

Иногда я забегал к Рубину, иногда мы заходили к нему вместе с Аленой, — у себя дома он бывал несколько иным, в привычной обстановке он поначалу бывал несколько суховат, пожалуй, его раздражала Геля. «Я нашел ее когда-то в Одессе, — рассказывал он, — она дочь знаменитого одесского профессора-медика», он называл мне фамилию, но я позабыл ее; «когда-то мы с Гелей катались на мотоцикле и попали в аварию», — добавил он однажды. Не знаю, имела ли место трагедия наяву, или то была метафора, а может быть, Рубина одолевали воспоминания о Сергее Уточкине и его знаменитом проезде на мотоцикле по Потемкинской лестнице?..

Геля с ее зелеными быстрыми глазами напоминала задрапированный в шерсть иссохший георгин; она много вязала на заказ, и Рубин только однажды на моей памяти позволил ей в течение минут двадцати поддерживать разговор о каком-то нашумевшем спектакле, в конце концов он отослал ее готовить кофе, — кофе и сухие коржики — вот чем он обычно угощал нас в своем кабинете, поражавшем опрятностью и холодной чистотой. Оживлялся Рубин, когда Геля, сославшись на занятость, исчезала, да и кроме того, я заметил, что он предпочитает, чтобы я приходил один, Алена его слегка раздражала.

Порой он был склонен к признаниям, пожалуй, он все еще находился под властью идей его юности — он часто возвращался к личности и практике Мейерхольда, — и однажды после его критических отзывов о нашумевшем в ту пору спектакле меня осенило, и я спросил его:

— Так что, Бая, вы до сих пор остаетесь поклонником биомеханики?

— Конечно, — воскликнул он, — естественно, видели бы вы эту сцену из «Леса» — влюбленные — они взмывают в небо на канатах, знаете, что такое «гигантские шаги»? — переспросил он. — Они несутся друг за другом по кругу, взлетают, спускаются и кричат: «Я люблю тебя! Я люблю тебя!..» Я никогда и не собирался менять свою позицию, — говорил он, — просто теперь этим бессмысленно заниматься, время ушло, остались одни развалины, разве кто-нибудь понимает теперь, что такое театр? А «Смерть Тарелкина»? Видели бы вы это! Посреди авансцены стоял гроб, куда добавляли и добавляли тухлой рыбы с тем, чтоб кто-то из пришедших проститься с покойным заорал наконец прямо в зал: «Боже! Какая вонь!..»

В эти минуты он бывал неотразим. Он воздевал руки, как старый раввин, изо рта летела слюна, очки в немыслимой проволочной оправе сверкали, дикция у него была великолепная, он вскакивал с кресла, маленький нелепый гном, переживший свою эпоху...

— Оставим это, — говорил он минуту спустя, — обратимся к Природе. Вот чем мне следовало заниматься. Какие у нас новости?

Тут я начинал рассказывать ему о текущей ситуации в науке — он прислушивался: он прочел несколько хороших книжек о современной физике и внимал всему новому с пристрастием, были у него любимые идеи, соображения, симпатии, а порой и резкое неприятие чего-то, иногда он восклицал: «Это дерзко, это смело, пожалуй, так и должно быть...» Увы, иногда эмоции вели его по ложному пути, что-то из нравившегося ему умирало. «Обидно, — говорил он, — но поверьте, к этой идее еще вернутся». Более же всего привлекала его идея Эйнштейна о единой теории — он жадно ловил любое под-

тверждение ее жизненности. «Вот видите, старик был прав, — говорил он, — все идет так, как он это и предполагал...»

При всем том он не был лишен ясности мышления практического и определенного цинизма, к каким-то вещам он относился грубо и просто.

— Бросьте с ней цацкаться, — однажды заявил он, имея в виду Алену, — мне жаль ваших родителей и вас, она вас всех сожрет. Поверьте мне, я видел массу женщин и много раз обманывался. Вы их не понимаете. Однажды меня позвала к себе дочь Есенина и Зины Райх: «Я хочу тебя познакомить с одним мужиком, — сказала она, — я хочу стать женщиной и родить ребенка, а ты скажешь, подходит ли он для этого...» Она родила ребенка и уехала в деревню учительствовать, — заключил он, — людей надо воспринимать целостно, со временем она сожрет вас, — повторил он, — а вы и не заметите, на что потеряли время, бросайте все и бегите, я сам так спасся в свое время, когда произошла вся эта история с Мейерхольдом, я повернулся и сбежал в Тифлис, иногда надо бросить все и бежать, — заключил он.

«Я упустил много шансов, — признался он однажды, — и с чем я остался, с этой Гелей...»

Логике Рубин ни во что ни ставил. «Все это выдуманно умными людьми, — говорил он, — для компактных объяснений того, что не сразу доходит до дураков...»

Постепенно я понял, что это относилось и ко мне, но сначала я просто упивался спорами Рубина с моим отцом. По инерции, а может быть, из-за отсутствия доверия к какому-либо альтернативному походу мой отец верил в познание, истину, идею логического объяснения и т. д., то есть не слишком и отклонялся от того, что излагал своим студентам. В силу этого наши споры чрезвычайно часто касались личности и учения Гегеля, персонажа, который особенно раздражал Рубина, тут он начинал брызгать слюной. «Поймите, — кричал он, — Гегель доказал в своей докторской диссертации необходимость, подчеркиваю, необходимость существования именно девяти планет — и все это именно в год открытия десятой! — тут Рубин откидывался в кресле, замолкал и, стряхнув пепел с сигареты, добавлял: — Его следовало бы вышвырнуть на улицу, а он вместо этого получил кафедру... да вся его философия — это плохо переваренный талмуд», — тут Рубин втыкал вилку в салат и, прожевывая, снисходительно выслушивал отца, принимавшегося за какие-то сложные построения — кавалерийские наскоки Рубина никак не сбивали его с толку. «Вы не берете в расчет личности, — парировал Рубин, — вы рассуждаете так, словно у вас множество историй наук, историй человечества, а на самом деле у нас все в единственном экземпляре, — заключал он, — и то, что наука развивается, свидетельствует как раз о нашей ограниченности и невозможности существования полного знания...»

Мне идеи Рубина были весьма симпатичны, уж слишком все тяготило меня в ту пору: мать, в облике ее иногда проглядывало страдание, я бывал с ней неоправданно жесток; шеф, с его неистощимым терпением в объяснении мне вещей, с его точки зрения, очевидных; Алена, с ее страстью к дискуссиям за бутылкой вина, внезапно, как мне тогда казалось, иррациональными порывами и фобиями, и многое другое. Начала меня раздражать и моя привязанность к ней, притяжение, в конце концов примирявшее нас... Ее глубоко посаженные серые глаза стали видаться мне в ту пору незрячими, и это двусмысленное обаяние мнимой слепоты притягивало и отталкивало меня, как и постоянные смены в ее настроении. Сначала все это было тревожно-неожиданным, но потом я уловил некоторую систему — и вот, желая за что-нибудь уцепиться, хватался за паутину логики...

Я старался быть последовательным в этой нелепой ситуации, именовавшейся моей жизнью, не давая себе отчета в том, что сама эта ситуация не устраивает меня

в принципе, что корень проблем лежит, пожалуй, во мне самом, а не в других людях и обстоятельствах, тогда я этого еще не понимал, но некто глядевший на это как бы со стороны, какой-то другой человек уже поселился во мне...

До чего же ясно видится это теперь, когда все рисуется словно многократно вложенное, совмещенное друг с другом: мать моя, обязательно в кресле у окна, отдыхающая после возвращения с работы, трамвайные пути и магазин «Академкнига» на Литейном, где темпланы издательств оповещали об очередных новинках, хохочущий Рубин, «Лягушатник» и Алена в крохотной квартире на Гражданке, кто-то у нас в гостях, и мы говорим, говорим, бесконечно говорим, но ничего этого уже не слышно, мы погружены в немоту ушедшего времени, — все мы, отец с его трофейным «мерседесом», вкус болгарских и румынских вин и счетчик такси, тикающий на рассвете, в ожидании момента, когда вновь сойдутся разведенные мосты...

Помню очереди и страхи Алены по поводу того, что она забеременеет, наступление зимы и ляг трамваев, какие-то темные слухи и подтвердившиеся сведения о шефе, бесчисленные выписки и чей-то случайный взгляд, театральные разъезды и рассказы моего дяди о лагерях, помню первый свой побег из Питера, в тот день я встретил Лену Смоленскую у Пяти Углов, в сумке у нее была папка с новой пьесой, где ей была обещана главная роль, был конец июля, в тот день я получил гонорар от своих учеников, мы отправились перекусить, и я попросил ее проводить меня в аэропорт, я решил улететь в Москву и провести несколько дней в мастерской у Ламма.

Когда самолет взлетел, город остался внизу и сзади, небольшой, под пухлыми кучевыми облаками, розовый с золотом, на земле дело шло к вечеру, а в небе было еще светло... В тот раз мне пришлось вернуться, я еще не мог бросить Алену, хотя отношения наши уже обострились до чрезвычайности, поминалось уже мое еврейство как синоним жестокости и бесчеловечности, унаследованной от нашего древнего бога, но оставить ее я все еще не мог...

VIII

В принципе, можно было бы уделить этому периоду больше внимания, по возможности лучше и глубже прописать его... Молодой человек, всю жизнь просидевший за книгами, с неистребимым еврейским упорством поглощавший том за томом в поисках возможно несуществующих откровений; его родители, придавленные, помимо всего прочего, еще и проживанием в коммунальной квартире — достаточно припомнить старушку Платоновну и ее сына, водолаза Гену, и его меняющихся невест, прибывавших со всех окрестных омутов и озер... Описать, как сей юноша внезапно слетает с накатанной колеи и устремляется с новообретенной подругой по многочисленным русским городкам, открывая для себя совсем иную страну, лишь частично и приблизительно знакомую ему до этого... Вокзалы и привокзальные рестораны, гостиницы, старые монастыри и крепостные сооружения, просторы и леса, яркий отсвет тающего снега, скрип полозьев в Новгороде, долгие разговоры, упрек: «Ах, вы совсем не знаете жизни», объятия в гостиничном номере, вино, дальние переезды в автобусах, ленивые зрители архитектурных памятников, возникающие где-то вдали макровки церковей, обретение неожиданно нового дыхания на поросшем травой поле, неистощимое откровение близости, чей-то косой взгляд, ранние зимние сумерки, слезы: «Я брошу все и уеду учительницей в маленький, тихий город...» — так оно и произошло в конце концов. Спустя год он приезжает туда, ему кажется — они просто друзья, пару дней они пребывают в этом статусе, но где-то за городом ее слова, губы, интонация доводят его до потрясения, он встает, отходит к краю поляны, к деревьям,

из глаз текут слезы — как он мог бросить все и позабыть только оттого, что ощущал несродственность, — и с этого мгновения, незримо, в нем поселяется раздвоенность, что будет точить и точить... Все это, безусловно, следовало бы описать, со всеми лессами и перелесками, ощупыванием медяков в кармане по возвращении домой, ощущением, что играешь не свою роль, раздумья о том, как совместить предлагаемые обстоятельства с иным типом постижения, когда реальность — а что это, собственно, такое? — согласно принятым правилам игры становится сначала объектом приложения тех или иных концептов — Декарт, — черный том в кожаном переплете, кресло у окна, бесконечные чтения и семинары, и вот спасительный выход: на диплом уезжаешь к Штейну в Сухуми, уезжаешь не просто потому, что у Штейна будет интересно работать, но и потому, что просто хочешь убежать...

Это, а также и многое иное можно было бы выписать и глубже, и острее, да и следовало бы, но прошло уже много лет — все порастрачено, использовано, отрывками и настроением вошло в иные, уже давно написанные вещи, к этому уже не хочется возвращаться, то время и ситуации давно прожиты и исчерпаны; порой кажется, что все допресовано до излома фразы. Ты стал старше, и ты приобретаешь то, что когда-то поражало тебя же в Рубине: горьковатую сухость цинизма, протокольное нежелание говорить о чем-либо, кроме фактов, а ведь когда-то слова Клода Бернара «факт не есть истина» вселяли надежду и служили оправданием бесконечных поисков и заблуждений...

Теперь, оглядываясь назад, понимаешь Рубина с его краткими вопросами и безапелляционными суждениями, с недоумением и растерянностью вопрошая себя, отчего прошлое постепенно отдалается, ведь были времена, когда ты все воспринимал иначе, — я утерял и первоначальные свои ожидания, и все иное, связанное с черным, в кожаном переплете, томом Декарта. Впрочем, последнее я хранил гораздо дольше: еще несколько лет после того, как окончательно уехал в Москву, я расставался с этим спроектированным мною миром — все то время, что писал обещанный Рубину роман...

IX

Нечто близкое происходило, вероятно, и с моими друзьями, но тогда общность отчаяния или надежд лишь угадывалась, каждый на чем-то срывался, претерпевая боль от ожогов, — внешне же все было будто лишено острых углов, тонуло в вате, фетре и быстро развивавшейся усталости. Однако же мы мчались вперед, обучаясь всему наспех и на ходу, словно поддерживая славную российскую традицию учиться «чему-нибудь и как-нибудь» — естественное следствие фатального недоверия ко всему, и это с неизбежностью вело нас к возведению натурального духовного хозяйства...

И в этом утомительно пустынном однообразии проживаемого времени мы отыскивали: кто — оазисы, кто — фобии, каждый по склонностям и темпераменту... Бая проклинал Гегеля, Алена обращалась к падению Византии и последней осаде Константинополя... Для психоаналитика это представляло, пожалуй, определенный интерес, но по утрам мы развезжались, унося с собой непереваренный запас придонного ила; тьма эта постепенно густела, составляя где-то на окраине сознания списочек-реестр того, что не устраивало. С чем-то я склонен был мириться, многое решительно не принимал я...

Для сосредоточенных же занятий безо всякой оглядки на окружающий мир мне не хватало то ли упорства, то ли силы воли или душевных сил, может быть — настоящего учителя. И я начал медленно раздумывать, как бы мне от всего этого отойти, как бы начать игру сначала, но сознание того, что в основу такого поступка

должен быть положен волевой акт, пугало, «свободой воли» я в ту пору не обладал (шеф же мой иногда говорил, что подлинной свободой воли обладают лишь невротики, намекая, возможно, на Алену).

В ту пору встречал я немало интересных людей; один из них умер, погиб, упав с четвертого этажа на покрытый заснеженным льдом тротуар. Познакомился я с ним у Рубина; он был не один — за день до встречи именно эта пара задержала мой взгляд под аркой Генерального штаба, по их лицам мне показалось, что идут они с набережной Фонтанки... Он шел, несколько наклонив голову в темной, фетровой шляпе; женщина прижалась к нему, обходя сугроб на тротуаре, — на мгновение он поднял голову, ответил короткой фразой на ее длинную тираду, сопровождаемую просяще-ожидательным взглядом, при этом чуть улыбнулся — этого было достаточно, она тихо засияла.

На следующий день я повстречал их у Рубина. Когда я пришел, Рубин рассказывал о временах блокады, потом разговор перешел к драматургии — в довольно странной связи с христологией: говорили о пушкинской нереализованной идее написания драмы о жизни Христа, о недавних гастролях польского театра, привозившего современную версию-реконструкцию «Страстей Господних», о драматическом элементе евангельских сценариев — новом, в сравнении с античной драмой... Тут Рубин увлекся чрезвычайно, что было для него нехарактерно, — идея была подкинута гостем, лет тридцати с небольшим; я же тем временем приглядывался к его спутнице, она излучала внимание, но это было внимание особого сорта: она лишь вскользь оценивала весь блеск конструкций, что разворачивал перед Рубиным, легко и красиво жестикулируя, ее спутник. Из разговора выяснилось, что его отец, ныне покойный, был когда-то близко знаком с Рубиным, сами они приехали в Питер на пару дней, из Москвы, где на гостя неожиданно свалился небольшой, нежданный уже, гонорар, и вот они приехали сюда, ибо назавтра исполнялся год, как они вместе, — какая-то чужая, в чем-то сходная с моей, но и отличная от нее жизнь на мгновение приоткрылась мне... Помнится, я тогда подумал, что наблюдаю несходное строение, сложенное, однако, примерно из тех же блоков, — иудеохристианство, возросшее на нашей родной, «датской» почве — с ее метаниями и крайностями; неустроенностью, безденежьем, чувством или его иллюзией, — магический жезл фокусника, обещающий нам чудеса... Оправданием моему цинизму мог послужить собственный опыт подобных «архитектурных» дерзаний, — итог его был довольно плачевен... тут Бая стал рассказывать о моей пьесе, речь пошла о Кулибине и Эйлере (напомню, что Кулибин был главным механиком академии, а Леонарду Эйлеру было поручено проверить расчетами жизнеспособность конструкции кулибинского безопорного моста, модель которого в одну десятую натуральной величины, изумлявшую петербуржцев, нагроутили тысячепудовым весом, в то время как изобретатель расположился в пролете моста...). В отличие от кулибинского, мой мост к тому времени уже рухнул, и я, глядя на эту пару, пытался прикинуть, как долго их отношения будут продолжаться и чем они закончатся, — в те времена не раз приходила мне мысль, что отношения, вроде наших с Аленой, есть не что иное как роман со страной. Я узнавал ее во время наших бесконечных разъездов, летних и зимних, когда все было укутано бесконечной снежной пеленой, и вот тогда-то я забывал и свою жизнь на Некрасова, и среду, что мне давно опостылела, и жадно приобщался к чему-то иному: словам и именам, пространствам и событиям...

Но в тот день, сидя у Рубина и слушая его рассказ о городских огородах эпохи блокады, я никак не мог предположить, что его гость, сидевший против меня в удобном полукресле, вскоре умрет, погибнет, прекратит существование... Правда, произошло это позднее, когда я уже переехал в Москву...

Х. МОСКВА

Одевался он просто и чрезвычайно опрятно — темное пальто, шляпа, — оттенок элегантности сопровождал его. «Лысая моя обезьяна», — смеялась мать, когда он бросал шляпу в кресло, за ней летел шарф, и он наклонялся к ней потереться щекой о щеку. Мать все еще была хороша, отец до чрезвычайности ее любил. Он никогда не выходил на звонки, отрывавшие от работы, — новости сообщались за чаем, замечания ее и суждения он любил и доверял ей безгранично, и уж она сама решала, кого допускать в его кабинет... Казалось, она развлекается; принятый ею стиль общения, до мелочей знакомый сыну, определял все в этом доме. Казалось, что и отец — прирученный и по ее милости допущенный в кабинет домовый. Да и сын не знал порой, допустит ли она его к отцу, хотя в последние годы желание попасть в кабинет возникало у него все реже, разговоров о судьбе его и будущем уже избегали, образование у него было превосходное, отличная память уживалась с пронизательностью и остротой в суждениях, языки давались с легкостью, но ничто, казалось, по сию пору не взволновало его; он подрабатывал переводами, реферированием, даже дегустацией вин, и казалось, чего-то ждал...

И хотя многие из тех, что были вокруг, к нему тянулись, присутствовала и доминировала, однако, в отношении к этому молодому еще человеку нота и даже объединяющая атмосфера почтительной отчужденности — и на факультете, и среди тех, кто входил в родительский дом или просто принадлежал историко-литературной среде. А неоднократные попытки вовлечения его в то или иное сообщество нередко кончались острыми конфликтами: старая кровь, неумная, не молчала, ожидая случая полной и безоговорочной капитуляции его и последующего перерождения, — помните Германна? — среди прочих и этот сюжет занимал воображение его отца...

Ожидаемый случай пришелся на время, следовавшее за смертью отца, нужно было заняться незавершенными его трудами, вернее сказать, замысел моего знакомого был и шире, и, без сомнения, глубже, к тому же у него был союзник — «болотная моя краса», называл он ее; встреча с нею окрылила его, потянула его к осуществлению замыслов с силою, совершенно необоримой...

Между тем жить ему со своей «красою», ушедшей из дома, где остался бывший муж с бабкой, было решительно негде, приходилось снимать квартиру; с матерью отношения усложнились, все больше людей вовлекалось в историю, развязка которой наступила уже через год с небольшим. К тому времени даже мать, казалось, примирилась с «красою», речь уже шла о размене родительской квартиры и передаче ему части библиотеки — той, что связана была с трудами и изысканиями его отца, — работа сына выходила постепенно из стадии изучения записок и черновиков, взыскав уже кипы листов чистой белой бумаги... Была зима, мать поскользнулась и подвернула ногу на похоронах Н. Я. Мандельштам, и сын с женой поселились у матери на время ее недомогания — так, во всяком случае, планировалось, но их совместное пребывание в доме, где он вырос, завершилось его падением в снег с четвертого этажа. Он упал и разбился насмерть. Остались две женщины, две версии — следствие, пересуды, молва, почти легенда, пустота, забвение, прах, невыразимое обилие снега, впрочем, растаявшего в положенную пору...

Прошло время, все вернулось на круги своя. Мать, казалось, победила окончательно: опубликованы были две книги, подготовленные ею по оставшимся рукописям отца...

XI

А в мае мой друг Ламм, живопись которого наконец отбыла за океан, улетел вслед за нею из аэропорта Шереметьево. Провожало его человек двадцать, частью меж собой незнакомые, — потом, столкнувшись где-нибудь в метро, на улице или в театре, мы будем обмениваться вопросами и обещаниями встретиться, свидетельствуя о невозвратных временах, когда мы могли встретиться у него в мастерской.

Обратная дорога из аэропорта в город была длинной, мы ехали в автобусе, и я разговаривал с Сашей Р., он занимался поэзией начала века, и наш разговор, естественно, коснулся общих знакомых — я имею в виду «красу» и ее покойного мужа: «Да она просто ужасно нехороша собой, — уверенно говорил он, — а что касается Женечки, то это был типичный случай талантливого дилетанта — все почти гениально, не хватало лишь результатов; ничего не поделаешь, мы живем в прагматическую эпоху». Разумеется, мы обменялись телефонами — делиться новостями о покинувших нас друзьях; «это полная авантюра, куда она его потянула?..» — тут я заподозрил в нем скрытого женоненавистника, скрывающегося за импозантной внешностью стареющего льва. До отъезда в Сухуми я так и не позвонил ему — существует категория людей, оставляющих в нашем сознании столь целостный образ и знак, что возвращаться к ним можно лишь в условиях необитаемого острова.

Часть вторая

I. СУХУМИ

В начале июня я освободил квартиру, взял машинку, чемодан, несколько книг и направился в Сухуми — идея побега показалась мне как нельзя более соответствующей моему состоянию... Еще несколько слов о том времени: в ту пору я ощущал себя в состоянии, значительно более неопределенном, чем впоследствии, я плыл как бы в нескольких параллельных течениях. Какая-то часть моей жизни была по-прежнему связана с Ленинградом, где ожидали моего возвращения родители; Рубин с его навязчивой идеей, постепенно овладевавшей и моим сознанием, символизировал для меня Москву, частично заслоня историю четвертого этажа. Уехавшие друзья присылали мне письма поначалу из Италии, затем из Штатов, и каждый конверт в почтовом ящике предвещал столкновение с одним из упомянутых миров; встречи эти я переживал ярко и отчетливо, как и сны, преследовавшие меня в ту пору: вязкий и липкий, душивший меня снег, бесконечно длинный, петляющий, в нарушение всех законов геометрии, коридор, упиравшийся в мою дверь в не существующей уже квартире на Некрасова, и, наконец, почему-то залив Святого Лаврентия, бесконечные низкие берега, охватившие водную холодную гладь, покрытые льдом и снегом... И все это началось с приходом осенних дождей...

Единственно, что я ощущал очень ясно, — мне надо было избавиться от массы книг, так или иначе трактовавших проблемы, связанные с Альбертом Эйнштейном; разумеется, что-то надо было прочесть, что-то запомнить, а самую суть, сердцевину, я должен был открыть для себя, ободрав кожу фактов, так проходящие дожди срывали порой завесу облаков, и на день ото дня чернеющее ночное небо накладывался холодный немигающий чертеж костяка вселенной.

Старая мысль о том, что нужно писать, не давала мне покоя, — как и тогда, когда я начал приходить в себя в больнице. Попал я в больницу вскоре после приезда в Су-

хуми. Спускаясь на велосипеде по обвивавшему склон горы серпантину, я превысил скорость на повороте и вместе с велосипедом задел угол каменной ограды.

Позднее, уже в больнице, когда я начал приходить в себя, я подумал: ну вот и ты пережил свою аварию, свое падение. Естественно, то была случайность, но в то же время я не мог отрицать какую-то подготовительную работу соучаствавшего в ней под-сознания, — а вот здесь ты, быть может, и преувеличиваешь, — говорил мне мой врач, он оказался проницательным человеком, и я всегда ожидал его появления в палате...

Как-то мы глядели с ним на мальчишек, игравших внизу, на площадке перед зданием больницы, в футбол. Мне давно уже надоели их крики, и я сказал что-то пренебрежительное в их адрес.

— Да, — сказал он, — ты прав, но зато какой витальный тонус...

Я ощутил нотку азарта в его голосе, это был голос человека, способного зарычать. Один из больных сказал мне как-то, что наш врач — прекрасный охотник. Это не очень вязалось с его внешностью: он был худощав, невысокого роста, с чуть выпирающей худой грудью, выгоревшие рыжеватые волосы дополняли массивные нос, губы и подбородок, а круглые, чуть навывкате глаза скрывались за стеклами очков, иногда он снимал их — обыкновенно, когда лез в карман за сигаретой, тогда взгляд его чуть расплывался, но через мгновение собирался вновь, концентрируясь на расположенной вдаль, у горизонта, точке. Он много и с наслаждением курил, его увлекали шахматы. «Знаешь, — сказал он мне однажды, — мне поражения дали очень много, каждый раз они заставляли меня думать...»

Больница, вернее, санаторий, легочный санаторий с отделением торокальной хирургии, расположен в пятнадцати километрах от города. Огромное здание красного кирпича в стиле французского *château* построено было в начале века на средства мецената и филантропа, земского деятеля Смецкого. Замок расположен на холме, в удалении от моря. Смецкой собирался проложить канал от моря к подножию холма, но замысел остался неосуществленным, помешала Первая мировая война.

У меня оказалось сжатие и коллапс правого легкого — результат перелома ребер и сильного удара. Поскольку поврежденной оказалась только плевра, удалось обойтись без операции, легкое довольно быстро расправилось, но сотрясение мозга некоторое время приковывало меня к постели. Потом я стал осваиваться в высокой и чистой комнате на двух больных на четвертом этаже и спустя месяц начал выходить на огромную, открытую галерею с бесконечным рядом кроватей для дневного отдыха. Пальмы, магнолии, эвкалипты, бамбук и иные ботанические чудеса, растущие на ближних холмах и вокруг санатория, привезены были в начале века по заказу Смецкого со всех концов света; воздух на холме был чист и свеж, и мой врач, уроженец Сухуми, рассказал мне немало любопытных историй о здешних краях и их обитателях. Он же позднее привел меня в городской яхт-клуб.

Жизнь, нравы, отношения — все здесь было иным, и, постепенно привыкая, я тем не менее хранил ощущение несогласия и чужеродности — и, может быть, искусственно культивировал его, жизнь здесь, на море, представлялась не более чем главой...

В ту пору я был чем-то вроде необязательного мазка этой живописной панорамы, да и жил я здесь на поистине птичьих правах. Друзья мои по Питеру считали, что рано или поздно я вернусь, да я и сам в этом не сомневался в ту пору. Просто пройдет какое-то время, что-то внутри сдвинется, я соберу чемодан и улечу, думал я, меж тем постепенно привыкая к беспечной подлинности ошеломляющих фактов иного бытия, к цинично откровенному солнцу, проливным дождям, повседневности лжи как формы проявления южной, субтропической гибкости и к океану голубой влаги, отчуждавшей берег...

Клянусь, я начинал понимать, отчего так любил Сухуми Рубин, — правда, он предпочитал другое, чеховских времен, имя города, была в этом городке какая-то незаданная театральность — в кипении национальных страстей, выпячиваемом кровосмешении стилей и наглой витальности всего живого; гипертрофия была здесь самой естественностью, нормой, оставляя на сером асфальте груды измятых кровавых роз и гвоздик, разбросанных прошедшей похоронной процессией.

II

— Красиво, даже чересчур, — сказала Ирина, когда мы шли на гору.

И в самом деле, город с нагромождением черепичных крыш и колоннад постепенно оставался внизу, голубой асфальт кое-где у оград был усыпан лепестками опадающих цветов, и в голубой же дымке тонул горизонт, подпираемый кипарисами. Мне стало стыдно: все это барочное великолепие, казалось, подремывало и что-то шептало во сне — для беглеца я славно устроился. Мы шли на гору, и я рассказывал ей о турецких фелюгах, что приходили сюда за табаком и стояли на рейде почти до начала тридцатых годов... да, собственно, неважно, о чем мы говорили, просто после долгого перерыва я нашел, что наконец чувствую себя свободным...

«Сухум легко обозрим с так называемой горы Чернявского... Он весь линейный, плоский и всасывает в себя под траурный марш Шопена большую дуговину моря, раздышавшись своей курортно-колониальной грудью. Он расположен внизу, как готовальня с вложенным в бархат циркулем, который только что описал бухту, нарисовал надбровные дуги холмов и сомкнулся», — писал О. Мандельштам весной 1933 года. Отсюда, от весны, — холодный блеск моря и черные вертикальные формы кипарисов, наводящие на ассоциации с траурным маршем...

— А я не знала, ехать сюда или нет, — белые просторные рукава Ириной кофты чуть поддрагивают на ветру, она ловит мой взгляд. — Я сама ее придумала и сшила... Мой мальчик выздоровел, и я решила прилететь хотя бы на несколько дней... Я и начала работу с этой группой, просто чтобы поездить. В Москве мне все сочувствовали, надоело: понимаешь ли, муж меня бросил, — она смеется.

— Он сумасшедший, — говорю я; мы сидим в кафе на смотровой площадке у вершины горы. — Он сумасшедший...

— Он ушел к другой женщине. Говорят, она красивая, я ее не видела, в общем, у меня все рухнуло, а я хотела создать семью и очень старалась, чтобы он чего-то достиг...

Ирина, молодая женщина из киногруппы, оказалась... я долго не мог подыскать для себя слово, чуть позже я ощутил, что могу полюбить ее, — какое счастье, что она уезжает. Я рассказал ей, что потерял память, частично, после аварии, и она мне поверила. Я просто забыл какие-то мысли и соображения последнего года и теперь пытаюсь их припомнить. Весной она снова приедет на съемки, сценарий сейчас в процессе переработки, — может быть, зимой я приеду в Москву? Может быть, это поможет мне?

— Я должен это вспомнить, любим, каким угодно путем я должен все восстановить... Зачем? Не знаю. Просто мне кажется, что это связано с чем-то жизненно важным, ты понимаешь?

Она кивает.

— Ты понимаешь, да? Но как? Эмоционально? Ситуационно? Интуитивно?

Назавтра она улетает. Самолет гудит, разбегается и взлетает, а я возвращаюсь на рейсовом автобусе домой.

Действительно после возвращения из больницы я ощутил квартиру Рубина своим домом, и этот небольшой городок, где никому не было до меня дела, — своим.

За это время Рубин так и не приезжал в Сухуми, обмен и еще какие-то хлопоты страшно занимали его, несколько раз он почти было собрался приехать, но в последний момент все рушилось. Что же до квартиры Рубина, то мне она нравилась тем, что дом был старый, начала века, из желтого кирпича, располагался на горе, замыкающей город, глядящий с ее подножий и уступов на море; вид на бухту открывался из всех окон фасада, а лестница на второй этаж, деревья вокруг и высокие потолки искупали неудобства, связанные с отсутствием отопления и переборами с водой.

Весной, летом и осенью город напоминает продувную трубу. Кого сюда только не заносит, с кем только не свидишься. Восстанавливаются многолетней давности знакомства, уточняются события, возникают новые лица, вихрь и ком трех сезонов мчится, увлекая тебя, — а потом внезапно все обрывается, и ты остаешься в блаженном одиночестве и пустоте...

III

26 сентября, после трех дней отвратительных дождей, снова появилось солнце, тучи разошлись, отползли на горы, а море, серое и грязное, очистилось во второй половине дня. Сальвии пожухли, словно проржавели; возобновились ремонтные работы: ржавые листы кровельного железа сбрасывают вниз, автоподъемники тянут по вертикальным рельсам листы вибрирующего оцинкованного железа. Один лист сорвался и полетел вниз, рабочие остановили платформу на полпути и спустили ее за прогремевшим с высоты третьего этажа листом, мимо черных проемов окон с выдранными переплетами. Ремонтируют гостиницу. В воздухе разнесся прибитый было дождями запах винограда. В очередной раз почти вдвое подорожала чашка кофе. Приедем все это, разумеется, безразлично, их снова много, старый бревенчатый причал покачивается, принимая удары катеров, крейсирующих по маршруту «Город — Пляж». Камни парапета еще сырые, но на парапете приятно сидеть, светит солнце...

IV

23 октября. Несмотря на все надежды, дождь пошел вновь. До этого дни были великолепные, голубые, прозрачные, повсюду эпидемия ремонтов, строительных работ, последние приготовления к зиме, которая наступит внезапно и неумолимо.

Я забрался на крышу с банкой белой масляной краски и кусками холста — поставить латки там, где крыша прохудилась. Кроме того, я перетряхнул квартиру — и набралась куча рухляди, ее необходимо выбросить. Дом ветшает и, вообще говоря, требует ремонта, но это вопль молчаливый, и я отделяюсь полумерами, что-то приколачиваю, что-то пододвигаю, мне хочется как можно больше света и пустоты.

На пляже хорошо, море стало прохладней, оно принимает пловца с величием и достоинством теперь уже чужой стихии. Когда выходишь из воды, ясно ощущаешь, что она осталась позади, хочется быстрее согреться на солнце.

Вернувшись домой, перебираю книги. Я решил продать все книги о вселенной, кому-нибудь они пригодятся, но предварительно нужно сделать выписки. Есть нечто, именуемое ничто. Все остальное надо выбросить. Ночью прохладно, я закрываю окна. Рамы рассохлись, стекла звенят. Краска на рамах, когда-то белая, лущится.

Несколько раз вместе с питерскими друзьями я ездил купаться за город, отсюда видны дома за заливом, строения на холмах, дальние горы, частью с заснеженными вершинами, корабли в порту.

По счастливому совпадению Илья и его жена любили приезжать в Сухуми, где обычно снимали комнату в домике у моря, в поселке на южном краю города, — там, где горы и холмы, поросшие эвкалиптами, завезенными в эти края в начале двадцатого века, почти вплотную подступали к берегу. Дом стоял на пригорке, под старым инжирным деревом, и каменные, истертые песком ступени спускались к пустому дикому пляжу.

Это была удивительная пара крупных людей, напоминавших статуэтки раннеантичного периода; обращала на себя их внешняя несхожесть: выпуклые голубые глаза Лиды и веки с легким оттенком синевы контрастировали с темными, ореховыми глазами Ильи, скрытыми за толстыми стеклами очков.

В этот раз они приехали на море в конце августа, рассчитывая пробыть до середины октября с тем, чтобы завершить перевод текстов для очередного тома «Библиотеки восточной мысли». Как обычно на отдыхе, они привезли оттиски своих и чужих публикаций, рукописи неоконченных работ и словари. Время от времени мы встречались, разбавляя солнечную монотонность курортной жизни разговорами на те же примерно темы, что занимали всех нас и в Ленинграде.

Когда-то давно, в Питере, я не единожды обсуждал с Ильёю феномен просветления. Мы были знакомы с Ильёй еще с университетских времен и впервые всерьез разговорились, ожидая начала аспирантского экзамена по философии. С тех еще времен сохранил он манеру медленных, неторопливых рассуждений, с характерными паузами и придыханием. Несколько раз приходил я к нему домой, мы пили чай в маленькой, тесной комнате на Петра Алексеева, с почти невидными из-за книжных полок стенами.

Пытаясь под его руководством постичь искусство медитации, я сначала научился правильно дышать — так, чтобы возникшее в сознании теплое солнце постепенно начинало освещать веки закрытых глаз изнутри, провоцируя ясные и неожиданные видения... В первый раз это был вид с гравюры Хокусаи со снежной вершиной Фудзиямы на горизонте, — помню, как берег с горой вдруг стал настоящим, волны на гравюре ожили и мгновение спустя понеслись на меня... Во второй раз я внезапно увидел себя маленьким мальчиком — совсем непохожим на себя в детстве. Шел я, очевидно, с отцом, он был молод и улыбался, шли мы по изгибу горной проселочной дороги, поросшей с одного края колючими зарослями ежевики; ее запах смешивался с чуть прохладным, смолистым ароматом воздуха из ущелья...

Как-то, ближе к вечеру, мы отправились на пляж; искупались и принялись закусывать, разлив вино по стаканам и оставив тарелками со снедью синюю, с солеными пятнами пляжную подстилку. Был один из тех длинных, нескончаемых летних дней, которые прочно остаются в памяти, вплоть до звука шуршащего песка под твоей ногой, вкуса и ощущения воды, в которую ныряешь, и легкой дымки, обволакивающей город на другой стороне залива. Неподалеку на холме росло несколько эвкалиптов, и поначалу речь пошла о настойке из эвкалиптовых листьев, что помогла Ильёе излечиться от кашля, мучившего его еще со времен долгой и темной питерской зимы. Он рассказал о еще не опубликованном переводе на русский язык китайского «Трактата о бессмертии» — вспомнив до того, как в Южном Китае побывал с китайским коллегой в монастыре на вершине горы; монахи известны были своим мастерством в искусстве прорицания.

— Невысокая, в общем-то, была гора, — медленно рассказывал Илья, — может быть, даже и не гора, а холм, да и дорожка была выложена камнями, но отчего-то подниматься вверх оказалось изматывающе трудно, словно становишься тяжелее с каждой следующей ступенью. Когда мы поднялись наконец, я огляделся — и впрямь невысо-

ка была гора; невдалеке рос бамбуковый лес, и легкий дымок струился кверху от остатков костра во дворе монастыря... И вот, — продолжал он, — когда мне предложили погадать, узнать мое будущее, я вдруг испугался... Даже не испугался, а струсил, мне стало как-то не по себе, я подумал: ну зачем мне это? Я смотрел на лесок, на подворье и дым от погасшего костра, на лицо подошедшего монаха и думал: зачем мне это? Ну, допустим, узнаю я свое будущее, а что я смогу изменить? Удастся ли что-то изменить?..

Он говорил медленно, и видно было, что эти воспоминания никак не оставляют его. Поздно ночью я уехал домой на автобусе — помню жужжание цикад, пока автобус медленно ехал через пыль проселочной дороги, выхватывая из тьмы кусты и примятую траву...

V

Вскоре они уехали в Питер, а спустя примерно неделю после их отъезда, утром, когда Сухум все еще дремал под нежаркими, косыми солнечными лучами, у меня зазвонил телефон, и я услышал голос Ильи.

— Я был на допросе, — сообщил Илья после обычного приветствия. Из трубки доносились до меня звуки проезжающих машин, и я понял, что он звонит с уличного автомата, он никогда не звонил мне из коридора своей коммуналки, если речь шла о чем-нибудь необычном.

— Где? — спросил я.

— В комитете, — ответил он, — по поводу Славы Рудницкого. Я к нему зашел с парой книжек, а через полчаса к нему пришли с обыском. Потом его арестовали. Меня допрошивал Лопатин, — назвал он фамилию следователя, пользовавшегося определенной известностью, — теперь допрашивают всех, кто с Рудницким общался. Интересовались тобой... В общем, готовься, — заключил он.

В конце того же дня, когда я вышел прогуляться на набережную и засиделся в кафе на причале, ко мне подсел врач из туберкулезного санатория, расположенного на склоне поросших эвкалиптами холмов. Мы заговорили о яхтах, поднятых на причал для ремонта, — он был членом яхт-клуба. Закурив, врач осмотрелся и спросил:

— У тебя все в порядке?

— По-моему, все в порядке, — ответил я.

— На тебя собирают объективку, — сказал он, — опрашивают всех, кто с тобой знаком... Ничего особенного, стандартные вопросы... Так что смотри... Тебя, я думаю, вызовут... Наверное, какие-то хвосты тянутся... А? Подумай, — добавил он.

Мне, очевидно, следовало немедленно уехать в Питер, чтобы избежать контактов с местным отделением госбезопасности, которое неизвестно как еще поведет себя, получив инструкции допросить меня... Не хотелось, чтобы они просто выбросили меня из города...

Словом, пришлось улететь в Ленинград, встретиться с парой знакомых и после полученного по телефону приглашения пару раз сходить на допрос на Литейный. В самом начале первого допроса, когда Лопатин еще только внес в протокол мои анкетные данные, у него на столе зазвонил телефон; Лопатин извинился, поднял трубку, произнес стандартное: «Слушаю вас» — и в течение пары минут внимательно прислушивался к голосу в трубке, делая при этом пометки карандашом в блокноте; потом он сказал неведомому собеседнику: «А он уже у нас, да, вот тут сидит, начинаем только собеседование...»

— По вашему вопросу звонят, — пояснил Лопатин, повесив трубку, и я понял, что звонят из Сухуми.

Допросы были длинные и, как мне казалось, бессмысленные, с бесконечными уточнениями несущественных деталей. Зато пока я был в Ленинграде, я повидал родителей.

— С властью я бороться не собираюсь, — успокоил я их, — она должна рухнуть сама, сгнить до основания и рухнуть...

VI

Я снова в Сухуми. Осенью, в октябре, Земля проходит сквозь кометный пояс. В прохладные, ясные ночи, возвращаясь домой с набережной, я замечаю от двух до четырех падающих звезд. Тепловатый, темный, пьянящий запах из виноградников, холодные тени, неподвижные на взгляд звезды...

Ближе к концу осени я принялся писать нечто вроде вступления к новому роману, отталкиваясь от камеры-обскуры в фотоателье начала века, нырнув в темную полость которой мы обнаружим себя в черном хладе и мраке вселенной... Нырок сквозь прозрачную стеклянную среду объектива и погружение в темное, бесконечное чрево камеры-обскуры — ночная тьма, пробуравленная светом звездных скоплений начала века и пролетающим ожерельем Млечного Пути, где звездочкой тринадцатого класса затерялось Солнце...

...С солнечным лучом, проникшим в ателье сквозь стеклянную крышу-купол, мимо штор, экранов, застывшего с хронометром в руке хозяина ателье, нафабранных усов и замерзших нарукавников, в молчании застывающего времени, — свет, прилетевший с Солнца за восемь минут, отразившись от лиц, одежд и рук, плюшевых гардин и ваз с цветами, устремляется в объектив камеры-обскуры, достигает стеклянной пластинки с покрытием из бромистого серебра, где должно зародиться и обрести силу изображение; меж тем как фотограф застыл рядом с черной бархатной накидкой, небрежно прильнувшей к деревянной полированной поверхности камеры, в то время как стрелка хронометра без устали скользит, отсчитывая секунды... но пора вставать, пора, улыбается хозяин ателье; зев камеры-обскуры прикрыт уже колпачком и черной бархатной накидкой, словно занавесом вселенского театра... — все кончено, дверь закрывается, звонит за дверью колокольчик, ты на улице, надо вернуться сюда за фотографией в четверг...

Почти ежедневно я выписываю и выпечатаваю отрывки из книг, делаю собственные заметки, кое-что выделяю, подчеркивая, а потом останется скопировать выделенное на стенах и потолке и сказать: летите... Но написанные на стенах уравнения не полетят, указывает Дж.-А. Уилера. «А между тем Вселенная летит...» — пишет он.

Вот выписка из его книги о гравитации: *«Должен существовать какой-то принцип, единственно верный, простой и столь очевидный, что когда он станет известен, не останется сомнений: Вселенная устроена таким-то и таким-то образом и должна быть так устроена, а иначе и быть не может. Но как открыть этот принцип?»*

Звонит телефон. Это Ирина. В Москве сыро, идет снег. Я спрашиваю, как она гадалась, что я сижу дома? По Бергсону, интуиция — это «такой род интеллектуальной симпатии, посредством какого человек переносится внутрь объекта, чтобы слиться с тем, что есть в нем единственного в своем роде и, следовательно, невыразимого». Идея невыразимого все спасает.

Мой врач на днях сказал, что, как он полагает, я говорю ему не все, что думаю по обсуждаемым вопросам, быть может, щадя его самолюбие или не желая подчеркивать его неосведомленность. Мне же кажется — все дело в наработанной привычке к молчанию и сокрытию, порожденной годами чтения запрещенной литературы,

полуночных дискуссий и всей ленинградской жизнью, естественной частью которой являются постоянные опасения провокаций и административных последствий, обысков и вызовов на «собеседования» в разнообразные инстанции и, наконец, как высшая честь — на Литейный, откуда открывается во всей его процессуальной определенности вид на «обширную и ласковую географию нашей родины», как говорил один из моих друзей, довольно удачливый, впрочем: ему разрешили выезд за рубеж в гости, лишив после этого гражданства и возможности возвращения, что не мешает слышать его голос на волне лондонского радио.

Время от времени я вспоминаю короткий телесюжет о самосожжении буддийского монаха во время войны во Вьетнаме. Столб оранжево-красного пламени, объявший как бы заколоченного человека с прижатыми к груди руками.

Сегодня с утра был туман, во второй половине дня после занятий с учениками я вышел за хлебом. К вечеру пошел дождь. Свежеуложенный асфальт, его уминали сверкающими цилиндрическими катками, быстро остыл и поменял цвет под дождем, из глубокого черного стал серым. «Мой любимый цвет — черный», — сказала Ирина. На фоне снега ее глаза должны быть совершенно черными.

В девять часов вечера на бульваре моросило, было пусто, все куда-то попрятались. Отражения огней в воде, приглушенный шум работающего сердца парохода. В кафе много пьяных.

Я не очень хорошо понимаю то, что выписываю, вернее, понимаю как-то отстраненно. Существует ли отчужденное понимание вообще? Я ощущаю, что существую отдельно от себя и своих слов. У. Джеймс писал в 1911 году: *«...в таких случаях попытки интроспективного анализа напоминают попытки мгновенно осветить темное место, с тем чтобы успеть заметить, как выглядит сама темнота...»*

VII

27 ноября. *«Вещи существуют такие, какие они есть, потому что они были такими, какими они были»* (Т. Голд). Но ведь я был другим? Что же произошло?

Завтра я постараюсь не выходить в город — не хочу встречаться с маленьким Штейном. Собственно, он пожилой человек маленького роста, а я — почти его ученик, то есть один из его учеников; про себя я называю его «Маленький Штейн». Я встретил его после выхода из больницы, там лежал около месяца. Почему я не звонил ему? Почему я не навещу своего старого друга, спросил он, чуть помедлив, перед тем, как сказать последние слова...

Но я действительно не хочу его видеть. Может быть, я устал от его веры в осмысленность Вселенной? Помню, как он отнесся к моей идее бросить занятия наукой — с недоумением и внутренним отчуждением. Но он имеет право на это. У меня сохранилось впечатление, что он рассматривал мое решение как проявление внутреннего отступничества.

— Впрочем, — сказал он и добавил: — Вы имеете на это полное право. Но все-таки жаль.

Почему-то я подумал о тех, кто когда-то работал в его отделе; среди них были и бывшие сотрудники Института имени Кайзера Вильгельма.

А может быть, я слишком много ожидал от этого, уже старого человека? Во всяком случае, после больницы я навещал его все реже и реже. Быть может, я сам оттолкнул от себя старика. По приезду он мне помог, дал хорошие рекомендации как репети-

тору, но на его предложение заняться чем-то серьезным я ответил вежливым отказом: я предпочитал зарабатывать деньги, используя свои профессиональные навыки, но не искать в этих занятиях форму моральной самозащиты.

И что еще не давало мне покоя, точнее, напоминало замедленную процедуру — так это постоянное ощущение, что нечто существенное в моей жизни недосказано и нереализовано. Какое-то признание вины и несовершенства преследовало меня; с этим же, думаю, было связано и желание реванша. Не то чтобы совсем уж нельзя было жить, как получалось, нет, мне просто надоело упрощать переживания в угоду обстоятельствам, — я жил теперь в ином краю, в иной среде. А может быть, то была определенной формы ностальгия?

Несколько дней назад в городе обрезали старые ветви пальм. Я подобрал на тротуаре длинную желтую ветвь масличной пальмы с синими плодами. Ветвь я отнес домой, решил подарить Ирине. По дороге я заметил Маленького Штейна и свернул на другую улицу. Я просто не смог бы объяснить Штейну, зачем я несу домой ветвь. Дома я укрепил ее на стене. Желтая, сухая, мускулистая ветвь с синими небольшими плодами. На вкус они горьковаты и вяжут.

Соседи сушат лук на столе во дворе. Снова солнечный день. Надо писать, подумал я, и тут же вспомнил о Рубине.

VIII. МОСКВА

К концу года ученики мои разъехались на каникулы, кто куда, ну а я улетел в Москву. Два часа полета, снег, Ирина меня встречала, кто-то спросил в аэропорту о пальмовой ветви — не виноград ли это. Ветвь я укрепил на стене, над ее рабочим столом, на столе я заметил эскизы рекламы к новому фильму, исполненные в чуть шокирующей, со вкусом нарушенной тональной гамме.

На следующий день я позвонил Рубину. Мы встретились у памятника Пушкину, и я потащил его в «Актер». Вначале он не хотел туда идти, но мне удалось убедить Баю, что в любом другом месте нам предстояло бы выстоять длинную очередь на морозе. Мы уселись за столиком в глубине зала, и я отошел позвонить. Я хотел дозвониться до Ирины на студию, но ничего не вышло. Возвращаясь к столику в начинавшемся уже вечернем гаме, я напоролся взглядом на смутно знакомое лицо; позднее, уже беседуя с Рубиным, я узнал режиссера, когда-то репетировавшего мою пьесу. Между тем Рубин принялся меня расспрашивать, его интересовало все: Сухуми, его квартира, яхт-клуб, мои больницы, отчего я прилетел и откуда у меня деньги, в конце концов мы уперлись в роман — тот, что я никак не мог начать писать. Тут Бая взъерепенился, он почти кричал, но в ресторане было уже достаточно шумно, и никто не обращал внимания на нас. «Получается, — говорил он, — я посылая вас туда зря? Неужели вы там ничего не узрели?» Он замолчал и вслед за этим, театрально придыхая, произнес фразу из Мандельштама: «Я быстро и хищно, с феодальной яростью осмотрел владения окоема: мне были видны, кроме моря, все кварталы Сухума, с балаганом цирка, казармами...»

— ...А? — произнес он после паузы, — подумайте, время уходит, вы должны сидеть там и писать роман, неужели вы этого не поняли?

Похоже, он был огорчен.

— Я создал вам прекрасные условия... — бубнил он обиженно. — Ну что ж, налейте мне боржоми. А что Штейн? — тут же спросил он.

— Ничего нового, — сказал я, — по-прежнему размышляет о внеземных цивилизациях...

— Я в этом разочаровался, — сказал Рубин, прихлебывая минеральную воду, — в мире, кроме нас, никого нет. Я убежден в этом, — тут он вооружился вилкой и ножом и принялся сражаться с шампиньонами; грянула музыка, зажегся свет, вечерело.

Вскоре мы вышли на улицу. В гардеробе он долго закручивал вокруг шеи длинный шарф и теперь брел по снегу, не глядя на прохожих, в своей старой, зеленой, с меховой подстежкой куртке. В конце концов я пообещал ему начать работу по возвращению. Он уехал на троллейбусе, а я около часа бродил по городу. Затем направился к месту встречи на Пушкинской. Я стоял и выглядывал ее в толпе у выхода из метро, и вскоре она появилась. Мы направились к ее знакомым.

— Надо же, — сказала она, — сколько вокруг людей, а я встретила тебя, в этой... — она остановилась, слово «дыра» повисло в воздухе, умолкла на мгновение, а затем продолжила, смеясь: — Вот так, встретила тебя на море, совсем как в пошлом романе...

Она засмеялась и сообщила, что мы направляемся в гости к ее знакомым, которые хотят со мной познакомиться, и там совершенно неожиданно, среди прочих я встретил «красу»...

IX

Итак, я встретил жену поразившего меня когда-то человека вскоре после приезда в Москву.

История этой пары всегда казалась мне достойной пера Достоевского. Естественно, канва была иной — время, среда, к которой они принадлежали, происхождение, атмосфера вокруг, — скорее, говоря о Достоевском, я имею в виду интенсивность письма, невротический импульс, предельную контрастность, как и замечание Эйнштейна о Достоевском: «...цель его состояла в том, чтобы обратить наше внимание на загадку духовного бытия и сделать это ясно и без комментариев...» Черный квадрат, человек упавший, а может быть, и выбросившийся, — снег как объект, предвосхищающий «ощущение простого и чистого бытия в его безграничности».

Но пожалуй, все это несколько конспективно; даже если пишешь для себя — я вспоминаю свой первый приезд к Ирине, мы много рассказывали друг другу о себе, — пересказанное прошлое выглядит как конспект вступления к грядущему повествованию, то есть к самой предстоящей жизни, выглядит наспех набросанным черновиком, в котором все еще можно будет изменить в грядущем пространстве, тогда как развитие повествования в каких-то существенных узлах уже сложилось, — поэтому, я полагаю, конец истории четвертого этажа был в чем-то существенном предопределен, этот человек был осужден на погибель и шел ей навстречу порой весело, как тогда, когда явился к мужу «красы» просить ее руки, порой в смертной истоме, — в последние свои дни, с похорон Н. Я. Мандельштам, — отсюда и всеми отмеченная бледность, нарушения сердечбиения, все нараставшее напряжение в отношениях между его женой и матерью, к которой им пришлось переехать, — в дом, где он вырос, в гнездо, разрушения которого он добивался теперь, ведь «красе» негде было жить, а еще он нуждался в библиотеке отца, с чем мать считаться не желала, и он перешел какую-то черту, ведь обещания «красе» были уже даны — обещания, завет столь нерушимый, что падение, — это, в сущности, прыжок за глотком свежего воздуха, охваченного белой пеленой снега; указание на загадку духовного бытия, сделанное ясно и без комментариев...

Существует версия о скандале, споре, по окончании которого мать заперла двери квартиры, позвонила в клинику, куда ненадолго порой укладывался подлечить нервы отец, — с тем, чтобы прислали «скорую»; она угрожала поместить его в «психушку» — надолго, воспользовавшись имевшейся там его «историей болезни», с пребыванием

на обследовании, предписанном врачом из военкомата, — а он накинул пальто и стал выбираться из квартиры на лестничную площадку — через балкон, по выступу...

Он потерял равновесие на глазах у возвращающейся с работы «красы». Она заметила его на карнизе и ее восклицание — «Женя, берегись!» — повисло в воздухе, меж тем он упал и разбил затылок о каменный бордюр. Подъехавшая карета «скорой помощи» увезла его в больницу, где он и умер спустя три часа, не приходя в сознание...

Х

— Ты должен верить себе, — говорит Ирина, история эта вновь начинает занимать меня после встречи с «красой», но в этих словах есть еще и подтекст: мы хотим верить друг другу, иначе у нас нет будущего...

Ночами в Москве становится совсем светло, я вижу ее совершенно ясно, а днем свет от снега забирается во все углы — ослепляющий свет чистоты и спокойствия.

Открыв однажды ночью окно, вернее, лишь приоткрыв, в Москве все лежало под снегом, — я услышал шорох за спиной: папиросные листы бумаги, покрытые мелко напечатанным текстом «Египетской марки», освобожденные от сверкающего металлического зажима, парили в воздухе — вначале я принял их за снежные хлопья, влетевшие в комнату...

Тогда же я понял, что для меня реальность и есть парящие листы испечатанной папиросной бумаги или снег за окном, — следовательно, мне надо писать, и тогда все образуется так или иначе, в зависимости от того, что я напишу...

Постепенно я узнавал, былое ощущение раздвоенности возвращалось ко мне...

История четвертого этажа по-прежнему тревожит меня, и стоит мне появиться в Москве, она снова как бы оживает, выступая из тени, приглушенности, фигур умолчания, намеков, недомолвок, выступает как проявление непредсказемости, обиденной и заурядной — да что же, собственно, произошло? Ну, жил в профессорской квартире на Маросейке стройный, почти subtilный молодой человек, копался в отцовской библиотеке, ну и масса интересов и множество знакомств, жадность и любопытство к встречам; и как-то раз в аудитории на Моховой они встречаются — она вела там семинар для студентов-филологов, и эта встреча многое меняет... Вскоре subtilный молодой человек оказывается у нее дома — он приехал, очаровал мужа, воспринявшего его появление как окончательный, завершающий факт в цепочке событий, — просит ее руки, увозит — они уехали на чью-то дачу, начиналось лето, недалеко лежали торфяные болота, и все опасались вспыхивающих порой в округе летних пожаров, отсюда и имя — «болотная моя краса»...

Гуляли у реки, уходили в лес втроем, с ее дочкой, смеялись, а к осени девочку пришлось отправить к ее родителям, на юг; к появлению снега, к началу зимы с нянечкиной квартиры пришлось уйти, внук нянечки вернулся из армии, и тогда они сняли квартиру где-то на Юго-Западе, работала в ту пору только она, обедали они редко — чаще пили чай; у него слегка побаливало сердце, ночами он писал, набрасывал схемки и планы, дни он проводил в библиотеках, и если вечером кто-то приезжал, возникал из снежной тьмы, да еще и привозил что-нибудь поесть, — радовался чрезвычайно, шутил, был мил и любезен, провожал гостей до трамвая и, завернувшись в пальтецо, возвращался, снова пил чай и работал. «Вот славно, — говорил он, — годам к сорока закончу все это, мы уедем куда-нибудь в Англию, и там я издам пару книг, все наработанные результаты, получу работу на кафедре какого-нибудь приличного колледжа в Оксфорде и всю оставшуюся жизнь буду практически бездельничать, — да, да, без-

дельничать, все уже будет сделано» — так говорил он и, казалось, верил в это, ибо общий план и главные его идеи к тому времени уже посетили его...

Итак, он постоянно делился с нею своими соображениями, планами, догадками, легко и словно безболезненно транжиря ухваченное, — запросто, как бы из воздуха, из детства, из книжек, замечаний отца, болтовни в доме, милых причуд и чьих-то догадок; похоже, он легко обретался и жил в этом мире, легко ориентировался, — «изучать можно только мертвую культуру», сказал он однажды, и, право, в ней он нашел идеальную слушательницу; планы у них роились самые необыкновенные, оставалось лишь дожидаться завершения его работы, — и если бы не зима, не снег, если бы мать его не поскользнулась на похоронах, если бы, если бы... бесконечный ряд предположений... — то что произошло бы тогда?

И все-таки кое-что представляется мне странным: едва начав работу, он мысленно обращается к ее окончанию; должно быть, ощущение тяжелой ноши преследовало его, да и отчего он взялся за предприятие, от которого уклонялся годами? — быть может, неосторожные слова, случайно появившаяся мысль, необходимость дать ответ на ее ожидания и упования увлекли его на этот путь? — не зря же он, порой смеясь, но и серьезно, обращается к окончанию этой работы...

Но последний его разговор с матерью, конечно же, коснулся и «красы», — ее не было в тот момент в квартире, и что-то было сказано безусловно верное и окончательное, то, чего он не мог оспорить, вернее, оспаривал, но совсем иначе, уже яростно срываясь, меж тем как мать, ощутив его беззащитность, умножала свои аргументы и соображения — полное и неодолимое знание, казалось, захлестывало ее, и она чрезвычайно спокойно набрасывала ему будущее, которого у него уже, собственно, и не оставалось... Его парение приближалось к апогею, прошлое вовсе не было уж так мертво, воск уже топился...

Странно, что я не догадывался об этом раньше, — подумалось, и тоска из старых времен внезапно овладела мной...

Часть третья

I. СУХУМ

Я вернулся, — здесь, на море, шел бесконечный дождь.

В комнате сыро, я включаю масляные радиаторы и валяюсь в постель с тоской по снегу, — сначала мы поднялись в небо и все заволокли облака, в конце полета мы вырвались из облачности над самым морем, скользнули к гнилой и вязкой земле, а там уже шел дождь; затем экспресс пролетел сырое, серое поле, голые ветки фруктовых деревьев и нырнул в вечнозеленую сырость, окаймлявшую берег.

Ночью был сильный ветер. Я проснулся от гула стекол, в нашем нагорном районе отключился света, где-то вдали пролетел снап искр из-под холодного пятна фонаря, и фонарь потух.

Утром, перед рассветом, щебечут птицы — на голых сырых ветвях за запотевшими стеклами окон, на веранде. Вскоре они улетают. Я направляюсь в город, на бульвар, выпить кофе и просто пройтись, наконец.

Теперь в городе солнечно и морозно, с большого причала видно, что обступающие город предгорья заснежены по верхам, на них наброшен ворсистый белый шарф. На причале пахнет морем, дует ветер, у причала — пароходик из Новороссийска. Снег почти достиг города, но этот последний бастион он возьмет не скоро, да и ненадол-

го. Знакомые рассказывают мне, что на днях в бухте столкнулись два небольших буксира, приписанных к нашему порту. В остальном ничего нового, кроме пришедших за время моего отсутствия писем.

Дни становятся длиннее, днем тепло и солнечно, а вечерами полная луна, разбрызгивая желтоватые блики, поднимается минуты за полторы из-за отрога хребта. Я должнаю заниматься с учениками.

II

Вторая половина января вдруг необычайная: запах моря или морской гнили и водорослей, живой, из иного мира, словно от доисторического моря; ясные дни, по ночам — свет полной луны и снова запах моря.

«Вы находите удивительным, что я говорю о познаваемости мира (в той мере, в какой мы имеем право говорить о таковой) как о чуде или вечной загадке. Ну что же, априори следует ожидать хаотического мира, который невозможно понять с помощью мышления. Можно (или должно) было бы лишь ожидать, что этот мир лишь в той степени подчинен закону, в какой мы можем упорядочить его своим разумом. Это было бы упорядочение, подобное алфавитному упорядочению слов какого нибудь языка. Напротив, упорядочение, вносимое, например... теорией гравитации, носит совсем иной характер...»

Это отрывок из письма Альберта Эйнштейна другу юности Морису Соловину. Письмо написано в 1949 году — том самом, что мог бы значительно изменить обстоятельства жизни Эренфеста, останься он жив и попади он в Россию, куда собирался переехать в начале 30-х годов.

III

Однажды ночью я проснулся задолго до рассвета, сон ушел, и я лежал, вспоминая один из своих визитов на Старо-Невский, к Л. Э. Он был стар, изможден, но ясность и последовательность не изменили ему. Меня угостили вином; кажется, он говорил при этом, что если я вернулся в Питер с Кавказа, то должен разбираться в вине, он медленно отпил из бокала красное вино «Мукузани». Потом появилась его жена, в ее облике, когда она шурилась, проглядывало нечто азиатское; потом за окном стало темно, включили свет; подошло время делать укол — в ту пору он выздоравливал, пришла медсестра, в кабинет принесли кипятильник, и я отошел к книгам...

Позднее я приезжал к нему в санаторий, в Комарово, он сидел у себя в комнатке и что-то писал, на нем были очки в тонкой оправе с очень сильными линзами; на листе бумаги в линейку, лежавшем на столе, была косо начертана формула закона тяготения...

Когда-то, в мои университетские времена, именно Л. Э. договаривался со Штейном о моей стажировке, и во сне меня преследовало ощущение, что с той поры я не покидал Сухум... Сколько же прошло лет?

Все путалось, темное пятно перемещалось, время от времени я упускал из виду то одно обстоятельство, то другое... Потом, все еще во сне, я пытался достроить картину, но как это было? Помню лишь, что и во сне мне это не удавалось...

Февраль, все неустойчиво, и когда дожди хлещут, невольно вспоминаешь Питер: зима, полыхающий купол Исаакия и протоптанная по льду дорога через Неву...

И все это перед глазами, словно круг света от настольной лампы, а вокруг тьма, сырость и дождь за окном, визжат трамваи на поворотах. Знакомые дома, подъезды, афиши, люди и желтый, утоптаный пешеходами снег...

В дождливые дни меня нередко посещала хандра, иногда я вспоминал родителей, а зачастую отправлялся в гости к знакомым — с тем, чтобы выпить на ночь, вернуться домой и лечь в постель в надежде на завтрашний солнечный день. Так я постепенно становился язычником на этом влажном, зеленом побережье...

IV

Утром я встал и отправился на бульвар, где еще осенью рабочие приступили к ремонту гостиницы, построенной в 1914 году, — именно в то время уже близка была к завершению теория гравитации, и Альберт Эйнштейн переехал в Берлин.

Жена и дети прожили вместе с ним в Берлине всего несколько месяцев, после чего вернулись в Швейцарию.

Этих обстоятельств я в своей рукописи еще не касался и вспомнил обо всем этом, проходя мимо гостиницы, которую перекрашивали в неясный серый тон, освежив светлую лепнину и белые переплеты окон.

К тому времени я написал лишь большое введение о камере-обскуре и обращении времени, о его движении от старых фотографий к воскресающим прототипам изображений...

Я помнил рассказ Штейна о номерах «Annalen der Physik» с пометками на полях, принадлежащими Планку и Эйнштейну, и, право, они могли бы оказаться в этом городе, если бы все происходило несколько иначе, но я полагал, что это было бы неоправданно сильное допущение для романа, которое чересчур отвлекало бы повествование от его изначальной заботы и первого искуса, и, думал я, лишь изменение каких-то деталей частной биографии одного из малоизвестных персонажей могло позволить действовать с той полной свободой, что достается нам в наследство от уже состоявшейся истории.

Именно это соображение все сильнее увлекало меня в сторону фигуры профессора Эренфеста. Известно, что в последний год жизни он начал вести записи. Сохранились фрагменты, касающиеся его детства и юности в Вене в конце прошлого — начале нынешнего века, и, пройдя мимо ремонтируемой гостиницы, я подумал: а что если бы весь роман принял форму «Записок Эренфеста»?

Что еще увлекало меня в ту пору — так это идея связи и соответствия между процессом развития повествования от первых набросков, схем и фрагментов к связанному целому с медленным возникновением образа Вселенной на бромисто-серебряной поверхности фотографической пластинки все той же камеры-обскуры, нырнув в темную полость которой мы погружаемся в ночную тьму, пробуравленную светом звездных скоплений и Млечного Пути, где звездочкой тринадцатого класса затерялось Солнце с его планетной системой, а солнечный луч долетает от Солнца до Земли за восемь минут...

Используя образы фотопластин, ссылаясь на коллекции старых фотографий, упоминая пластинки и радиоприемники, цитируя выдержки из текстов писем и имитируя дневниковые записи, я собирался передать особое ощущение слоистости времени, что возникает при разглядывании старых стен, с которых слой за слоем уходят следы предыдущих росписей, ремонтов и реставраций...

Дважды в день, с утра и после занятий с учениками, я выходил на бульвар: пройти, выпить чашку кофе, прочесть газеты. Иногда я гулял по городу. Постепенно знакомых становилось больше. Яхт-клуб был закрыт.

Иногда я отправлялся бродить по пляжу. Купались лишь отдельные смельчаки, но загорали уже вовсю: февраль неожиданно принес тепло. Сегодня я наблюдал, как, вооружившись граблями, несколько человек очищали пляж от мусора, сгребая его в кучи, а затем и жгли костры.

Но впереди еще март, неустойчивый и холодный. Я обещал Ирине, что в конце марта приеду в Москву, у меня будет пара недель, свободных от учеников, я хочу ее видеть.

Недавно я встретился со своим врачом, он направлялся к своему коллеге-медику, работающему в военном санатории. Миновав проходную с заранее заказанными пропусками, мы прошли на территорию санатория для высшего командного состава и тут же оказались в другом мире: корпуса санатория, столовые, бильярд, гипсовые скульптуры, красные стенды агитпропа и толпы отдыхающих, словно чудом заброшенные на субтропическое побережье.

V

Я вернулся из Москвы. Здесь апрель, дождливые дни, по утрам никуда не выхожу.

Повсюду изобилие листвы, цветет глициния — она взбирается на тополя, опутывает металлические ограды.

Перед Пасхой в магазинах толчея и почему-то огромные очереди за молоком. А рядом — зелень, редис, лимоны. Водоканал завершил ремонтные работы, и в доме пошла вода.

Соседи приводят в порядок свой виноградник, сваривают железные трубы, тянут проволоку, с запозданием подрезают виноград.

И вскоре — первая гроза; стена ливня обрушивается на нелепую, буйную листву. Раскаты грома, молнии. Рамы как одна слезятся, пропуская дождь, вспышки света за дребезжащими стеклами, но часа через два все стихает. На улице темень и сырость, котлован, где проходят строительные работы, полон воды, на улочках, ведущих в гору, — запах камфары и груды пожухших листьев на черном асфальте...

Назавтра — великолепное утро, просто жарко, жарко и прозрачно, но к вечеру выпадает туман, становится прохладнее, все как будто застывает.

Сегодня, закончив очередное письмо Ламму в Нью-Йорк, я написал еще одно, адресованное Альберту Эйнштейну, в Принстон, в Институт исследований повышенного типа.

«Дорогой профессор Эйнштейн,

долгое время я собираю материалы для книги о том, отчего люди занимаются наукой. Был бы Вам чрезвычайно признателен за предоставление каких-либо материалов.

Искренне Ваш...»

Письмо, скорее всего, попадет в архив фонда Эйнштейна. Элен Дюкас, секретарь Альберта Эйнштейна, до сих пор продолжает заниматься делами архива. Как знать, может быть, мне придет ответ.

Покончив с письмами, я вышел на бульвар и встретил моего врача. Скоро уже год, как я здесь. Фасад старой гостиницы расчистили от наслоений. Теперь ее медленно красят, и она превращается в элегантное светлое пятно на изломе бульвара, — раньше она была ослепительно-белой. У ложноклассического портика против гостиницы расположились художники со своими полотнами, а вокруг них то возникают, то исчезают стайки зевак, курортников...

VI

И тут внезапно прилетает Рубин. Он останавливается в санатории у подножия горы Чернявского, у него путевка на две недели, — «я хочу погреться на солнце», — говорит

он. Каждый день он приходит ко мне, и, о чудо, солнце регулярно выползает на небо, словно бы открыт новый закон природы. Становится просто жарко, но жара длится всего пару дней, далее возвращаются прекрасные майские дни. Рубин требует от меня результатов, то бишь рукописи. А ее у меня нет. Есть выписки, планы, соображения, собраны ссылки на горы литературы, — рукописи нет.

Но он неумолим. «Я устрою auto-da-fé из книг, разложу их во дворе и подожгу, — кричит он, — вы должны наконец начать писать. Иначе зачем вы здесь, и, вообще, зачем — вы, и зачем я здесь?» После паузы он продолжает: «Я приехал сюда только затем, чтобы заставить вас писать... Хватит прохлаждаться. К завтрашнему дню вы должны предоставить мне кипу страниц», — и он уходит в город. Куда он идет?

Он заглядывает в кофейни, бродит по магазинам. На нем маленькая жокейская кепочка в клетку, в руке палка, на носу очки, в кармане лекарства. Он принимает их перед едой и перед тем, как отправиться в туалет. К тому же он много курит. Он не выпускает сигарету изо рта.

— Поймите, — говорит он, — вы напишете книгу и прославитесь, а я потребую от вас всего лишь бокал шампанского...

— Разве дело в том, чтобы прославиться?

— Это нужно, — говорит он, — нужны деньги, тогда вы бросите заниматься с учениками.

— Это совсем неплохое занятие.

— Бросьте говорить глупости, к завтрашнему дню вы должны мне что-нибудь представить...

Ночью у меня начинает болеть зуб. Боль то сильная, то тупая после приема очередной таблетки, то острая некоторое время спустя. Всю ночь я не сплю. Наутро появляется Рубин и тянет меня к дежурному хирургу в поликлинику.

Выходной день, на улице жарко, толчея, с лотков торгуют чем угодно. Рубин ведет меня за руку.

— Я давно об этом мечтал, — говорит он. — Хирургическое решение вопросов — моя слабость. Я хочу посмотреть на это, я хочу этим насладиться...

Скорее всего, он шутит. Мы стоим у поликлиники. Хирург куда-то вышел, нужно ждать минут десять, не более...

— Давайте уйдем, Бая, — говорю я, — так часто бывает: что-то болит, а потом проходит.

— Нет, мы вырвем этот зуб, — я сам буду этим руководить. Пойдите здесь пару минут, — добавляет он, — я схожу за угол, в магазин, посмотрю, какие здесь продаются часы... А вы стойте здесь и думайте об Эйнштейне...

Опять часы. Рубин уходит, а через минуту появляется хирург, молодой, курчавый и властный. Он усаживает меня в кресло, вгоняет в десну шприц с обезболивающим и принимается за дело.

— Послушайте, — говорю я, — сглатывая кровь в очередную паузу, — мне стыдно, я кричал, но это было...

Он молча кивает. На белом халате пятна пота. Еще одно чудовищное усилие. Мне кажется, он выворотил кусок челюсти. Миллионы иголок. Во рту кровь. Он сует в дыру комок ваты, я благодарю его и выхожу на слепящее солнце. Кружится голова, а я забыл темные очки дома. Я оглушен, кажется, все на улице просто орут. Появляется Рубин.

— Где хирург?

— Уже все, — мычу я.

— Как? Ведь прошло всего пять минут...

— Все, все, — говорю я, — вы довольны?

— И я все пропустил?

Я киваю.

— Жалко. Это ужасно. Такое зрелище. Экзекуция. Ну что ж, интересных часов я тоже не увидел. Идемте гулять.

Все еще не в себе, я прохожу с ним пару кварталов — вокруг нестерпимый свет. Потом он сворачивает на бульвар, а я иду домой. Дома я глотаю таблетку, выплевываю вату и пытаюсь уснуть. Во сне иду и иду мимо забора, отгораживающего ремонтируемое здание гостиницы на бульваре. Я иду по деревянному помосту, на нем бочки, жестяные бочки с красками — оранжевое, синее, лимонное содержимое бочек, все дрожит, колеблется, краска переливается через края, стекает на помост и пыльную дорогу, на маслянистой поверхности красок появляются пузыри, они медленно лопаются на поверхности, я пытаюсь оттереть руки от засыхающей краски и просыпаюсь...

VII

Вот описание Альберта Эйнштейна в молодости, сделанное одним из его учеников в то время, когда Эйнштейн давал уроки физики, математики и электротехники.

«Рост Эйнштейна 1,76 м, он широкоплеч и слегка сутуловат. Короткий череп кажется необычайно широким. Кожа матовая, смуглая. Над большим чувственным ртом узкие черные усики, нос с небольшой горбинкой. Голос приятный и глубокий, как звук виолончели... Вечера Эйнштейн чаще всего проводил в кафе на Бангофштрассе; он обычно сидел в уголке и размышлял, посасывая трубку.

— Очень часто я не думаю ни о чем, — смеясь, признавался он».

Иногда он разговаривал со случайными посетителями, — «человеческая логика отнюдь не всегда соответствует реальности», утверждал он. Как-то он достал пять спичек из коробка, уложил их одну за другой на столе и спросил, какова общая длина этих пяти спичек, если каждая из них пять сантиметров?

— Разумеется, двадцать пять сантиметров, — прозвучало в ответ.

— Так утверждаете вы, а я в этом сомневаюсь, — сказал он.

Потом он взял со стола одну из спичек, зажег ее и поднес к трубке, которая все время тухла.

— Допустим, что это так, но отчего это вас заинтересовало? — услышал он.

— Мне кажется, я принадлежу к тому типу людей, которые склонны задумываться о природе вещей...

— А вы задумывались о причине этого? — спросил его собеседник-француз.

— А зачем? — с легкостью отозвался молодой человек с трубкой. — Подобный анализ интересен для психолога, мне же хватает моих интересов...

— Вы религиозны? — полуутвердительно спросил француз, открывая портсигар.

— Думаю, что нет, — в традиционном смысле, — последовал ответ, трубка снова потухла, и молодой человек потянулся за следующей спичкой, француз заказал еще кофе. — И принесите нам по рюмке шартреза, — крикнул он вслед кельнеру, — о, не беспокойтесь, мсье...

— Меня зовут Альберт Айнштайн.

— Мсье Айнштайн, — повторил француз, потянулся к карманчику жилетки, и на мраморную поверхность стола легла визитная карточка. — Леопольд Тесье, «Новые времена», путешествия и страхование, анализ возможностей и перспектив, компания с ограниченной ответственностью, — так что же вы можете нам предложить?

— Простите?

— Отрезки времени, — пояснил мсье Леопольд, гильотинируя сигару перочинным ножом. Отрезанный кончик сигары он бросил в пепельницу, закурил и потянулся за рюмкой, — отрезки времени в сумме, с ними тоже что-то происходит? Могло бы это заинтересовать нашу компанию?

— Не думаю, что этот эффект имеет какое-либо отношение к деятельности вашей компании, — пробормотал Айнштейн, сдерживая смех.

— Жаль, — меланхолично уронил мсье Леопольд, подозвал кельнера, расплатился, пробормотал несколько ничего не значащих фраз, поклонился и исчез в толпе на Бангофштрассе.

VIII

В феврале 1912 года мсье Леопольд случайно встретил профессора Эйнштейна на платформе пражского железнодорожного вокзала имени Франца-Иосифа. Было около трех часов пополудни, Эйнштейн стоял на перроне вместе с женой Милевой. Он курил сигару, жена держала в руке букет белых роз. Они ожидали прибытия из Вены его коллеги Пауля Эренфеста.

Их переписка началась весной 1911 года, и Эйнштейн пригласил Эренфеста заехать в Прагу. После нескольких лет в России, где он поначалу хотел осесть по предложению своей жены Т. А. Афанасьевой, Пауль Эренфест решил вернуться в Европу, обнаружив, что Россия с ее бюрократией и «политическими чиновниками» отнюдь не подходящее для него место.

Родился Пауль Эренфест на год позже Альберта Эйнштейна в Вене, в семье мелкого еврейского коммерсанта. В детстве Пауль любил играть со старыми, поломанными часами. Огромное их количество хранилось в картонном ящике в доме его бабушки, где по воскресеньям собирались все родственники по материнской линии. Одно из самых удивительных впечатлений его детства — камера-обскура, сконструированная старшим братом.

Паулю было десять лет, когда, через год после смерти матери, у него появилась мачеха, младшая сестра покойной. Увлечение математикой помогло пятнадцатилетнему Паулю пережить душевный кризис после смерти отца.

«Жид, жид, жид — по веревочке бежит», — дразнилка периода его проведенного в Вене детства.

Детство Пауля Эренфеста напоминает детство Альберта Эйнштейна. Все только как будто меньше, урезаннее, не столь артистично и страшнее. Альберт Эйнштейн позднее заметит: «Юность уходит, а следы умственного унижения и угнетения остаются навсегда».

После размещения гостей и общего обмена впечатлениями Эйнштейн повел своего гостя в кафе на левом берегу Влтавы, где они сразу начали обсуждать научные вопросы. Кафе располагалось в павильоне Хонавского, в верхней части Летнего парка, откуда хорошо просматривались пражские мосты и раскинувшийся на правом берегу город.

Вечером, после обеда, Эйнштейн поинтересовался у Эренфеста, как обстоят дела с поисками работы. В то время Эйнштейн уже собирался покинуть Прагу и перебраться в Цюрих. С его точки зрения, Эренфест был бы вполне подходящей кандидатурой для освобождающейся должности... Следовало только продумать, как правильно заполнить бумаги...

В свое время для зачисления на пост университетского профессора Эйнштейн должен был указать в анкете свое вероисповедание, и поскольку администрация не предусматривала возможности предоставления профессорского кресла агностикам или атеистам, Эйнштейну пришлось объявить себя «последователем Моисея». Смеясь, рассказал он об этом Эренфесту.

Эренфест был атеистом, и в свое время его будущая жена Т. А. Афанасьева, выпускница Венского университета, где она и встретила Эренфеста, также объявила себя атеисткой — с тем, чтобы получить разрешение на гражданский брак.

— Я не имею морального права объявить себя последователем какой-либо религии, — сказал Эренфест, — моя жена, да и сам я будем воспринимать это как предательство...

— По отношению к кому? — спросил Эйнштейн. — Подумайте, ведь таким образом вы отсекаете возможность работы в Праге...

Вопрос о принадлежности к тому или иному вероисповеданию словно преследовал Эренфеста. Некогда, еще в Петербурге, полицейский чиновник, прописывавший его с женой в доме на 2-й линии Васильевского острова, увидев в паспорте Пауля в графе «вероисповедание» прочерк, объяснял: «Да вы сами подумайте: на каком кладбище мы вас будем хоронить, если вы здесь умрете?» Эренфест отвечал: «Да я вовсе не собираюсь умирать, мне всего двадцать семь лет».

Эренфест понимал, что поставленный вопрос логичен, но всякая логическая последовательность в применении к этике ведет к дьяволу или сделке с ним, полагал он.

Эйнштейн посмотрел на своего собеседника. Тот был ниже его ростом, в очках, черные волосы, обычно выбивавшиеся из-под шапки, сейчас засунутой в карман пальто, были спутаны. И подумал, что именно из таких людей, обладающих даром веры в принципы, выходят замечательные педагоги. При этом они часто не осознают, сколь хрупки бывают порой стены соборов, возведению которых ими отдается столько сил и веры. Но что происходит с ними, когда вера уходит от них, оказывается вдребезги разбитой? Последнее соображение заставило Эйнштейна вспомнить об останках Голема, что будто бы хранились в комнате без окон и дверей на чердаке одной из пражских синагог. Темнота этого помещения вернула его к мысли о световых частицах, квантах, проникающих в него сквозь узкую щель, размером порядка длины волны. Какого рода диффракционную картину они создадут на противоположной щели стене?

Когда на следующий день Пауль Эренфест наконец попал в кабинет Эйнштейна в здании Физического института, тот, отвечая на вопрос, чем занимается в настоящий момент, пригласил Эренфеста подойти к окну, выходящему в парк. Глядя в окно, Пауль увидел, как по парку прохаживались люди; одни погружены были в глубокие раздумья, другие спорили между собой. Эйнштейн разъяснил Эренфесту, что сад этот является частью местной психиатрической больницы, добавив при этом: «Вот это те сумасшедшие, которые не занимаются проблемами квантовой теории».

Сам Альберт Эйнштейн верил в идею причинной взаимозависимости всех феноменов не только в мире неодушевленной природы, но и в мире человеческих эмоций и поведения. В написанном им предисловии к книге о Спинозе он сделал некоторые замечания, которые могли бы быть отнесены к нему самому: «У него не было никаких сомнений в том, что наша свободная воля (т. е. воля, не подчиняющаяся никакой причинности) является не более чем иллюзией, возникшей в результате нашей неспособности принять в расчет все те причины, что действуют внутри нас. В изучении этих причинных связей он видел путь преодоления страха, ненависти и горе-

чи, единственное лечение, к которому может обратиться мыслящий человек. Он продемонстрировал силу своих убеждений не только ясным и точным изложением своих рассуждений, но также и примером всей своей жизни...»

Позднее Эйнштейн и его гость предприняли прогулку по городу. Эренфесту захотелось увидеть дом, где, по преданию, жил доктор Фауст, продавший душу дьяволу в обмен на вечную молодость. Они перешли Влтаву по Карлову мосту и направились в сторону Вышеграда, к Карловой площади. Стоя против старых чугунных ворот, они долго разглядывали угловую башню старого дома, в потолке которого, согласно преданию, осталась дыра после того, как нечистая сила унесла доктора Фауста.

По дороге домой, проходя по покрытым влажным февральским снегом улицам в Смихов, друзья курили голландские сигары, и Эйнштейн сказал Эренфесту, что он напишет письмо Г.-А. Лоренцу в Лейден — Лоренц уходит в отставку и подыскивает себе преемника...

IX

Ничего не остается, как сесть за машинку, и назавтра Рубин говорит: «Ну что ж, какое-то начало... И не забудьте побольше ярких и эффектных сцен, — может быть, это придется переделать в киносценарий. Отчего вы смеетесь, я говорю совершенно реальные вещи... Я — старый волк. Когда-то я написал сценарий для кинокомпании „Межрабпом-Русь“ о Фердинанде Лассале. Вы слышали о такой студии?»

— А кстати, — тут он помедлил, — вы сможете уступить мне квартиру на пару часов? — он замолкает и глядит на меня из-под очков.

— Пожалуйста, — говорю я, — квартира в вашем распоряжении. Когда она вам понадобится? И где вы ее подцепили?

— На пляже. Ей двадцать четыре года. Она учительница с Алтая. Здесь впервые, и ей все нравится.

— И вы решили...

— Почему бы и нет... Завтра я с ней встречаюсь на пляже в два, потом мы придем сюда. Вы угостите нас чаем. Как ваша челюсть? — внезапно спрашивает он.

— Ничего, только ноет тихонько.

— Садитесь в кресло вот сюда, поближе, сейчас я буду вас лечить биополем. Я — экстрасенс, целитель.

Это абсолютно достоверный факт.

Он прикладывает прохладные пальцы к моей щеке, и так, в молчании, мы сидим минут пять. Как будто становится легче.

— Прекрасно, — говорит он, — несколько сеансов, и вы все забудете. Да, да, до завтра. И он уходит.

На следующий день он появляется у меня часа в три дня, насквозь вымокший. На улице гроза, быть может, величайшая со дня сотворения мира. Крыша гудит. За стеклами ничего не видно. Вода заливает все. Я предлагаю Бае переодеться и ставлю чай. Он сидит в кресле и курит.

— Я не нашел ее, — говорит он, — эта проклятая гроза...

XX

Две недели прошли, и Рубин улетел, взяв с меня слово, что я буду продолжать писать. Несколько раз я пытался объяснить ему свою основную идею: Эйнштейн не раз говорил, что в жизни человека его типа внешние события играют чрезвычайно малую

роль, гораздо важнее то, как и о чем он думал, и было бы только естественно, если бы это его замечание указало на искомый способ написания тех частей романа, что будут связаны с его фигурой...

— Кажется, что все это было так давно, — спросил я у Рубина, — мы сидели в кафе на бульваре и ели мороженое, не так ли?

Бая не сразу ответил, вместо этого он ткнул ложечкой в сторону молодого человека за соседним столиком. Тот был в голубой рубашке, глаза скрывались за сильными линзами в роговой оправе.

— Он стучач, — сказал Рубин, — вы разве не видите?

— Почему?

— Посмотрите на его нос. У всех стучачей нос туфелькой. Запомните это.

Выходя на улицу, он оглянулся и убежденно добавил: «Совершенно типичный стучач. Но ведь вы начали писать, — добавил он, — а кстати, что происходит в мире? Я забыл взять с собою транзистор». Затем в наш разговор вплетается голос из репродуктора, приглашающий на часовую морскую прогулку, билеты продаются в кассе на причале. Подгнившие за зиму доски причала уже заменены новыми, железные перила свежескрашены, с моря налетает легкий ветерок.

— Поехали на прогулку, Бая, — обращаюсь я к Рубину.

— Я слишком легко одет, — говорит Рубин, на руках у него выступили веснушки.

— А где ваша алтайская красавица? — спрашиваю я.

— Исчезла. На пляже я ее больше не видел. Черт с ней, со мной это бывает раз в год. А сейчас я поеду обедать.

— Давайте пообедаем в городе или у меня дома...

— Эти шашлыки мне надоели. Что у вас дома?

— Рыба, картофель, зелень. Можно попить чаю.

— Нет, — говорит Рубин, — меня ждет шикарный обед. Совершенно шикарный. Я не могу его пропустить. Хотите, поедем со мной. Я не смогу со всем этим справиться.

Я отказываюсь. Он уходит на троллейбусную остановку, предварительно покопавшись в карманах брюк в поисках троллейбусных талонов. В карманах у него лекарственные упаковки. Таблетки зеленые, розовые, желтые. А я остаюсь на бульваре. К вечеру надо взять такси и заехать за Рубиным в санаторий, а оттуда в аэропорт.

На прощание у меня состоялся забавный разговор с Рубиным.

— Бая, — сказал я ему, — я постараюсь все написать, я понимаю, это просто необходимо, в конце концов, это даже интересно, взять хотя бы три слова: райх, рай и раек, — в них есть какой-то ключ, мечта о рае чистого познания, Третий райх, и мы с вами, зрители из райка. Но как быть с последними годами его жизни?

— Он ошибался. Это общеизвестно, — сказал Рубин.

— Ну, это не тривиальный случай.

— Допустим, — согласился Бая, — что из того? — сняв очки, он решил протереть их темно-голубым, в крупную клетку платком. — Так что же наконец?

— У вас есть еще время, посадку не объявляли, посмотрите, какая очередь на регистрацию, давайте выйдем на воздух, выпьем кофе, и я расскажу вам, чего я хочу на самом деле.

— Только подайте мне стул, — потребовал он.

— Отлично, — сказал я, когда он уселся, — признаюсь, я хочу написать роман о вас, о вашей жизни, где я расскажу о вас ту правду, что я знаю, и ту ложь, что покажется мне необходимой и неизбежной...

— Я слушаю вас, — сказал он сухо. И я начал говорить, я не мог оставаться наедине с задуманной уже историей, искушение прыгнуть в грохот и молчание того времени не отступало...

В то время у меня не было сведений о том, что привело к временному охлаждению между друзьями, развившемуся за год до смерти или, вернее, самоубийства Эрэнфеста, но я полагал, что не наложи он на себя руки и окажись он в России, куда не раз порывался уехать из Голландии в начале 30-х годов, он неизбежно попал бы после войны в Сухуми, как попали туда сотрудники Института имени Кайзера Вильгельма, оборудование института и библиотека с журналами, которые любил перелистывать Штейн.

Надеялся я передать и то сильнейшее состояние отчужденности, что должен был переживать Эрэнфест в этом субтропическом краю, в пятидесятом году, когда начавшееся преследование космополитов освободило его от подневольной работы над созданием водородной бомбы; его страх за семью и последствия добровольного отказа переписки с Эйнштейном.

Я хотел вообразить его жизнь в этом городе, его отношения с немецкими коллегами, попавшими туда же после падения Третьего рейха, с представителями властей, контролировавшими деятельность вновь созданного физико-технического института, с коллегами по лаборатории; увидеть его на бульваре, услышать сбивчивую русско-немецкую речь, заметить блеск сильных, толстых стекол круглых очков и лохматую голову, вылезавшую из воротника пальто; возможное изменение истории и, среди прочего, так и не сыгранную в ней Рубиным роль...

— Я предполагаю написать о том, как вы познакомились с Эрэнфестом, приехав отдыхать в Гагру, и как к вам в руки попали его «Записки»... Он, как и вы, отдыхает в полупустом, закрытом для посторонних санатории. Вы знакомитесь, «Записки», естественно, на немецком, вы владеете этим языком почти совершенно, и, следовательно, как собеседник вы — просто находка для больного измученного человека, за вычетом первоначальной мнительности, столь естественной для того времени. Эрэнфест и обстоятельства его жизни производят на вас глубокое впечатление, его сын Пауль-младший незадолго до этого арестован, скорее всего за неосторожную болтовню, и «Записки» остаются у вас после того, как Эрэнфест тонет или добровольно уходит из жизни, имитируя несчастный случай — купание в бурном осеннем море, выброшенное на песок тело, следствие; затем все стихает, прежняя санаторная жизнь, кипарисы, колонны, шезлонги с отдыхающими... Позднее вам приходит в голову, что смерть могла быть и насильственной...

Прошло всего несколько лет с тех пор, как несчастная страна была втянута в дискуссию по вопросам языкознания, и когда вы впервые перелистываете «Записки», внимание ваше привлекает фраза Эйнштейна; он говорил о цветовых пятнах и образах, сопровождающих собственно мыслительный процесс, не нуждающийся как таковой в самих словах... Постепенно «Записки» увлекают вас, но вот беда — пытаетесь разобраться в мемуарах, вы ощущаете недостаток в некоторых специальных познаниях и невольно втягиваетесь в изучение, хотя бы и слегка любительское, этих проблем; тут не стоит пугаться слова любительское, оно означает лишь то, что открывается и в греческом слове «философия», определяющее нечто смущающее и почти непроизносимое, а именно — любовь к мудрости; итак, вы втягиваетесь в изучение этих проблем, втягиваете в эту аферу и меня, направляете меня в Сухум, и вот, преследуемый вами, я пишу этот роман и когда-нибудь, я предвижу, вы предъявите мне хранящиеся у вас

«Записки» и заставьте меня сравнить эти версии, оригинальную и мою... Зачем вы охотитесь за мной, зачем преследуете меня? — фраза срывается с языка, прежде чем я успел ее обдумать...

XI

Самолет взлетает, постепенно унося Рубина ввысь, на высоту десяти километров. Вскоре лайнер развернется над морем и пролетит над отрогами Кавказского хребта, направляясь на север; Рубина пригласили выступить на семинаре театральные деятели в Юрмале, на Рижском взморье. Он даже не знает, вернее, не помнит, что это за семинар, чему он посвящен...

— Что-нибудь я им расскажу, — говорит он на прощание, — мою теорию гротеска, что-нибудь о проблемах интерпретации или пару анекдотов, не забывайте, что я работал с Мейерхольдом. Нас осталось всего два-три человека...

Что до меня, то он неумолим. Я должен продолжать писать.

Рубин улетает, я возвращаюсь домой, а на дворе первая теплая, чуть глуховатая, с неярким светом звезд, синяя летняя ночь... Невероятное превращение — совсем недавно была зима, а теперь начинаются теплые синие ночи. Можно бродить, сидеть под деревьями, и не все ли равно, как складывалась моя биография, — теплые ступени, распахнутые настежь окна, ночные порывы ветра, в темноте хлопает оконная рама, летняя ночь...

Цветет камфарный лавр, его аромат преследует меня, воздух становится густым, солнечные влажные дни. Порой идут дожди, и ресторан на причале, где ремонт подходит к концу, красят в белый цвет с легким голубоватым оттенком. Теперь это нечто вроде «Наутилуса» на сваях. Однажды к вечеру я выхожу выпить кофе и пройтись по набережной и встречаю своего врача; он по-прежнему работает в больнице, издавна она кажется идеальным местом для писания романа. Нет, скорее это Пауль Эрэнфест, попавший туда с сильным воспалением легких, уже выздоравливая, начал бы там новую часть своих «Записок»...

Итак, я стоял у входа в ремонтируемый ресторан на причале, в конце которого располагался яхт-клуб, и толковал с моим врачом о романе как развернутой форме истории болезни и еще о чем-то подобном, и он предложил мне снова начать принимать ноотропил и чаще ходить на море по вечерам. Мимо прошла молодая женщина, и я отметил про себя, что она вполне могла бы быть моей знакомой по Москве или по Ленинграду. Потом я подумал об Ирине, она не звонила уже пару недель, и ее домашний телефон не отвечал на звонки.

Это напоминало легкое помешательство, порой мне удавалось взглянуть на себя со стороны: никогда я еще так не увлекался женщиной; это напоминало нескончаемый, тяжкий и сладостный, до оголения костей, бред, нескончаемое головокружение и падение, выламывание суставов во сне, когда не чувствуешь боли, но понимаешь весь ужас происходящего.

Но в конце концов, подумал я, все рано или поздно кончается, и, может быть, все закончилось?

XII

Конец мая. С утра я пишу, затем направляюсь к ученикам, а часам к пяти вечера еду на пляж. На пляже новые светлые матерчатые тенты в полоску: фиолетовую, синюю,

голубую. Сильные волны намыли на песке волнистые полосы серой и голубой прибрежной гальки. К закату пляж начинают убирать, и я возвращаюсь домой.

Когда все времяходишь в пустую квартиру, где тебя никто не ждет, кажется, что неизменное расположение предметов и парящие в лучах света с веранды пылинки — свидетельства остановившегося времени...

Однажды в конце июля, уже завершив занятия с абитуриентами, я обнаружил в почтовом ящике письмо из Принстона, Нью-Джерси, где Альберт Эйнштейн провел последние двадцать лет своей жизни. Один из распорядителей Эйнштейновского фонда прислал мне в ответ на мой запрос текст письма ученого к другу его юности М. Бессо. Оно было написано спустя примерно половину века после зарождения их дружбы. Вот самая важная фраза этого письма:

«Я благодарен судьбе за то, что она сделала существование волнующим переживанием, так что жизнь показалась осмысленной».

Часть четвертая

I. МОСКВА

Наступил конец года, и я привожу в порядок мои бумаги на квартире у Ирины, в Москве; сюда я привез чемодан с книгами и записями. Кроме того, я жду приезда Рубина, он обещал быть к вечеру. Живет он в центре, у родственников в обширной квартире на Васильевской. Квартиры в Питере уже нет, зато есть прекрасный дом в Кашире.

— Я вернулся в Москву, — говорит он, — объехав всю страну; Боже мой, где я только не работал...

В комнате у него много афиш, фотографии, книги, папки с вырезками, картонные коробки с бумагами. «Это мой архив, — говорит он, — больше у меня ничего нет...»

Звонит телефон — да, разумеется, я жду ее, а Рубин еще не появлялся. Кажется, она хочет присутствовать при моей встрече с Рубиным. Думаю, Рубин тоже не прочь с ней познакомиться. «Что это за женщина, у которой вы живете?» — «Кто этот Рубин? И почему ты не можешь уехать из Сухуми?»

В конечном счете Рубин согласился со мною, и в конце декабря я улетел в Москву. В глубине души я ощущал, что, возможно, затеваю бессмысленное предприятие, бросая квартиру, набережную и пляж, грядущих учеников, нескольких людей, что я ценил, возможность спокойно писать, но я не хотел терять Ирину; работа над рукописью шла неплохо, роман понемногу выстраивался, а прошлое постепенно оставляло меня, тоньше и острее переживал я каждое мгновение, — так почему бы и не попробовать, думал я...

Вокруг нас много музыки, и мы говорим, слова скользят, сталкиваются, вспыхивают и гаснут; сейчас я один, я жду ее... За окном черные деревья, снег, Старый Гай... В комнате бело, окно приоткрыто, сигареты не тянутся... Рубин, скорее всего, безумен — эта идея пришла мне в голову летом, незадолго до приезда Ирины, — Рубин безумен, вот и все, но мне трудно было бороться с моей потребностью искать во всем систему, все еще трудно было довериться беспечной подлинности самого бытия...

«Только в бегстве спасение», — думал я. Но я оказался не в силах поврать с Рубиным. А порой мне кажется — Рубин ведет со временем спор, более того, ареной спора становится моя психика, и я втянулся в эту игру с писанием романа и не могу из нее выйти.

В начале осени Ирина снова прилетела в Сухуми. Съёмки продолжались до конца октября, тут следует вспомнить море, набережную, Ирину в старом доме на горе, яхт-клуб и множество другого... В конце октября я подумал: я знаю ее уже год, я уеду, мне, наконец, следует жить в реальном времени... Рубину по телефону я говорил о том, что наступает зима, впереди самые суровые месяцы, что у меня ноют ребра, что мой врач советует мне на время сменить климат и что я, наконец, тоскую по снегу...

В конце концов я прилетел в Москву, Ирина встречала меня в аэропорту, мы доехали до Юго-Запада, потом долго ехали в метро, все грохотало вокруг, невозможно было говорить, и я думал: зачем я это сделал? Потом мы вышли на снег и мороз — на черный вечер, на белый снег, уселись в такси и поехали по полуосвещенной улице. Вокруг лежал снег, дорога меж домами пробивалась сквозь сугробы; мы поднялись в лифте на девятый этаж, свет в квартире был выключен, но за окном было светло, и я разглядел силуэт прикрепленной к стене ветви масличной пальмы — ее я привез сюда год назад...

Порой я вспоминаю Сухуми. Моих учеников — я объяснял им основы науки; иногда на уроках я испытывал приливы вдохновения, после чего, отправившись на бульвар пить кофе, я прикидывал, насколько расхочется мой образ, сложившийся в представлении учеников, с той реальностью, в которой я существую. Впрочем, до поры до времени чувство юмора или цинизм — хорошая защита, — правда, когда сталкиваешься с предательством, пустотой и цинизмом других, такая иногда накатывает смертная тоска...

Но море и бульвар все смывают, хотя бы до поры до времени... Больница тоже оказалась неплохой штукой в свое время, со многим удастся расправиться, лежа в больнице. Очень многим ты обязан друзьям, вспоминаешь яхт-клуб, набережную и солнечный свет...

Иногда, когда я долго сижу один и пишу, мне кажется, что я вовсе и не уезжал в Сухуми, а иной раз мне кажется — что-то утеряно... Меня постоянно тянет выпить, я открываю холодильник, наливаю в фужер немного водки, выжимаю туда дольку грейпфрута — а для чего еще нужен грейпфрут? — и выпиваю; понемногу, но довольно часто. Потом закуриваю, это помогает сконцентрироваться, и усаживаюсь писать.

II

Вскоре появился Рубин, и мы начали обсуждать кое-какие события и положения: отца Альберта Эйнштейна с его вечными коммерческими неудачами, мюнхенскую гимназию и дальнего родственника, обучавшего Альберта основам иудаизма, — бедный студент из Польши, изучавший медицину в Германии, его неизменно приглашали к ужину в пятницу; в доме зажигали к ужину свечи; тихий, замкнутый ребенок, толстый и медлительный, Альберт медленно осваивал речь, выкатывая слова и фразы с детскими вспышками гнева и ярости; его влекли огромные зеленые кусты во дворе, медленно утопающие в вечерней тьме, шорохи в траве, пламя свечи, порывы ветра, скрипящие половицы, сизые облака поутру и птицы на ветке — «...по дороге в гимназию я распевал гимны во славу Божию собственного сочинения...», но в двенадцать лет все кончилось, религиозный рай был утерян, — а там, вонне, существовал большой мир, существовал независимо от нас, людей, и изучение этого мира манило как загадка... Кончилось это тем, что юный Альберт бросил гимназию и сбежал из Мюнхена к родителям, перебравшимся к тому времени в Италию, с рюкзаком и скрипкой в футляре он перешел пешком альпийский перевал Сен-Готард, — Рубин допива-

ет чай, я провожаю его, мы спускаемся в лифте, подходим к остановке троллейбуса. На нем темная кепка, не лишенная элегантности, — жокейская кепочка куда-то исчезла, как и защитного цвета куртка; он подхватывает палочку под мышку, садится в троллейбус и исчезает.

— Ну что ж, — говорит он на прощание, — Ирина — славная женщина, на этот раз вам повезло...

Как далеко, однако, завел меня Рубин. А ведь все началось как будто невинно. Рубин бывал у нас на Некрасова, и когда я заговаривал с ним о театре или о чем-то подобном, он неизменно отвечал, что все это — чепуха, оставляя меня в состоянии недоумения, а однажды он принес сильно потрепанную книжку, «Принцип относительности», двадцать второго года, изданную в Петрограде, в бумажном, совершенно пожелтевшем переплете, и посоветовал ее прочесть, — «заниматься следует чем-то серьезным, а чепухой можно заняться и позднее», — сказал он...

Так, собственно, и получилось. И вот теперь я строю и перестраиваю свой роман, словно карточный домик, — этот же образ использовал и Эйнштейн, рассказывая о своей работе в 1916 году. Именно тогда он начал рассматривать свое существование как своего рода тюремное заключение и лишь всю Вселенную в целом как нечто единое и осмысленное...

Рубин разрешил мне порыться в его архивах. Странно, как они пережили блокаду? И не только блокаду. «Я их не сжег», — сказал Бая. Разнообразные подшивки, папки с вырезками, книги, стенограммы политических процессов и заседаний Лиги Наций, манифесты и декларации, копии секретных документов... В этом материале можно было утонуть...

— Почему ты столько говоришь о том, что было? — спрашивает Ирина. — Ведь главное — это твое будущее.

— Какое? Я его совершенно не вижу.

— А я?

— Да, ты, конечно, ты...

Она вздыхает — мне трудно понять все это. «Может быть, тебе нужна другая женщина, такая, как „краса“?»

Я вспоминаю женский портрет кисти Джулио Романо в музее на Волхонке: от него исходит ощущение темной, черной ауры, и подобное же ощущение остается у меня после встреч с этой высокой, крупной женщиной с темными, бурачными пятнами румянца на щеках, смолистыми черными волосами, стянутыми в тугую узел на затылке, и легкой, обдуманно-фортепианной манерой говорить. Недавно вместе с дочерью она вернулась жить в квартиру своего первого мужа, предложившего ей с дочерью разделить с ним кров. Произошло это вскоре после того, как ее вынудили уйти с филологического факультета — отголоски истории четвертого этажа, падения и смерти, а не только мать погибшего и связанные с ней персонажи все еще преследуют ее... Теперь «краса» зарабатывает чтением лекций от общества «Знание», разъезжая по городам и весям, и все оставшееся время проводит в библиотеках, пытаясь продолжать изыскания своего погибшего друга...

— Нет, нет, — говорю я Ирине, — ты мне очень нравишься.

За окном снег, зима, лучше всего нам, когда мы остаемся одни; однажды она спрашивает:

— А ты не думаешь, что в чем-то можешь ошибаться?

— Но я всю жизнь ошибаюсь, я вообще неудачник, классический неудачник, разве ты этого не видишь?

— Нет, не вижу, — отвечает она и смеется. У нее темные глаза, нос с легкой горбинкой, кроме того, меня волнует ее голос, глубокий, грудной. Она любит смеяться, глаза ее темнеют, она худощава, стройна, грудь девушки.

Она спрашивает, отчего я взялся именно за этот сюжет. По-моему, она находит его странным. И я начинаю рассказывать ей о встрече с Рубиным на выставке «Москва — Париж. 1900—1930», о его предложении, о том, что залы музея словно слегка осиротели с тех пор — музей стал тихим, успокоенным, куда же исчез супрематический пыл? «Шум и ярость» ушедшего мира? А может быть, Рубин — последний из его живых? Помню, он растолковывал мне макеты декораций к спектаклям Мейерхольда...

Через несколько дней мы направляемся в театр и по дороге, в такси, снова говорим о романе, теперь она серьезно настроена:

— Ннеужели это все случайно?

— А что не случайно?

Мы едем по направлению к центру, и она спрашивает:

— А что ты собираешься делать с романом, когда все будет закончено?

— Ну, может быть, его где-нибудь напечатают.

— Но на это надо убить очень много сил. И много лет.

— Что же я могу поделаться?

— Может быть, лучше написать что-нибудь другое?

— Зачем?

— Для того, чтобы это как-то реализовалось...

Мы проезжаем Кировскую площадь. Здесь когда-то искушал меня Рубин. «Магическое место, я здесь жил когда-то, — рассказывал Бая, — видите этот дом? Он был выстроен акционерным обществом „Россия“, квартиры разыгрывались в лотерею».

— ...Мне кажется, рано об этом говорить, — отвечаю я, — надо бы сначала закончить рукопись...

В этот момент мне приходит в голову, что я начинаю пользоваться работой над рукописью, как оборонительным сооружением, башней, стеной, подземным ходом, волчьей ямой... Итак, я вновь перехожу в оборону, а ведь я вовсе не искал этих ситуаций, — поразительно, как из случайных встреч, неясных поначалу пересечений и еще какой-то ворожбы восстанавливается, казалось бы, уже давно, казалось бы, разорванная ткань прошлой жизни...

III

За день до этого, проходя по Тверскому бульвару, я остановился у огромного, почти от пола до потолка, окна студии Коненкова. За стеклом, в глубине мастерской, — скульптурный портрет Альберта Эйнштейна. Сегодня мне удалось выяснить историю этого бюста. Выполнен он был в Принстоне.

Однажды во время сеанса Эйнштейн сказал Коненкову: «Сегодня у меня была встреча с хорошим другом, которого я два года не видел. Мы несколько часов гуляли в саду и молчали». Было это в 1935 году. Прошло два года с тех пор, как ушел из жизни Пауль Эрнфест. «...Мы несколько часов гуляли в саду и молчали». Альберт Эйнштейн жил в своей собственной вселенной.

Сегодня же я пытался рассказать обо этом Ирине. Она засмеялась: «Боже, какой ты умный!» — и мы решили поехать в театр. Я ею по-прежнему увлечен. Когда она

произносит фразу, подобную «Боже, какой ты умный!», ее смешливая ирония увлекает меня. Однажды я спросил ее: мы любим друг друга или это просто влечение? Я склоняюсь к последнему, для любви-страсти в наших отношениях не хватает глубинных напряжений, наши отношения более всего напоминают захватывающую игру. Возможно, мы оба хотим доказать себе, что у нас все впереди...

— Ты должен забыть о своем прошлом, — говорит она, — надо думать о будущем...

Я пытаюсь убедить ее, что в каком-то смысле наше прошлое и есть наше будущее, но эта идея ее не устраивает,

— Ведь ты пишешь совсем другое, — говорит она и продолжает: — Может быть, нам надо уехать в Штаты? Я ведь всего в своей жизни добилась сама. Мой отец был инвалид войны. Он все время болел. А мама работала и воспитывала меня и брата. Я не боюсь работы. Я люблю, чтобы все было сделано шикарно, с блеском... Ты видел платье Сони Делоне?

— Какие платья?

— На выставке «Москва—Париж»... Соня Делоне придумывала чудесные вещи. Я увидела ее работы, а потом я придумала модель и сама сшила платье с красными квадратами, а мой муж его совершенно не оценил.

Во второй раз я побывал на выставке с Ламмом. Недавно я получил от него письмо, он готовится к выставке в одном из университетов Восточного побережья и очень много работает; кроме того, ему приходится посещать огромное количество экспозиций, чтобы быть в курсе всего происходящего, пишет он.

— Ты что-то потерял, — сказала Ирина, — свой шанс, удачу, и я хочу тебе помочь, ведь ты это сам понимаешь, — и это сказано искренне, но чего-то мне не хватило, вернее, я понимал, она ждет от меня какого-то ответа, но я никак не мог оторваться от Альберта Эйнштейна и Пауля Эренфеста; в остальном я скользил и не мог, да и не хотел меняться; эта ее нота ожидания начинала угнетать меня, мне казалось, что за мной наблюдают как бы со стороны, что меня изучают, от меня чего-то ждут, и оттого я стал слегка играть, совершенно произвольно; я ловил себя на этом и поначалу пытался найти какое-то компромиссное решение; постепенно меня это стало раздражать: я терял ощущение свободы, пока наконец однажды я задумался, насколько совместима моя нынешняя жизнь с тем, что я пишу?.. Наш «роман», трансформируясь, вел меня в сторону стабильности, — но почему? — ведь мы почти случайно встретились на набережной, роман же мой, все нарастающая кипа испечатанной бумаги, уводил совсем в иные пространства...

IV

Между тем я время от времени созванивался с редакциями, ездил по разным адресам, заходил, предлагал рукописи ранее написанных вещей, встречался, беседовал, вновь звонил куда-то... и постепенно мне это надоедало, а вслед за этим медленно, но неотступно возникала перспектива совершенно неясного будущего... А пока я снова был в Москве, шла зима, липкий снег грозил засыпать все на свете, и, быть может, не будь Ирины, я снова вернулся бы в стародавние времена, когда меня преследовала история четвертого этажа, черно-белые фотографии, черные шторы, скрывающиеся за диафрагмой, подпираемой ощущением падения вниз.

Что ж, мне повезло в ту пору. Однажды, ближе к весне, когда на паркет уже легли желтые пятна света, я с непреложностью ощутил, что в рукописи моей пора появиться и Рубину, фантом его явственно обитал в комнате, оглашенной лишь звуком пишу-

шей машинки. Конечно, можно было бы и изгнать из сознания эту химеру, но я решил рискнуть и принял ее приглашающе-дружеский жест.

И пока маленький, безумный, как иероглиф, Рубин плясал в сияющих линзах паркетин, я постепенно приучился различать, отчаянно щурясь, впрочем, других участников исчезнувшего, но неистребимого прошлого; все они обитали теперь по углам, в роях пыли и пепле недокуренных сигарет, бликах на телефонной трубке, в радужных изломах стекла... — но к вечеру все отодвигалось, и мысли о странном сходстве моей ситуации с последним периодом жизни моего героя — да что героя, жизни моего знакомого, завершившейся падением с четвертого этажа, — посещали меня.

В конечном счете обнаруживаешь, что твое восприятие мира в сильнейшей степени зависит от твоей одаренности, от способности к концентрированным усилиям и еще от чего-то трудновычислимого и каждый раз чрезвычайно существенного. И вот эта малая щепотка соли решает иногда все, определяет весь характер биографии, но если эта способность ощутить порой почти неуловимую несобранность человеческого мира исчезает, все оборачивается против тебя, — начиная с великих концепций, казалось бы изгнавших эту несобранность из мира — цена им в их множественности, — и кончая лимонной коркой на асфальте, вызывающей хохот прохожих или скрытую иронию собеседников...

Позднее я переехал на другую квартиру и там уже заканчивал работу над рукописью. Совпало это с отъездом Ирины на съемки. Деньги у меня подходили к концу, следовало расклеивать объявления в надежде на будущих абитуриентов, так что я решил никуда не ездить, а поработать над рукописью; дело шло к концу, мне не следовало терять темпа, и я собирался поселиться в пустой квартире одного моего знакомого, сына которого я пообещал подготовить к вступительным экзаменам.

— Зачем тебе это? — спросила Ирина. — Почему ты не останешься здесь?

— Это все слишком сложно.

— Почему?

— Ты вернешься, и мы все решим.

— Хорошо, — сказала она, — как хочешь...

Самоуважение не позволило ей развивать эту тему дальше.

Незадолго до этого разговора Рубин предложил мне встретиться со знакомым ему кинодеятелем для обсуждения вопроса о будущем сценарии, написанном на основе романа, но я отказался, сославшись на то, что роман, в сущности, еще не закончен. Ирине же я признался, что вообще не верю в эти авантюры и сам не понимаю, отчего я когда-то поддался уговорам Рубина. «Вообще, в последние годы я плыву по течению, — сказал я — нападали на меня в ту пору словно затмения, — то, что я пишу, это, в конце концов, мое личное дело, сугубо личное...»

Когда Ирина вернулась, ее мать заболела, сын Ирины переселился жить к ней, появилась новая грань отношений; голос ее приобрел совершенно особые ноты, когда она обращалась к сыну: дыхание становилось глубже, явный элемент надежды, казалось, был адресован и мне, но она уже составляла одно целое с этим светлым, голубоглазым мальчиком...

Иногда я думал, что каким-то неясным, косвенным образом я помог им снова обрести друг друга. Я надеялся, что мы сумеем со временем разрешить наши собственные проблемы, порой мне казалось — прошлое возвращается, а иногда я открывал, что медленно теряю ее.

V

Так что же я по-настоящему знаю о Рубине, спрашивал я себя в ту пору, — его послужной список? его воззрения на Вселенную? то, что у него есть сын, о котором он никогда не вспоминает? что он состоял в знакомстве с самыми гротескными персонажами эпохи? Или то, что он — католик? В 1914 году он выстоял трое суток на паперти православного собора в Киеве, прося подаяния во имя Франциска Ассизского. «Это была наложенная на меня епитимья», — объяснял он. По какому праву он вторгается в мою жизнь? И почему я всегда поддаюсь его уговорам? Почему жизнь моя устроена так, что я порой теряю столь многое, но Рубин всегда остается со мной?

Он может исчезнуть, случайно объявиться, известить о себе открыткой, позвонить по телефону, затормозить проезжающий мимо автомобиль и, приоткрыв даерцу, прокричать: «Ну что же вы, чего вы ждете?» — и каждое его появление несет приметку и печать неоспоримой достоверности, — в то время как моя собственная жизнь приблизительно, эфемерна и нелепа, и по прошествии времени мои переживания кажутся мне лишь поводом для иронии, хотя в свое время я болезненно переживал происходившее...

Ирина постепенно отдалялась от меня, или, как это порой представлялось, я постепенно выходил из ее жизни, что добавляло призрачности в мое существование; только работа над рукописью, свет, шуршание листов, стук пишущей машинки, шорох смятой копирки, упругость ножниц и застывающий на пальцах клей, казалось, говорили мне: ну что ж, время идет, надо что-то делать дальше... лейбницевская магия порядка, столь свойственная Рубину, казалось, подчиняла и меня... А иногда я начинал верить: Рубин — мое будущее, и скрыться от него невозможно, просто мне повезло — я прозрел его, то будущее, что гонится за мной и неизбежно меня настигнет, все то, что составляет суть того, что следовало бы назвать «комплексом Рубина», что почти неизбежно выявится во мне со временем, если я не сумею изменить что-то в мой жизни, а может быть, это уже и невозможно...

Постепенно времена Рубина вливались в мое повествование — не без его заинтересованного внимания, кстати, а одна устроенная Баяей встреча мне надолго запомнилась.

— Сегодня мы поедem к одной замечательной даме, — сказал он, едва я открыл дверь, — в тридцатые годы она ездила с мужем в Париж покупать у немецких социал-демократов архив Маркса... Может быть, она сталкивалась с кем-то из наших героев... помогите мне снять пальто, — продолжал он..

— А кто был ее муж? — спросил я.

— Бухарин, — ответил Рубин, — он был вполне талантливый человек, я его слушал несколько раз, потом Сталин его расстрелял.

Мы вышли на улицу, я глядел на дорогу, ожидая такси, а Рубин продолжал говорить: «Вы знаете, что Мандельштам исчез в волне, последовавшей за его процессом, не случайно? Бухарин его несколько раз спасал... У меня есть материалы его процесса, — Бая дернул меня за рукав и повторил: — Ну вот послушайте, это из его политического завещания, — он помолчал, а затем вдруг произнес не своим голосом: — *Если ты умрешь, ради чего ты умрешь?.. И тогда представляется вдруг с поразительной ясностью абсолютно черная пустота...*»

Иногда я спрашивал себя: как жил все эти годы Рубин? Загадка эта сжигала порой спички — я забывал прикуривать, — куда же ушло его время?.. Ну да, разумеется,

он жил, ставил спектакли, обстоятельства, а позднее война кидали его из края в край... но что же утеряно — и не только им, а поколениями, иначе откуда взялся этот цинизм в соединении с ошеломляющей наивностью и добротой?

Пожелтевшие, ветхие страницы газет, протоколов и иных изданий, казалось, вопили о прошлом, но этот вопль был молчаливым, ничто вокруг не менялось, лишь чьи-то голоса порой обретали иллюзию реальности, данную в слуховой галлюцинации; погружение в работу порой пугало меня, а порой и притягивало смертно; я курил, пил чай и сидел у машинки, потом лез под душ, слушал музыку и снова садился за машинку, сигареты шли одна за другой до тяжелого мутного отвращения, кашля и приступов тошноты, но я должен был одолеть эту гору и ощущал, что медленно продвигаюсь к ее уже почти обозримой вершине...

Вокруг лежала гигантская, разомлевшая после ухода снега Москва, миллионы людей строили и доживали свои жизни, но вся она как бы отступила от меня, и лишь двое — Рубин и я — знали все об этом начинании, Рубин, его последний представитель, и я, историограф неудавшегося замысла. Я размышлял: почему Рубин избрал именно меня — и не находил однозначного ответа...

Иногда по странному контрасту вспоминалась мне фигура импровизатора из «Египетских ночей» — возможно, то была подсознательная тяга к обретению хотя бы относительной свободы, которую я, как мне тогда казалось, терял, погружаясь все тесней в мир существовавших до меня людей, что первыми ощутили нарождавшуюся несвободу, в средоточии которой обречены были жить все мы...

Похоже, это же ощущение определяло и мое внутреннее сопротивление идее работы над романом на предложенную Рубиным тему. Ведь даже в тот год, что прожил я в Сухуми, прильнувшем к синему порогу свободы, в доме, глядевшем всеми своими окнами на зыбкий морской путь, даже тогда бегство мое было неполным и неокончательным...

Но неокончательным было и само время, — казалось, оно задерживает дыхание в груди, как пловец, нырнувший в глубокий омут; и лишь немногие отваживались судить о времени и временах — те, кто уезжал из страны или отправлялся в тюрьмы и лагеря, храня и отстаивая свое несогласие, — да и те, кто доживал свои жизни, вернувшись из лагерей...

Последние интересовали и притягивали Рубина; поначалу казалось, что лишь общие элементы пережитого привлекают его, отдельные имена и события, как бы уходящие уже, медленно отступающие в историю, однако во всем его любопытстве к деталям и попытках время от времени высказать какое-то подобие окончательного суждения проглядывало и нечто иное...

Я помню, как внезапно предложил он А. М. Лариной рассказать мне особенно взволновавший его эпизод из начального периода ее лагерного заключения под Астраханью, когда двое солдат из охраны вывели ее за лагерную ограду и повели к расстрельному оврагу... В пору нашей встречи Ларина работала над книгой о пережитом, каждую законченную часть которой она копировала и укрывала в безопасном месте, опасаясь возможных обысков.

Быть может, в этом было потаенное желание вновь пережить молодость со всеми ее ужасами, но и ощущением жизни, прорывавшимся в ее рассказе, который Рубин выслушал напряженно, откинув голову назад, время от времени затягиваясь сигаретой... Легко было представить его за режиссерским столом, вне светового круга черной настольной лампы, освещающей лишь машинописный текст пьесы, тетрадь с пометками и пепельницу, полную окурков, меж тем как он, глядя на ярко освещенную сцену с актерами, пребывает в темноте...

Именно тогда я осознал, что в то время как решающие детали, связанные с поворотами в судьбах моих героев, неизбежно приходится выдумывать, какие-то иные приметы мне все-таки удастся отгадать, и в этом смысле писательское занятие естественно продолжает нашу жизнь в ее неопределенности и попытках наделить наше существование смыслом, выкристаллизовать свое послание... Помню, как преобразилась Анна Михайловна, читая по памяти политическое завещание своего мужа, начинающееся словами: «Ухожу из жизни. Склоняю свою голову...»; меня посетило ощущение, что ее голосом говорит со мной мертвый уже человек, в последние свои свободных дни потребовавший от своей молодой подруги заучить эти прозвучавшие после его смерти слова.

По счастью, ее не расстреляли, завещание она хранила в памяти девятнадцать лет, а теперь она рассказывала, как летом, вскоре после несостоявшегося расстрела, увезли ее вместе с другими заключенными в Сибирь.

«Дивное стояло лето, солнечное, жаркое, везли нас в теплушках через леса, а у железнодорожной колеи росли цветы, похожие на тюльпаны, жарки их называли, жарки» — так она говорила и словно молодела, становилась тоньше, стройней, морщины на смуглом лице разглаживались, а глаза синели.

Я выслушал ее рассказ и уже знакомое мне чувство вновь посетило меня: человеческие жизни взывали, требуя освободить их из темноты и молчания, детали и подробности обступали меня, казалось, требуя запечатлить их, — и что мог поделать я один со всем этим?

Старое ощущение вины и несовершенства охватило меня.

Так что же было существенным в наших биографиях, порой казавшихся мне столь эфемерными? Быть может, некоторое общее ощущение того, что выстраиваются они в зоне обширной и все поглощающей тени...

VI

Иногда я отправлялся побродить в центр, мне надоедало сидеть у себя на окраине, я чувствовал, что нужен перерыв, иногда мне хотелось поглядеть на рукопись как бы издали; и всегда в конце любого избранного маршрута тянуло меня на площадь Маяковского с возвышавшимся посреди людского торжища серым и уродливым монументом. Никогда, пожалуй, ничего подобного не смог бы вообразить даже и сам поэт-самоубийца, предлагавший в эпоху футуристического пыла выкрасить Большой театр в красный цвет.

В середине 60-х, неподалеку от площади, на Садово-Триумфальной, находилась мастерская Ламма, теперь отсылавшего мне письма из Нью-Йорка. Располагалась мастерская в подвальном помещении, в тесном соседстве с моргом Института судебно-медицинской экспертизы, отчего и летом в мастерской не стоило открывать окон, запах формалина мгновенно заполнил бы помещение, а со временем, уже после процесса над Даниэлем и Синявским, нам казалось порой, что время начинает медленно пятиться, и запах формалина, преодолев собственную метафоричность, постепенно заполняет все вокруг...

Однажды ночью в мастерской, в конце лета 1967 года, после длинного обсуждения возможностей осуществления какого-либо «акта протеста», как называл его Ламм, форма предстоящей манифестации внезапно открылась нам...

Несколько раз выходили мы на площадь в течение ночи, но сложилось все лишь к самому началу рассвета, когда почти пустая площадь оказалась без освещения, и мы устремились к глухому и темному ее центру...

Ламм нес в руке свой старый кожаный портфель. В нем были два больших стеклянных флакона с красной темперой, литолью. Не дойдя до памятника, нам пришлось остановиться и обождать несколько мгновений, пока глаза обжились в темноте, а уж затем проложить первоначально замысленную траекторию последовавших один за другим бросков, вслед за которыми литой серый силуэт Маяковского дважды вздрогнул, вздохнул, и два гребня ослепляюще яростного звона и гуль полетели над площадью, отражаясь от молчащих фасадов сталинского ампира, в проход под одним из которых мы нырнули, уходя от появления людей и то тут, то там выпыхивавшего в окнах света..

Наутро, когда мы пришли на густо запруженную площадь, все еще по-летнему яркий свет обволакивал плотную, почти неподвижную толпу; фокус площади теперь составляло кровавое, темно-красное пятно на чугунной груди поэта, замершей в момент максимального расширения в недостижимой для пешехода небесной высоте, притягивая взгляды толпы поверх суетившихся у памятника милиционеров и серых персонажей в штатском.

На краю одной из серебристых лестниц, тянувшихся к памятнику от двух красных пожарных машин, терялась на фоне серого подбрюшья монумента маленькая фигура пожарного, и на мгновение Маяковский с кровавым пятном на груди и серебристыми лестницами, тянувшимися к нему над толпой, напомнил мне конструктивистские композиции 20-х годов, создавая ощущение театра абсурда.

Люди в толпе, окружившей памятник, стояли молча или негромко переговаривались, возможно, и не зная о дважды прозвучавшем ночном колокольном звоне; странная то была картина, чуть сюрреальная: молчащая толпа, политая солнечным светом, серый монумент с красным засосшим пятном на груди и дергавшиеся внизу милицетские фуражки — водоворот молчания посреди требовательно шумящей Москвы.

Пройдя сквозь облако формалина, мы вернулись в мастерскую, и вот тут-то неодолимый смех облегчения охватил нас: мы это сделали, все получилась так, как задумано было, и мы могли спокойно глядеть в глаза друг другу.

Небольшое, в сущности, происшествие стало для нас определенной точкой, от которой мы вели отсчет своего несогласия — как события, а не только как постоянно присутствовавшего отношения, в чем мы никогда не были одиноки; так включенность «Черного квадрата» в историю своего времени отрывает его от технически несложной задачи оригинального выполнения, оставляя лишь эсхатологическую предугаданность в этой черно-белой иконе нового времени...

А пока мы были в прибежище нашей анонимной свободы, в мастерской, где хозяин ее мог изобретать сколь угодно изощренные системы перспективы, в подполье, возвращение куда всегда порождало ощущение пересечения границы оставленного позади торжища и погружения в иное течение времени...

Иногда мне казалось, что вывела нас из мастерской на площадь потребность защитить свое подполье, соединенная с желанием ограничить присущие нашей красной империи линейную упорядоченность и агрессию, уже в следующем году затопившие танковым гулом улицы и площади Праги...

Впрочем, империя наша просуществовала еще два десятилетия, но даже и в начале 80-х годов уже никто не осмелился бы повторить слова Надежды Мандельштам, сказанные ею автору известной книги конца 60-х годов: «Я слышала, вы писали, что этот режим не просуществует до 1984 года. Чепуха! Он просуществует еще тысячу лет!»

И лишь другое, по ассоциации припоминаемое, подполье — метро, где империя молча взирала на своих граждан, говорило, казалось, о другом: бронзовые, в три

четверти натурального роста пионеры, собаки с пограничниками и пролетарии Шадра, молча взиравшие на струившиеся под низкими сводами людские толпы, наводили на мысль о глубинном, «внутреннем метро», где вне пределов обыденной досягаемости путешествует на убранной цветами железнодорожной платформе хрустальный саркофаг с набальзамированными останками автора книги «Марксизм и вопросы языкознания», путешествует под ярким электрическим светом пустых и прохладных станций «внутреннего метро», под дежурными зелеными огоньками длинных и темных подземных путей; путешествует, не останавливаясь, по сложному, веерному узору подземных венозных проходов пораженного проказой мозга...

VII

Однажды я встретил Ирину поблизости от площади Маяковского. Было около двух, и мы зашли пообедать в «Пекин». Есть что-то очень успокаивающее в остатках помпезного великолепия старых гостиниц и ресторанов. Я часто пытался представить Рубина в этих интерьерах, но не его сегодняшнего, а Рубина того 1950 года, когда он ставил пьесу автора, скрывавшего свое имя под псевдонимом, и когда за ним и грузинским актером, репетировавшим роль Сталина, подъезжал к гостинице «Москва» черный, лакированный лимузин, доставлявший их обоих в театр...

Через пару дней я заехал к Ирине днем — ветвь масличной пальмы исчезла со стены, повисев на ней две зимы. «Мама выбросила, — объяснила Ирина, — на ней пыль оседает». Я припомнил бесконечную борьбу за чистоту и против курения, что вела эта пожилая женщина, ее медленные причитания: «Ну, Боже, как не стыдно? как не стыдно? все пепельницы полны окурков, как же так можно, а?»

Мне стало не по себе, что-то у меня было связано с этой ветвью, я помнил, как нес ее по снежному полю аэродрома, а где-то впереди, за стеклом, ждала меня Ирина; потом, на стене, ветвь обратилась в знак, иероглиф прошлого — набережной, где дважды в год обрезают пальмы.

Ну что ж, каждая вещь должна была обрести свое место в мироздании, да и мне тоже, наверное, не следовало больше сюда приезжать, — но я почему-то медлил, потом я закурил сигарету и поглядел в окно, на шеренгу одинаковых домов, — что было бы, если бы я попал в какой-то из них?

Но странным образом, и после завершения работы над рукописью я никак не мог остановить свои разыскания, связанные с жизнью человека, возникновению интереса к которой я так или иначе обязан Рубину. Способствовали тому не только не покинувший меня интерес к судьбе Эренфеста, но и изменившиеся исторические обстоятельства.

Научные достижения Эренфеста, его дружба с Эйнштейном, его тесная связь с Россией, где он провел ряд лет в начале века и куда не раз позднее приезжал, выражая при этом желание переехать насовсем; связь, возникшая благодаря его женитьбе на Т. А. Афанасьевой, — все это было причиной того, что имя его стало все чаще появляться в разнообразных публикациях начала 90-х годов, вплоть до материалов дела Льва Ландау; в них уже ушедший к тому времени из жизни Эренфест упоминается следствием как агент германского Генерального штаба.

Да и многие другие обстоятельства начала 30-х годов стали яснее для меня, и теперь, несколько лет спустя, я лучше представляю обстоятельства и положения того периода жизни Эренфеста, что был отмечен охлаждением с ближайшими ему людьми: женой, Альбертом Эйнштейном и старым петербургским другом А. Ф. Иоффе.

Вот что писал в своей книжке воспоминаний Иоффе:

«Однажды в конце 20-х годов группа германских ученых, воспользовавшись одной из судебных ошибок, составила антисоветское воззвание, под которым я обнаружил подпись Эйнштейна. Когда я показал ему, что случай, о котором шла речь, — только повод для выступления против Советского Союза, он ответил, что не подумал об этом, но подписал по телефонному звонку Планка. Я спросил, считает ли он правильным, что в период борьбы нового социального строя с предрассудками старого Эйнштейн оказывается по ту сторону баррикады, в лагере прусского капитализма. Он ответил: „Конечно, нет, я бы не подписал, если бы думал о последствиях. В будущем я не буду участвовать в политических действиях, не посоветовавшись с вами“».

Этот отрывок произвел на меня странное впечатление. Напоминал он какие-то фрагменты из судебных протоколов 30-х годов, жестко отредактированные и намеренно неясные в деталях. Ничего не говорилось в отрывке об Эренфесте, да и датировка Иоффе — «конец 20-х годов», — как оказалось, не соответствовала реальности. В действительности речь тут идет не о судебной ошибке, а о бессудном расстреле 48 специалистов во главе с профессорами Е. С. Каратыгиным и А. В. Рязанцевым. Расстреляли их в конце сентября 1930 года, то есть менее чем через месяц после первого сообщения в официальной прессе об аресте сотрудниками ГПУ ряда ученых и технических специалистов, обвиненных в саботаже и организации голода. В октябре того же года в немецкой прессе появился протест, осуждающий эти казни. Под ним стояла и подпись Эйнштейна. Но уже в сентябре следующего, 1931 года в одной из российских газет было опубликовано заявление Эйнштейна, объясняющее, отчего он снял свою подпись с заявления.

«Эту подпись, — писал Эйнштейн, — я дал тогда после длительного колебания, доверяя компетентности и честности лиц, просивших о ней у меня, и, кроме того, я считаю психологически невозможным, чтобы люди, несущие полную ответственность за работу по исполнению важнейших технических задач, намеренно вредили цели, которой они должны были служить. Сегодня я глубоко сожалею, что дал эту подпись потому, что потерял убеждение в верности моих тогдашних взглядов. Я тогда не осознавал достаточно, что в особенных условиях СССР возможны вещи, в условиях для меня обычных совершенно немислимые».

И далее:

«Если я, естественно, не мог убедиться в вине осужденных, то теперь мне кажется, что при господствующих ныне в России отношениях, отнюдь нельзя считать возможность вины полностью исключенной».

Но подобного рода подход к морали, приводящий к формулировке определенного «морального неравенства», учитывающего «особые условия России», был совершенно неприемлем для Эренфеста, и в этом, пожалуй, его существеннейшее отличие от остальных его коллег и друзей, находивших те или иные решения дилеммы, преподнесенной с прокурорской гротескностью в мемуарах А.И. Иоффе.

Зимой 1932—1933 годов Эренфест в последний раз побывал в России, и все биографы отмечают конфликт между ним и его старым другом Иоффе.

Вскоре после этого, в марте 1933 года, Эйнштейн опубликовал свое заявление о происходящих в Германии событиях. В нем он, в частности, писал: «Любой общественный организм так же, как любой индивидуум, может заболеть психически под действием напряжения...» В середине Европы целая нация постепенно сходила с ума.

В апреле того же года Эйнштейн был изгнан из Прусской академии наук и стал эмигрантом.

В мае 1933 года Эренфест направился в Берлин, пытаясь в ходе переговоров со Штарком, в прошлом коллегой и добрым знакомым, а ныне — главным имперским

советником по науке, облегчить судьбу ученых неарийского происхождения. Поездка не принесла результатов, и депрессия его усилилась.

21 сентября Пауль Эрэнфест вернулся в Лейден из Копенгагена, где проходила научная конференция, после которой ряд ее участников отправился в Ленинград, где уже 24 сентября открывалась конференция по физике ядра. 25 сентября Эрэнфест ушел из жизни. Может быть, нравственная невозможность поездки в Ленинград после конфликта со старым другом ускорила его кончину?

Л. Э. принимал участие в той ленинградской конференции и рассказал мне, что участники были потрясены сообщением о гибели Эрэнфеста. Он же припомнил, что для участников конференции был организован просмотр спектакля «Кумыс» по пьесе А. И. Рубина.

VIII

Постепенно я пришел к заключению, что какие-то биографические детали не так уж и важны, ведь границей любой биографии оказываются биологические события — рождение и смерть, следовательно, каркасом любой биографии становится природный процесс, а не мысли, деяния и чувствования... Но как говорил один историк, через этот каркас телесной жизни человека с ее детством, зрелостью, старостью, его болезнями и всеми случайностями существования проходят потоки мысли, его собственной и чужой, проходят свободно, как морские волны через останки заброшенного корабля.

Итак, я пытался следовать этим принципам в своей работе; менее всего интересовало меня скрупулезное, достоверное изложение подробностей и неукоснительная строгость в воспроизведении исторической канвы. Новая, параллельная уже история проступала сквозь каркасы придуманных и лишь в какой-то части реальных биографий...

Заканчивая работу над рукописью, я просидел над ней всю ночь. К утру я решил побриться, принять душ и отправиться в центр города. Мне захотелось пройти мимо мастерской Коненкова, где за стеклом стоял скульптурный портрет Альберта Эйнштейна, поглядеть на него и направиться вниз, к Арбату. Я ощущал себя в том состоянии, когда лихорадочная работа уже закончена, и ты по инерции прокручиваешь в сознании всю эту махину прошлого — эмоций, совпадений и контрастов; словно бы паря над обширной равниной, выглядываешь сверху сближения и пересечения дорог, только что пройденных твоим войском, фиксируешь частичные удачи, потери, и, зная, что уже почти ничего нельзя изменить, снова делаешь вираж для того, чтобы взлететь еще выше...

Вот так механически брел я по квартире в утреннем свете, жуя хлеб, запивая молоком, искал электробритву, зеркало, розетку, а перелопачивание сознания все шло и шло, пока я не взглянул в зеркало и, глядя на зеркального двойника, поймал взгляд Рубина; тому виной могли быть и красные веки — но я поймал отраженный взгляд Рубина, и меня охватила привычная утренняя дрожь; только теперь я почувствовал усталость...

Я сварил кофе, закурил сигарету и подумал, что следует слегка изменить давно загаданную последнюю фразу «...мир стоит перед нами, как огромная вечная загадка», — слова принадлежали Альберту Эйнштейну, но теперь они уже не были необходимы...

Я внес исправление, но не ощутил чувства освобождения, что-то недосказанное все еще преследовало меня; я вспомнил о чечевичной похлебке, за которую продано было право первородства, — нечто подобное, быть может, переживал и Эрэнфест, высланный в конечном счете в Сухуми...

Через несколько дней я отвез копию выправленной рукописи машинистке, а сам отправился в Ленинград.

Вернувшись, я встретился с Савельевым из «Науки и нравственности» и оставил ему экземпляр машинописной копии взамен обещанной когда-то статьи о суициде, попросив его прочитать рукопись не торопясь. Редакция находилась в ту пору на Ново-Басманной, на обратном пути я перешел мост над железнодорожными путями и вышел к Красным воротам. Было еще прохладно, несмотря на апрель, и я вдруг почувствовал себя свободным от этой поглощавшей меня истории с Эйнштейном и Эренфестом. Снег давно уже сошел, хотелось просто жить; ветер ломил горло, и я направился в магазин за шампанским и сигаретами, я собирался поехать к Рубину и отметить с ним окончание моей работы. Кроме того, я хотел просить его помочь подыскать мне жилье в центре.

Поначалу мне казалось, что он не слушает. Откинувшись в кресле, он рассеянно листал рукопись, затем взгляд его уперся в текст на последней странице, и он медленно прочитал вслух:

«...старый бревенчатый причал покачивается, принимая удары катеров, крейсирующих по маршруту „Город—Пляж“. Камни паранета еще сырые, но на них приятно сидеть; светит солнце...»

— Так на кой черт вам квартира? — воскликнул Рубин. — Сейчас здесь бессмысленно находиться... — он медленно отпивал шампанское, — дайте мне сигарету. На кой черт вам квартира? Вы не хотите поехать в Сухум? — спросил он. — Там у меня квартира пустая...

— А рукопись? — спросил я. — Надо же ее как-то пристраивать?

— Снимите копии и раздайте всем, кому пожелаете, к осени они окончат читать и что-нибудь промямлят, — я был поражен легкостью его слов: на кой черт я писал все это? — Или вы думаете, что в мире что-то изменится, оттого что вы написали роман?

Тут я захохотал. На его вопрос можно было ответить совершенно точно: на Васильевской сидели двое сумасшедших, написавшие роман в складчину, и распивали шампанское. Почему я принял его когда-то всерьез? Только потому, что давно знал?.. Впрочем, похоже, что ничего другого мне и не оставалось, подумал я... Хохоча, вздевая к потолку руки, отправлял он меня в Сухум...

XIX

Прилетев в Сухуми, я отправился на старую свою квартиру. Был солнечный день, дверь щелкнула, и я снова вошел в ушедшее время — пылинки мириадами миров висели в солнечных лучах. Ветви мимозы разрослись и лезли в окно, пытаясь утопить море в зеленой чешуе. Я оставил вещи посреди кабинета и направился на бульвар с намерением зайти в яхт-клуб. Там я встретил лечившего меня когда-то врача, кто-то подбросил его на машине к бульвару после окончания дежурства в больнице.

— Я знал, что ты вернешься к лету, — сказал он.

— И вы, Марлен Александрович, как всегда, были правы, — ответил я.

Той ночью мне приснился Рубин, играющий в бильярд на зеленом сукне, потом стало темно, бильярд исчез, сукно растворилось, бильярдный шар оказался медленно вращавшимся звездным скоплением, тут же выплыл Рубин, желтоватый, фотографический, прозрачный, — он продолжил игру, галактики вспыхивали и гасли, разлетаясь по лузам, — и то, что я видел, раздваивалось, умножалось, сплеталось...

Тут я проснулся, ночь постепенно таяла, уже можно было различить старые фотографические пейзажи Сухума в черных рамках под стеклом, висевшие на стенах; глаз брел от старого кресла к книжной полке и хрустальной пепельнице и тут же упирался в афишу с именем и титулами Баи, — да, он преследовал меня, но что-то должно было преследовать и его... тут я вспомнил снег и падение, чужую ненаписанную книгу о Мандельштаме и его медном всаднике, — неужто Рубин, — думал я, — сохранил свой страх перед медным истуканом, ведь его же не сажали, не высылали, не расстреливали? Или оттого-то страх и не умер, что с ним ничего не случилось, что он всего избежал, и смутное ощущение постыдной участи угнетало его?..

Наутро я стал убирать квартиру. Я собрал черновые записи и заметки и сжег их во дворе. Затем я собрал ненужные уже книги и сvez их в букинистический магазин. Потом позвонил Штейну. Все как будто начиналось сначала. Через неделю, направляясь в кафе на бульваре, я обнаружил в почтовом ящике письмо от Рубина и сунул конверт в карман.

«Наконец-то я прочитал вашу вещь целиком», — писал Рубин. Тема камеры-обскуры, в темном чреве которой жили и погибали вселенные, увлекла его. Дальнейшие его рассуждения были связаны со Вселенной, породившей себя и нас, ее наблюдателей. «Неужели нам суждено, — вопрошал Бая, и я ясно видел вздетые вверх кисти его рук с белой, морщинистой, в пергаментных пятнах кожей, — неужели нам суждено вернуться к великой концепции Лейбница о предопределенной гармонии? И не наше ли участие придает смысл Вселенной?.. Ведь все, о чем я пишу, не может быть цепью случайностей...» — утверждал он, признаваясь далее, что в наибольшей мере Вселенная напоминает ему часы...

«Это просто огромный часовой механизм, — пояснял он, — но, разумеется, гораздо более сложный, чем те часы в футляре и с маятником, что стоят у меня в кабинете... — тут я припомнил нашу беседу на Пушкинской площади, — а мы не что иное, как часовые механизмы, живущие внутри другого часового механизма, — и все это порождение времени, которое создано, чтобы познать и измерить самое себя...»

Далее Рубин пускался в рассуждения о разнообразных связях, пронизывающих Вселенную, так на страницах его письма вслед за множеством часовых устройств и механизмов появлялся и призрак часовщика, впрочем как бы порожденного вздохами, звонами и биением бесчисленных пульсов... тут на мгновение мной овладела тревога, — я увидел Рубина в его жокейской шапочке, потертых брюках, с палочкой в руке, приближающегося ко мне в весенней чистоте бульвара...

Я узнал его, он шел со стороны маяка — соавтор моей нелепой, но единственной вселенной...

Предприятие наше вовсе не закончилось крахом, — сообразил я. История чужой жизни, гибели и тлена, рассказанная в романе, захватила его, и, завершая свои безумные кавалерийские атаки, он наконец выразил и осознал свой единственный, но фундаментальный принцип.

Протяжный гудок с суденышка, покидающего причал, смысл вереницу химер...

Буксир вспенил воду; на бульваре весна; пальмы уже подстрижены; Рубин исчез, слышно лишь постукивание об асфальт палки слепого, сторбленного старика, проходящего мимо. К столику подошла женщина и тряпкой стерла сухие кофейные иероглифы и пятна. Стол снова чист, с катера на синем пятне залива доносится музыка, мир стоит перед нами...

Часть пятая

I

В гуле и грохоте, сопровождавшем начало распада последней великой империи, смерть Рубина, значившая для меня конец целой эпохи, произошла незамеченной; мысль о том, что «простоит все это еще тысячу лет» уходила уже в никуда, или в историю, как уходил в нее и Рубин осенью 1988 года. Направляясь в Москву на его похороны в поднимавшемся над морем аэробусе, оставляя накренившиеся горы и Сухум под вздернутым правым крылом, я представил, сколь скромным будет прощание с ним: ни лафетов с безумными лошадьми, ни рыдающих пионеров, ни горестных людских толп; и неожиданно ясно услышал я вдруг в зените покоренной высоты его голос — он читал любимые свои, из раннего Маяковского, строки...

И вот

Я захохочу и радостно плюну,

Плюну в лицо вам,

Я — бесценных слов транжир и мот...

Теперь, через семь лет после нашей встречи на выставке в августе 1981 года в залах музея на Волхонке, я вспомнил о когда-то полученном от него разрешении — молчаливом разрешении, почти молчаливом, выраженным лишь фразой «Я слушаю вас», — в ответ на мое признание о том, что я хочу написать роман о нем, о его жизни, где я расскажу ту правду, что знаю, и ту ложь, что покажется мне необходимой и неизбежной.

II

Сухуми в ту пору постепенно терял свое идиллическое очарование, ведь несмотря на то, что я уезжал из города время от времени, я все больше уходил от своего первоначального статуса курортника. Возвращаясь, я заставал все более горячие дискуссии в кафе, пока еще не переметнувшиеся на улицы и площади, с отзвуками старых счетов и неутраченных распрей, все чаще принимавших параноидальный характер.

Порой казалось мне, что дискуссии эти являются странным послесловием к книге Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», где, среди прочего, Сталин рассуждал об «аномальных, безъязычных людях, глухонемых, у которых нет языка и мысли которых, конечно, не могут возникнуть на базе языкового материала», и все чаще и настойчивей приходила в голову мысль о том, что недалеко уже то время, когда мне придется покинуть и дом Рубина, и Сухум, а заинтересованность моя в выяснении деталей истории обретения Рубиным дома на этом теплом морском берегу, объяснялась, по-видимому, чувством этой близящейся и неизбежной утраты. Присутствовало, возможно, как это представляется мне теперь, и желание установить метафизическую, быть может, в сущности своей связь Рубина с этой окруженной горами бухтой и небережной, со светлыми пятнами домов на холмах и выходящими в море причалами...

Основан был городок братьями Диоскурами, спутниками Ясона по его экспедиции в поисках золотого руна. Позднее, однако, прибрежная его часть в результате гигантского оползня или землетрясения оказалась на дне бухты вместе с остатками греческих кораблей, амфорами и надгробными стелами. Может быть, об этом думал Осип

Мандельштам, когда написал весной 1930 года: «В начале апреля я приехал в Сухум, — город траура, табака и душистых растительных масел».

Принадлежавшая Рубину квартира располагалась на втором этаже старого дома постройки начала двадцатого века на склоне горы Чернявского. Дом с обращенным в сторону заката балконом над небольшим двором и разросшимся до гигантских размеров кипарисом отстоял от поднимавшейся в гору дороги. К дверям квартиры вела отдельная лестница с нависшими над ней ветвями хурмы. Нижний этаж дома упирался в склон горы и использовался под хозяйственные помещения. Соседи Рубина, миновав ворота и общий двор, поднимались в свою квартиру по выложенным из кирпича ступеням с другой стороны дома. По утрам долетал до балкона школьный звонок со двора основанной в середине прошлого века первой русской школы, носившей с тех пор имя Пушкина.

С утра я обычно работал, а во второй половине дня направлялся на набережную, пил кофе и отправлялся на пляж на другой стороне бухты. Катер отходил от причала, и тысячелетия, покачиваясь, отступали. Вскоре глаз обнаруживал устье реки, что впадала в море, огибая гору Баграта с остатками крепостных стен на вершине, все еще ясно различимых за тремя кипарисами. Скамьи на корме были нагреты солнцем, леера слегка дрожали в такт мотору, и катер слегка покачивало, когда, пересекая бухту, он подставлял бок тугой волне. С катера город выглядел неизменным: вначале обрисовывалась полоса набережной с белыми зданиями театра и гостиницы, выступали в море причалы, а затем уже возникали холмы, на которые он карабкался домами, виноградниками и кипарисами, постепенно уступая место предгорьям, горам и покрытым вечными снегами вершинам.

Осенью, во второй половине дня, пляжи были полупустые, и я издали замечал Веру, когда она приезжала на пляж. По дороге к аэрарию, где я обычно валялся с книжкой в руках, она заскакивала в душевую и выходила оттуда уже в купальнике с большой сумкой в руке. Подойдя ко мне, она бросала сумку на лежак, усаживалась рядом с сумкой, подтягивала длинные загорелые ноги к подбородку и тянула руку за сигаретой. Темные волосы ее были связаны узлом на затылке, и она чуть шурила серые, с зеленоватым оттенком глаза. Капли воды быстро высыхали на ней, и мы шли плавать. Вера преподавала музыку и жила по соседству, в доме родителей, выстроенном в начале века, когда пришельцы из России, вытеснившей с этих берегов Турцию, стремились воссоздать на этом побережье атмосферу французской Ривьеры.

Отец ее, доктор Поликарпов, был довольно известный в этих краях врач, во всяком случае, имя его было знакомо всем жителям городка; дед ее, по отцовской линии, был врачом в первой в городе больнице, основанной профессором Остроумовым, в числе пациентов которого был и Чехов; мать, в девичестве Софья Церетели, — член городской коллегии адвокатов, — редко появлялась в юридической консультации или в суде, предпочитая большую часть времени проводить дома, принимая клиентов в кабинете с уцелевшей со старых времен замечательной библиотекой.

Выйдя из воды, мы снова курили, а потом Вера рассказывала мне городские новости. Так, в разговорах и плавании, пролетало несколько часов, а затем мы спешили на последний катер, уходивший в город... Иногда возвращались мы домой пешком по аллее, следовавшей вдоль приморского шоссе. Усажена она была с обеих сторон кипарисами и кустами олеандра, с ветвями, покрытыми белыми и розовыми цветами, висевшими над высокой травой, источавшей ароматы уходящего лета, смешанные с запахом осыпавшихся хвойных иголок и моря. Аллея скользила вдоль сплошной темно-зеленой ограды, за которой простирался огромный парк, поднимавшийся в гору, к зданию, построенному в стиле альпийского шале, что некогда служило дачей Сталину.

В начале двадцатого века поместье это принадлежало земскому деятелю и любителю садоводства Смецкому, передавшему все свои владения в дар новой власти, — так сберег он свою жизнь и получил право дожить ее в небольшом домике у ворот сада, куда мы несколько раз заходили не только ради дендропарка с цейлонскими пальмами, и прогулки по дороге, серпантинном огибавшей гору, но ради того последнего вида на море и город, что открывался с верхней площадки, откуда море представлялось уже огромной сине-голубой сферой с неясными, загибающимися краями...

Сама же аллея, следовавшая приморской дороге, впадала постепенно в город и вскоре приводила к подножию горы Чернявского, где мы жили, неподалеку от моста, легко пересекавшего мутную речку с берегами, поросшими ивой. Пробежав еще пару сотен метров, речка впадала в море, а мост над рекой упирался одним своим концом в площадь с аптекой, когда-то выстроенной немецкими военнопленными. Миновав площадь, шоссе, уже утерявшее свою приморскую степенность, начинало подниматься в гору с выстроенными на ней особняками и виллами, позабытыми о прежних владельцах, когда-то возвращавшихся сюда с Николаевской набережной в конных экипажах.

Возвращаясь после прогулки, начинавшейся на приморском шоссе и продолжавшейся затем вдоль ползущих по горе улочек, заполненных ароматом камфарного лавра, я любил ощущать на ногах легкий, чуть искрящийся слой придорожной пыли; с Верой же, которая жила на соседней улочке, утопавшей в виноградных беседках, связаны в моей памяти смешавшиеся с запахом моря и солоноватой смуглой кожи ее ароматы камфарного лавра и магнолий.

Иногда, когда случалось, что я заходил за ней домой, меня неизменно угощали кофе и фруктами, а доктор Поликарпов, любивший поболтать, склонен был пускаться в воспоминания. Всегда безупречно одетый, он рассказывал интересные вещи, которым вряд ли мог быть свидетелем. Так, почему-то любил он рассказывать о пребывании Троцкого в этих краях в 1924 году...

Мать доктора Поликарпова была гречанка, дед — негоциантом, торговавшим табаком; был он смугл, а его русский язык — совершенно безупречен. Супруга же его, Софья Церетели, постоянно курила и, как я помню, глядела на меня любезно, но с некоторым недоумением. Более всего погружена она была в чтение газет и заботы о своем внуке, высказываясь время от времени о том, что в наши времена молодежь, увы, не умеет сохранять свои семьи. Относилось это замечание, как я полагаю, к неудачному браку Веры. В поведении Веры, однако, при всей ее молодости, присутствовало нечто связанное, по-видимому, с южной кровью: какой-то внутренний опыт и интуитивное, но не всегда осознанное, понимание тех сложностей и неясностей, что почти постоянно сопутствуют нам. Сухуми был идеальным обрамлением для нее. Ей нравилось быть независимой, и связи ее с городом, окружением и близкими казались нерасторжимыми.

III

Что же до Рубина, то он впервые попал в эти края осенью 1955 года, спустившись по трапу на причал с борта теплохода «Петродворец», прибывшего в Сухум рейсом из Одессы...

Помню его рассказ о здании морвокзала, построенного руками немецких военнопленных в первоначальной попытке прикрыть деревянным, выкрашенным синей краской фронтоном с колоннами зияющие прорехи убогих дворов, обступавших площадь, откуда тянулся в море длинный язык пирса, — сугубо временное это строение с истинно немецкой добросовестностью служило людям почти три десятилетия,

а в пору первого появления Рубина на набережной было предметом тихой, но оживленной дискуссии на немецком, которая привлекла его внимание, чуть только он уселся за столик в кофейне.

Естественно, то были немецкие ученые из Института имени Кайзера Вильгельма, попавшие в эти края по окончании Второй мировой войны в качестве военнопленных, на работу.

К середине 50-х годов почти все немецкие ученые постепенно вернулись из Сухуми на родину, оставив позади себя легенды о тайном вредительстве; до нынешних же времен дотянул лишь один уроженец Вены, женившийся на поварихе, — хромоногий и элегантный пожилой мужчина, всегда в сером в полоску костюме и галстук; с залысиной, в начищенных туфлях и с навсегда застывшей на лице маской заинтересованной доброжелательности. В ту осень, о которой идет речь, я часто видел его на набережной с кипой газет, которые он, судя по карандашным пометкам, внимательно прочитывал, а уж затем приносил в кафе, где, как будто уже ничего не боясь, обсуждал политические новости с разнообразными отставными персонажами, выползавшими на берег погреть свои старые кости. Не знаю, действительно ли его звали Адольф, или то была кличка, но она шла ему, хотя усы его и были подстрижены на кавказский манер.

III

Однажды ночью, незадолго до смерти Рубина проснулся я от телефонного звонка, поднял трубку, но тут же понял, что мне это приснилось. Была теплая осенняя ночь, сон ушел. Но ощущение прозрачности времени несколько раз возвращалось ко мне на осенних, отдающих ароматом камфары и палой листвы улицах, усыпанных красными, синеватыми листьями и черными, маслянисто-блестящими, пахучими шариками с камфарных лавров. Через несколько дней, то было уже начало января, когда Сухум все еще дремал под нежаркими, косыми солнечными лучами, телефон уже наяву зазвонил характерно длинными очередями пронзительного дребезжания, и вместо голоса Рубина, справлявшегося о погоде и состоянии моря, услышал я о его предстоящих похоронах.

Рубин скончался после двух последовательных кровоизлияний в мозг; по-видимому, бурная его активность последних лет — он опубликовал несколько отрывков из оставшихся незаконченными мемуаров, принимал участие в разнообразных дискуссиях, выступал на телевидении и даже ассистировал в постановке одного из московских театров — тут сказалась его репутация последнего из оставшихся в живых учеников Мейерхольда — оказалась непомерным бременем для него, и вот мозг его взорвался, подобно уходившей в прошлое империи, ибо сосуществование с высвобожденным подсознанием, шаг за шагом подчинившим себе прежде упрятанную в прокрустово ложе реальность, оказалось для него невозможным...

Так зеркало отражает летящий в него камень лишь до той поры, пока камень не раскалывает его поверхность в мириады осколков.

Вновь оказавшись в обширной квартире родственников Рубина на Васильевской, на этот раз почти уже беспризорной, темной, с горами мусора и запахом мочи в подъезде, обклеенном обрывками плакатов и предвыборными листками с уныло однообразными портретами кандидатов в депутаты, я обнаружил на его письменном столе фрагменты незавершенных мемуаров, вступительные периоды которых свидетель-

ствуют, как мне представляется, о неосознанных поисках выхода из того внутреннего конфликта, что побуждал его воображение к новой и подчас оригинальной работе...

Вот, впрочем, отрывок из неоконченного вступления...

«Я надеюсь дожить до 2001 года, во всяком случае, я хочу дожить до наступления следующего тысячелетия. Рассуждая реалистически, шансов на это мало, ведь я родился в самом начале 20-го века, и к концу столетия мне будет 94 года... Долгие годы я был вовлечен в театральную жизнь и не мог оставить это занятие, — знакомо ли вам старое высказывание о том, что человек, раз вдохнувший пыль сцены, никогда уже не сумеет ее покинуть?..

Сцены эти теперь представляются мне слегка на одно лицо, являемое в репетиционный период, — все объединено овальным желтым пятном, желтым от падающих вниз электрических лучей, ибо мне, в основном, довелось ставить спектакли в закрытых театральных помещениях, замыкающих на несколько часов зрителей и труппу под одной театральной крышей в какой-то тщетной попытке воссоздать и пережить события иного мира; и лишь позднее, вместе с интересом к античной драматургии, пришло ко мне ощущение, что потеря небесного купола над каменными амфитеатрами резко изменила само переживание театра...

И вот теперь меня преследуют сны, — бескрайняя песчаная пустыня, в которой я затерян, но солнце следит за мной, от него не укрыться, и все несколько часов сна, а сплю я немного, я бреду по пустыне по направлению к группе пирамид, скрывающих за собой сфинкса, с его тронутым тысячелетиями лицом... Зачем я бреду, — я не знаю; я пытаюсь во сне повернуть, изменить направление, я слышу шорох песка, посвистывание, пыль оседает во рту, я сплевываю, мне хочется пить, из-под козырька белой панамы течет по лбу пот, пот течет по спине...»

Так завершался первый отрывок, и вот что удивило меня поначалу: отчего Рубин взялся за это занятие? Он всегда декларировал полное, даже абсолютное нежелание подводить какие-либо итоги. Известные театральные мемуары, написанные его более знаменитыми коллегами, зачастую раздражали его. «Чушь» было, пожалуй, именно тем словом, что он употреблял чаще всего, оценивая те или иные сочинения, привлекавшие время от времени внимание публики, что тем не менее не мешало ему активно участвовать в устных обсуждениях тех или иных проблем.

Быть может, то был неосознанный фетишизм по отношению к написанному слову, сродственный страху перед запечатленными свидетельскими показаниями или ощущениям Валтасара при появлении горящих знаков на стене. Возможно также, говорил я себе, появление мемуаров связано с желанием расквитаться со временем и почти с языческой радостью, охватившей его в годы падения идолов и кумиров, падения, принимавшего необратимый и всеохватывающий характер?

Что же до упомянутой во вступительном отрывке пустыни, то связано это было, наверное, с пьесой, написанной Рубиным в самом начале 30-х годов.

События поставленной им на сцене Театра революции пьесы происходили на одной из пограничных застав в Средней Азии, в пустынных предгорьях, куда со стороны гор время от времени спускался отряд басмачей. Басмачи, которых возглавлял белый офицер, хотели захватить оазис, где бил из земли источник целебного кумыса. После неудачной атаки басмачей белый офицер приходил к красным в качестве парламентаря и просил обеспечить доступ к кумысу на одну ночь, обещая, что на следующее же утро отряд басмачей покинет территорию республики и уйдет через горы

в Индию. Но командир заставы, знакомый с парламентаром еще по Петербургу, где оба бывали в «Бродячей собаке», не соглашался на это.

И вечный бой! Покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль...
Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль... —

вспоминал он стихи А. Блока, глядя вслед уходящему парламентару. В финале спектакля, уже после разгрома басмачей, умирающий от пули предателя командир отряда ронял пиалу с кумысом и, обращаясь к своему ординарцу, произносил подхваченную публикой сразу после премьеры фразу: «Эх, Степанов, на какую жизнь замахнулись...»

Фраза эта впоследствии приобрела как бы второе дыхание, прозвучав в речи государственного обвинителя на одном из громких судебных процессов, и хотя через пару лет сам обвинитель был расстрелян по решению закрытого заседания Военной коллегии, фраза приобрела свою, самостоятельную жизнь и со всеми наполнявшими ее звучание обертонами преследовала Рубина многие десятилетия...

— А, Рубин, это который «Кумыс»?.. — фразу эту он слышал неоднократно и с годами стал огрызаться: «Не кумыс, а верблюжья моча», говорил он.

Обнаружил я в бумагах Рубина и записи о событиях начала 50-х годов, краткое содержание которых сводится примерно, к следующему...

В 1950 году Рубина пригласил к себе один из руководителей Всероссийского театрального общества, серый человек по фамилии Арсеньев. Вручая ему папку с тесемочками, содержащую пьесу, подписанную неизвестной Рубину фамилией, Арсеньев пожелал удач, заметив, что ему будет оказано все необходимое содействие.

Посвящена была пьеса истории создания атомного оружия в России и называлась «Секретное оружие». Автором значился Александр Мерц. К концу пьесы становилось ясно, что «секретным оружием» являются сами советские люди.

— А кто автор? — спросил Рубин.

— Ну, об этом мы с вами поговорим позднее, — сказал Арсеньев и еще раз пожелал Рубину удачи.

Вскоре после успешной премьеры в Ленинграде Рубин узнал от Арсеньева, что автор пьесы — один из заместителей Берии. После чего режиссер получил приглашение на обед к автору. Именно тогда Рубин впервые задумался над тем, отчего подъем его театральной карьеры пришелся на время борьбы с космополитизмом, но не нашел ответа. Не мог он найти объяснение этому и позднее.

Жил заместитель в сером доме на набережной у Каменного моста. Это был невысокий человек, очень спокойный, полноватый, как и все вожди той эпохи, казалось, их подбирают по антропологическим признакам, но отличало Мерцалова то, что, по словам Рубина, он был человеком вполне воспитанным. Рубин вспоминал, как поразили его бесконечная тишина и молчание в огромной квартире на восьмом этаже с видом на Москву-реку и желтыми прямоугольниками света вечернего солнца на стенах. Обед им подавала горничная с аккуратно причесанными волосами под наколкой. Мерцалов, по его словам, не пил, но предложил Рубину вина. Рубин отказался и попросил бокал боржоми.

После скромного обеда с компотом они перешли из столовой в кабинет, где говорили о спектакле. Мерцалову понравился спектакль; он уже успел побывать в Ленинграде и отсмотреть два действия, сидя в директорской ложе.

Так начался взлет театральной карьеры Рубина в начале 50-х годов; в 1952 году все тот же Арсеньев из ВТО передал Рубину приглашение на постановку во МХАТе спектакля по новой пьесе Мерцалова. На роль Сталина приглашен был грузинский режиссер из Тбилиси, изредка выходявший на подмостки в качестве актера, что не помешало ему сдружиться с Рубиным, хотя Рубин актеров терпеть не мог. «Да, да, актеры — дети, но — сукины дети», — повторял он фразу Станиславского. Жили они в одной гостинице, вместе отправлялись на репетиции, и оба, в сущности, были чужаками в стенах прославленного театра.

Строилась пьеса вокруг дискуссии по вопросам языкознания, переплетенной с историей глухонемой девочки из далекого сибирского села, куда когда-то был сослан и где отбывал свою ссылку революционер И. Джугашвили; в одной из сцен Сталин, прохаживаясь по кабинету с погасшей трубкой в руке, диктовал своему секретарю:

«Вы подменили обсуждаемую тему другой темой, которая не обсуждалась. Видимо, это именно обстоятельство и заставило вас обратиться ко мне с рядом вопросов. Что ж, если вы настаиваете, я не прочь удовлетворить вашу просьбу. Итак, как обстоят дела с глухонемыми? Работает ли у них мышление, возникают ли мысли? Да, работает у них мышление, возникают мысли. Ясно, что коль скоро глухонемые лишены языка, их мысли не могут возникнуть на базе языкового материала. Не значит ли это, что мысли глухонемых являются оголенными, не связанными с „нормами природы“? Нет, не значит».

— В двадцатые годы я был мальчишкой, голодал и приходил в гости к сыну наркомзема Яковлева, — рассказал мне Рубин. — Там нас всегда угощали кофе с молоком и белыми булками с маслом. Иногда туда приходил Сталин. Обычно они играли в шахматы с Яковлевым. Однажды Сталин подошел ко мне и потрепал по голове. Он курил трубку, но сапоги его пахли ужасно. Яковлева он потом расстрелял.

Ничего хорошего от приглашения поставить новую пьесу Мерцалова Рубин не ожидал, и настроен он был гораздо серьезней, чем актер, которому предстояло сыграть главную роль; причем беспокоили Рубина не театральные подводные камни, а сама ситуация, притягивавшая, как ему казалось, пристальный взгляд обитателя молчащей огромной квартиры с желтыми прямоугольниками света вечернего солнца на стенах. «Да и кроме того, — объяснял он мне, — слишком много сексотов крутилось вокруг... У меня на них великолепный нюх».

Родственные ощущения, как оказалось позднее, посещали и грузинского театрального деятеля в Москве 1952 года: прообраз театральной его роли пребывал в угрюмой отгороженности за стенами Кремля, меж тем как сам актер ощущал себя в центре настороженного внимания труппы прославленного реалистического театра, погибавшей в молчаливых догадках, — отчего чуждый им по природе своего дарования лицедей будет задавать камертонное звучание спектаклю, поставленному выпускником мейерхольдовской студии.

Репетиции начались во второй половине ноября 1952 года, и вскоре на очередном застолье в огромном номере Рубина в гостинице «Москва», где присутствовали помреж, пара актрис и грузинский актер со своей белокурой и голубоглазой пассией, появился неожиданно Арсеньев.

Рубин пригласил Арсеньева в дальний конец гостиной, к огромному окну. Они сели в кресла и начали беседу. Арсеньев быстро заносит пометки в блокнот: он должен срочно подготовить доклад о том, как идет работа над пьесой.

Между тем застолье продолжалось, и театральный деятель из Грузии, завершая длинный тост о любви, зачитал, обращаясь к своей пассии, окончание речи Председателя из пушкинской трагедии:

Бокалы пенем дружно мы
И девы-розы пьем дыханье, —
Быть может... полное Чумы!

Рубин, прислушиваясь краем уха к тому, что происходило за большим столом, подумал, что тамада, очевидно, уже разобрался в подлинной роли его пассивности, и, отвечая на вопрос Арсеньева о том, понимают ли актеры необходимость сделанных изменений, сказал с неожиданно для самого себя вдруг возникшим характерным кавказским акцентом:

— Да, работает у них мышление, возникают у них мысли, — и по быстрому взгляду собеседника понял, что сгруппировался. Ощущение это саднило, не оставляя.

Было уже далеко за полночь, когда его разбудил телефонный звонок. Он привычно сказал в трубку: «Рубин слушает», но ответа не последовало; какое-то шестое чувство или профессиональное внимание к паузе заставляло его молча ждать реплики. Что-то щелкнуло, и трубка исторгла из себя уныло регулярные сигналы свободной линии. Сон ушел, захотелось курить, Рубин встал с постели, сунул ноги в шлепанцы и, набросив поверх пижамы халат, направился из спальни в темную залу, где на столе угадывались бокалы с недопитым вином и фрукты. Рубину захотелось уехать, но он вспомнил, что учитель его был арестован в поезде Москва—Ленинград после совещания театральных деятелей, на котором выступал. Рубин понял, что обречен. Он не стал включать свет, отодвинул кресло, подошел в темноте к окну, отдернул шторы и закурил, глядя на немигающие в зимней мгле фонари.

IV

Вскоре Рубин узнал, что вновь приглашен на квартиру к Мерцалову. Он явился в назначенное время. У подъезда он заметил большой черный лимузин с людьми в штатском. Дежурный в подъезде внимательно проверил его документы. Лифтер открыл ему дверь лифта, и вот уже лифт медленно вознесся на восьмой этаж. Горничная провела его в кабинет, где уже был сервирован чай. Беседа с Мерцаловым продолжалась чуть более часа. По его просьбе Рубин подробно излагал замечания недавней побывавшей на репетициях комиссии Министерства культуры и свои соображения.

«Все это время я ощущал, что мы не одни, что меня наблюдает некто невидимый. Как человеку театра, мне хорошо знакомо это ощущение. Меня изучали, меня наблюдали, меня оценивали. У меня родилось ощущение, что вокруг идет какая-то неясная мне большая игра, в которой я всего лишь пешка, но пешка, которая должна сыграть свою роль», — пишет Рубин в своих заметках.

Особенно занимал Мерцалова вопрос о содержании понятия «перевоплощение».

— До какой степени может перевоплотиться актер в своего героя?

В ответ Рубин напомнил Мерцалову историю Самозванца — как признала его мать убиенного царевича Мария Нагая.

— Откуда у вас такие сведения? — спросил Мерцалов.

— Из курса Костомарова, — ответил Рубин.

— А отчего вы интересовались этим вопросом?

— Я ассистировал постановку «Бориса Годунова» в Большом театре, — сказал Рубин. Фамилию своего учителя, ставившего спектакль, он не назвал.

Постепенно Рубин пришел к убеждению, что все происходящее с ним отнюдь не случайно, мысль о заговоре овладевала его сознанием. «Идея заговора, должно

быть, родилась в недрах Лубянки, где театр пользовался большим почетом, — тема театра и двойников, театрализованных процессов и признаний никогда не переставала их волновать...» — утверждал Рубин, ссылаясь на свои беседы с Мерцаловым.

— Я ведь ученик Мейерхольда и развил свою теорию гротеска, — говорил он когда-то, — так вот, после войны «вождь» готовил большую чистку, и никто, повторяю, никто не мог полагать, что он в безопасности... Вспомните Ягоду, вспомните судьбу Ежова. Ну а новые хозяева Лубянки были, пожалуй, и талантливее, и подлее своих предшественников.

Как-то раз он пояснил свою мысль,

— Был у меня в киевской гимназии друг, Пашка Василевский. Я встретил его на улице Горького через пару лет после окончания войны, и он предложил поехать к нему домой.

— Я недавно вернулся в Москву, — добавил он.

В огромной генеральской квартире он показал мне свои фотографии на фоне араукарий и агав.

— Где это ты был, Пашка? — спросил я.

— Сначала в Испании, а потом в Мексике, — сказал он, — на работе.

— Это ты организовал убийство Троцкого? — спросил я, а он только рассмеялся в ответ.

Иногда же казалось Рубину, что заговорщики хотели устранить «вождя», заменив его актером, марионеткой, — тем самым, что работал над ролью Сталина в его спектакле.

— Он ведь был кавказец, а это не подделаешь, — говорил Рубин.

Наличие псевдо-Сталина помогало карательным органам обеспечить гладкое проведение ликвидации ближайшего окружения вождя.

Выходили газеты с материалами о спасении «товарища Сталина» от «заговора недобитых троцкистов».

Власть в стране переходила в руки карательных органов.

Далее всякая нужда в сохранении жизни изображавшего вождя актера исчезала.

V

Рубин продолжал репетиции, завел новую интрижку, но по ночам, когда он оставался один, ему не спалось, он непрерывно курил. Стоило ему заснуть, его под стук железных набоек вели на каблуках по длинному, узкому коридору, в конце которого сопровождающий стрелял ему в затылок, — и он просыпался. Порой ему казалось, что он сходит с ума; мельчайшие факты и интонации выкладывались вдруг в стройные и последовательные узоры интриг...

Вот, например, его соображения о том, что должно было произойти в случае каких-либо сложностей в осуществлении плана с двойником. В этом случае на стол Сталина должны были лечь материалы о «театральном заговоре», организованном французскими троцкистами и реакционными кругами грузинской эмиграции, осевшей во Франции.

Согласно этим материалам, заговорщики собирались заменить Сталина и его окружение актерами. То есть подлинный «театральный заговор» был замаскирован фасадом фальшивого...

А по утрам подъезжал к зданию гостиницы длинный, черный ЗИМ и отвозил Рубина и актера в театр на репетиции. Актер появлялся у подъезда обычно в послед-

ний момент. Он был всегда свежевыбрит, от него пахло одеколоном «Шипр», и белый шелковый шарф подчеркивал его седину. В машине они обычно не разговаривали, но актер иногда забегал к Рубину в свободное время — то перехватить пару тысяч, то пригласить его «посидеть». Иногда они направлялись в «Арагви», актер рассказывал Рубину о Грузии. Затем разговор переходил на театр, женщин и карты.

Однажды, наливая Рубину в бокал киндзмараули — ходили слухи, что это было любимое вино Сталина — актер в ответ на замечание Рубина о том, что он хотел бы прийти на репетицию с ясной головой, заметил:

— Пей, дорогой мой, ибо кто знает, перед чьими очами предстанешь завтра?

Иногда же Рубину казалось, что на большее, чем тривиальный «заговор актеров», они не потянут. Он представлял себе страницу «Правды» со статьями о потерявших человеческие лица актерах, задумавших заменить собою руководство страны; примечался ему и прокурор, громко произносивший с трибуны:

— Мерзавцы! На кого они осмелились замахнуться?

Однажды вечером, обдумывая мизансцену, он принялся набрасывать схему взаимного расположения Кремля, гостиницы «Москва», здания МХАТА, Лубянки и дома у Каменного моста. Получалась неправильной формы пирамида с гостиницей на вершине, той гостиницей, где на семнадцатом этаже располагались номера его и актера. Напоминало это макет мейерхольдовского спектакля.

«В конце концов, все мы — плохие актеры, — подумал он, — все нелепо, ужасно, бессмысленно. И весь этот спектакль провалится. „Много шума, страсти, нет лишь смысла...“» — припомнил он слова из «Макбета».

Он сжег лист бумаги в пепельнице и вышел на засыпанный снегом балкон, чтобы развеять пепел. Там было темно, холодно и сыро, как в оставленном трупой провинциальном театре. В таких театрах обычно пахло мышами.

Далеко внизу проехал по Охотному ряду черный ЗИМ, затем автомобиль проехал по Манежной площади и свернул на улицу Герцена. Рубин знал, что не выдержит пыток. Ему пришло в голову выброситься с балкона, но он боялся высоты. Он закрыл дверь на балкон и задернул портьеры. Его шлепанцы промокли. «В конце концов, меня расстреляют, — подумал он, — вместе со всеми остальными».

— С того момента, — говорил он мне, — я делал все, чтобы затянуть репетиционный период. Я пытался оттянуть развязку. Актеры не понимали меня, им хотелось поскорее сыграть на премьере, они ожидали оваций, премий, банкетов... А я повторял, что мы должны работать еще и еще, я знал наизусть проклятую пьесу и вместе с актерами пытался искать в ней все новые и новые психологические глубины.

Тут он начинал хохотать. То был смех человека, которому удалось по-настоящему обмануть свою смерть.

Репетиции начались во второй половине ноября, но спектакль был еще далек от завершения, когда Сталина не стало, Рубина это необычайно обрадовало, и когда в конце марта 1953 года работа над пьесой была приостановлена, он вернулся в Ленинград с чувством облегчения. «Никогда еще не садился я в поезд Москва—Ленинград в таком спокойном расположении духа», — говорил он. Что же до театрального деятеля из Грузии, то он вскоре, после несколько затянувшегося из-за голубоглазой пассивности и карточных долгов расставания с Москвой, отправился на работу в Сухуми, куда через год пригласил и Рубина поработать в местном театре. Вот откуда произошла квартира в нескольких минутах ходьбы от набережной.

VI

После крематория, где останки Рубина встретились с пламенем газовых горелок, мне предстояло увидеть его близких для обсуждения вопроса о будущем дома, жить в котором я привык, но выезд откуда представлялся теперь уже реальной перспективой. Что же до незавершенных мемуаров Рубина, написана была, судя по намеченному плану, лишь небольшая их часть; весь остальной объем рукописи составляли заметки, фразы, наброски, имена, даты, цитаты и выписки из справочных материалов. Расшифровать такое было бы под силу человеку, непосредственно вовлеченному в обсуждения содержания заметок, если бы таковые предшествовали их составлению. Заметки эти вместе со всем архивом Рубина следовало, очевидно, передать в театральный музей, чем я и обещал заняться, вежливо отклонив предложение родственников о передаче архивов в мои руки. Тому было, как минимум, две причины: я полагал, что самое подходящее место для хранения его архива — театральный музей, хотя бы исходя из интересов будущих исследователей; кроме того, я опасался, что эта прошедшая уже жизнь, отблесками и тенями, осколками запечатленная в нескончаемых пожелтевших и хрупких бумажных листах, афишах, фотографиях и старых книжках, поработит меня и надолго лишит возможности начать новую главу моей собственной жизни.

Но кое-что сохранить мне хотелось, и я отобрал для себя одну из его ранних фотографий на фоне Театра революции — Бая был сфотографирован в кепке вблизи того места, где позднее воздвигли памятник Маяковскому; фотографию и экземпляр изданной в начале 30-х годов книжки, содержавшей его сценарии и статьи, а также и написанную им в те годы пьесу «Кумыс». Спектакль пользовался в свое время широким успехом, и Бая объездил вместе с ним полстраны.

Поздним вечером в день его похорон я вспомнил о пустыне, описанной на первой странице мемуаров. Случайность ли это, обязанная сновидению, или знак памяти, отсылавший к пьесе и реплике, преследовавшей его столько лет? И что могла означать группа пирамид на горизонте, скрывающая за собой сфинкса, с его тронутым тысячелетиями лицом? Спросить об этом Рубина я уже не мог; теперь мне предстояло самому искать ответ на эти вопросы, а миру отныне следовало жить без него.

Сухуми был где-то далеко, над ним шел дождь; гора была покрыта туманом, дождь падал в море, зеленое и желтое от поднимавшегося со дна песка; и я вдруг ясно увидел доктора Поликарпова, сидевшего с книгой у камина в гостиной старого дома на холме. На застекленной веранде с видом на бухту, раскидывая карты на маленьком столике, сидела в кресле Софья Церетели, и я вспомнил слова «Новейшей гадательной книги»: *«Пиковая дама означает тайную недоброжелательность»...*

VII

Через несколько лет после смерти Рубина границы страны открылись, и я сумел наконец попасть в Голландию, в Лейден. Направляясь к дому на Witte Rozenstraat, где некогда жил Эренфест, я миновал дом Декарта на берегу канала и несколько часов спустя завершал беседу с г-ном Койперсом, историком голландской архитектуры, нынешним владельцем дома номер 57, где почти все было сохранено в том виде, как при жизни Эренфеста, включая огромную черную доску, покрытую написанными мелом формулами. Я спросил его, как это произошло...

— У него был револьвер. Такая штука с барабаном, по-моему, это называется револьвер. Он зашел за своим старшим сыном, который находился в доме для умственно неполноценных детей, и взял его на прогулку. Вначале он застрелил его, а затем себя.

Позднее я узнал, что выстрел не убил, а только ослепил мальчика.

Бедный профессор Лейденского университета, упокойся с миром...

Каждый раз, вызывая твою тень из сумрака и полутьмы, угадывая поблескивание стекол, за которыми скрываются глаза, взлохмаченность и спутанную русско-немецкую речь, смех и покашливание, я ощущаю покалывание в груди, и мысль: «Сейчас, сейчас все это случится, и мы заговорим» — посещает меня...

Той же осенью, просматривая однажды вечером сводку новостей по телевидению, я внезапно увидел на экране склон горы Чернявского, берег реки, поросший ивами, дома, взбиравшиеся вверх по горе, и мост, по которому проехал танк. На телеэкране все выглядело необычно: ярче, графичней, да и увидено это было чужими глазами.

Голос комментатора CNN, наложенный поверх гула одиночных взрывов, рассказывал о начале нового постколониального конфликта, но слова не доносились до моего сознания; я был словно заморожен тем, что происходило на экране. Сбившаяся с курса и летевшая по какой-то нелепой кривой ракета, выпущенная с вертолета в сторону моста, разрушила крышу и верхний этаж дома на склоне горы с обращенным в сторону заката балконом и большим кипарисом во дворе и подожгла соседний дом.

Я вспомнил, как Рубин уговаривал меня уехать из Москвы в Сухум с тем, чтобы писать там роман. Убеждал он меня, скорее всего, так же, как в свое время уговаривал актеров принять участие в задуманном им спектакле.

— Там солнце, — говорил Бая, — солнце и набережная. Кофейни. Масса публики. Я все устрою. Вы бросаете все и уезжаете в Сухум. Я приеду позднее, вы меня поняли? — говорил он. — Моя квартира простаивает зря. Маленький город. Меня там все знают. Набережная, пальмы, яхт-клуб. Я дам вам письма. Вы научитесь водить яхту и напишите книгу. Это гениально? Когда вы поедете?

— Почему именно туда?

— Вы же хотите куда-нибудь поехать. А там стоит пустая квартира, там уже лето, а у нас здесь слякоть и грязь...

И вот теперь Сухуми, последний спектакль Рубина подходил к концу. Он делал все, чтобы затянуть репетиционный период. Он пытался оттянуть развязку. Но актеры не понимали его, им хотелось поскорее сыграть на премьере, они ожидали оваций, премий, банкетов... Теперь актеры гибли, публика разбегалась, горели декорации, а спектакль, не в силах более продолжаться, уходил в историю, или в небытие, — вслед за его режиссером.

Помню, я подумал я о том, как быстро зарастут развалины вьюном и плющом, как зарастут колючие заросли и кусты ежевики, покрывая постепенно остатки строений непроходимой стеной и превращая прошлое в едва различимый знак. Исчезнет колоннада против гостиницы на элегантном изломе набережной, проржавеют железные опоры причалов, исчезнут из виду городские часы на башне, прорастут кусты на руинах мостов, висящих над темным гулом невидимой из-за листвы воды, и постепенно навсегда остановится время. Море же станет бесконечно чистым и зеркально-прозрачным, убегая под вечнозеленые кроны неясной береговой линии, а длинный, на каменных быках причал, на который когда-то вышел Рубин, будет теперь вести в никуда...

Игорь ЛАЗУНИН

* * *

Пойдем гулять под снегопад.
Там воздух, будто леопард,
Пятнист и быстр.

А может, там горит костер,
А над костром парит шатер
Из белых искр.

К чему теперь твоя хандра,
Что здесь не просто так дыра —
В дыре дыра?

Украсит снег дома, дворы
И все окрестности хандры
Сейчас, с утра.

Распугивая зябких птиц,
Без шапок, шарфов, рукавиц,
На умных щах,

Возьмемся за нелегкий труд,
Учить себя искать приют
В простых вещах.

* * *

Нахмуренный мраморный лучник
Бросает заточенный лучик
На звонкую зыбь тетивы.
Он в скучном музее бесценен.
Нам кажется — мы его цели.
Возможно, мы даже правы.

Мы сами почти экспонаты
Известной больничной палаты.
Куда нам влюбляться еще?
Ну, выстрелит — ребра прострелит.
Что, мало кафе, и постели,
И разных обид, что не в счет?

Блестит золотое молчанье.
Посчитаны стрелы в колчане.
И шансы на промах малы.
Ну что же ты, брат, не стреляешь?
Неужто ты, каменный, знаешь,
Что сердце не стоит стрель?

* * *

Вот памятник. Поэт. Рука за лацкан.
Посмертно и облизан, и заласкан.
Опубликован. Спет и перепет.

Невольно лезет он в карман за словом,
Так Вологдой невзрачной очарован.
Облокотился, был бы парাপет.

Игорь Лазунин родился в 1975 году в городе Жданове, учился в Мариупольском индустриальном техникуме. Живет в Мурманске. Работает сварщиком в мостоотряде. Член Союза писателей России. Автор пяти поэтических книг.

Что жизнь? Костер, разложенный в кювете.
Он жил, как дым. Лохмато. Только ветер
Ему одновременно друг и враг.

А я, облюбовав проспект Советский,
У памятника, пьяный не по-детски,
Своей строки гоню велосипед.

Где ангелы гуляют голоного,
Вот так же, без убора головного,
Он ждал Петра у тех воспетых врат.

И в чемодане бронзовом Рубцова
Позвякивает что-то по руб сорок.
И это слышит всякий, кто поэт.

РУБЦОВУ

Не любя и не карая —
Значит, не сердит —
Бог над плешью Николая
В облаках сидит.

Он внимателен и точен,
Словно звездочет.
И ведет хорошим строчкам
И бутылкам счет.

Чем не гений? Тих и робок.
Агнец и певец.
Под ногами винных пробок
Хватит на венец.

Жизнь почти не накаляет.
Есть чуток рублей.
Остальное Николаю
До звезды полей.

* * *

Будь ты хоть тихоня, хоть хвастун,
В свете жизни — неживом, латунном —
Брызги из-под колеса фортуны
Дополняют будничным костюм.

Добавляют выпренной красы
В гардероб, что вовсе не с иголки.
И твой правый глаз страшнее волка.
И твой левый глаз хитрей лисы.

И себе, смазливому, дивясь,
Как-то непосредственно и сразу
На других ты замечаешь стразы,
Там, где все другие видят грязь.

И никто тебя не пожалел.
Я и сам в пушок упрятал рыльце.
И твой правый глаз от злобы выцвел.
Левый от коварства заржавел.

* * *

Здесь, у заброшенной скамейки,
У ног скользят поземки змейки
И липы в белой тишине.

Но глаз не соучастник кражи
Красот окрестного пейзажа.
Не ищет ничего во вне.

Как в предвкушении свиданья,
Полна неясным ожиданьем,
Скребется жилка под кашне.

Не роль, а жизнь второго плана.
Софитами самообмана
Любовь подсвечена во мне.

Увесист небосвод богатый.
И месяц желтый и шербатый,
Под стать зарубке на бревне.

Иначе как мне с тем смириться,
Что там, за шторами из ситца,
С другим ей сладостней втрое!

* * *

Я ударил крысу ложкой по спине.
Мол, прошу, не надо, не ходи по мне.

Ну и что с того, что не нашла пожрать?
Личное пространство нужно уважать!

Я ж, придя с работы, до чертей устав,
Не ташу к вам в подпол свой людской устав.

Я к тебе не лезу, грязен, наг и бос,
И свой нос не тычу под усатый нос.

Я просил нормально, чтобы гладь да тишь.
Ты ж зачем с ногами на подушке спишь?

Или прошлой ночью я плясал канкан?
Плачет платным сыром по тебе капкан.

Я ведь не любитель эдаких вещей.
Без тебя хватает в жизни танцовщиц.

Нам бы как-то ловко выжить пару зим.
На, держи, морковку. И беги к своим.

Алексей НЕБЫКОВ

РАССКАЗЫ

ВОДЕН ДЯВОЛ

1

Иные обещания лучше никогда не давать, ибо настанет время, и за исполненное призовут к ответу.

Странной казалась Назару Калине, следователю Невельской прокуратуры, гибель автоинспектора и его сына, отправившихся вдоль побережья острова Сахалин на моторной лодке по какому-то тихому, предрассветному делу.

Небольшой портовый Невельск — ближайший к Японии город России. От него до самой южной части острова Сахалин не более ста километров, а там через пролив Лаперуза вдвое меньше до японского Хоккайдо. Мужчины в Невельске, как и в прежние времена, занимаются рыбным промыслом, оставляя близких на три-шесть месяцев, чтобы, вернувшись из плавания, отдохнуть самым прекратительным образом и в конце концов, порастратив добытое, снова уйти в рейс. В дни возвращения много вымывает на берег утопленников, но по сезону теперь нерестового запрета нет, моряки собираются в море, и не время для подобных на камнях находок...

Об исчезновении родных заявила еще два дня назад жена автоинспектора. Обращение приняли, но к розыску не приступили, сохраняя негласное правило «трех суток ожидания». И вот теперь, когда местные обнаружили на берегу разбухшие, изувеченные стихией тела, а недалеко от них разбитое деревянное судно, офицер полиции надумывал служебные поручения задним числом, чтобы отчитаться перед вызванным для осмотра Назаром Демьяновичем Калиной.

Дело казалось решительно ясным: на плоскодоне в волнение, не справились с управлением, оказались в воде и погибли. Лишь собрать доказательства и огласить несчастливые выводы. Правда, никому ранее не знакомый капитан юстиции Калина, заступивший на службу в городе в тот самый день, не спешил соглашаться с обстоятельствами и зачем-то долгие необходимого крутился на месте трагедии.

Вязкое чувство преступления захватило Назара, и, закончив с осмотром, он отправился в прокуратуру, чтобы сообщить коллегам о запутанном случае.

Алексей Александрович Небыков — русский прозаик, просветитель, главный редактор портала «Печорин.нет». Лауреат премии «Справедливая Россия» (2023), финалист премий им. Фазиля Искандера (2018, 2023) и Александра Чаковского (2023). Автор книги малой прозы «Черный хлеб дорог» («Вече», 2024), публикаций в литературных журналах «Нева», «Роман-газета», «Москва», «Аврора», «Дон», «Волга — XXI век», «Турист», «Литературной газете», «Петербургском дневнике», других печатных и сетевых изданиях.

2

Прокурор города Невельска Юрий Александрович Ким был строгим и распорядительным. Нечастые по службе тревоги и суровый нрав местных жителей помогли его способности наводить в подконтрольных местах порядок — дела возникали, расследовались и всегда закрывались, несмотря на всякие обнаруженные недочеты. Собственно, и дел каких-то особых не было: или в семье проступок, или в портовых бардаках мордобой, или по рыболовной неслаженности недоразумение, которое усмирялось часто без привлечения полиции.

А здесь вдруг, как непогода в охотный день, Назар Демьянович, из самой Москвы, после академии, решается на работу на самых дальних рубежах необъятной, как и русская душа, Родины. Сообщили, что по распределению, а там как оно на самом деле...

Назар Калина припарковался в тесном дворе прокуратуры и зашел под своды правоохранителей. На стене против входа висел стенд: «Работник прокуратуры предан делу и неподкупен. Вступай в наши ряды, чтобы верой и правдой служить обществу и закону».

Что-то подобное рассказывали Назару и на правовых лекциях, но влюбился в профессию следователя он еще в детстве, увлекая себя книгами, следя за отважными сыщиками и неизбежностью наказания. Калине нравилось ворошить преступления, вникать в убеждения душегубов, доискиваться до обстоятельств в судьбах людей, приводящих к роковым развязкам. А еще действовать на стороне добра, защищая редкое в наше время честное имя правоохранителя.

— Здравствуйте, Назар Демьянович, — встретил следователя крепким рукопожатием прокурор у открытой двери своего кабинета. — Доложили, что вы прямо в первый день угодили на несчастный случай. Знакомьтесь, Караханов Баир Сергеевич, старший следователь по нашему ведомству, — и прокурор указал на сидевшего за столом подтянутого, черноголового майора юстиции.

Назар поздоровался, коллега сдержанно кивнул в ответ.

— Не желаете подкрепиться ерофеичем? — продолжил прокурор, приглашая Назара к небольшому закутку в кабинете, где проявились графин с бурой жидкостью, парадные стопки и мелкий сухофруктовый припас. — Вы человек в наших местах новый, расскажете о себе. Мы ведь здесь храним традиции приимства и всегда рады новому в строю товарищу.

— Не время, Юрий Александрович. Ведь не несчастный у нас, полагаю, случай... — проявил настороженность Назар.

Неслужебный подход к службе никак не способствовал работе правоохранителя, но ссориться в первый час знакомства Назар не имел обыкновения.

— Что же, к делу, — разочарованно пригласил прокурор Назара за стол. — Разрешаю доложить!

— Итак, — приступил Назар, — двое местных утонули. Отец и его сын-подросток. Для чего вышли в море — неясно. Одеты не по-рыбацки, никаких в лодке снастей. На полу закреплено разбитое бытовое зеркало. У мотора лодки поврежден бак, шилом или чем-то подобным. Рано делать выводы, но предполагаю сто пятаю...

— У нас тут привычно ничего невиданного не случается, откуда сто пятая? — заворчал прокурор. — Но распоряжения дам, бумаги у дежурного справят. И пожалуй, раз такое все затевается непростое, попрошу в попутчики к вам Баира Сергеевича, — и он многозначительно посмотрел на старшего следователя. — Кроме того, вы у нас

птица столичная, не каждый свояк заизволит правду говорить. Значит, поможешь? — и, дождавшись кивка от Баира, прокурор подытожил: — На том и окончим.

Назар Калина не возражал против помощи немногословного коллеги. Как-никак человек в городе он новый, а тут и познакомится, и освоится. Но расчет на содействие не оправдался. Баир отказался встречаться с супругой погибшего и моряками, взяв на себя заботы о разрешительных бумагах и запросы по линии связи.

До окончания дня еще было несколько часов, и Назар надеялся застать моряков, нашедших утопленников, в порту. Суровые, неприветливые, иссушенные крутой жизнью в море и негодной на берегу, они ничем не помогли расследованию: шли вдоль берега по рыболовным делам, увидели блеск винтов на камнях и разбитую лодку, подошли ближе, различили покойников, сообщили в полицию. Все.

Следующей в списке на беседу значилась супруга погибшего. Но Назару доложили, что утратившую в одночасье близких мужчин женщину после опознания в помутившемся состоянии забрали на «скорой» и тревожить ее расспросами врач до завтра не разрешил. Время результатов вскрытия еще не наступило, а напарник Баир на связь с Назаром не выходил.

Следствие пока забуксовало. И Назар решил дойти до Сахалинского мореходного училища, где готовили капитанов, навигаторов, мотористов и других спецов морского экипажа. Многие невеличане, далекие от морских профессий, учились в мореходке заочно. Получить навыки судоводителя, стать капитаном дальнего плавания мечтал каждый из них. Владело подобное чаение и Назаром Демьяновичем. Разузнав все об испытаниях, сроках обучения и прочем образовательном, Назар отправился домой, чтобы, выпавшись, с рассветом продолжить расследование.

3

Утром капитан юстиции Калина заехал в прокуратуру, где случился странный, даже неприятный разговор с прокурором города и следователем Карахановым. Вскрытие ничего не обнаружило — никаких следов насилия, лишь должны от столкновения со стихией и рыбами раны и повреждения. Последние звонки утопших проверили, незнакомых номеров не выявили. Для всех удар и потрясение. События предшествующих дней привычные: автоинспектор каждую ночь после работы дома, сын на каникулах на виду у матери. В общем, все ясно и судьбой назначено. И нет нужды в опросах и продолжении дела.

Тем не менее Назар настоял на следствии, получил от коллег бумаги, чтобы являться в дома и задавать вопросы, и отправился к супруге погибшего, надеясь разрешить загадки непонятного на рассвете путешествия.

Овдовевшая семья автоинспектора жила на берегу Татарского залива, на последнем этаже пятиэтажного дома, выкрашенного свежей краской, из окон которого в летний сезон можно было наблюдать стаи пугливых сивучей, полюбивших отчего-то малоллюдный город Невельск, его волнорезы и жителей.

— Значит, не сказал, куда отправляются? — спросил вдову Назар.

— Нет, не сказал... ссорились мы в последние дни. Зеркало муж разбил. Пожалел на грузчиков, а я допекала. Вот и решил от него избавиться. Во дворе габаритное не оставишь, мусорка только маломер по утрам берет. А у него еще неприятности на работе. Не распознала я. А теперь обоих лишилась... — и она заплакала, не справляясь с собой.

Назар всегда чувствовал себя беспомощным, неправым на виду хрупкости, беззащитности. Принимал слезы женщин как свою в действиях вину. Все, что мог он в по-

добный момент сказать, сделать, казалось таким несущественным, бесполезным. Долг правоохранителя заставлял его и дальше, через чужую боль, доискиваться до правды, но в этот раз Назар Калина сделал то, чего никогда себе в последующем не позволял.

— Сочувствую вашему горю и совершу все для разрешения дела. Вы обязательно узнаете обо всех деталях гибели близких, без утайки и даже против служебного правила, — пообещал Назар и доверительно накрыл руки вдовы своими ладонями. — Но вы должны рассказать обо всех подозрениях в отношении неприятностей мужа. Любая деталь...

— Город у нас небольшой, все на виду. Мужчины в основном ловом заняты. Но нечистое это дело, страшное. Пропадают люди... Вот в доме напротив в прошлом месяце вернулся с рыбалки только пес Чувик, а хозяина и след простыл. Говорят, рассорился с начальником переработки «Сивуч Интернешнл». Все они здесь под себя подмяли — и «Главрыбвод», и местных моряков в страхе держат. Да что я вам говорю, расспросите коллег, каждый месяц люди исчезают. Думала, силовики под защитой... А нет, похоже, и мой не тому дорогу переступил. Сам он никогда не расскажет. Но неделю назад появился ко мне пьяный сосед со второго этажа, болгарин Пётыр Ташев. Мужа дома не было, и сосед долго стучал в дверь, страшно ругался, кричал на своем языке. Он водителем работает у большого начальника. Оказалось, что муж задержал его нетрезвым за рулем и готовил дело к лишению. А права для Петьра и жизнь, и средства. Закончил он, правда, плачем у моей двери, обещал принести какой-то кашкавал. Мужу я про это не стала рассказывать, крутой он у меня в вопросах защиты, покалечил бы беднягу...

Назар проговорил еще некоторое время с вдовой и, окончательно убедив себя в неслучайности трагедии, отправился вниз к соседу-болгарину.

Петьр Ташев был скуп на откровения и немногословен. Щурый болгарин отрицал все подозрения, хотя и подтвердил, что случился на дороге проступок, но не пьяное вождение, а лишь превышение скорости. Дело, мол, по-соседски погибший на него не стал заводить, в чем следователь сам может убедиться, справившись в автоинспекции. А что касается беспокойства жены, то он обещает подойти с извинениями. Уже при расставании Назар поинтересовался у Петьра, не знает ли тот что-нибудь о разбитом зеркале. Этот вопрос неожиданно вызвал у водителя самые сердечные признания.

— Это все воден дявол, морской, по-вашему, черт, — зашептал Петьр. — В дни полной луны выбирается он на берег и сидит свою дюжину дней на болотах, завывая себе жертв-прохожих. Не время тогда для охоты и для прогулок под убывающей луной. Кто явится ему на глаза, сразу может погибнуть, а кому удастся от него спастись, того дявол все равно метит — бьет, будто случайно, в домах зеркала, нарушая границы между мирами и приближая несчастную для жертвы...

Невероятной казалась Назару легенда болгарина, но руки Петьра неудержимо тряслись, глаза помутились, а нутряной страх пробирал его искренне и непритворно.

— Виноват, по-вашему, этот морской черт? — скорее выгадывая время для иного вопроса, уточнил Назар.

— Да, видно, попался ему инспектор. Ну а спастись, значит, можно, утопив зеркало с меткой на рассвете в море. Потому и отправились, сын помогал. Корабль ведь посередине между мирами идет. В океане, значит, смерть, а над водой, на суше — жизнь. И если метку дьявола в мир неживой скинешь, есть шанс прозабыться и не приметиться. А решение, значит, я ему это и надоумил. Но не успели они. Видать, судьба...

Распровавшись с Петьром, Назар созвонился с автоинспекцией — дел в отношении гражданина Ташева не было. Болгарин не врал.

4

Ранним утром Назар пробудился от звуков клаксона под своим окном. Это был Баир, решительно зазывающий столичного коллегу. Выходной начинался с долга гостеприимства, хотя Назар и сетовал на совершенный в деле утопленников раздрай.

— Назар, дорогой, служба терпит, традиции — нет. Двинем на лодках на Монерон — охота, пикник и наши места сивучные, — приглашал Баир, не принимая никакого отказа.

Назару приятно было внимание коллеги, но больше всего он радовался возможности выйти в море...

До острова Монерон шли на моторных лодках почти два часа, Калина быстро освоился и, признавшись Баиру в любви к судовождению, благодарил за нежданную радость.

С юга на север остров растянулся на семь километров и был вдвое уже с запада на восток. Коллеги-следователи шли мимо скалистых берегов и невысоких, поросших пихтами и елями остроконечных склонов, «сопок» по-местному. Баир рассказывал про образованные волнами и ветром пещеры в скалах, про маяк и метеостанцию на Монероне, возведенные еще в начале двадцатого века. Встречались им по пути лопухи, разросшиеся выше человеческого роста, способные укрыть самого крупного мужчину от непогоды, а еще юркие, обильные рыбой реки. Рядом с одной из них и расположились путники на привал.

Справа от реки начинался крупнотравый широкий луг, спадающий с крутого обрыва в море, а с другой стороны за обильными зарослями бамбука пряталось топкое место.

— Здесь живописно, а пройдя до края, можно увидеть сивучей, греющихся после обеда на берегу брюхо, — рассказывал Баир, доставая из рюкзака различный припас и укаывая в сторону обрыва.

— Это ведь все неспроста? — вдруг уточнил Назар. — Самое время нам объясниться.

Баир насторожился, даже погрузстнел, но постарался придать голосу прежнюю безмятежную интонацию:

— О чем ты, мой друг?

В этот момент что-то затрещало, защелкало. Короткие жуткие вздохи раздались со стороны бамбука. Казалось, там на ветру кому-то сильно не хватало воздуха. И вот неведомое существо начало часто и недовольно бухтеть, через какое-то время перейдя на громкое ухающее мычание. Что-то inferнальное было в этих звуках, и немного нашлось бы смельчаков, способных решиться на прогулку по укрывшемуся за бамбуком болоту.

«Неужели об этом рассказывал Петыр?» — думал про себя Назар, но Баир, заметив растерянность коллеги, вытащил из чехла ружье и отправился в заросли.

Вскоре оттуда донеслись выстрелы. Назар различил не менее восьми. И действительно, вернувшись к месту стоянки, Баир предъявил коллеге тушки восьми убитых им птиц. Целая семья стала добычей правоохранителя. Особи были неизвестного Назару вида: средней длины лапы, похожие на куриные, только намного толще; тело охристо-рыжее, яйцеобразное, крупное; длинный прямой клюв с зазубринами на конце; а еще круглые, застывшие ужасом желтые глаза. Баир сообщил, что более птицы не помешают, а Назар все не мог избавиться от чувства свершившегося на его глазах дурного проступка.

— Так, что тревожит тебя, мой друг? — все так же просто обратился к Назару Баир.

— Вы не сказали, что знали утопленника, — не обращая на фамильярность коллеги в обращении, продолжил Назар. — И даже общались с ним в последние перед выходом в море часы...

— Не пойму, откуда такая чистуха?.. Сам проверь распечатку, — с вызовом и неприязнью ответил Баир.

— Он звонил с аппарата жены, и еще я беседовал с Петыром, — наугад добавил про Ташева Назар.

— Не знаю, что там тебе наговорил этот болгарский черт. Но право твое, раз дознался, слушай, — и Баир стал рассказывать о случившемся Назару, наполняя стопки настойкой ерофеича.

Одноклассник Баира Ташев Петыр попался в ходе облавы автоинспектору. Возможно, был нетрезв или скорость превысил, но имелись основания для лишения прав. На мольбы Петыра автоинспектор не соглашался, и тогда Баир, помня о школьном товариществе, поговорил со смежником. Дело замяли, а утопленникам просто не повезло. Все остальное странное-невыясненное не имеет к Баиру отношения и не стоит того, чтобы начинать служебку и делать из Караханова злодея.

— Ну что? Оформляем отказник, — попытожил Баир, доставая из рюкзака нужную форму. — Тут и Юрий Александрович просил побыстрее. Петыр ведь на людях ничего не расскажет. Безнадега.

— Баир Сергеевич, я вынужден дать делу решительный ход с изложением обстоятельств...

— Зря ты так, не по-нашему это, не по-сахалинскому. Здесь со столичными привычками легко быстро сморщиться. Ну, да будет. Давай по одной и назад, — и Баир протянул Назару полную густой настойки стопку.

Капитан юстиции Калина опрокинул в себя вязкую жидкость, и голову его сразу закружило. Он прилег на траву и стал рассматривать суетливо пролетающие над ним облака, заворачивающиеся, переплетающиеся никогда прежде не виданным образом...

Назар пробудился, когда уже стемнело. Головная боль отдавала в виски, тошнота без конца подступала, подхватывала. Он был на поляне один, коллега оставил его и, похоже, хотел отравить.

Следователь направился к лодкам. Карманы его были пусты, и, оставшись без связи, он уже раздумывал, каким образом будет выбираться с давно необитаемого острова.

Но лодка была на месте, Баир ушел на своей. Море крутило, ветреная погода должна была разразиться ливнем. Опытные моряки не отважились бы выйти в море в начинающийся шторм. Но Назар не сумел различить опасность, завел двигатель и отплыл в сторону Сахалина.

Вскоре набежал холодный вихрь, закрапал дождь, и прогулка на лодке в прежде теплый день стала вмиг суровой пыткой. Назара било о борта и дно судна, штормовое волнение грозило ежесекундно выбросить его в море.

Больше часа Калина был в пути, и впереди через мглу непогоды наконец проявились очертания крупнейшего острова России. Седая пена с силой разбивалась о его берега, наполняя пространство вокруг яростным стоном и оглушительным шумом падающей воды.

Почти дойдя до земли, Назар захотел развернуть лодку, чтобы пройти вдоль береговой линии до порта Невельска. В самый момент поворотного маневра мотор судна вдруг закашлял, затахтел и сник.

«Неужели вышел дизель?» — ошупывал Назар в темноте мотор.

В этот момент пальцы его провалились в ровное аккуратное отверстие в баке двигателя. Такое же, должно быть, нашли и утопленники, сражаясь со стихией на воде.

«Баир...» — только и успел подумать капитан юстиции Калина, прежде чем судно дало на волнах крен и перевернулось.

5

В понедельник утром прокурор города Невельска Юрий Александрович Ким был чрезвычайно обеспокоен: несчастные случаи с гражданскими еще можно было как-то приукрасить, преподнести, но любая гибель сотрудников поднадзорного ведомства грозила решительным служебным расследованием, а там кто знает, до чего областные коллеги способны доискаться, дорыскать.

И каким же было его облегчение, когда на пороге кабинета появился капитан юстиции Калина, пускай и разбитый, и растревоженный, но живой. Лицо Назара, прежде приятное, было сильно искорябано: ссадины и кровоподтеки покрывали его. Перемещался по комнате Назар с трудом, сильно прихрамывая на левую ногу.

— Назар Демьянович, ну куда это годится! Только к нам заступили и уже чуть не сгнули!

— Так по вине назначенного помощника! Следует немедленно арестовать Баира Сергеевича. Он причастен к гибели автоинспектора и почти преуспел в моей, — сказал Назар и представил прокурору обстоятельства неясного прежде дела.

Баир Караханов действительно вступился за одноклассника Петьра Ташева, которого хотели «ни за что» лишить водительских прав. Он попросил автоинспектора об услуге — заменить лишение на иную меру воздействия. Погибший выполнил просьбу и даже прекратил дело. Довольный протекцией Петьр пришел с благодарностью к Баиру, презентовав не только хмельной и провиантный припас, но и аккуратно спрятанный конверт с деньгами, о чем, бравидура безнаказанностью, зачем-то рассказал автоинспектору. Последний, и так недовольный вынужденным попустительством, сообщил Баиру, что знает, как Петьр отблагодарил его. Эта осведомленность неприятно поразила и страшно обеспокоила старшего следователя Караханова. Баир решил, что все изначально затевалось ради подставы и теперь автоинспектор расскажет о взятке или начнет шантажировать, а потому задумал избавиться от свидетеля. Виновный в злоключениях Петьр под угрозой расправы рассказал Баиру, что недавно поднимал в квартиру автоинспектора зеркало, которое они случайно разбили на лестнице. И последний теперь из-за скверных примет и суеверий намерен выбросить его в море в нелюдимое предзакатное время. Дальше, со слов повторно опрошенного Назаром Петьра, Баир выследил утопшего, пробил в его лодке топливный бак, рассчитывая на непогоду и стечение несчастливых обстоятельств...

— Страшное дело, Назар Демьянович... Непогожее для нас, невеличан. Но мы здесь на далекой от столицы земле верим в некоторое предопределение судьбы. Беды и неприятности не случаются сами по себе. Не безгрешен был автоинспектор, зря стал заглядывать в чужой карман. И Баир Сергеевич перешел границы. Потому и присвоило их море... — вздохнув, развел руками прокурор, — обнаружили вчера лодку Караханова на берегу. И тело его, злополучного, рядом. Думал, еще и вас поутратили...

Новость о гибели коллеги-следователя поразила Назара. Он знал, что в каждом деле разыгрываются непростые судьбы людей, которые на самом деле не желают зла, а лишь ищут счастья...

— Так вот, раз уж нет у вас прямых улик, да и Баир Сергеевич больше не с нами, не ворошите дело, а?.. Пусть покоится с миром наш товарищ по службе. Прикроем по-братски.

— Простите, Юрий Александрович, но я так не могу, — справляясь с нерешительностью, ответил Назар. — Служба и честное слово требуют от меня иных поступков.

— Тут ведь еще есть кое-что. В телефоне Баира Сергеевича нашли снимки, ваши снимки, на фоне убитых краснокишечных птиц... Дело это, так сказать, сильно может навредить карьере следователя. Вы бы все же подумали.

Назар ничего не ответил на это и, покинув прокуратуру, отправился к супруге погибшего. Многому в жизни его затем суждено было перемениться, но больше всего в тот час он боялся того, что придется теперь отказаться от поступления в мореходку. Попав в волнение и шторм, он осознал, что совершенно не переносит качку. Ну а разве бывают капитаны дальнего плавания, неспособные противостоять колебаниям морского дьявола?

УЧЕНАЯ ШПАНА

1

В год первой советской Олимпиады мне, профессору правовых лекций Московского университета, довелось вести открытую встречу со студентами юридических факультетов, собравшимися в те дни в столице со всех уголков нашей безбрежной Родины.

Тогда казалось важным говорить о национальном сыске, его задачах, особенностях, представить будущим заступникам закона примеры собственных мастеров, рассказать о героях подлинных, ставших опорой гражданам и грозой преступникам. Все это должно было вовлечь ребят в структуры правоохранительных органов для работы на благо государства и общества.

Мы вспоминали знаменитых сыщиков России. Всплывали имена Кошко, Трепалова, Урусова и легендарных современников: Шелкова, Чванова, Арапова. Ребята называли и других — велика и широка Россия талантами.

Однако вскоре, неожиданно для меня, наш разговор перешел в спор. Теперь уже не просто звучали известные дела, фамилии главных злодеев и спорых сыщиков. Студенты обсуждали преимущества сыскных школ, прежде всего Москвы и Ленинграда. И более всего тут сцепились два старшекурсника — Назар Калина из московского ВЮЗИ и Иван Путилин из Ленинградского университета.

Путилин не робок был на язык и, проявляя невероятное внимание и наблюдательность в деталях, объявлял свой незавидный для москвичей приговор сдержанно и добродушно. Калина же, наоборот, распалялся от малейшего подозрения в некомпетентности земляков, не мог вынести объявленного им укора, порой и весьма справедливого, а выявив обвинение надуманное, проявлял яростную нетерпимость к несправедливости.

Сегодня этих ребят по праву называют лучшими сыскными умами России, а слава их грозой гремит для преступников по всей стране. Иван Путилин справляется с делами Центральной России, а Назар Калина следит за законностью дальневосточных рубежей.

В тот день спор, чуть не завершившийся дракой, сплотил ребят для разрешения одного внезапно возникшего на территории университета дела, которое завязало между ними крепкую, на всю жизнь, дружбу.

2

Путилин приговаривал из-за кафедры, что приемы Москвы в сыске все допотопные, а возможности ограниченные, несмотря на названные ранее заметные имена и столичный статус. Но, мол, Москву еще можно спасти, если привьет она себе все то

прекрасно усвоенное, от Европы впитанное, все лучшее, что есть в сыском искусстве Ленинграда.

На то Калина просил объяснений, обвинив ленинградцев, и Путилина в частности, в критиканстве и сквернохарактерности по причине, очевидно, самой природы города, сотканного из болотистых испарений и разлитой в воздухе сырости, проникающих не только в дома, но и в плоть городских жителей.

Путилин принял удар, сообщив, что действительно Москва расположена благоприятнее, отсюда и чрезмерная леность коллег в работе, обман в делах, отсутствие реакции и энергии, которые в кратчайшие сроки могли бы позволить распутать любое самое незаурядное дело. И добавил, что Москва есть некая застывшая, старинная неподвижность, где все окутано семейственностью, набожностью и традицией. А потому к обеду столичному следователю надлежит быть дома, в воскресенье — на службе или в других местах, а оттого портится дело, преступник забывает бояться, не совершает ошибок и уходит в тину. Кроме того, родня в Москве никогда не заявит на родню, покрывает друг друга, а куда в Москве ни глянешь — везде родня. Отчего много в столице незаконченных, неразрешенных дел. Ленинград же, напротив, отдает себя всего служению, не замечая часов, усталости, людской привязанности и нарушая пустые договоренности. Кроме того, Москва вся окутана разъединенностью, в ней каждый прячет от другого взгляд, отгораживается и не знает с соседом. И как при таких условиях нечаянно заприметить проступок, понять, как живет и что совершает близкий, как втереться в доверие, притвориться своим, проводя следствие?

Возражая, Калина отвечал, что, несмотря на кажущуюся разъединенность, каждый москвич наделен горячим сердцем, всегда найдет время, проявит участие для чужой беды, а потому примет самые деятельные меры для помощи следствию, тогда как ленинградец, вскормленный городом, построенным на сваях и расчете, ко всему остается строг, никогда ничему не удивляется и не поддается, если только то ни в его интересах. А потому и чужое несчастье, и чужая просьба могут остаться незамеченными. А вся эта хваленая ленинградская наблюдательность проистекает лишь из чувства собственного самодовольства через различие у других грязной обуви, отсутствия модного туалета, через непобедимую веру в собственное превосходство над другими. Тогда как у москвичей есть особое чутье на характер, нутро человека, они сразу видят людей с душою и сердцем, отличая оных от негодяев.

Неизвестно, как закончилось бы дело, молодые юристы глядели друг на друга яростно и, казалось, готовы были решиться на драку. Но здесь я задумал иначе разрешить их спор и обратился к ребятам:

— Друзья мои, Московский университет есть не только старейший, но и лучший русский университет, обучающий ребят со всей страны. Это, если хотите, и марка, и символ, и гордость Союза. Иностранцы, посещающие столицу, всегда прибывают с экскурсиями к нам, чтобы зайти в библиотеку, посетить знаменитую аудиторию или просто погулять по аллеям, купить пирожок с вишней. Сейчас в городе проходят первые в стране Олимпийские игры, и потому поток иностранных визитеров в университет увеличился, а здесь, как назло, стали случаться разбои в вечернее время на нашей территории. Избиты студенты-младшекурсники, досталось и профессору политических учений. Шпана эта не скрывается, не прячет лиц, значит — не студенты, не выпускники. Но кто и зачем? Отбирать у научного коллектива нечего, у студентов — если только в пору выдачи стипендий, но не теперь... Со слов пострадавших, хулиганов не более четырех-пяти человек. А если им попадутся иностранцы? Будет скандал! Ректор уже поставлен в известность и желает привлечь милицию,

но я тоже предлагаю помочь. Попробуем обойтись студенческими дружинами. В вечернее время парами будем патрулировать аллеи и темные места. При обнаружении хулиганов в конфликт не вступаем, лишь подаем свистком сигнал. И соберутся и милиция, и другие ребята. Так в две-три ночи, до окончания наших ученых встреч, полагаю, нам удастся скрутить хулиганов и избавить университет от дурной славы. Кто готов? Предлагаю отметить в списке и получить повязку и свисток. Иван и Назар, вам я рекомендую записаться в пару, там и разберетесь в действенности методов. Ну и, конечно, выявившим нарушителей будут от университета благодарственные письма.

— Значит, будем знакомы. Назар, — протянул руку Путилину Калина.

— Иван. Согласен быть в паре? — ответил рукопожатием Путилин.

— Да. Полагаю, прекрасная возможность нам отличиться и обратить на себя внимание.

— Думаю, сыну прокурора города, перспективному кадру и жениху необязательно лезть в пекло, чтобы заслужить внимание, — лукаво подмигнул Назару Иван, а Калина лишь удивленно направился к столу регистрации дружинников.

Не успели новые знакомцы отойти от стола, к ним подбежала юркая чернбровая девица, сияющий блеск ее смоляных глаз вдруг обжег Назара, точно молния, и он даже не сразу различил смысл брошенных не в его адрес слов:

— А мне больше Ленинград нравится, чем эта... неутонченная Москва. Я — Юля, кстати, первокурсница здесь, но уже стажерка прокуратуры, — заулыбавшись, обратилась она к Путилину. — Вам, Иван, возможно, очень пошли бы бакенбарды. Я видела недавно в одном модном журнале. Приходите завтра вечером в клуб. Я покажу. Будут танцы, кассеты импортные новые обещали, ребята и на гитаре умеют. Общежитие юрфака, восьмой этаж. И друга тоже приводите, — и она еще раз обожгла Назара смоляными глазами, убежав куда-то по своим делам.

— Вот тебе и жених, — задумчиво проговорил Калина, решив обязательно еще раз увидеть Юлю.

Но Путилин не обращал на товарища внимания, и было похоже, что он обменивался мыслями с самим собою вслух:

— На месте, на месте... Толкаться, толкаться... Темно, темно... — бормотал Путилин.

Затем стал стучать указательным пальцем по столу, вдруг лицо его озарилось какой-то приятной догадкой, и, повернувшись к Назару, он спросил:

— Итак, дружище, какой у московского сыска план?

Назар недобро посмотрел на Путилина и предложил:

— Думал притвориться иностранцем, есть здесь у меня приятель недалеко в театральном, что-нибудь подберем.

— Вот и отлично, — одобрительно проговорил Путилин, точно сам придумал этот план, — значит, так и поступим. Ты изображай из себя иностранца, постарайся пройти по видным местам, а затем заворачивай часам к десяти к переходу, что у закрытого восточного блока университета. Там никого теперь не бывает, и место превосходное для засады. Я буду где-то рядом, — и Путилин с небольшим полупоклоном отправился прочь.

И как Россия однажды явилась миру с двумя столицами — старой и новой, так и преступный мир содрогнулся впервые, увидев в деле молодых специалистов, явивших лучшие качества сыскных школ Москвы и Ленинграда.

3

По аллее, вдоль главного здания университета, где с двух сторон развернулись часто посаженные деревья курильской сакуры, спешил, оборачиваясь, иностранный гость.

Это был пожилой японец с жидкими черными усиками, волос его уже давно коснулась пепельная паутина, хотя двигался он довольно бойко для своих лет. Одет он был скромно: серый со стойкой-воротником пиджак, темные брюки, белая рубашка, черный галстук. Невнимательный прохожий мог бы подумать, что иностранец оказался на аллее не случайно, а чтобы представить апрельское цветение сакуры, милое сердцу любого японца, когда буквально за несколько мимолетных дней вишня преобразается, распускаясь восхитительными цветами, сообщая миру и людям о существовании внезапно прекрасного, великого рядом. Другой, более сведущий в деловых вопросах прохожий сказал бы, что здесь японцы отдают дань стремлению двух стран — СССР и Японии — к развитию дружеских отношений, в честь которых, собственно, и была высажена вишневая аллея. Но на самом деле старичок пытался скрыться от компании молодых людей, преследующих его уже не менее получаса, перешушукивающих между собой, окликивающих его, пошвыстывающих вслед.

Время клонилось к десяти, окрестности опустели, и старичок повернул к восточному блоку университета, не зная, что тот находится на ремонте, а входы и выходы с территории в той стороне закрыты.

Работы на период проведения Олимпиады были приостановлены, и японец шел мимо потухших строительных вагончиков, лесов, сеток и прочего оставленного на время ремонтного скарба. Впереди искрился, помигивая барахлящим светом, подземный переход, по которому можно было пройти под Менделеевской улицей, выйти к Ботанического саду, а там добраться и до китайского посольства, где иностранный гость мог бы укрыться.

Спускаясь в подземный переход, японец заметил спящего на картонках бродягу. Его рваные башмаки были надеты на голую ногу, брюки-клеш испачканы бетонной пылью, укрывался он рваной женской кофтой, примостив голову на какой-то распуший, грязный мешок.

Пролетев мимо бродяги, старичок не сразу увидел, что выход из перехода заблокирован металлическими стойками, скрепленными скобами и ржавыми замками. Крупная табличка гласила: «Выхода нет». Старик угодил в ловушку и уже слышал звук шаркающих вниз по лестнице, в переход, ног. Это были те самые молодые люди, «большаки», как их называли студенты, отслужившие в армии, заслужившие почет и оттого решительные, требовательные, агрессивные. Лица их были осквернены нехорошими задумками.

— Заблудился, папаша? — с издевкой обратился к старику один из молодых людей.

— Lost yourself? — перевел слова первого второй.

— Да, ребята, спасибо, — на прекрасном русском ответил японец. — Когда-то давно я окончил университет, выучил русский, проникся вашей культурой и вот теперь брожу по знакомым местам, вспоминаю... Но тут закрыто, пройду иначе...

В это время молодые люди окружили японца.

— Все ясно, папаша, память — дело хорошее. А скажи, должны ли мы что-то тебе за проход? Заплатить?

— Нет, с чего бы это... — осторожно проговорил старик.

— Ясно, ну тогда ты плати! Знаешь, ведь мир так устроен: всегда кто-то должен заплатить, — и парень с силой толкнул старика в грудь.

В это время за спинами хулиганов вдруг появилось лицо с кровоподтеками, взерошенные волосы явившегося ниоткуда человека торчали в разные стороны, и по женской кофте японец узнал того самого спящего бродягу, который, не вступая в разговор, стукнул одного парня в ухо, а другого уложил ударом в подбородок.

Трое других хулиганов кинулись с кулаками на бродягу, тем временем в руке старика засверкал кастет. Японец остановил одного парня ударом под дых, затем схватил за ворот пиджака другого и с силой дернул пиджак вниз. Руки хулигана оказались скованы рукавами, и, получив удар от бродяги в живот, он осел на месте.

Единственный оставшийся на ногах хулиган попытался бежать, но старичок подсек его ловкой подножкой, и тот, растянувшись на полу перехода, на некоторое время притих.

Проницательный читатель, должно быть, уже догадался, что японцем был не кто иной, как переодетый Назар Калина, а бродягой — Иван Путилин.

— Ни с места! Уголовный розыск! — зарычал на шевелящихся хулиганов Путилин, в то время как Калина уже всю свистел в свисток, и на подмогу студентам сбегались милиция и дружинники...

4

Итог этой истории такой. Хулиганы признались, что совершали безобразия по просьбе заместителя ректора. Следующей весной должно было пройти переизбрание руководителя университета, и громкий скандал в период важнейшего международного события в столице мог бы серьезно навредить репутации нынешнего ректора. Он бы лишился поста, а заместитель был вторым претендентом на должность. Хулиганы после армии не могли никуда себя пристроить, а здесь им предлагали стипендию, общежитие и зачисление в студенты без экзаменов. Заместитель ректора не стал ничего отрицать, за что был снят с должности без шума и скандала.

Так всего за одну ночь молодые таланты Калина и Путилин разрешили неясное дело ночных нападений в канун важного для страны события, избавив лучший вуз в мире от стыда и дурной славы.

ЭШЕЛОН

Рассказ

Курсанты выкатили на поле самолет УТ-2. Инструктор натянул на руки перчатки с длинными крагами и окликнул одного из них:

— Старшина.

Коренастый юноша подошел и доложил:

— Старшина Радомиров.

— Вот что, Владимир, — инструктор смотрел на старшину сверху вниз, — приказы писать некогда. Враг близко. Будешь эвакуировать аэроклуб. Нам дали вагоны. Вывезти все: движки, запчасти, инструмент, стремянки, бочки и весь личный состав. — Инструктор пристально посмотрел на старшину и громко уточнил: — Понял?

Тут только до старшины дошло указание.

— А почему я? — удивился он.

— Сам подумай: за плечами техникум, спортсмен, серебряный значок, — инструктор показал рукой на грудь старшины, где был значок стрелка РККА, — и один полет совершил. Кто, как не ты? Вопросы есть?

— А бочки зачем? Они же пустые.

— В чистое поле едем. Там что, начлет на бочках сидит?

— Нет у него бочек.

— Соображаешь, — похвалил инструктор.

Он забрался в кабину самолета.

— А вы куда? — спросил старшина.

— Как куда? В Москву.

— Так топлива мало.

— Поэтому я лечу, а не ты. Врагу «ласточку» оставлять, что ли? — Он склонился к борту и крикнул: — От винта.

— Есть от винта! — отозвался моторист.

Он зацепил за лопасть пусковой трос и дернул его. Мотор чихнул, из патрубка вырвалось облако копоти, винт завращался. Самолет вырулил на поляну, разбежался, взлетел, сделал вираж и повернул на лес.

— Топлива нет, а он еще на восток взял, — заметил кто-то.

Игорь Викторович Михайлов родился в 1961 году в Ленинграде. Окончил Политехнический институт в 1990 году по специальности «инженер-механик». Автор нескольких книг прозы. Публиковался в журналах, газетах и сборниках «Аврора», «Литературная учеба», «Русский переплет», «Зубрёнок», «Невская перспектива», «Литературный MIX», «Молодой Петербург», «Невский альманах», «Литературный Санкт-Петербург», «Ецирут. Schaffen. Творчество», «Свидетельства времени», «Наша Канада», «Приневский край», «Молодое око» и другие. В журнале «Детективы СМ» опубликован роман «Погоня за призраком». Призер литературного конкурса «Неизвестный Петербург», посвященного 310-летию Санкт-Петербурга. Лауреат конкурса «Русский Stil-2016» (звание «Автор — стильное перо!», Германия). Живет в Санкт-Петербурге.

— Ну, так у фронта его подстрелят! — объяснил старшина. — А мы на чем летать будем? Соображать надо.

Два грузовика стояли у сарая. По наклонным полозьям курсанты затягивали веревками двигатель самолета в кузов грузовика. Другие подносили ящики, части фюзеляжа, длинные заготовки для ремонта стрингеров и нервюр, катили колеса.

Первая машина была загружена. Старшина с курсантами поехали на станцию.

— Где наш поезд? — спросил старшина.

— В хвосте артиллерия, — словно обдумывая ответ, не торопясь сообщил начальник станции и приказал: — В середину грузитесь за путейцами.

— Когда отправление?

— Как паровоз появится — сразу отходим.

— А когда он появится? — озаботился старшина.

— А может, никогда. Мы же в кольце.

Курсанты перетаскивали ящики из грузовика на железнодорожную платформу.

— А где харч брать? — поинтересовался кто-то, — Бадаевские склады сгорели.

— Вот и дуйте туда. Может, повезет.

Порожний грузовик с курсантами уехал за продовольствием.

Новый грузовик с имуществом аэроклуба разгрузили. Он возвратился на летное поле.

— Что еще можно забрать? — спросил старшина.

— Кроме ворот — ничего, — пошутил кто-то.

Старшина деловито осмотрел ворота. Постучал по ним железкой.

— Крепкие, как броня, — оценил кто-то.

— А ну-ка навались, — попросил старшина.

Курсанты приподняли одну створку ворот, сняли ее с петель и понесли к грузовику.

На станции ворота не помещались на платформу, их затащили в теплушку и поставили между нарами. Другая машина привезла коричневый плавленый сахар и несколько мешков с комками горелой муки.

На основных путях появился паровоз.

— Цепляй состав, — приказал начальник станции.

— Угля нет, — сообщил машинист.

— У меня тоже, — начальник развел руками.

— Как же быть?

— А я знаю?

Высоко в небе кружила рама.

— Опять высматривает, — начальник станции показал на самолет.

— Ах, беда, — озаботился машинист.

— Понятное дело, — согласился начальник.

Артиллеристы разговаривали между собой.

— Раму не сбить. В ней пустого места много.

— А правда, за нее героя дают?

— Ты попади, а потом скажешь.

Артиллеристы засмеялись.

Курсанты построились.

— Старшим по вагонам уточнить списочный состав, — приказал старшина. — Разойтись.

Он подошел к теплушке и возмутился:

— Почему у вагонов посторонние?

Курсанты стояли, опустив головы. Один из них объяснил:

— Это наши родители. Можно их взять?

— Ты что, под расстрел меня подвести хочешь? — вспыхнул старшина.

Все молчали.

— Нельзя, — распорядился он и пошел прочь.

За ним увязался курсант. Он тихо уговаривал:

— Товарищ старшина, куда же их девать? Всего пятнадцать человек.

Старшина остановился и вполголоса сказал:

— Засунь своих родителей под лавку, и чтоб не высовывались. Но я не разрешил.

— Спасибо! — так же тихо поблагодарил курсант.

Паровоз медленно сдавал по путям. Вместе с артиллеристами и авиаторами вагоны занимали путейцы. На платформах лежали шпалы, рельсы. Стрела крана висела над грузом. Паровоз торкнулся в первый вагон. По составу пробежала волна лязганья.

Из паровозного пара неожиданно появился мужчина. Полоски в его петлицах показывали, что он военком. Он спросил старшину:

— Ты кто?

— Эвакуирую аэроклуб, товарищ капитан, — ответил старшина.

— Сколько людей?

— Сто восемьдесят семь курсантов, — отводя взгляд, доложил старшина.

— Фронт прорвали. Есть окно. Здесь стоять нельзя. Рама кружила.

— Видел.

— Я в теплушке с путейцами.

Тут же на станции раздалась команда: «По вагонам!»

Старшина побежал вдоль состава. Курсанты запрыгивали в вагоны.

Начальник станции вышел на платформу с желтым флажком. Состав отходил.

— Двадцать три, — сказал начальник станции, когда мимо него проехал последний вагон. — Как гора с плеч.

Он с тревогой посмотрел на небо.

Паровоз набирал ход. С обеих сторон однопутного пути тянулись леса. Среди них кое-где сверкали болота. Поезд поднимал с полотна дороги опавшую листву. Подхваченная воздушными вихрями, она разлеталась по сторонам, а потом снова оседала. Позади едва угадывались слабые разрывы. Поднимался черный дым. Артиллеристы напряженно вглядывались назад в сторону Ленинграда.

— Нашу станцию бомбят, что ли, — сказал кто-то.

— А дым от чего?

— А он от всего, если зажигалкой подпалят.

Впереди послышалась канонада. Паровоз замедлил ход. У переезда стояла лошадь, запряженная в телегу. Два красноармейца махали руками. Паровоз остановился, машинист высунулся из окна будки. Красноармеец спросил:

— Снаряды есть?

— В хвосте, сейчас протяну, — ответил машинист.

Вагоны с боеприпасами поровнялись с переездом.

— Где наша позиция? — спросил лейтенант из вагона.

— За лесом, — красноармеец у телеги махнул рукой, — снаряды давай!

— К вагону подкатывай, — лейтенант раскрыл карту и приказал: — Разгружаемся!

Артиллеристы выбили клинья у бортов платформы и по доскам начали скатывать пушку на землю.

Машинист сказал кочегару:

— Отцепляй артиллерию. Мы к лесу отойдем.

Паровоз протянул состав к лесу и остановился.

— Чего встал? — закричал капитан с земли.

— Я же говорил: угля нет. Дрова нужны, а здесь носить близко!

— Сейчас организуем, — смягчился капитан.

Путейцы и курсанты разобрали пилы и топоры.

— Все бегом делаем. Не стоим на месте, — устал капитан, — устаем — передаем топор соседу.

К ним подошел машинист. Он посоветовал:

— Готовые кряжи в паровоз. На ходу распилим. Солярка для розжига есть?

— Пропитка для шпал сгодится? — спросил капитан.

— Хоть что.

— Тогда с бочки слей под лебедкой.

Рубка леса продолжалась. Курсанты носили кряжи к насыпи и поднимали их в бункер паровоза.

— Саша, подбрасывай дрова, держи котел под парами, — крикнул машинист кочегару.

— Я бросаю, но жара нет, Иван Васильевич.

— Ты огонь не заваливай дровами, дай им воздуха.

Вдруг послышалось шипение, словно кто-то волочил ноги по сухой осенней листве. Около насыпи на перегезде взрыв поднял землю.

Артиллеристы развернули пушку. Дали ответный выстрел. Вторая пушка начала стрелять с платформы.

— Паровоз из-под огня! — крикнул капитан.

Машинист уже поднимался в будку паровоза.

— По вагонам! — приказал капитан.

Курсанты бежали к вагонам. Поезд тронулся. Люди на ходу запрыгивали на платформы и в теплушки.

— Пилу подбери!

— Руку дай!

Паровоз отходил все дальше и дальше. Артиллеристы вступили в бой. Где-то за лесом высотку вспарывали разрывы снарядов. Из-за деревьев поднималась пыль, подобно серым облакам, она летела над макушками подлеска и оседала поодаль. Фонтанчики взрывов у перегезда вспучивали землю.

Воющий протяжный нарастающий звук соперничал со стуком колес. Как завывание, тянулся долгий бесконечный звук «а». Курсанты в теплушке замерли. На самой высокой ноте этот звук сменился буханьем пулеметной очереди. Щепки разлетались, кто-то вскочил и упал, некоторые неподвижно остались лежать. Трассы врезались в стальные ворота, которые перегораживали вагон, и выбивали звучную дробь. Самолет пролетел над составом.

Истерзанные тела, раненые люди, брызги крови на подпорках нар остались после немецкой атаки. Новый звук, похожий на урчание собаки, начал приближаться с другой стороны. Этот звук походил на протяжное «у».

Курсанты укрылись за стальными воротами. Новое буханье разрежало воздух. Теперь с другой стороны вагона полетели щепки. Дробное лязганье металла пронизывало воздух. Лежаки подпрыгивали, ворота дрожали, но они спасали людей от пулеметного вихря, который крутился в воздухе и поднимал пыль из мусора и щепок. Звук резко оборвался. Самолет пролетел над вагоном.

Ход состава замедлился.

Старшина выпрыгнул из теплушки и, опережая идущие вагоны, побежал в голову поезда. На платформе ремонтников стояла счетверенная зенитная установка из пулеметов «максим». Старшина на ходу взобрался на нее. Зенитчик лежал неподвижно. Рядом был капитан. Он говорил, словно оправдывался:

— Поздно заметили.

— Паровоз цел? — спросил старшина.

— Лупили по вагонам.

Старшина поднялся к установке. Турель стояла высоко. Пулеметные стволы были подняты выше уровня паровоза, так что они могли простреливать путь впереди. Старшина встал под наплечные дуги установки и ощутил на своих плечах вес оружия, начал двигать стволы и через визир искал цели: деревья, кусты, столбы, облака. Затем нажал на гашетки. Короткая очередь пронзила воздух. Макушка лохматой большой ели вмиг превратилась в кучий, невзрачный обрубок.

— Освоил, — хмуро похвалил капитан.

Паровоз остановился.

Люди побежали по путям вперед. Между шпалами торчал стабилизатор бомбы. Красноармеец приложил к ней ухо.

— Тикает, — удивился он.

Раздались возгласы:

— Полтонны.

— Меньше.

— С малой высоты сбросили.

— Тащи жесь и веревки! — распорядился капитан.

Он начал руками разрывать землю вокруг бомбы. Ее вытащили из земли и закатали на лист жести. К нему привязали веревки. Люди тянули веревки и поддерживали бомбу на листе. Ее оттащили к лесу.

— Под насыпью еще одна.

Ее тоже оттащили. Эхо взрыва догнало в пути.

— Успели, — только и сказал капитан.

Дальше полотно дороги было разбито. Развороченные рельсы и шпалы торчали по сторонам. Путьцы сразу же приступили к ремонту дороги. Курсанты из леса несли дрова. Цепочка из людей вытянулась к ручью. Воду черпали ведрами, их передавали друг другу. Кочегар заливал котел паровоза. Для убитых вырыли неподалеку братскую могилу.

На рассвете поезд тронулся. Огромный обруч у столба был виден издали. Машинист вытянул руку в сторону, на ходу подхватил обруч и затянул его в будку. В корбочке под обручем лежала записка.

— «Пути заняты. Мост разбомбили», — прочел Иван Васильевич, он сунул записку в карман и распорядился: — На станцию не пойдем, здесь остановимся.

Путьцы сняли с платформы дрезину и поехали на ней дальше. На станции стояли эшелоны: санитарный поезд, цистерны с горючим и вагоны с боеприпасами. В теплушках сидели женщины.

— Вы откуда? — крикнул путеец с дрезины.

— Окопники, с фронта отступаем, — ответила женщина.

Санитарный поезд принял новых раненых. Их несли по путям.

Ночью над станцией зависли световые бомбы. Немцы совершили налет. Цистерны вспыхнули. В горящих вагонах боеприпасы взрывались, с шипением разлетались болванки, световые дуги взлетали над лесом. Станция горела до утра. С рассветом уцелевшие люди начали вылезать из соседнего болота. Там они хоронились от пламени и жара. Из санитарного эшелона спаслась одна медсестра. Состав на главном пути остался незамеченным. Путьцы восстановили дорогу. Уцелевших людей посадили в теплушки. Состав прошел станцию. Земля дымилась. Мимо проплывали остовы паровозов, скелеты вагонов, колеса от платформ стояли на запасных путях. Люди молчали.

Медсестра плакала и говорила, словно оправдываясь:

— Я же только за водой пошла с чайниками. А тут такое...

Мост через Волхов был разрушен, но рельсы держались между опорами. Путьцы закрепили полотно.

— Паровоз может не пройти, — усомнился машинист, — пойду пустым.

— Разрешите старикам остаться. Пусть молодежь плышет.

Машинист махнул рукой. На берегу собрались люди.

Паровоз отошел обратно к станции и начал набирать ход. Впереди был восстановленный мост. Паровоз с разгона въехал на мост, все скрипело, рельсы гнулись, но паровоз проскочил все опоры и уверенно вытягивал состав на другой берег. Последний вагон отцепился и скатился в реку. Состав поглотила темнота.

— Одежду на голову. Ее затягиваем ремнем и так плывем, — наставлял старшина.

Курсанты переправлялись вплавь.

Речная вода обдала холодом, течение сносило людей. Судорога свела ногу. Старшина нашупал иголку в гимнастерке на голове и воткнул ее в икру ноги. Хватаясь за камыши и осоку, он вылез на берег. Зуб на зуб не попадал. Берег был окошен. Небольшая копна стояла на угоре. Старшина нашупал в одежде коробок спичек, дрожащими руками поднес их к копне, разворошил сено, чиркнул спичку. Сено загорелось. К огню начали подбираться голые люди. Когда дрожь унялась, старшина уступил место и отошел в темноту.

Паровоз стоял на путях. Путьцы поднимали вагоны домкратами и ставили их на рельсы. Тут же приступили к заготовке дров.

Состав продолжал двигаться. Курсанты распиливали кряжи в бункере паровоза. Машинист залез на кучу дров и тревожно крикнул:

— Гудит, что ли?!

Курсанты прекратили пилить дрова. Все разглядывали горизонт.

Только сейчас старшина различил под стук колес едва уловимое завывание мотора самолета.

Старшина прыгнул к турели и уперся в наплечные дуги пулеметов. Небо было пусто, но очень низко на фоне леса старшина заметил самолет. Он приблизился. Старшина прицелился. Стиснул в кулаках ручки. Долгожданная цель, которая всегда была недосыгаема и поэтому непобедима, теперь стала близка и желанна. Старшина ощутил восторг и в то же время боялся ошибиться. Если враг заметит трассы, то ускользнет. Силуэт самолета был в центре визира. Цель внутри кружка росла. Между двумя моторами была стеклянная, разлинованная на правильные сектора кабина. Старшина нажал на гашетки. В висках стучало, пулеметные ручки вздрагивали от вибрации стволов. Трассы уходили под самолет. Старшина подогнул колени, стволы подались вверх. Кабина брызнула осколками. Четыре пулеметные трассы в упор крошили цель. Самолет накренился, резко дернулся вверх, показав рамный фюзеляж.

— Уходит, — крикнул кто-то.

Но самолет с крестом клюнул носом и упал в болото. Из-за голых берез взлетел огромный фонтан воды.

— Ура! — закричали люди.

Старшина держал в прицеле макушки берез, как будто хотел подстрелить врага, если тот вздумает подняться снова.

Рельсы на полотне расходились. Поезд остановился. Ремонтники вновь налаживали пути. Подставляли домкраты под рельсы, соединяли стыки. Люди бежали в лес и пилили деревья. Дров хватало на несколько десятков километров.

Неожиданно взрыв снаряда вспучил землю около насыпи. Машинист сдал назад.

Капитан в бинокль разглядывал путь.

— Четыре танка с крестами по правую руку. Три дулом к нам, а один на Москву. Вокруг них окопы нарыты.

— А пути сильно разбиты? — спросил машинист.

— Похоже, рельсы тросами растащили.

Ночью небо было затянуто облаками. Легкая морось садилась на траву. Курсанты и путейцы подкрадывались в темноте к танкам. Кто-то задел прикладом о рельс. Раздался лязг. В темноте с шипением поднялась осветительная ракета. Силуэты бойцов стали хорошей мишенью. Раздались автоматные очереди. Стреляли пулеметы из танков. Бойцы залегли и ответили выстрелами из винтовок, но как только ракета погасла, бойцы вновь ринулись в атаку. Лязгали автоматные очереди. Старшина явственно почувствовал жар свинцовых потоков у головы. Тепло растекалось по вискам. Осветила новая ракета. Офицер в фуражке и в черной форме стоял близко и палил из автомата. Старшина выстрелил из винтовки. Врага откинуло назад, словно он получил удар в грудь. Старшина подбежал и схватил за дуло автомат. Сталь обожгла. У танков завязался рукопашный бой.

— Ты что, старшина, ранен? — спросил капитан после боя. — Голова в крови.

— Эсэсовец в упор стрелял. Чиркнуло. Ствол у него раскалился, и все мимо.

— Повезло.

— Хожу, не верю. Вот листик подобрал. Красивый.

Старшина крутил в руках за черенок желтый березовый листок.

— А что с танками?

— Так они пустые, без солярки.

— Твоих много положили?

— Собираем.

Полотно восстановили. Пустые, словно вымершие, станции проезжали мимо. На очередной из них железнодорожник прыгнул на подножку паровоза и спросил, словно чего-то испугавшись:

— Откуда вы?

— Оттуда, — машинист показал рукой в хвост состава, — вода есть?

— Так все взорвали. Приказ, — оправдывался железнодорожник.

— А уголь? — снова с надеждой в голосе спросил Иван Васильевич.

— И угля нет.

— Ничего-то у вас нет, и мы без всего двадцать дней прорывались!

На узловой станции эшелон расформировали.

— Ох, и тебе, старшина, досталось! Как зовут-то тебя? — спросил капитан.

— Володя.

— А сколько лет тебе?

— Восемнадцать.

— Ну, прощай, Володя! Работы у нас еще много, — он протянул руку.

— Прощайте, товарищ капитан.

— А чего такой мрачный? — спросил капитан, не отпуская руку.

— Ребят жалко. Сорок одного потеряли, не летали еще.

— Война, — угрюмо сказал капитан.

Паровоз загудел.

— По вагонам! — раздалась команда на перроне.

Мужчины обнялись и побежали в разные эшелоны.

Имена подлинные. Иван Васильевич Михайлов родился в 1909 году, машинист паровоза, погиб во время артобстрела в г. Малая Вишера, осталось четверо детей.

Владимир Георгиевич Радомиров родился в 1922 году, воевал летчиком, участник трех войн, полковник, 11 детей. Умер в 93 года. Рассказ записан с его слов.

Игорь МАЛЫШЕВ

МОИ ДЕВЯНОСТЫЕ

Рассказ

— Ничего не бойся. Начнет кто ломиться в дверь, звони мне. Я живу рядом. Высунись в окно и прямо с девятого этажа начну из автомата поливать по входу.

Я устраивался на работу ночным сторожем в фирму, одним из совладельцев которой был муж моей двоюродной сестры.

— Даже не думай, сразу звони, — сказал он. — Всех положим.

Работать нужно было ночь через две. По выходным — сутками. Деньги выходили неплохие, больше чем у матери и отчима, которые работали с восьми до пяти каждый будний день.

Я учился на пятом курсе института, и, конечно, деньги мне были необходимы. Девяносто четвертый год. Мне двадцать два, я бодр и весел, играю в группе, точнее, в дуэте, где только я и скрипач, он же барабанщик. Вокруг столько новой музыки, книг, фильмов, техники, что состояние безденежья гнетет, как пресс.

В ночь первого дежурства я не спал.

Склад автозапчастей, который я сторожил, располагался в подвале районной поликлиники, и металла, жести все видов, здесь было немерено.

Я обошел весь подвал, каждый его закуток и угол. Выяснил, что сверху, с первого этажа, сюда не попасть. Ход был только один, и он был заложен кирпичной кладкой.

Я долго искал место, куда буду прятаться, если сюда станут ломиться бандиты, и я его нашел. В одной стене обнаружили большие металлические двери с изображенными на них молниями в желтых треугольниках. За дверьми — электрические шкафы с толстыми, прикрученными гайками на тринадцать кабелями. Я понял, что если забраться на верхушки шкафов, то снизу меня почти не будет видно. А для бандитов, в спешке обыскивающих подвал, найти сторожа станет совсем невыполнимой задачей.

Успокоенный этим открытием, я отправился спать.

Я лег на кушетку в бытовой комнате, подумал, что кушетку, скорее всего, дала располагающаяся наверху поликлиника, укрылся «кусачим» одеялом, тоже, вероятнее всего, подаренным врачами. Конечно, не заснул. Если ежесекундно ожидаешь нападения, заснуть трудно. Нет, кошмары не мучили, я просто путался в липкой пленке на границе яви и сна, и это изматывало хуже тяжелой работы.

Во время следующего дежурства мне удалось поспать час или два. Ну а после я уже спал, как сурок, со всей юношеской основательностью, которая если в чем и проявляется лучше всего, так это в умении лезть куда не надо и в крепости сна.

Игорь Александрович Малышев — писатель, поэт. Публиковался в журналах «Новый мир», «Москва», «Дружба народов», «Юность», «Волга», «Нева» и др. Автор книг «Лис», «Дом», «Там, откуда облака», «Театральная сказка», «Номах», прозаического переложения «Песни о нибелунгах». Финалист литературных премий «Большая книга», «Ясная Поляна», «Русский Букер» и др.

В бытовке обнаружился магнитофон. Вечерами, после того, как работники расходились по домам и я запираю все три двери — обитую жестью деревянную, сваренную из арматуры и последнюю, из металлического листа и уголков, — начиналась уборка. Я подметал пол веником и, держа его, как гитару, периодически начинал истошно подпевать Кобейну или Нику Кейву. Не знаю, оставались ли дежурные в поликлинике, не знаю, слышали они меня или нет, но звучало жутко.

Вскоре в бытовке обнаружилась еще и гитара, вполне строящая шестиструнка, и я стал петь и сочинять во время дежурств. Петь я тогда любил громко и иступленно. Кто знает, может, издаваемые мной дикие звуки в некий прекрасный момент убедили потенциальных грабителей не штурмовать этот полный ценного автомобильного железа подвал.

Время от времени на складе оставались ночевать иногородние люди, сотрудничающие с фирмой.

Были веселые украинцы, привезшие два или три ящика подшипников. Везли на поезде. Со смехом рассказывали, что из-за отсутствия билетов ехали в тамбуре и еле купились от таможенников.

Однажды вечером разговорился с новым сотрудником фирмы.

— Я сам со Свердловска. Мне назад возвращаться нельзя. Здесь, в Москве, мне обещали, что сделают большую закупку. Парни в Свердловске в долги влезли, купили запчастей, а Москва заднюю включила: «Нам уже не надо».

— Там парни, наверное, сейчас прикованные наручниками к батареям, живут. А что с их женами сделали, и представить страшно.

— Нет, мне в Свердловск возвращаться нельзя. Как только под своим именем в гостинице или еще где засвечусь, тут же убьют.

Он был по-мужски красив, интеллигентен, с очень правильной речью. Не верилось, что из-за него кого-то могут держать прикованным к батарее.

Однажды я приехал на дежурство и застал весь коллектив в сборе. Сотрудники и руководство вместе сидели в бытовке за сдвинутыми столами и пили водку, почти не закусывая и не разговаривая. Оказалось, всего час назад отсюда ушел ОМОН.

Ворвались, положили всех мордой в пол, надели наручники. С автоматами, в балаклавах, как положено. Выяснилось, что бывший совладелец заказал ОМОНу наезд, но у нынешних владельцев нашлась своя ментовская «крыша». «Крыши» переговорили и о чем-то договорились. Наручники сняли, встать разрешили.

Стресс от пребывания под дулами автоматов сняли традиционно водкой.

Пили тихо и тихо же разошлись.

Странное, страшное время. Никто не хочет идти в армию, но служившие, подвыпив, обычно вспоминают именно воинские будни. Воевавшие часто вспоминают войну. Я вспоминаю девяностые. Время опасное, стрессовое, бедняцкое, иногда почти голодное. Время молодости, силы, бешеной жажды жизни. Время, когда мы, словно сёрфингисты, балансировали на волне обрушивающегося в пропасть советского мира и были бодры, были злы. Были настроены выстоять, выдержать, победить. И ежедневное чувство победы давало радость, давало счастье.

И поэтому мои девяностые — время счастья. Не взломали склад — удача. Не убили по дороге на полуночную электричку — победа. Поехали на репетицию, удалось отбиться от глуховской гопоты — эйфория.

Мужики важно чувствовать себя победителем, важно преодолевать. Время давало нам достаточно препятствий.

И потому я, конечно, люблю свою юность, но оторву голову всякому, кто захочет отправить моих детей в новые девяностые.

КОГДА-НИБУДЬ

НЕБЕСА ДЛЯ ЮЛИИ

Ты не знаешь, какими синими
вечерами дарил февраль.
Ты — дитя, на руках носимое.
Не понятна тебе печаль
провожающей стаю немощи.
Не разделишь со мной строки
упоения сводом, рдеющим
над излучинами реки.
Не клубится греховной пропастью
угрожающий небосклон,
вышина не лучится кротостью
сквозь молитвенный шепот крон.
А когда-то под зимним куполом
землю выснежит круговерть
и на темя, как в детстве глупое,
черным пологом ляжет смерть.

Ты — дитя. Голубеют заводи
небесами недолгих лет.
Улыбнись же, безвинной памяти
ничего прозрачнее нет.

ХРАНИТЕЛЬ

Часы прокукарекают и дня
стальной корсет затянет позвоночник.
Исчадия луны — химеры ночи, —
смолкая, в тень отступят от меня.

Дина Дронфорт родилась в 1963 году в Московской области. Поэт, основатель литературного проекта «Невод». Окончила Московский институт легкой промышленности. С начала 90-х годов живет в Германии. Активист Международного литературного форума «Солнечный ветер». Член Союза литераторов Российской Федерации. Публикуется в ежегодной «Антологии поэзии русского зарубежья» издательства «Алетейя» (СПб.), в сетевых и печатных альманахах «Эмигрантская лира», «45-я параллель», «Белый ворон», «Ассоль», «Новая литература», в «Литературной газете», в журналах «Крещатик», «Textura», «Перископ-Волга», «Литературные знакомства». В 2010 году выпустила книгу лирики «Огонь в ладонях». В издательстве «Алетейя» готовится к выпуску второе издание книги «Огонь в ладонях» и новый поэтический сборник «Небеса для Юлии».

Ладонью маску тяжкую стерев,
спиной изображу кариатиду.
Луна меж тем скрывается из виду,
невинно унося ночной напев.

Что ж, радуйся! Усерден ангел твой,
моления и капризы исполняет.
И в слове синева сквозит льняная,
и хлеб не горек милостью чужой.

А все теперь некстати и не впрок.
Луна ли под сурдинку темя точит
и тело бледной немочью морочит?
Но если отзовется парой строк

душа из хрупкой кельи костяной —
Хранитель, знаю, учит терпеливо
превозмогать полночное светило
молитвой — и смиренной, и простой.

ВЕШНИЙ НАПЕВ

От вороньего диалекта
до шафрановой стайки нот —
разомлев на припеке, ветка
кулачок листвы разожмет.

Все вернется — дождем по листьям,
маргаритками в мураве.
Все, как водится — так же быстры
те же ласточки в синеве.

В берегах лебединых стариц
та же будет бродить вода.
Те же лошади — стать и глянец!
Только я не вернусь сюда.

По примятой траве у края
утонувших в воде лещин
навестить вас придет другая,
постарев на пяток морщин.

Мимо яблони, мимо окон,
по тропинке к вам не приду —
я останусь гулять в далеком,
зеленеющем вечно году.

ТИШИНА ФАТЕРШТЕТЕНА

Громогласие Мюнхена тонет в цикадах предместий,
благолепны герани балконов, причудны дороги.
Не добраться до этой глуши ничему, кроме вести
о рожденном от девы, распятом, но признанном Боге.

На душе тишина — ни салюта, ни птичьего солнца,
не рокошет лавина, молчат заоконные слезы.
Горизонт между белым и черным сегодня не рвется,
пара мушек-машин по ландшафту, и те безголовы.

Все вопросы поставлены, выданы впрок все ответы.
Растворяясь в тиши, утихают порывы и страсти.
Так приходит к смирению каждый когда-то и где-то,
осознав, что ни в чем,
даже в собственной смерти,
не властен.

ВИДЕНЬЕ

Зá полночь. Титры дневного кино.
Веки под занавес, кошка урчит.
Входят виденья...

Вот, скажем, одно:
как-то привиделось в зимней ночи,
что череду перелетных годин
вдруг отменил поднебесный судья
и от щедрот мне оставил один
месяц на сборы в иные края.

Месяц! — затикал взмах метроном,
темень круша в бисер микросекунд,
ночь объявляя непрожитым днем.
Минус неделя. Как стрелки бегут!
Планов — достало бы путь устелить
в рай — мимо ада — по мелкой воде —
по океану — пушу корабли
жизни своей... За оставшийся день?

Стойте, часы! Завершая земной
срок обучения горней любви,
годы листаю в надежде немой,
не обнаружить пробелы свои.
Чем оправдаюсь, встречая судьбу?
Ждет — и заслуженно — место в аду.
Поздно, трубят и подали ладью —
руку, Харон, я готова. Иду!

ПРЕВРАЩЕНИЯ

Рассказы

ИЕРУСАЛИМСКОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ

Бернард Шоу (а может, то был Уайльд) сказал как-то, что простые удовольствия — последнее прибежище сложных, многое испытавших натур. Не мерен горделиво применять к себе это обобщающее суждение, но в последнее время я и впрямь стал замечать, что пассивное лицезрение картин окружающей обыденной жизни, рассеянное слежение фабулы детективного сериала, прочувствованное поглощение содержимого коньячного бокала или чтение старинных историй для детей оказывает на меня утешительное, благотворное действие. Позволяет заслониться от ощущения всеохватывающей бессмыслицы, от тени Великой Спячки, как назвал такое состояние души один неплохой американский писатель прошлого века.

Погожим майским утром, когда солнце еще не начало загонять все живое в теневые резервации своими жалящими лучами, я сидел на скамейке в скверике по соседству и с удовольствием листал страницы красочно иллюстрированной книги. Это был сборник сказок Шарля Перро. «Кот в сапогах» снова, в который уже раз, отраднo позабавил меня своим веселым изяществом и наивной смелостью фантазии.

Скверик наш мало чем отличается от десятков ему подобных в Иерусалиме. Изрядно обшарпанные скамейки, давно уже выкрашенные в едкий зеленый цвет (но деревянные, к чести муниципалитета). Столь же потрепанного вида детский городок, с мини-каруселью и качелями/качалками разных форм, с неизменными конструкциями из пластика и жести, снабженными для пушей наглядности схематичными рисунками и соответствующими надписями «джунгли», «супермаркет», «ракета», а также — на радость малышам — лесенками и желобами для быстрого спуска на земную поверхность. Чахлые тонкие свеженасаженные деревца, почти не дающие тени. Впрочем, почти у самого входа, неподалеку от места, где я сидел, возвышались две мощных калабрийских сосны, наклоненные друг навстречу другу, но в непересекающихся плоскостях. *Einsam und schweigend...*

Внезапно рядом со мной обнаружилась фигура высокого худощавого человека, который безмолвным жестом попросил разрешения сесть на ту же скамейку. Я испытал мимолетное чувство досады, но кивнул, почти инстинктивно, и даже подвинулся, хотя места моему новому соседу и так хватало. Только через пару минут я взглянул на «гостя» внимательнее и обнаружил, что он мне знаком, по крайней мере, визуальнo. У меня даже было для него прозвище: Кошколюб.

Я нередко встречал эту фигуру на улочках нашего квартала, и всякий раз он либо, присев на корточки, рассыпал из неизменной банки угощение для своих питомцев, либо

Марк Фомич Амусин — литературовед, критик. Родился в 1948 году. Докторскую диссертацию по русской филологии защитил в Иерусалимском университете. Автор книг «Братья Стругацкие. Очерк творчества» (1996), «Город, обрамленный словом» (2003), «Зеркала и зазеркалья» (2008), «Алхимия повседневности» (2010), «Огонь столетий» (2015). Статьи публиковались в журналах «Звезда», «Нева», «Знамя», «Вопросы литературы», «Новый мир». Живет в Израиле.

быстрой, скользящей походкой перемещался к следующей точке кошачьего «общепита». Внешность его была по-своему примечательной. Он обычно носил обтягивающие черные брюки (иногда — потрепанные синие джинсы), грязно-серые кроссовки и непременно белую рубашку. Лишь в самые зимние холода на нем красовалась потертая кожаная куртка неопределенного цвета. Да, еще он был в черной кипе.

Смуглое худое лицо обрамляли длинные прямые пряди черных волос. В общем, человек этот производил впечатление чудака, не слишком опрятного, но безобидного. Среди сефардов такие попадаются часто. Правда, однажды, прогуливаясь, я обратил внимание, что он довольно оживленно разговаривает с элегантной молодой женщиной, которую я тут видел впервые. Когда я приблизился, они уже разошлись в разные стороны, но я успел услышать, как он непринужденно бросает ей напоследок «Have a nice day» — с вполне приличным произношением.

Из моего описания можно было бы заключить, что я за ним чуть ли не следил, но это совсем не так. Сказать по правде, я довольно уверенно отнес этого человека к категории городских сумасшедших (ну, пусть квартальных, для уточнения масштаба) и в последнее время едва выделял его на фоне уличного пейзажа.

Но вот сейчас он сидел почти рядом и даже заглядывал искоса в лежащую у меня на коленях книгу. Потом вдруг обратился ко мне:

— Это история про кота в сапогах. Значит, ты тоже интересуешься этими существами?

— Ты что, читаешь по-русски? — я задал этот вопрос как бы по инерции, сразу поняв всю его бессмысленность.

— Нет, конечно. Но я вижу картинки и понимаю, о чем речь. Напрасно ты думаешь, что сказка эта известна только французам и русским.

— Может, ты даже знаешь, кто ее написал?

— Разве это важно? Кто бы он ни был, он почти ничего не выдумал: это правдивая история. Поверь мне, я в этом разбираюсь.

— Ты хочешь сказать, что кошки умеют разговаривать, ходить на задних лапах и с легкостью выдавать себя за людей?

— А, это все мелочи и уловки, если говорить на привычном тебе языке — литературная условность. — Тут я испытал легкий шок, потому что никак не ожидал от своего собеседника таких оборотов — я сам не без труда уловил смысл этого выражения на иврите. — Ты упускаешь в этой истории главное — превращения, которым подверг себя великан-людоед. Вот это как раз и придает сказке правдивость. Хотя на самом деле он это делал не по своей воле.

Разговор стал меня забавлять. Откуда бы мой Кошколюб ни поднабрался мудреных терминов, внешность его и повадки оставались дешевыми, шарлатанскими. Встречал я и прежде таких выходцев из стран Леванта: мастеров пускать пыль в глаза, элегантно-потрепанных, умеющих вовремя вернуть фразу на английском или несколько интеллигентных словечек в точном расчете на эффект: никто такого от них не ожидает, и вот — пожалуйста.

Впрочем, осанка и манера поведения моего соседа и впрямь переменялись за последние несколько минут, стала внушительнее, что ли. Он непринужденно, даже расслабленно откинулся на спинку скамейки, зато взгляд его зеленых глаз, устремленных на меня, приобрел твердость и какую-то неприятную пронизательность.

— Ты хочешь сказать, — спросил я, — что превращение людей в животных и наоборот случается в реальности?

— Именно так, — невозмутимо отвечивал он, не отводя взгляда. — Я сам, наделенный особой связью с кошачьим миром — ты ведь это замечал, — проделывал подобное неоднократно.

Странная догадка посетила меня. Действительно, в последние пару лет поголовье котов и кошек в окрестности заметно увеличилось. В то же время число людей на и без того довольно пустынных улочках нашего квартала постоянно убывало. Неужели?..

— Нет-нет, — словно уловив мои мысли, заговорил сосед. Он улыбнулся ободряюще и чуть снисходительно. — Не в моих силах по собственной инициативе производить такие операции. Я хоть и являюсь в некотором роде повелителем этого региона кошачьей вселенной, над людьми обладаю очень ограниченной властью. В основном — в целях защиты данного вида четвероногих. Но кое-что я могу. Если тебе любопытно побывать в кошачьей шкуре, могу это устроить. Ненадолго, минут на пять, потом вернешься в прежнее состояние. Для этого тебе достаточно высказать свое желание вслух, громко и внятно. Ну как, соблазнительно?

— Ну вот еще. Как я могу поверить тебе на слово! А вдруг ты...

Тут я замолчал, поняв, что сморозил несусветную глупость. Неужели я поверил во всю эту ерунду, которую нес придурковатый малый, пусть и с повадками провинциального фокусника? Положительно, у меня начинается размягчение мозгов, хотя дневная жара еще не дошла до своего пика. Надо было бы подняться и уйти, но что-то в этой нелепой фигуре, в нашем диковатом разговоре странно влекло меня. И впрямь, почему бы не продлить еще немного это дармовое развлечение? И я вдруг услышал, как говорю — совершенно помимо своей воли:

— А что ж? Давай попробуем.

Сосед снова улыбнулся.

— Не так. Повторяй за мной формулу согласия...

И я, словно заколдованный, произнес на иврите пару фраз, состоящих в основном из канцелярско-юридического жаргона. Мне было смешно, но вырваться из этого потока абсурда никак не удавалось.

Кошколюб быстро огляделся по сторонам, потом встал и, беззвучно шевеля губами, уставился на меня. Прошло несколько секунд. Я уже твердо вознамерился прервать наконец эту шарлатанскую процедуру, как вдруг...

На мгновение я словно очутился в аэродинамической трубе (это не литературное клише — был у меня раз в жизни подобный опыт), а потом понял, с легким ощущением тошноты, что все вокруг и во мне изменилось. Прежде всего, перспектива: окружающее выросло, раздвинулось, исказилось, я видел все снизу, словно с четверенок. Скамейка теперь сбоку нависала надо мной, я видел серую от пыли нижнюю ее поверхность, шероховатую от потрескавшейся, отстающей краски. Я видел снующих чуть ниже уровня моих глаз муравьев и жучков, подсохшие следы неточных плевков и комки жевательной резины на стенках стоявшей поблизости мусорной урны, сетку трещин на ботинках человека, ставшего только что моим хозяином. Сам же он выглядел огромным, его фигура башней устремлялась ввысь. И мне очень хотелось прижаться к его ноге, потереться об нее, лизнуть — хотя что-то мешало это сделать.

Но главное — запахи. Они нахлынули на меня потоком, почти осязаемым в своей плотности и в то же время четко разделенным на несхожие острые струйки. Резко пахло бензином, слежавшейся пылью, чем-то молочным, но явно неприятным из урны. «Наверное, остатки сэндвичей или пиццы», — внятно подумал я. Целое облако ароматов наплывало со стороны окаймлявшего дорожку со скамейками травяного газона, кружило голову своей контрастной пестротой.

Все было знакомо, привычно — и ошеломляюще ново. При этом я каким-то странным образом сохранял свою человеческую ипостась. Я помнил весь наш разговор, осознавал происшедшее со мной и, как ни странно, не испытывал ни ужаса, ни безнадежности. Разве что изумление: неужели действительно случилось чудо, неужели чудеса случаются? Я даже пытался это как-то анализировать. А параллельно с этим кошачья

часть моего «я» продолжала впитывать впечатления внешнего мира и деловито их перерабатывала, отделяя приятные от угрожающих, полезные от случайных и незначущих.

Вдруг откуда-то из глубины сквера потянуло отвратительным и пугающим собачьим духом. Я непроизвольно напрягся и попытался прыжком укрыться под скамейкой, но покачнулся и еле устоял на лапах. Потому что меня накрыла новая волна тошноты, сильнее, чем в прошлый раз. Секунда, другая — и все вернулось в мир человеческих измерений. Я стоял возле той же скамейки, меня слегка пошатывало, но в остальном все было, как обычно.

Кошколюб ободряюще похлопал меня по локтю.

— Садись, садись. Ну, как впечатления? Было интересно?

Мне пришлось сделать несколько глотательных движений, чтобы вернуть себе способность говорить.

— Да так... Очень необычно.

— Так кем бы ты предпочел быть: младшим братом-счастливчиком, маркизом Карабасом — или самым ловкачом-котом?

— Наверное, королем, — неловко попытался я отшутиться.

— Я думал, страсть к экспериментам и метаморфозам в тебе сильнее. Впрочем, как знаешь. Ладно, меня ждут в других местах.

Тут я заметил, что внешность моего собеседника снова неуловимо меняется. Он как-то сжимался, мельчал, глаза его утрачивали остроту и властность, щетина на щеках становилась показательно неопрятной, в волосах проблескивала перхоть. Кошколюб поднялся, приветственно помахал мне рукой и удалился своей скользящей легкой походкой.

Я отправился домой и поспешил записать все, что осталось в памяти и на кончиках рецепторов, потому что эти впечатления, я чувствовал, быстро расплывались, теряли четкость. Дальше жизнь моя течет по-прежнему. Я, как и раньше, встречаю иногда на улице своего странного собеседника, и мы даже обмениваемся невнятными приветственными жестами. Что меня с ним связывает — это в моем сознании все больше покрывается туманом. Но должен отметить один странный факт: я больше не испытываю ставшей привычной за последние годы тоски и неприкаянности, чувства абсолютного одиночества и затерянности в равнодушном мире. Как будто в ускользающей глубине помыслов и влечений возникает почти бесплотная вертикаль, подобие столпа, к которому можно прижаться, потереться об него — и обрести надежду и покровительство.

ПЕТЕРБУРГСКОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ

В баре на Литейном народе почти не было. Рано еще, не час пик. У длинной, покрытой блестящим пластиком стойки восседал на высоком деревянном стуле здоровенный малый лет под сорок, несколько забудыжного вида, с нечесаной шевелюрой и густой темно-русой бородой, украшенной местами хлопьями высыхающей пивной пены. Мешковатая куртка грязно-бежевого окраса была расстегнута, но казалось, с трудом охватывала его могучую грудь и солидный живот. Откинувшись на спинку стула, он держал в руке пол-литровый бокал светлого пива, и на лице его пребывало выражение рассеянного довольства жизнью вообще и данным ее моментом в частности.

Парень искоса цеплял взглядом экран висевшего на стене телевизора, где футболисты месили бутсами мокрое вязкое поле, но это мрачноватое зрелище, похоже, ничуть не влияло на его умиротворенное, почти блаженное состояние. Время от време-

ни он подбирал с блюдца и бросал в рот рыжие сухарики или кубики рокфора в мраморных разводах.

Вдоль стойки располагалось еще с полдюжины барных стульев. В самом ее конце, там, где стойка упиралась в стену, возвышался громоздкий ящик аквариума — с натуральным серым песком, с водорослями, раковинами, губчатыми гротами и миниатюрными коралловыми грядками. Живого движения в этом пейзаже почти не наблюдалось — очевидно, был час отдыха, или же обитатели аквариума умело использовали мимирию.

У окна, растянувшегося во всю длину зала, размещались штуки четыре столиков, снабженных полукруглыми кожаными диванами. Последние казались неуместными в интерьере бара — что поделаешь, эклектика. Единичные клиенты, сидевшие порознь за столиками, смотрелась сиротливо.

Персонал заведения представляли немолодой лысый бармен, одетый в подобие белого кителя, и юнец лет двадцати, с ирокезом, в рубашке и галстучке-бабочке. Функциями его были, очевидно, прием заказов и приготовление несложных закусок типа бутербродов, а также разогрев пиццы в микроволновке. Делать им в этот послепопуденный час было нечего, и оба просто озирали окрестности, игнорируя футбольное теледействие.

Пожилой, внимательно взглядевшись в посетителя у стойки, вдруг вздохнул и, поведя в его сторону подбородком, шепотом сказал своему молодому коллеге:

— На Митю Шагина похож, двадцатилетней давности...

— А это кто?

Бармен только тяжело вздохнул и отвернулся.

Дверь распахнулась, и в баре возник еще один посетитель, немного странного для этого места вида. Это был сухощавый человек чуть выше среднего роста (слово «джентльмен», несомненно, тут напрашивалось), с бородкой, в распахнутом светлом плаще, из-под которого виднелась серая тройка. От фигуры его веяло элегантностью и каким-то нездешним лоском. Вошедший неторопливо огляделся и уселся у стойки, неподалеку от неопрятного здоровяка, после чего заказал официанту сотку коньяка «Камю».

Получив свой напиток, «элегантный» поднял бокал и внимательно рассмотрел его на свет, потом вернул на стойку и, не пригубляя, уставился на соседа не то оценивающим, не то вопрошающим взглядом. Детина, казалось, не обращал никакого внимания на проявленный к нему интерес, сохраняя на лице выражение невозмутимого довольства.

— Скверная какая погода, — нарушил наконец молчание элегантный и почему-то кивнул головой в сторону телеэкрана.

— Так это ж из Уфы передают, — ответил детина после короткой паузы. — У нас-то посуше будет.

— Ну, к вечеру и тут дождь соберется, — заметил элегантный, но его собеседник, похоже, не посчитал нужным как-то реагировать на это сообщение.

Не дождавшись ответа, элегантный продолжал:

— И какой дождь это будет — вы такого не припомните, уж я обещаю.

Детина неопределенно повел плечами, что можно было бы истолковать как: разное видывали. А после некоторой паузы добавил раздумчиво:

— До вечера еще дожить надо.

Элегантного эта вялая реакция как будто не смутила. Он продолжал с каким-то даже жаром:

— Вы абсолютно правы. Каждая следующая минута, то есть будущее, несет с собой неожиданности, быть может, даже катастрофы. Всем известно: нынче природа совершенно вразнос пошла. А почему? Случайно или из-за всяких там углеродных вы-

бросов, как эти зеленые дураки болтают? Ничего подобного! Главное в том, что человечество в силу разных причин утрачивает онтологичность, укорененность в почве бытия, а значит — и право на существование. Вы не находите?

Он внезапно выбросил руку в сторону флегматичного собеседника — жестом просительно-обвиняющим. Детина опасливо отодвинул свой ополовиненный бокал с пивом.

— А ты что же — доцент по части философии? — проявил он наконец личный интерес к собеседнику.

— Почему же доцент? Я, скорее, доктор в области... э-э... теологии. Но это неважно. Разве вы не согласны с тем, что в нынешнем своем помраченном, чтобы не сказать извращенном состоянии род человеческий заслуживает наказания — вплоть до гибели?

— Ну, не знаю, — по-прежнему флегматично отвечал детина и отхлебнул пива. — Люди все разные, нельзя всех под одну гребенку. А что до права на существование — по-моему, пусть живут. А кстати, что не пьешь? Коньяк простынет.

Он, очевидно, надеялся снизить метафизический уровень беседы за счет повышения алкоголизации своего визави. Тот как-то механично, явно не смакуя, сделал большой глоток бледно-коричневого напитка и продолжал:

— Вы какой-то оппортунист или, проще, пофигист получаете. Или вас эта тема совсем не волнует? «Пусть живут». Вот зачем жить... ну, к примеру, этому, — элегантно указал на бармена, который, казалось, дремал по ту сторону стойки с открытыми глазами.

— А что? Человек как человек.

— Вот именно. А давайте посмотрим, что у него за душой.

Элегантный сделал едва заметное движение рукой — и изображение на телеэкране (там в перерыве матча шла какая-то совершенно идиотская реклама) вдруг изменилось. Возникло дрожащее оранжевое марево, по нему заструились разноцветные змейки и зигзаги, потом поплыли, сменяя друг друга, картинки: нечеткий силуэт автомобиля, правда, с ясно различимой эмблемой BMW; какой-то гляцевый пейзаж с пальмами, пляжем, далеким парусом в море и почему-то с бьющим прямо посреди пляжа фонтанчиком темной жидкости, предположительно нефти; моторная лодка, а в ней несколько настороженных людей с автоматами, плывущая по узкой протоке в джунглях. Потом пошел видеоэпизод, в котором несколько атлетических фигур энергично мутузили друг друга. Мелькнула немолодая женщина с усталым лицом в кухонном интерьере, но ее быстро сменила другая женщина, уже молодая, с большой голый грудью, в черных трусиках и поясе.

— Вот так, — промолвил с ядовитой улыбкой элегантный, возвращая на экран тягостный футбол, — достойный экземпляр Homo Sapiens, не правда ли? И обратите внимание: в его голове — все из книг, телесериалов, компьютерных игр. Ничего своего.

— Ну и что? Не садист, не убийца, малолетних вроде бы не растлевают, — детина, ничуть не пораженный самим фокусом, отвечал серьезно, раздумчиво. — Ну, мелкие, конечно, мыслишки и мечты, стандартные. Тут я согласен. У других — по-другому.

Элегантного этот ответ, однако, спровоцировал на новый полемический вираж.

— Да, этот — из убогих, из нищих духом. Но разве так называемые интеллектуалы лучше? Они ведь в своих парадоксах, лабиринтах и бесконечных контроверзах совершенно запутались и развратились. Нет, многознание, дух анализа, идейное шарлатанство, книжный бисер, метаемый перед свиньями, мне особенно отвратительны. И город этот мне ненавистен. Потому что он весь пропитан миазмами литературы, умственного шукачества, в нем все туманно, двойственно, не равно себе...

— Ну и что? А я вот люблю Питер. И как раз за вот это вот самое.

Но элегантный продолжал, словно не услышав возражения:

— Он смущает людей, отвлекает их от привычной и благодетельной рутины, побуждает фантазировать, мечтать о чуде, о том, чего не бывает. За это я его накажу — вместе с обитателями.

— Накажешь? — по-настоящему удивился детина и даже слегка повернулся на своем сиденье, чтобы смотреть на визави не крутя головой. — А кто ты такой для этого?

Левая бровь элегантного поползла вверх и изогнулась, а бородка воинственно встопорщилась.

— Вам такого знать не положено, но теперь это уже ничему не помешает, так уж и быть. Я демон первого разряда Сил и уполномочен произвести над этим городом терминальную экзекуцию. Проще говоря, пресловутый Петербург, он же Ленинград, будет через... — он взглянул на часы, — двадцать пять минут смыт с лица земли водной стихией, и никакая дамба тут не поможет. И это послужит последним предупреждением зарвавшемуся и зарвавшемуся роду людскому.

— Так а в чем тут будет предупреждение? Какими здешние люди должны стать, чтобы вам, демонам, понравиться?

Элегантный отхлебнул из бокала, на этот раз со вкусом, теперь в его выражении лица, в змеином изгибе губ просвечивала сверхчеловеческая властность.

— А вот проще надо быть, в облаках не витать, больше под ноги смотреть, а не в книги и ноутбуки. Чтоб не было ни Вавилонских башен, ни Вавилонских библиотек. Так оно и будет или — ничего не будет! Пустое место!

При этих словах стало слышно, как на улице сиреной взвыл ветер, видимые в окне деревья словно бы заломили руки-ветви, понесся желто-ржавый хоровод сорванных листьев...

— А это мы еще посмотрим, — рявкнул вдруг детина и выпятил могучую грудь так, что стало заметно отсутствие верхней пуговицы на линялой рубашке. — Я, к твоему сведению, дух-хранитель места сего, поставлен, чтобы оберегать его вместе с обитателями от таких, как ты, — губителей и пакостников. Водной стихией он, видите ли, повелевает!

(Самое интересное, что эта громогласная перепалка не привлекла к себе ни малейшего внимания обслуживающего персонала и немногочисленных посетителей бара, по-прежнему смотревших кто в экран телевизора, кто в окно — на потемневший городской пейзаж.)

И тут начался поединок — безмолвный, лишенный всякой видимой динамики. Соперники просто уставились друг на друга, словно пытаясь просверлить другого глазами. Напряженная эта неподвижность напоминала схватку борцов сумо.

Вдруг детина, словно прорвав защитное поле противника, резко взмахнул рукой и сдавленно прокричал что-то вроде: «Абанамат! Аксалотль!» И тут же все кончилось. Элегантный просто исчез — исчез! И только очень внимательный наблюдатель заметил бы, что в аквариуме стало одним обитателем больше. Он был чуть ярче своего окружения, видно, не успел адаптироваться к колориту среды, да еще отличался повышенной суетливостью: все время подплывал к стеклу и словно тыкался в него тупо срезанной книзу головой с выпученными бусинками-глазами.

Закипевшая было за окном буря улеглась. Ветер стих, в сплошной грязно-серой вате туч возникли промывы синевы.

Детина откинулся на спинку стула и минуты три сидел с бессмысленным выражением, незряче глядя перед собой. Потом провел устало по лицу рукой и заказал рюмку водки и еще одно пиво. Придвигая напитки клиенту, молодой официант услышал, как тот бормочет непонятное:

— Ну, вот и все. Справились на сегодня. Сереге бы понравилось. И Хулио тоже оценил бы...

ВЕНСКОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ

Знаете ли вы кафе «Кафка»? Не из набора пражских заведений, беззастенчиво эксплуатирующих бренд, а то, что в Вене, недалеко от Ринга? Ну, неважно. Средней, признаться, руки кафе. Но именно в нем одним октябрьским вечером ужинал наш молодой герой, Клаус Корвин, театральный художник и начинающий литератор.

Клаус сидел за столиком в углу, имевшим то преимущество, что пристроиться рядом потенциальному соседу было бы неудобно, и без особого аппетита поглощал свою скромную трапезу: порцию фалафеля с зеленым салатом, дополненную бокалом пива «Штигль». В настроении он пребывал меланхолическом.

Правда, работой своей в «Бургтеатре» он, в общем, доволен: зарплата в пару тысяч евро позволяет сносно питаться, владеть уже выплаченной «шкодой» и снимать вполне приличную, двух с половиной комнатную квартиру в Десятом районе. Его веселая подружка Илона, венгеро-словацкого происхождения, рыжеватая и очаровательно веснушчатая, хоть и не делит с ним это пристанище на постоянной основе, делает его все же намного уютнее типичной холостяцкой берлоги...

Да, Илона. Иногда он в шутку говорит ей, что своим смещением (в его жилах, если судить по фамилии, тоже ведь течет сколько-то мадьярской крови) генов и постоянным раскачиванием между идиллией и ссорой они воспроизводят в миниатюре канувшую Австро-Венгерскую монархию. При этом вместе им хорошо, тут без вопросов.

Все это очень мило, но вот с настоящим делом жизни, с призванием, у него, Клауса, не клеится. Двадцать восемь лет — а всего лишь пять опубликованных, да и то давно, стихотворений да три рассказа. Хорошо хоть, что в бумажных журналах, а не на этих жутких электронных платформах, где печатается без разбору любая свинья.

Но этого мало, мало. А он ведь ощущает в себе силы, способность представлять воображенные ситуации как живые, и направлять их к закономерно-неожиданному финалу, и находить для каждой из них подходящий язык описания. У него в столе — десяток новелл и две полноценные повести. Особенно удалась вторая, законченная с полгода назад. Там главный герой — житель сегодняшней Вены, богемный анархист и бунтарь, который временами испытывает приступы ностальгии по конным парадом, штыкам и каскам, по плюшу и блеску паркета в аристократических гостиных. Расколота такая индивидуальность. Вроде бы все, как требуется. И ведь, ей-богу, вовсе не банально. Но в двух издательствах не взяли, говорят, конъюнктура не та. Нужен или тотальный абсурд, или толстый социальный роман с философией и психотравмами.

Ладно, попробует он и роман, хоть и не лежит категорически душа к водянистым рассуждениям и многостраничному, абсолютно бесплодному самоанализу героев.

А на самом-то деле проблема в том, что литература действительно *passee* — что бы там ни лепетали эти умники из издательств: спрос на то, мода на это... Задворки культуры. Сумерки кумиров. Он отодвинул тарелку с остатками фалафеля и энергичным глотком допил пиво. Что бы еще заказать? Фалафель-то сегодня сыроват. И вообще — ничего себе еда для венца! Левант катком прокатился по нашей гастрономии. И не только. Взять, пожалуй, тост с моцареллой?

Да, не время для настоящей литературы. Сегодня даже Бёлля и Грасса публика — вместе с издателями — проигнорировала бы. Повезло Хандке: после десятилетия забвения взлетел вдруг на пьедестал. Его Нобель — счастливая случайность. Но и он успел уже после этого испариться из коллективной памяти.

Остаются лишь имена гигантов, а скорее, их тени. Шекспир, Гёте, Флобер, Достоевский. Читать-то и их не читают, но имена произносятся с придыханием. Вот тост

неплох. Клаус заказал еще одно пиво и кофе — после. В «Кафке» становилось шумно. Громкий говор, звон стаканов, обрывки вокала, мелодичное попискивание смартфонов — все это сливалось в некий общий звуковой фон, правда отдаленный. Удачно все-таки он выбрал место.

За столиком через проход блондинка в коротком красном платье явно млела от взглядов и прикосновений писаного красавца с черной бородой, тюрбаном и повелительным взглядом (сикх?). И никаких феминистских фокусов. Илона, к счастью, тоже этим не страдает.

Потом взгляд Клауса заскользил по хорошо знакомым стенам кафе. Постеры с полуголыми красотками, виды среднеевропейских городов, репродукции Модильяни. Доминировал тут масштабный, как бы заглавный фотопортрет человека с тревожным взглядом и крупным носом. Внизу написано: «Кафка в кино».

Почему в кино? Верно, было немало экранизаций: несколько «Превращений», целая серия «Процессов». Видел он, помнится, в клубе и фильм по «Замку» какого-то русского режиссера со странной фамилией.

Да, вот Кафка — исключение. Он почти победил время, впечатался в матрицу мировой культуры и пребудет там, похоже, до самого ее конца.

В дверь кафе проскользнула — именно как змейка — высокая худая женщина, в свитере и короткой юбке, с удивительно тонкими ногами. Не оглядываясь по сторонам, она, как по компасу, приблизилась к его столику и уселась сбоку. Человеку нормальной комплекции проделать такой трюк в столь тесном пространстве было бы трудно. Длинные, чуть выющиеся черные с проседью волосы. Резкие морщины от носа к уголкам рта. Глаза на смуглом, словно бы изможденном, лице глядели пристально, но спокойно — на него.

Клаус в недоумении пытался придумать вежливую, но отстраняющую фразу. Просидев неподвижно с минуту, женщина — ей на вид было лет сорок пять — вдруг вытянула руку и медленно провела по его щеке костяшками пальцев, так, что он даже ощутил боль. После этого поднялась — и словно растворилась в потускневшем вдруг электрическом мареве.

Клаус был шокирован. Что за явление? Хотя, пожалуй, ничего сверхъестественного. Наверное, женщина обкурилась и приняла его за другого. Бывает. Несколько оправившись, он вернулся мыслями к Кафке и себе самому. Вот если бы ему хоть частицу дарования этого полубезумного страдальца-еврея! Да где уж. У него еврейских корней, кажется, нет. Вопреки моде, Клаус своей генеалогией особо не интересовался. Не был он также религиозен, хоть и вырос в умеренно католической семье. Тем неожиданнее стало то, что у него в душе вдруг возник сильный и очень спонтанный, искренний молитвенный импульс, который можно было бы сформулировать примерно так: «Господи, ну что тебе стоит наделить меня талантом, мировидением, близкими к тому, что были у Кафки! Почему я этого не заслуживаю?» Клаус сам удивился этому порыву и даже немного устыдился его.

Он заказал двойной эспрессо и штрудель. За последние годы кухня в «Кафке» изрядно деградировала, но штрудель еще как-то держал уровень. Хорошо, размышлял он, поглощая десерт, вообще говоря, в феномене Кафки есть большая загадка. Он, насколько мы понимаем, вовсе не Шекспир, который был способен перевоплощаться в кого угодно, быть каждым и всеми вместе. Кафка — человек, в высшей степени ни на кого не похожий, с особым, явно болезненным самоощущением и чувством жизни. При этом самые разные люди, молодые и старые, сильные и слабые, богатые и бедные, гордые и смиренные, находят в его писаниях что-то свое, прикладывают к себе порождения его причудливого, угнетенного воображения. Почему так?

А вот интересно представить, как могут выглядеть нынче кафкианские ситуации, сюжеты? Конечно, и сто лет назад они не валялись на дороге, знай подбирай. Нет, они становились художественными фактами, только пройдя сквозь истерзанную душу (или печень?) бедняги Франца. И все же — что взбудоражило бы его в сегодняшнем мире, с Интернетом, соцсетями, сексуальным харассментом и потоками беженцев? У них в театре девушка-стажерка, помнится, рассказывала странную историю про то, как на ее странице в фейсбуке аватарка сама собой поменялась на другую и потом упрямо отказывалась вернуться в исходное состояние. Оригинальная картинка являла собой улыбающуюся нимфу верхом на дельфине. Новая же изображала волка, безмолвно, но с очевидным отчаянием воющего на луну.

Нет, это слишком бедно и банально, не в духе Кафки. Тут нужно сочинять, воображать... Например: человек (собственно, он, Клаус) спускается на лифте к уровню подземной автостоянки на Штефансплац. Ну, отлить ему понадобилось. Заходит он в туалет, справляет нужду — а выйти не может, дверь не открывается ни в какую. Зато в боковой стенке клозета обнаруживается узкий проем, и, протиснувшись в него, герой попадает в странный коридор с бесконечным рядом газетных киосков по обеим сторонам — без продавцов... А дальше он оказывается в хвосте небольшой очереди, состоящей из голых людей. Очередь движется понемногу к закутку, и там что-то происходит, но Клаусу не видно, что именно, потому что он гораздо ниже ростом, чем остальные. Однако потолок в закутке зеркальный, и в нем отражается какой-то блеск, напоминающий о взмахе меча. Клаус спокойно остается в очереди: он-то, в отличие от других, одет...

Можно и глобальнее. Нормативный житель европейского города в привычном антураже и самом мирном настроении отходит ко сну. А когда просыпается — над городом летят самолеты и ракеты, на улицах рвутся снаряды, рушатся дома, падают замертво люди. Герой уверен, что сошел с ума. Но жить-то надо. Через какое-то время, убедившись, что реальность и впрямь радикально изменилась, он начинает к ней адаптироваться: выбираться на улицу в перерывах между обстрелами, раздобывать продукты в развалинах лавок или на черном рынке, запастись водой, обменивать вещи на лекарства, батарейки, свечи.

Война затягивается, разрушений все больше. Он покидает свой дом, осваивает развалины, перемещаясь во все более глубокие подвалы. Глаза привыкают к темноте, органы тела приспособляются к существованию в подземной, скудной и жесткой среде, к одиночеству. Он утрачивает чувство времени, постепенно меняется физически. Но остается человеком — борьба за сохранение самосознания идет параллельно борьбе за выживание.

Наконец герой решается выйти на поверхность. Он надеется, что кошмар войны миновал, но боится — и стыдится — оказаться среди людей: уж очень он изменился, его могут не признать за себе подобного. А когда он покидает свое подземное убежище, выясняется, что царству человека пришел конец: цивилизации не существует, на земле торжествует дикая природа, черные развалины поросли ядовитой зеленью плюща, почва покрыта ковром повилики и прочих сорняков, хищные птицы парят в синеве и падают вниз на расплотившихся грызунов. И он сам еле удерживается от того, чтобы прыгнуть, обнажив клыки, на пробегающего зайца...

Нет, это все слишком картинно, нарочито, с навязчивым символизмом. Кафка-то тяготел к обыденно-таинственному. Скажем, к такому. Знаменитый писатель приезжает для получения престижной премии в далекую страну — Австралию, может быть, даже в Корею. Его с почетом встречают. Но постепенно в поведении окружающих начинает проявляться странная фамильярность, а церемония вручения все

отодвигается. Кто-то из публики кажется ему смутно знакомым, возникают обрывки невнятных отношений, даже обязательств. В конце концов герой понимает, что всегда жил тут, в этой, казалось бы, экзотичной местности, корейской или японской, и мало чем отличается от своих соотечественников. А европейское прошлое, писательская слава, премия — патологические наросты в его сознании, памяти, вроде рубцов от старых ран.. Горечь или облегчение?

Да, вот это стоит развить, здесь есть потенциал. Может получиться хорошая длинная новелла или короткая повесть. Клаус достал записную книжку: он предпочитал бумагу и ручку ноутбуку, особенно на ранних стадиях процесса, чуть гордясь своей старомодностью. Наброски лились легко.

Но вскоре возбуждение и энергия пошли на убыль. Так, надо сделать перерыв. И сразу в голову с какой-то особой навязчивостью полезли обыденные, облезлые мысли-заботы. Краймхаммер, заведующий их постановочной мастерской, точно намерен его подсидеть, коллега Юрген явно намекал ему на это пару дней назад. Он говорил — у Крайма есть претендентка на его место, некрасивая, но очень жаркая особа, из тех, что любят и умеют мужика оседлать, в прямом и переносном смысле. Тот ради нее на все пойдет.

Да, еще мать, надо наконец с ней объясниться. Ведь они уже после того случая почти два года еле-еле разговаривают, только делают вид. А из-за чего, собственно? Илона тогда ей не понравилась? Нет, хоть мать и отпустила пару фразочек про неразборчивых венгерских девиц, было там что-то еще...

А, Марги, сестренка. Это же из-за нее возник тот тяжелый разговор с матерью об отцовом наследстве, из-за денег на обучение Марги в частном медицинском университете. Он тогда сорвался, повел себя не слишком достойно. А все потому, что всегда чувствовал свое неравное с сестрой положение в семье. И отец, когда был жив, и мать всегда давали Маргарите больше тепла и заботы. Да и денег на нее тратили больше. Ах, да ведь не в этом дело! Главное ведь случилось в то утро десять лет назад, в утро, которое он хочет и не хочет забыть, когда он, столкнувшись с ней на пороге ванной, весь окаменел и одновременно ослаб...

Клаус ощутил мгновенную дурноту, которая, впрочем, тут же отступила. Но все, все переменялось, и в окружающем мире, и в нем самом. Он с удивлением огляделся, как будто вдруг очутился в незнакомом месте. Постеры... Портрет... А это что? Почему-то велосипед на стене. Разве он всегда был тут? Нет, пора домой. Клаус попросил счет, вынул кошелек — кредитной карточки не было. С трудом концентрируя внимание, он снова просмотрел все отделения, обшарил карманы — нигде нет. Еле наскреб нужные пятнадцать евро — придется им обойтись сегодня без чаевых.

Он с опаской оперся о столешницу и удивился, что она твердая. И все равно пусто. И вокруг, и внутри. И он сам пустота. А еще надеется, что литература поддержит, спасет. Да ведь она — производная от пустоты, даже если представлять ее не клочковатыми туманными видениями воображения, а в виде ровных рядов строк, образованных алфавитными знаками-букашками, на сброшюрованных бумажных листах.

С трудом лавируя между столиками, он вышел из кафе в ночь. Людей на улице не было, только трассирующие огни автомобильных фар. Тоска. Как бы вспомнить адрес гостиницы? Или хотя бы название? «Колберг», что ли. Ах да, «Колпинг». Это здесь неподалеку. Клаус Корвин направляет свои неверные шаги к Гумпендорферштрассе. Поворот, другой... Вот и отель — манит (или отпугивает?) ядовито-зеленым сиянием вывески. С другой стороны к двери направляется господин, чем-то знакомый. Да ведь он же похож на него, Клауса! Как две капли воды! Клаус в ужасе останавливается — и вдруг с облегчением замечает разницу. Господин-то, двойник то есть, — одетый!

Алексей МИРОНОВ

МОЯ ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ

ГРОЗА НАД РУССКОЙ ТЕЧЕЙ

Свыклись все грозы над углым колодцем,
Вот и смотри — не зевай.
Выслан ли в Касли, отправлен ли в отпуск:
Все тебе — на, да — подай.

Вытащен в космос, как тот навигатор
В небах — зари не зари.
Спит светлячок, засветивший экватор,
С ним не совсем говори.

Вышли погреться твои трали-вали
В берег, в камыш, в кулики.
Все это будет в яичном овале,
Будет в скорлупах тоски.

Иночный, а говорил, что полночный —
В грозах и радугах спишь...
Был поперечный, продольный, проточный
Там, где все «рябь и камыш».

Алексей Владимирович Миронов родился в 1972 году в городе Нижний Тагил Свердловской области, окончил филологический факультет Нижнетагильского педагогического института. Кандидат филологических наук. Подборки стихов публиковались в рамках Евразийского журнального портала «Мегалит», в журналах «Новая реальность», «Южное сияние», «Формаслов», «Эмигрантская лира», «Сетевая словесность». Участник поэтического проекта «Вещество. Вода» (Мегалит, 2017), «Антологии современной уральской поэзии: 4 том» (2018), сборника стихов и прозы «ХЛ—XXV» (СПб., 2024). Победитель Международного литературного конкурса «Хижицы-2022» (Казань), лауреат Всероссийского поэтического конкурса «Голоса цветов» (Тольятти, 2023). Участник литературных фестивалей. Автор книг стихов «Во сне тебя люблю» (Екб., 2010), «Незавершимые стихи» («Библиотека клуба ХЛ», СПб., 2021).

Волны да волны, как только угукнешь
В Русскую Течу верхом:
Слева шарахнет, и справа умолкнешь
Тихим своим языком.

* * *

Мне кто-то говорил, что я уехал
И растворился в дымке голубой
За несказанно сказочным орехом
Под утро вечером в обедный час ночной.

Мне кто-то нашептал, напел, накаркал,
Наплакал, накурил, нарисовал
Немыслимые контурные карты
С бельмесом почв и зайчиком зеркал.

Мне кто-то сон аптечный напророчил,
Где все смеркалось, пело и цвело
И кракатук в созвездье Многоточий
Светил смертельным оком весело.

СЕСТРИЦЕ ЛИСЕ

Хочется погадать,
где ты сейчас лежишь,
хочется не узнать,
куришь ты или спишь.

Слышу тебя в себе,
лапок твоих следы
черные по воде —
с той стороны беды.

В небо идет трава,
в омут течет песок.
Где ты, моя сестра,
между каких ты строк?

«КАКАЯ БОЛЬ ЕЩЕ РАЗБУДИТ НАС...»

Кромешный свет небесных канцелярий
Аукает, мерцает, шевелит,
Кудесничает схемами аварий,
А человек присядет на гранит

Янтарных сумерек и не разбудит боли,
Больней которой лишь исетский сад,
Она еще молчит, она в неволе
Любовью дышит будущих утрат.

Его переворачивает город,
Щекочет воздухом с еще ночной Невы.
Еще он музыкой загробною не вспорот,
Распознает оттенки синевы
Асфальтовых теней и линий,
Закутанных в неточные штрихи.
Белеют где-то там, посередине,
Унылых слов чудесные стихи.

Дыши, душа, дыши, не задыхайся
И губы в губы нежно затвори.
Тебя разбудят, ты не сомневайся,
Небесных канцелярий фонари.

А сердце все струится, все стучит
Сквозь белый пар, сквозь память, сквозь гранит...

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ, МЕНЯ ЗАДУШИ...

Если хочешь, меня задуши. Не за что-то, а так, для души.	Пусть достанутся смерти стихи — недоучены ученики.
---	---

Урони мне на голову стул, чтоб он в мыслях моих утонул.	Ничего, как-нибудь да порем, только вот бы дожить до нее...
--	--

Я не буду тебя упрекать и меж пальцев твоих протекать.	Все, что хочешь, со мной соверши. Не нарочно, а так, для души.
---	---

* * *

Держи меня ближе к ночной тишине,
К сиреневым складкам земли.
В венозных созвездьях обещано мне
Услышать немного любви.

Прошепчет мне музыка эта: гудбай,
Ты будешь всегда виноват,
В какой-нибудь рай себя попровожай,
А может, в какой-нибудь ад.

ЯНИСУ ГРАНТСУ

Давай уедем в Черпаки
И будем там с тобой
На трассе Киров—Уренгой
Считать грузовики.

И будет светел наш колхоз.
На зорьке у реки
Мы будем рвать борщевики
И ждать метаморфоз.

И мы поднимем в Черпаках
Поэзию с колен:
Что не оформлено, то тлен
И тонет впопыхах.

ОММАЖ Ю. КУБЛАНОВСКОМУ

Фет с Тургеневым на бричке
Разъезжают по лесам.
Крепостные их привычки
Выдают то там, то сям:
То крестьянина штрафуют,
То крестьянку матерят,
То Толстому в пруд загонят
Всех соседских гусенят,
То ночуют по амбарам,
То покурят на гумне,
То по крепостному праву
Потоскуют на заре.

Их далеко слышен голос,
Но не видно их нигде.
В этой звездной чехарде
Все давно перемололось.
Лишь дрожит белесый колос
Там — на праздной борозде —
Шеншина прозрачный волос.
И туманы по воде.

* * *

Когда не фурычит список,
прекрасно прийти домой,
нажраться воды изподкрановой,
неистойой, несырой.

И долго потом на простыни
сиятельно так лежать,
как будто бы ты аптека,
кому-то в тебя бежать,

приветствовать небо белое
во весь свой опор и рост
каким-либо принцем гамлетским
в безумных чайниках звезд.

* * *

Пока не проснулись в оврагах клещи
И свеж под снежком можжевельник,
Ты физику Фета по тропкам учи,
Читай по утрам «Современник».

Когда же взойдет несусветная рать,
Чтоб в небо дышать хлорофиллом,
И мощи подснежника станут вскрывать
Осенние сны Азраила,

Восстанет на пажитях пар лубяной
И будут сочиться скворешни
Из сердцебиения буковки той,
Что выдохнул друг твой сердешный.

НАКАНУНЕ КРОШЕЧНОЙ ЛУНЫ

Трицератопсы утренней травы
все отбелели за ночь в палисаде.

Не говорят, но пишутся в тетради
сплошные олухи и слухи из муки.

Ты потечешь, чтоб заново забиться,
куда-то за полночь, где сорванная птица

и огорода краешек земной
качается в снегу и не годится

для новых дел. Построена страна:
там только брашна, пития и дымы.

Из каждой щелки смотрят херувимы,
как ты лежишь в преддверье на полу

в такую ночь. Все отбелеет напрочь,
и накануне крошечной луны

пройдут по всем комодам динозавры,
там, где всегда стояли без вины
ни в чем не виноватые слоны.

* * *

О чем нам говорит первоисточник?
О том, что мы корявы и неточны...
О том, что наши слова впадают в буквы,
которые то выпуклы, то впуклы.
Весомых смыслов недоразумленных
возводим сибаритские колонны...

И что-то пишем, что-то, что-то пишем:
то извлекаем, то на ладан дышим.
На нас глядит порой первоисточник,
как тень Гомера на пустой листочек.
А мы и так и сяк не умолкаем.
И мысли мысль за шиворот толкаем.

МОЯ ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ

Вот она — моя жизнь в искусстве —
целый день лежать в проливной капусте,

ожидать то песенки, то варяга,
поднимать сто грамм, как античный якорь.

А вокруг то степь, то средневековье,
то пастушья сумка, то сыть воловья,

то осиновый студень, то эфемера,
то сплошная качка внутри Гомера...

Набегут то мысли, то янычары.
Я лежу в искусстве с лицом омара.

И лежать таким то легко, то грустно,
погружая ниппель души в искусство.

О таком говорят: перешел экватор,
штангенциркуль закрылся на реставратор...

Целый день в искусстве лежать — не роскошь.
Потому что «веришь», потому что «просто».

Александр ГИНЕВСКИЙ

РАССКАЗЫ

СОЛОВЬИНАЯ РЕКА

Светлой памяти матери и отца

— Знаешь, а по весенней Гауе спуститься в лодке не так-то просто. Ты ведь не видел настоящей Гауи? — сказал мне как-то мой друг.

— Не видел.

— Я могу достать на пару дней складную байдарку...

И мы выкроили эти два дня.

Двухместная байдарка была уложена в два больших рюкзака, и поздним вечером мы выехали из Риги поездом.

Мы думали поспать, хотя бы немного, но не спалось. Мы выходили в тамбур покурить, посмотреть в окно, за которым сплошной черной стеной стояла ночь.

В Валмиера сошли на рассвете. До реки было близко. И пока мой друг у самой воды колдовал над лодкой, я отправился в магазин за продуктами. Когда я вернулся, мы вдвоем натянули на дюралевый каркас резиновое днище. «Пирога» была готова.

Мы спустили ее на воду, разместили груз, взяли весла в руки, сели, и... нас подхватило течение.

Сразу за поворотом была шивера. Вода здесь бугрилась и походила на бульжную мостовую. Мы затряслись на этих буграх, словно сидели в телеге. Тут не надо было грести, а только вовремя табанить, чтоб идти по стрелю.

Река требовала внимания. Некогда было смотреть по сторонам. Особенно сначала, когда, казалось, берега мелькали с такой быстротой, что взгляду некогда было на них остановиться. Но вскоре мы приладились друг к другу. Работа рук обходилась уже без недавнего напряжения. Внимание расслабилось.

Была середина мая. Гауя вышла из берегов. Справа и слева распутившиеся осины и ольха стояли по пояс в воде. Казалось, что деревья забежали с берега и, побоявшись холодной глубины, не пошли дальше, а так и остались. Течение прижимало к их стволам клочки сена. Мокрые темные кольца на коре, чуть выше уровня воды, говорили о том, что паводок начинал убывать.

Мы обгоняли плывущие мимо коряги, доски, бревна — все то, что вода добывает у берегов, как только проснется после зимы. И даже старая собачья конура, невесть откуда взявшаяся, плыла вниз — к морю.

Александр Михайлович Гиневский — поэт, прозаик, родился в Москве в 1936 году. Автор книг «Парусам нужен ветер» (1977), «Танец маленького динозавра» (2011), «Лентяйское сочинение» (2016), сборника стихов для детей «Полосатый очкарик» (2020) и других. Лауреат премии им. С. Я. Маршака (2011), обладатель Почетного диплома Международного совета по детской книге (2018), победитель литературного конкурса им. Екатерины Серовой (2021). Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Живет в Санкт-Петербурге.

Сама стремительность воды, не давая устояться и осесть частицам ила, глины и песка, была мутной. Лишь капли, срывавшиеся с лопаток весел, казались прозрачными.

Солнце пригревало. Пошли тихие плёсы. Начинали сказываться бессонная ночь и усталость.

Мы все реже гребли. Наконец оба задремали, и крепко.

Когда я очнулся, солнце садилось. Было зябко.

Пока мы дремали, наша байдарка въехала в зеленую вершину упавшей черемухи. И только корни, вцепившись в берег, еще удерживали ствол подмытого дерева. Вода едва слышно шуршала, упираясь в нашу лодку и ветви черемухи.

Стояла тишина, и в этой тишине бил соловей. Ему вторило несколько других рядом и на противоположном берегу. Казалось, что пел один, а эхо далеко-далеко перекатывалось по окрестному пространству и возвращалось, исполненное первоначальной мощи и силы.

Проснулся и мой друг. Поежился, послушал немного, сказал:

— Пора.

Чуть позже мы выбрали место, вытащили на берег лодку, наготовили дров, развели большой костер.

Чай пили уже в темноте молча.

Нам было хорошо. А выразить это лучше, чем соловей, растворившийся в темном небе над нашими головами, было невозможно. Сейчас рядом с нами изо всех сил жило существо, совершенно непохожее на нас, но способное проникнуть в самую глубь человеческой души, отыскать и тронуть такие струны, о которых человек может лишь догадываться. И эти струны издают такую гармонию звуков, что наша жизнь и окружающий мир сливаются в прекрасную песню, что бы мы ни испытали в прошлом, какими бы горькими ни казались иные минуты нашей жизни.

Я не впервые слышу соловья, но всегда, тронутый покоряющей силой певца, забывал о том, что намеревался пересчитать колена его песни. Шутка ли сказать, у самых талантливых количество колен, или строф, бывает до двух десятков и более! Эти строфы и есть тот «материал», из которого строятся неповторимые импровизации соловья.

Полнота и склад, гармония создаются очередностью колен, которые имеют названия: «почин», «клыкание», «желна», «лешева дудка», «резкая», «сеялка», «водопойная россыпь» и т. д. Сами по себе названия эти очень выразительны и родились от внимательной любви птицеловов.

Чередование сильного колена и легкого, за которым следует переливчатое с повышением тона, создает рисунок, где каждое колено имеет свои строгие границы. Паузы, отделяющие одно колено от другого, придают песне оттенок торжественности и благородства.

...Над нами бил соловей. Иногда он замолкал, и тогда была слышна работа другого — там, за рекой. Мы были незримыми судьями блистательного поединка. И когда замолкал тот, наш вступал неспешным «почином», и дальше его колена складывались в песню, уже совсем непохожую на ту, предыдущую, и на песню соперника. И трудно было отдать одному из них предпочтение, когда обоими вкладывалось в песню столько искренней и в то же время сдержанной страсти, которая не могла не покорить сердце будущей подруги, прятанной где-то неподалеку.

Я не знал, спал ли наш соловей, пока мы дремали у костра, но только утром сила его не ослабела.

Мне захотелось подойти как можно ближе к соловью, в надежде увидеть его. При всей осторожности это мне не удалось. Он улетел.

Над рекой стоял плотный серый туман. Даже здесь, на берегу, среди кустов и деревьев, воздух из прозрачного стал видимым. Кора деревьев, листья и трава были влажными. Ветви кустов от влаги отяжелели, на кончиках прутьев и травинков повисали задумчивые капли. Они тихо срывались вниз, а на их месте копились другие.

Позавтракав, мы тронулись дальше. Туман высоко над нами чуть рассеялся, и появилось бледное пятно солнца. Берега реки угадывались все же с трудом.

В полдень остановились на небольшом песчаном острове, покрытом шевелюрой высокого густого тальника. Не разводя костра, сели перекусить.

Реку, с двух ее берегов оглашали соловьиные трели. Редкие, как бы случайные. Теперь певцов было куда меньше, чем минувшим вечером. Да и песни их при дневном свете казались немного тусклыми.

Неожиданно совсем рядом ударил соловей. Ударил сильно. Разом, повернув головы, мы внимательно разглядывали вершинную зелень тальника — куда там!

Я встал, пошел на песню. Оказалось, не так уж и близко. Идти было трудно. Ноги глубоко вязли в песке наполовину с водой. Тонкие высокие стволы тальника напоминали почему-то заросли бамбука. На высоту человеческого роста они не имели веток. Вся листва плотной шапкой зеленела вверху. Сквозь нее даже неба не видно.

Пробирался я только тогда, когда соловей пел. Как на глухариной охоте...

Вот я уже слышу буквально над собой оглушительные рулады. Но где он сам? Рассматриваю каждую ветку. Уже не один раз перебираю взглядом пространство, в котором он должен быть.

Ах, вот он! Как я его сразу-то не заметил?! Прямо у меня над головой! Каких-то метра полтора от моего лица. Я замер.

Соловей — взъерошенный комочек коричневато-серых перьев, так нелепо торчавших во все стороны («Когда б вы знали, из какого сора...»). Он пел, и каждое его перышко содрогалось от удивительной мощи, которую рождало столь маленькое тело. Даже ветка под ним — и та дрожала согласно с его усилиями.

Головку певца я увидел не сразу: она тонула в распушившихся перьях. Но когда он приступал к дробным коленам, она поднималась, вытягивалась шея, и было видно часто пульсирующее горлышко. Оно, казалось, было готово вот-вот разорваться от напряжения. И к концу рулады, где-то на самом пределе, клюв запрокидывался вверх или вся головка опускалась набок, словно он придирчиво оценивал свою работу по еще звучащему эху.

Я приблизился к нему настолько, насколько это было возможным. Я уже не таился, но и не пугал птицу. Крупный темный глазок взглядывал иногда на меня, но соловей, занятый колдовством, поглотившим его всего целиком, словно речь шла о жизни и смерти, просто не замечал опасности... И с человеком бывает так. Крепко задумается — сам он здесь, а мысли его, горькие или радостные, далеко-далеко. Человека тормозит, мол, послушай: «Беда! Спасаться надо!» А человек смотрит по сторонам отсутствующим взглядом и не вдруг опустится на землю...

Я ушел, оставив соловья наедине со своими ликованиями и муками, отзвуки которых еще жили во мне.

Молча мы тронулись дальше. И когда проскочили под высоким бетонным мостом через Гаю в Сигулде, причалили к берегу.

Сложили лодку и направились к станции. Кроме тяжелых рюкзаков, мы уносили невесомый светлый груз ПЕРЕЖИТОГО НАМИ МУЧИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ.

МЕФОДИЙ

Алексею Кутюеву

Лапчатым
Гусенком ковыляя,
По деревне
Бродит листопад...

Евдоким Русаков

Впереди должно было быть озерцо. Несколько дней тому назад оно оставалось для нас голубой каплей на карте. И вот теперь угадывается зарослями шеломайника и вейника. Неподалеку от этих зарослей уже видна сторожка.

Слева — Охотское море.

Бесконечный пустынный берег давно уже тяготил нас своим однообразием, холодом воды и холодом неба. И вдруг — такая неожиданность. Небольшое судно. Уткнулось носом в береговой песок. Как раз напротив предполагаемого озерца.

На радостях Миша дал полный газ.

Наш разгоряченный вездеход остановился между озерцом и морем. У самой сторожки.

Двое в высоких болотных сапогах и телогрейках подошли к вездеходу.

Знакомство завязалось легко. Встретить человека в глухом месте — целое событие. Чуть ли не праздник.

Вскоре мы уже знали, что Глеб Семенович и Виктор, так их звали, все лето обслуживали насосы по перекачке пресной воды из озера в танкерок. Он за тем и приходил сюда. Заправившись, танкерок убегал опять в море. Там его ждали большие суда-краболовы, им нужна была пресная вода. Вот, оказывается, почему озерцо называлось озером Краболовов.

Работа Глеба Семеновича и Виктора подошла к концу. Они собирались домой в Ичу. Это за ними в последний раз пришел танкерок.

Нехитрое барахлишко рабочих уже на судне. Пора было отчаливать, но случилась заминка. Из-за какого-то Мефодия.

— И куда он запропастился, черт жирный?.. — Глеб Семенович рассеянно оглядывался по сторонам, потирая рукой загорелую шею. На этой руке я увидел коряво нарисованный синий якорь. Под якорем было написано: «Глеб».

— Вот гусь! Ждем его тут, как короля английского, — сказал Виктор, здоровенный детина с огромной кудрявой головой.

— Может, на охоту пошел? — вырвалось у меня. — Ружье-то на месте?

— Какое ружье?! — Глеб Семенович недовольно покосился в мою сторону. — Это же чистокровный гусь!

— Гусь?..

Мы решили, что нас разыгрывают, морочат нам голову. Миша даже сказал:

— Сами вы, часом, не лапчатые?..

Глеб Семенович с досадой посмотрел на Мишу.

— Помолчи, балаболка... — и он продолжал, теперь уже обращаясь только к Юрию Степановичу, начальнику нашего отряда: — Тут такое дело. Мы всегда на болоте гусенят собираем. По весне, только они вылупятся. Потом в этой вот клетушке выращиваем. Один черт, на болоте лиса их таскает незнамо сколько. Так и Мефодия вырастили. Только на мясное дело он не сгодился. Умное оказалось животное, понятливое.

— Он у нас как член семьи был. Только что насосы не умел включать. И в клетушке мы его почти не держали. Жил с нами вольной птицей, — задумчиво произнес Виктор.

Пришлось поверить. Уж очень было заметно, что исчезновение странного гуся огорчало наших новых друзей.

— Стоит ли расстраиваться, — сказал Юрий Степанович. — Отлет уже начался. Может, и его потянуло со всеми. Если вы, конечно, не подрезали ему крылья...

— Вот еще, — нахмурился Глеб Семенович. — Такое животное портить... — он не договорил.

С танкера раздался свист. Оттуда сердито махали руками.

— Не за водой приехали. И подождать можно. Чтоб вас там с вашей торопежкой... — Глеб Семенович недовольно оглянулся на свист.

В конце концов делать было нечего. Начало смеркаться. Хозяева показали нам, где лежат дрова с берестой для растопки, и, чертыхаясь, направились к танкеру.

Танкерок качнулся, вырывая нос из песка, и медленно пошел кормою в море.

Миша сложил ладони рупором.

— Если появится гусь, мы его вам в конверте пришлем! На деревню дедушке!

Это была глупая шутка. Морской ветер постарался, чтобы она не долетела до танкера.

Вечером в сторожке мы чувствовали себя как дома. Растопили печь, приготовили ужин. После ужина открыли дверь и дымом выкурили комаров, угревшихся в тепле. Потом затянули вход марлей. Дверь оставили приоткрытой, чтобы было куда деваться махорочному дыму. Да и тепло еще было.

После многих ночей, проведенных в палатке, приятно было оказаться в настоящей избе.

Уже при свете керосиновой лампы разглядывали стены. Чего тут только не было понаписано карандашами и ручками.

Отсюда до моего дома по прямой примерно 9250 км и 600 метров, не считая от калитки до порога.

Борис Панюшев

Мы — геофизики отряда Баранова — пережидали здесь дождь. Лил восемь суток без перекура.

Продуктов у нас на 20 дней, а пути нам от силы еще 12. Так что все наше дело уже в шляпе.

Б. М. Л. З. К. К.

Были и стихи:

Тем и дорога Камчатка,
Что на ней не очень сладко...

Надя С.

Читая надписи, мы представляли себе этих людей. Они побывали в сторожке когда-то до нас. Веселые и серьезные, заходили сюда обогреться, отдохнуть, послушать, как гудит настоящая домашняя печь в непогоду. Не спеша попить чаек, посмотреть в окно на море: каков накат и прилив или отлив в это время.

Мы тоже с удовольствием смотрели отсюда — из тепла — за окно. Смотрели и не видели. Только догадывались по шуму, какие огромные валы, не уставая, ворочало море.

Утром я проснулся от громкого и странного разговора.

Наш водитель вездехода Миша спал на единственной в доме кровати. Сейчас он сидел, свесив босые ноги. Пальцами он выделывал какую-то ножную гимнастику.

— Полюбуйтесь, — сказал Миша, сонно почесываясь. — Английский король Мефодий Второй собственной персоной.

На полу у ног Миши, переминаясь с лапы на лапу, вытянув длинную шею, стоял обычный дикий гусь. Серый, с белыми грудью и животом. Он поворачивал узкую голову то в одну сторону, то в другую. Черный глаз с оранжевым ободком вопросительно поблескивал. Гусь громко и сердито ворчал. На кого? За что? Почему-то мы вдруг почувствовали себя виноватыми перед ним.

— Вот те раз?! — удивился Юрий Степанович.

— Похоже на правду, — заметил я.

— Еще бы! — сказал Миша. — Вы все спали, когда их высочество заявило о себе. Я ему: «Гуля, погуляй немного. Выспимся и отопрем тебе». Так нет. Разорвали марлю и вперлись наглым образом. Еще щипаться где-то научились.

— Неудивительно, — сказал Юрий Степанович. — Король голоден, требует кормежки.

Ну и гусь оказался этот Мефодий! Никакими крупами нельзя было его соблазнить. Зато кусочки хлебного мякиша заглатывал с неуклюжей поспешностью. Приходилось даже уговаривать его есть помедленней. Так ведь и подавиться можно.

Подкрепившись, гусь направился к выходу. По пути он сделал остановку, чтобы остаться на полу темную жирную точку.

Стоя в дверях, мы видели, как Мефодий не спеша прогуливался около сторожки. Щипал травку и гоготал. На сей раз миролюбиво.

Днем мы критически осмотрели гуся.

— Жирен лапчатый, — заметил Миша. — На казенных-то харчах...

— Да, — сказал Юрий Степанович, — при такой-то полноте до теплых стран не дотянешь.

— Похоже, он вообще забыл про свои крылья: для чего они ему. Может, стоит на-помнить?.. — предложил я.

— Это идея, — согласился Миша.

Мы все трое направились к Мефодию.

Поймали. Честно говоря, он от нас и не убежал.

Юрий Степанович, как самый высокий, подкинул его над головой. Мефодий расправил большие крылья и, между прочим, полетел. Словно и не разучивался.

Когда гусь взмахнул крыльями, мы увидели, что в левом крыле нет одного широкого пера. Крыло походило на расческу с выломанным зубом.

— Тяжело все-таки летит, — сказал Миша. — Со свистом. Как бомба...

Описав два низких круга над озером и нашими головами, Мефодий сел невдалеке.

— Налетался...

— Да лодырь он отпетый!

— Что ж, продолжим тренировку.

На этот раз поймать его оказалось не так-то просто.

Мы порядком взмокли, гоняясь за ним. Уже хотели было плюнуть и отказаться от своей затеи, но тут Мише повезло. Схватил его за лапу. При этом Миша рухнул на землю, как тяжелый мешок с картошкой.

И снова Юрий Степанович подкинул гуся. Мефодий сделал два своих круга и сел на изрядном расстоянии от нас. Теперь ловить его было бесполезно.

За делами мы не видели его целый день.

На другое утро проснулись сами. Вспомнили про Мефодия. Выскочили из сторожки и бросились в разные стороны. Каждый на свой лад звал гуся.

Нашел его Юрий Степанович. В траве, у самой озерной воды.

Подходя, мы с Мишей услышали:

— Эх, Мефодий, Мефодий. До чего ж, оказывается, ты обидчивый. Мы тебе помочь взялись, а ты надулся. Разве так можно? Пошли. Пора завтракать.

— Гусь-то с характером! — сказал Миша, когда мы подошли.

— Да не будем мы больше, не будем.

Мефодий отворачивал голову и приглушенно-скрипучим голосом поругивал нас.

— Не верит. Мефодий, ну честное слово.

— Чтоб мой вздох не завелся!

Юрий Степанович строго взглянул на Мишу.

— Такие клятвы нам ни к чему. И так твой вздох заводится по настроению. Придумай что-нибудь поумнее.

— Скажи: чтоб я чай пил без сахара, — сказал я, и мы с Юрием Степановичем рассмеялись. Потому что Миша любил полкружки чая засыпать сахаром на такую же половину кружки. Будто у нас с собой сахара целый вагон. Конечно, после моих слов Мише ничего не хотелось придумывать. Он сказал:

— Ну, Мефодий, слышал? Пойдем-ка мы с тобой от них подальше...

И что вы думаете? Мефодий пошел. Прав был Глеб Семенович, назвав гуся понятливым животным.

Отстав, Мефодий семенял тяжело и торопливо. Мы поняли, что ему неприятно идти сзади. Пропустили его вперед. Теперь он вышагивал торжественно, как знаменосец. Так гуськом и пришли мы все к сторожке. Впереди — Мефодий, в затылок ему — Юрий Степанович, за ним следовал Миша, а я — за Мишей.

Хлебный мякиш снова подружил нас с Мефодием.

По побережью нам предстояло осмотреть несколько обнажений. Начались рабочие маршруты. В первый же пеший поход к нам присоединился Мефодий. Уговорить его остаться мы не сумели, а запереть в клетушку — рука не поднялась.

Понятно, что Мефодий только путался под ногами. Мы были готовы нести его поочередно. Представляете картинку?! Группа неутомимых геологов спешит найти нефтяное месторождение, и у одного из них под мышкой гусь. Гусь кричит, вырывается, отвлекает геологов от серьезного дела... Но к чести нашего Мефодия, он наконец вспомнил про крылья. Распустил их вдруг, замахал ими и, разбежавшись, поднялся над нами.

Мефодий улетел далеко вперед и плюхнулся где-то там в траву. Мы только переглянулись.

— Ведь он нас ждать будет! — воскликнул Миша.

Мы с удовольствием прибавили шаг.

Через несколько перелетов Мефодий тяжело дышал. Серовато-желтый клюв был раскрыт. Твердый розовый язычок торчал в сторону.

— Ишь, умаялся. И язык на плечо повесил, — сказал Миша.

Гуся напоили теплой водой из фляги. Смочили ему голову. И только тогда тронулись дальше.

Одно из намеченных обнажений было на самом берегу моря. Когда мы подошли туда, Мефодий бросился к воде. Угасающий накат волны сбил его с лап и выбросил на песок. Горько-солёная вода не принесла желанного удовольствия. Мефодий встал, отряхнулся. Пригнув шею, зашипел и смело пошел на новую волну. Но и она почему-то не испугалась Мефодия. Легким шлепком, словно смеясь, повалила его с ног. Он закричал. С недоумением оглянулся на нас. Но что мы могли поделать, ведь это было суровое Охотское море...

— И все-таки, мне кажется, — философствовал Миша на обратном пути, — наш Мефодий не совсем умная птица. Нет чтобы взять у вас, Юрий Степанович, геологиче-

ский молоток и понести. Просто так. Из уважения к начальству. Этому ему не догадаться. Или, скажем, образцы пород, которые мы складывали в мешочки, наш гусь доставляет по небу прямо в сторожку...

— Приходим, — перебил Мишу Юрий Степанович, — а мешочки уже там. И Мефодий к ним бирочки пишет. Аккуратным почерком...

Мы уже подошли к озеру. И тут Мефодий стал вести себя так, что Миша сказал:

— Бедная птица. Совсем спятила...

И действительно. Мы никак не ожидали от Мефодия такой прыти. С гусяного разбега он буквально вонзился в воду. Казалось, голова его застряла между разветлений какой-нибудь коряги. Лапы и расправленные крылья взбивали пену. Маленькие волны испуганными кругами разбегались прочь. Но вот он поднял голову. Запрокинул ее. И мы увидели, как чайная ложка пресной воды быстро пробежала по его длинному горлу.

— Мефодий! Не выпей озеро, оставь нам немного! — кричал Миша, толкая меня плечом.

Шли дни, занятые делом. Мефодий все так же сопровождал нас в маршрутах.

Работа в районе сторожки заканчивалась. Стали готовиться к отъезду. Теперь нам надо было двигаться дальше на юг. К реке Облуковине.

Мефодия решили взять с собой. При условии, что в вездеходе он будет вести себя хорошо.

Посадили его в большую коробку из-под макарон. Обложили тряпками, чтобы не вывалился. Длинную шею мы, конечно, не упаковали. Она торчала наружу.

Странно, наши приготовления не смущали Мефодия. Наоборот, негромко покрывавшая, он, казалось, говорил: «Тоже. Нашли чем удивить...»

Наступила минута, когда я забрался в вездеход. Мне передали коробку с Мефодием. По местам сели и Миша с Юрием Степановичем. Взревел мотор. Тронулись.

Сначала все было хорошо. Пристроив коробку рядом, я задремал. Но пошел кочкарник. Вездеход заходил ходуном. Неожиданно коробка с Мефодием, перевернувшись в воздухе, шлепнулась на рюкзак сзади меня. Я не сразу сообразил, что это наяву, а не во сне. Обернулся, схватил коробку, и тут из нее вывалился Мефодий. Напуганный гусь бил крыльями в брезентовый тент, пытался перекричать вездеход. Я не сразу поймал его и устроил у себя на коленях. Он немного успокоился. Дальше мы ехали, то и дело стучаясь лбами.

На привале мы вынесли гуся подышать свежим воздухом. Попробовали поставить на травку, но стоять он не мог. Голова его болталась, словно вездеход еще не остановился.

— Да-а... — грустно произнес Юрий Степанович. — Оставить тебя, что ли?..

— Нет. Теперь уж до Облуковины... Надо довести, — отозвался Миша.

Мы напоили Мефодия, обрызгали его водой из канистры. Озеро осталось позади, пресная вода была у нас только в канистрах.

Все еще не понимая, что же с ним произошло, Мефодий рассеянно начал глотать хлебный мякиш. Потом встал на свои бурые лапы. Заворчал. Поругивая нас и нашу затею, занялся травкой.

Юрий Степанович вздохнул с облегчением.

Мы с Мишей виновато ползали на четвереньках. Выискивали сочные пучки и подзывали гуся.

— Что поделаешь, — бубнил Миша. — Уж такая у нас столбовая дорога, Мефодий...

Гусь тянулся к траве. Теперь он ворчал без прежней обиды в голосе. А нам было ясно, что Мефодий — гусь крепкий.

Оставалось пройти километров двадцать, но сломался вездеход. Такое с ним случалось. Пришлось заночевать, не дойдя до реки.

Мы улеглись в палатке. Гуся оставили на улице. Нам и без него было тесно.

Засыпая, мы говорили о том, что теперь Мефодий нас не бросит. Ведь мы прошли вместе через кочкарник, кедрач и болото. Как-никак целых пятьдесят километров. Похоже, мы съели с ним не меньше килограмма соли. А то, что было до вездехода?.. Конечно, все это не пуд. Но пуд начинается с килограмма.

На рассвете Мефодий с гогом пролез в палатку. Потоптался на полевой сумке Юрия Степановича и решительно направился к Мише. Он ущипнул его за руку, лезавшую поверх спального мешка. Досталось и нам с Юрием Степановичем.

— В поход торопит, — сказал Миша.

Но мы не спешили подниматься. Тогда Мефодий раскричался. Он устроил такой шум, будто это была не палатка, а курятник, в который залезла лиса. Тут уж мы повыскакивали один за другим. Последним вышел Мефодий. Выкурил-таки.

После завтрака тронулись дальше.

К Облуковине подошли в полдень. Лагерем встали на крутом берегу.

Спуск к воде густо зарос ивняком и ольхой. Хватаясь за ветки, Юрий Степанович пошел к реке умыться. За ним увязался Мефодий. Смешно было видеть, как он, скользя и падая, чуть ли не кувыркаясь через голову, сползал вниз.

— Эх, такие крылья и дураку даны! — сокрушался Миша.

— Вот мучается. Мне-то ходить — дело привычное. А тебе все же лучше летать. Вот и взлетел бы. Встретились бы у воды, чем вот так... — слышался голос Юрия Степановича. Чуть позже с берега донеслось:

— Ребята! Мефодий! Плыви сюда, тебе говорят!..

Мы с Мишей бросились вниз.

По самому стрежню сильной реки плыл Мефодий. Он нырял в воду. Вынырнув, распускал свои прекрасные крылья, часто взмахивал ими. Все его тугое тело поднималось над водой. Казалось, он вот-вот взлетит. Но оглашая берега радостным криком, он снова нырял. Золотые от солнца капли вспыхивали и гасли над ним. Потеряв голову от счастья, Мефодий не слышал наших призывных криков. Не хотел знать, куда и зачем несет его река, которая подарила ему такую радость.

Он исчез за поворотом.

Вечером мы ходили вдоль реки далеко вниз по течению. Вернулись ни с чем. И уже в глухих сумерках, когда все еще пили чай, он прилетел. Издалека заслышав его голос, мы повскакали с мест, закричали. Кто-то подбросил дров в угасший костер.

Мефодий сделал низкий свистящий круг и сел рядом в темную траву.

— Вернулся, — вздохнули мы.

Мишу было не узнать. Человек, привыкший по поводу и без повода посылать первого встречного куда подальше, тут на радостях суетился больше всех. Ни с того ни с сего надумал устроить гуся на складной стульчик за нашим походным столом. Мефодию это не понравилось. Громко вскрикнув, он свалился.

— Придумал тоже... — хмуро сказал Юрий Степанович. — Нечего из птицы делать черт знает что... Это же гусь, а не мартышка.

Мы сидели вокруг Мефодия на корточках. Каждый протягивал ему свой катышек мякиша. Гусь брал с разбором, после долгих раздумий и рассуждений вслух. Похоже было, что он сыт. Просто не хотел нас обижать...

Мне казалось, что Мефодий чаще тянется к моей руке. Надо полагать, Юрий Степанович и Миша думали так же...

На ночь мы хотели устроить Мефодия в палатку. Но он был против. Пришлось уступить.

Шло время осеннего перелета птиц. Широкие клинья гусей, лебедей, уток все чаще проходили над нами. Мы любовались окрепшими за недолгое камчатское лето птицами. Теперь они были готовы ко всем неожиданностям трудного и долгого пути.

На голоса своих родичей Мефодий взволнованно поднимал голову. Расправлял крылья, махал ими. И так при этом кричал, что там, в небе, его слышали. Откликались ему все более требовательно и настойчиво. Каждый раз мы думали, что вот и пришла пора расстаться. Но Мефодий не улетал. Он покидал нас утром, а вечером возвращался.

Так пришел день, когда мы легли спать, не дождавись его.

Утром оставленный с вечера хлебный мякиш превратился в сухарики. Миша хрустел ими и неизвестно за что хмуро и зло называл меня «типом».

В маршруты теперь ходили мы с Юрием Степановичем вдвоем. Миша, сославшись на ремонт машины, оставался в лагере. Возвращаясь, мы слышали бряканье гаечных ключей. Все это означало, что Мефодия нет.

Мы молча садились ужинать. Молча ложились спать. Всем нам нестерпимо хотелось домой.

...В каждом человеческом сердце есть уголок, в котором хранятся привязанности. Нельзя не почувствовать, как невидимая нить такой привязанности вдруг потянулась от нас к людям, животным, растениям. Не ко всем людям, а к какому-нибудь дяде Пете, у которого кирпич легко умещается в ладони, когда он, подмигивая тебе, перекладывает в доме печь. К какому-нибудь Степе-Сверчку, который умеет подражать травяным музыкантам. Не ко всем животным, а к какому-нибудь коту Ваське, хоть он и не раз показывал тебе остроту своих когтей. Не ко всем растениям, а к самому высокому стеблю иван-чая. Вон он у забора. Светит тебе малиновыми фонариками нераспустившихся цветов.

И когда обрывается такая нить привязанности, мы вдруг понимаем, что потеряли. Потеряли, быть может, навсегда. И уже не улыбнуться нам тому дяде Пете или тому Степе-Сверчку. Тому коту Ваське или именно тому стеблю иван-чая... Не потому ли мои друзья, стоя иногда на берегу Облуковины, молча и долго, пока не погасало солнце, смотрели вслед клину летящих гусей?..

Среди них мог быть и Мефодий. Крыло бы только не подвело. То самое, левое... В котором не хватало одного элеронного пера.

ПОСЛЕДНЯЯ РЫБАЛКА

Сашеньке Евстратовой

Полевой сезон подходил к концу. Оставался один водный переход по Подкаменной Тунгуске. Потом переплыть Енисей и там — на другом берегу — ждать парохода домой.

Последний наш лагерь был разбит у самой воды под высоким скалистым берегом.

Тронуться решили утром, попозже, как только немного потеплеет. Двигаться по осенней сибирской реке в раннее время — удовольствие не из приятных.

Я с грустью думал о том, что теперь не скоро почувствую щекой знакомый холодок приклада ружья, не скоро возьму в руки черенок проверенного спиннинга или удилица, и поэтому с вечера готовился к последней рыбалке.

Мои товарищи-геологи посмеивались:

— Ну вот, тут надо думать о том, как домой приедем, как арбузы есть будем, пиво пить, ходить в легоньких ботиночках, а он опять — в лес засобирался.

— И не надоело тебе резиновые сапоги таскать? Уже который месяц...

- Надоело.
- Ну, так что?
- Так ведь охота... она пуще неволи.

Проснулся я рано. С некоторым усилием заставил себя вылезти из гревшего меня всю ночь спального мешка.

Пока наворачивал портянки, зубы мои выстукивали барабанную дробь. Не удивился бы, если бы она кого-нибудь разбудила. Но никто не проснулся.

Я вышел из палатки. Оба ее ската и стены были серебряными от инея. Трава вокруг, каждая травинка твердела, как шильце, и белела, как накрахмаленное белье. Ступишь ногой и слышишь, с каким хрустом ломаются поседевшие стебли. И только черное пятно вчерашнего костра не удалось одолеть предутреннему холоду.

Положив в лодку ружье, мешочек из мешковины под рыбу, длинное удилище для ловли нахлыстом, я оттолкнулся от берега.

Остывший мотор завелся не сразу. Так что я успел согреться, пока дергал шнур стартера.

Лодка шла вниз по течению. Я сидел на корточках у руля, потому что иней на сиденье растаял, и оно было мокрым. Вытирать было лень, да и собирался я недалеко.

На востоке, над вершинами пожелтевших к зиме лиственниц, вставало холодное желтое солнце. Очерченный круг его расплывался в белом тумане. В тени берега, скрытого от его лучей, зеркальными бликами играла обледеневшая галька.

Я причалил в устье большого ручья, заросшего тальником. Закрепил лодку, пошел вверх по ручью.

Идти паберегом было трудно: под ногами скользили валуны.

Немного попетляв, я нашел оленью тропу и пошел по ней. Голос ручья все время доносился до меня справа. Иногда в просветах между деревьями и кустами мне виделись знакомые белые хохолки стремительно летящей воды над темными от влаги лбами камней.

Я шел и думал, конечно, не о рыбалке. Думал о доме. О том, что скоро вернусь туда, где меня ждут. О том, что приятно возвращаться... Печаль осени, даже такой яркой, бодряще-веселой, как эта сибирская, смягчала мое острое нетерпение скорой встречи с теми, по ком тосковала душа. Желтые листики брусники, золотистые хвоинки лиственниц, жемчужный пунктир паутины на черных, блестящих от влаги сапогах моих — все это были мелкие знаки той осенней печали...

Наконец-то совсем уже громкий голос ручья привлек мое внимание. «Перекат, — подумал я. — То — что надо...» Раздвинув руками кусты, я осторожно вышел к воде. И... так и застыл на месте.

С двухметровой высоты, с вершин каменных глыб низвергалась темная тугая струя воды. С шипением она ударялась о поверхность омута у подножия порога. В этом месте вода бурлила, и белопенная, постоянно колеблющаяся полоса отделяла камни внизу от черной тишины омута. А над этой, казалось бы, недвижимой поверхностью воды стояли маленькие радуги, словно великан пытался стянуть оба конца дуги настоящей радуги, и она, не выдержав, с хрустальным звоном разлетелась на куски...

Это были хариусы. Они выпрыгивали из воды на высоту человеческого роста. В воздухе их тела сгибались и разгибались, топорщились боковые плавники, а большой спиной, играя на солнце прихотливейшим сочетанием цветов — от темно-фиолетового до нежно-розового, разворачивался великолепным веером.

С высоты рыбины проворно ныряли в воду, но тут же выскакивали другие и повисали в воздухе. И рядом с ними, в воздухе, краснели гроздь рябины. Ветви ее склонялись над омутом.

Я стоял и боялся шелохнуться. Боялся, что видение исчезнет.

И когда я понял, что все это мне не кажется, я горько пожалел: я видел все это один. Можно ли любоваться чудом в одиночку? Да, можно. Но не разделенная ни с кем радость горчит.

Я сел на камень, обросший ягелем, закурил.

А хариусы продолжали взлетать по дуге, и тяжелые капли прозрачной воды повисали за их радужными хвостами.

Не знаю почему, но я вдруг свистнул. Пронзительный свист прорезал холодный воздух, и наступила тишина. Черная глубина омута поглотила этот веселый праздник света и цвета. Я пожалел о том, что сделал. И угораздило же меня, дурака...

Раздосадованный, перебрался на один из камней самой вершины порога. Посмотрел вниз.

Лимонно-желтый березовый лист промелькнул, влекомый струей, у меня под ногами и исчез. Через какое-то время — я уже не чаял его увидеть — он лежал недвижно посреди омута. Единственно светлой точкой на его поверхности.

И вдруг среди тишины в воздух взлетела рыбина. За ней другая, третья... И вот я уже сбился со счета. Снова сильное тельце хариуса распускает плавники и дарит мне этот праздник света и цвета.

Но пора и попробовать. Я знаю, в эту пору хариус уже почти не берет. Но так хочется еще раз ощутить его упорство на конце дрожащей леси. Может, в последний раз...

Я достаю коробочку с обманками. Они у меня из оленьего, медвежьего, собачьего меха и цветных ниток. Есть и несколько сделанных из рыжей бороды товарища. Они удачливые. «Вон сколько на мою бороденку наловил!» — с гордостью любил говорить он.

Обманки пробую одну за другой — бесполезно. Столько рыбы в воздухе, а в глубине — еще больше. И все напрасно. Хариус сыт, полон сил и готов к суровой зиме. Ему уже не нужны запоздалые мухи.

Но я коротко взмахиваю длинным удилищем. Леса еще длиннее. Взмах похож на движение руки пастуха, когда он держит длинный кнут с коротким кнотовищем.

Обманка, пролетев по воздуху, падает на воду далеко впереди. Удилищем натягиваю лесу, выбрав слабинку, и моя мушка, как живая, прыгает над потоком.

Хариус любит сначала ударить прыгающее насекомое хвостом — оглушить, а потом — уже схватить ртом. Это и есть «хариус играет».

Сейчас же редкая рыбина заигрывает с моей обманкой. А схватить ее — и совсем не пытается.

И все-таки один удар хвостом дорого обходится разыгравшемуся хариусу: он зацепился за острый крючок, спрятанный в пушинках меха. Совершенно случайно рыбина не срывается. Мне удается ее подтянуть и, вытащив, быстрым движением снять с крючка. Ловля хариуса за хвост удовлетворит не всякого рыболова, поэтому я бросаю бедолагу обратно в воду.

Я складываю свои обманки в коробочку и по камням перебираюсь на берег.

Снова присел перекурить. И тут до меня донесся выстрел. Меня звали.

Я тронулся в обратный путь.

С чистого неба светило солнце.

Из-за кустов в последний раз я увидел взлетающих хариусов. Теперь мне казалось, что это невидимый ловкий жонглер подбрасывает в небо десятки сверкающих ножей.

Хариусам предстояла зимовка, и я был рад, что в этих местах ручей силен течением и что он сохранит для рыбы талики — незамерзающие полыньи. Зимой через эти талики воздух проникнет под толщу льда. Рыбы смогут жить дальше, и кому-нибудь еще доведется увидеть то, что сегодня увидел я.

Елена РУМАНОВСКАЯ

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЫЛЬ

Рассказы

Он рыться не имел охоты
В хронологической пыли...

ТЕТЯ ЛИЛЯ И ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ТРАМВАЙ

Если в прошлое, лучше траваем...

Борис Рыжий

Средних лет береза, обнявшая молоденький клен, — первое, что я вижу через полукруглое окно-балкон на проспекте Пархоменко, бывшем Английском, в Ленинграде. Балкончик, шириной в один шаг, есть только у нас в большой коммуналке для семейных, отгороженной от обычного общежития. Здесь мы оказались после сложных перипетий папиной жизни. В 1941-м, когда он был на фронте, погибла его жена, после войны папа какое-то время жил с дочкой, тещей и шурином, но в разгар «борьбы с космополитами» вынужден был уйти с поста замдиректора Дворца пионеров и уехал директором школы в область, потеряв при этом ленинградскую прописку.

О, ленинградская прописка в советские времена! Прописка, ради которой совершались браки, разводы, измены, подлоги, обмены, обманы!.. Это требует отдельного рассказа непросвещенной публике, которая ничего не поймет; просвещенная же только вздохнет, но у меня вполне может не хватить ни способностей, ни патетики. Тема превосходит рассказчика...

Простой же факт заключался в том, что коренной петербуржец папа, еще дед которого переехал в Петербург из Риги, долго не мог вернуться в родной город.

И все же назло советской системе я родилась в Ленинграде! Благодаря маминим друзьям, которые считали, что моей тридцатилетней маме опасно рожать в деревне и даже в Выборге: ее временно прописала у себя тетя Люда (без прописки нельзя в роддом!), а жила мама у тети Лили. В детстве я считала ее родственницей — с настоящими родственниками мы встречались гораздо реже, а у мамы после войны из всей семьи остался только брат. Дядя Петя жил в Челябинске, мама приехала к нему из сибирской эвакуации, но он женился, жить было негде, и мама поехала к тете Лиле, с которой подружилась в Сибири. Больше у нее никого не было. В Ленинграде, разумеется, не прописывали, и маму назначили в шугозерскую среднюю школу, где позже она встретилась

Елена Леонидовна Румановская родилась в Ленинграде в 1955 году. Окончила Ленинградский государственный педагогический институт им. А. Герцена по специальности «Русский язык и литература», работала учителем, методистом. С 1990 года живет в Израиле. Защитила диссертацию по русской литературе в Еврейском университете (Иерусалим) (Ph.D.). Печаталась в журналах «Знамя», «Печать и слово Санкт-Петербурга», «ШАГИ», «Toronto Slavic Quarterly» и др., автор книги «Два путешествия в Иерусалим» (М.: Индрик, 2006).

с папой. Тетя Лиля везла маму на троллейбусе рожать меня в родильный дом на улице Петра Лаврова (Фурштатской), потом месяца три я спала в ее квартире на двух связанных старинных креслах. Кресла с тех пор называются «моими» (и одно из них живо до сих пор), но сидеть в них не очень удобно: рассчитаны они не на комфорт, а на прямую спину, о чем мне неоднократно напоминалось. Впрочем, в доме тети Лили так много интересного, что он мне кажется пещерой Али-Бабы. Сидеть же я предпочитаю на обычных стульях.

На проспекте имени красного командира Пархоменко у нас была комната ровно в восемнадцать квадратных метров на троих, что соответствовало советской норме и не давало нам даже призрачного права на постановку в очередь на «улучшение жилищных условий», несмотря на все письма с кучей подписей о папе как об одном из первых пионервожатых Петрограда 1920-х годов и его портрет в Музее истории Ленинграда.

По-моему, название «проспект» не подходило нашему «пространству между двумя рядами домов»: общественный транспорт по нему не ходил, определению «большая и широкая» улица не соответствовала, однако некогда в Лесном находилась английская ферма, а к ней, разумеется, вел Английский проспект. Так и осталось. Зеленый был проспект, уютный, с сохранившимися деревянными домами, у которых имелись даже палисадники, с двумя школами, с зарослями черемухи, которую мы с ребятами из коммуналки приносили такими охাপками, что ее аромат перебивал даже кухонные запахи.

Огромный пятиэтажный кирпичный дом № 8 в виде большой буквы Г с отростком на шесть окон от короткой стороны построен в год моего рождения — 1955-й, но еще называется «сталинским». Никаких сентиментальностей больших господских квартир центра города с парадной и черной лестницами, с какой-никакой ванной (у нас она и не предполагалась) и разнообразной публикой — от потомственных алкоголиков до потомственных петербуржцев, из тех редких, что уцелели. Здесь же в шестнадцати комнатах живут рабочие Стройтреста № 104, «гнилыми интеллигентами», как говорит мама, или, по крайней мере, служащими, кроме нас, можно считать еще одну семью и единственную одинокую в «семейном общежитии» неприметную женщину в маленькой угловой комнате, где я, кажется, никогда не бывала.

Стук в дверь.

— Здравсьте. Лена, идем играть в коридор, пол уже кончили натирать.

Это Люда Васильева, их комната на закруглении между короткой частью буквы Г и отростком, поэтому у них и их соседки тети Дуси есть на две комнаты нечто, чего нет ни у кого в квартире, — маленькая прихожая!

— А почему пол натерали, ведь не праздник?

— Как не праздник? Праздник — Пасха! Сначала ваша Пасха прошла, а теперь наша...

— Нет, Лена играть не пойдет, — говорит папа, и Люда уходит.

— Папа?

— Пасха — это религиозный предрассудок, от него надо избавляться, — говорит папа учительским голосом, — а они приехали из деревни и привезли с собой старые понятия.

— Но почему «ваша» и «наша», мы что, разные?

— Нет, мы все советские люди. Собирайся. Мы едем к тете Лиле.

— Ура-а!

Остановка двадцать первого трамвая на проспекте Энгельса, за три больших желто-бежевых «сталинских» дома от нас. Кажется, у всех ленинградских трамваев длинные маршруты: двадцать первый шел от Поклонной горы до площади Репина в Коломне, около Адмиралтейского завода. Поклонная гора, самое высокое в Ленинграде

место, с велотреком, мототреком, остатками леса и песчаным обрывом, в семи останках от нас. Там сохранились бывшие дачи и расположено кольцо всех трамвайных маршрутов проспекта Энгельса, кроме одного: «двадцатка» идет дальше по Выборгскому шоссе. В моем детстве оно застроено деревянными домами, в которых снимали дачи на лето, и мы однажды ездили туда навещать мамину коллегу, хотя очень странно ехать на дачу на трамвае, а не на электричке...

Наш трамвай. Мама умеет различать их издали по цвету сигнальных фонарей — оранжевый и белый (очень правильная идея в ленинградском климате), но днем этого не требуется. На двадцать первом маршруте трамвай всегда из одного вагона, уютный, толстенький, округлый, с тремя дверями-гармошками, окрашенный в два цвета: красно-желтый, сине-желтый или зелено-желтый. Сиденья мягкие, справа двойные, слева одинарные. Мы трамваи любим. Особенно мама. Папа обычно нетерпеливо пересаживается на автобус, троллейбус, метро, но мамин прямой трамвай всегда приезжает быстрее — она знает почти все маршруты.

Первая остановка очень длинная — по проспекту Энгельса от Пархоменко до станции Ланская. Справа несколько двух-трехэтажных желтых, салатных и голубых уютных домов-коттеджей, построенных пленными немцами после войны, в одном из них, желтом, любимое кафе-мороженое. Дальше маленький парк с прудом и бывшей усадьбой Ланских, в которой при мне был интернат. Довольно долго я почтительно полагала, что хозяином усадьбы являлся некогда Ланской, женившийся на Наталье Пушкиной, но потом выяснилось, что это был всего-навсего один из фаворитов Екатерины II. И если тень жены Пушкина не могла там витать, то какие там осенью были кленовые листья!..

Двадцать первый трамвай пересекает проспект Смирнова (Ланское шоссе), справа хлебозавод, где за огромными немытыми окнами плывут по конвейеру «Городские» булочки за семь копеек, которые тетя Лиля всегда называет «французскими». Лучший в мире запах свежего хлеба!.. На этом самом месте наш трамвай однажды остановился, долго не трогаясь с места. Оказалось, что Фидель Кастро, бывший в это время в Ленинграде (май 1963 года), захотел пообщаться, остановил машину и вышел «в народ», с радостью окруживший его. Толпа образовалась прямо под нашим трамвайным окном, но моя осторожная мама, очень не любившая большие сборища, не разрешила мне выйти. Так и осталось «незаконченное» воспоминание: высокий человек со знаменитой черной бородой, много людей вокруг, оконное стекло, солнце, детство...

Слева парк Лесотехнической академии, и на углу желтое старинное здание — до революции здесь была Орлово-Новосильцевская богадельня в память знаменитой дуэли сентября 1825 года. Дрались аристократ Владимир Новосильцев и поручик Константин Чернов: первый, не получив согласия матери, графини Орловой (дочери младшего из екатерининских братьев Орловых), отказался от женитьбы на сестре второго. Оба двадцатилетних дуэлянта были смертельно ранены, и секунданта Чернова, поэт Кондратий Рылеев, придал его похоронам характер политического выступления, как считается, первого в России, еще до восстания декабристов. Мать Новосильцева построила богадельню на месте постоянного двора, где умер ее единственный сын. Даже улица называлась Новосильцевской, потом ее переименовали в Новороссийскую, вероятно, по созвучию. Все это я узнаю позже, пока мы просто едем мимо здания, где поселили стоматологическую поликлинику. Когда же я прочту у Кюхельбекера «Клянемся честью и Черновым...», то с удивлением узнаю в месте дуэли «мой» парк, куда в детском саду нас водили собирать желуди, а в начальной школе — составлять план местности. Мама рассказывала, что видела однажды по дороге на работу лося, забредшего в город и от испуга пытавшегося перепрыгнуть через решетку парка. Бедный лось застрял на верхних острых зубах и погиб — мама морщилась и вздыхала, вспоминая.

Проспект Энгельса переходит в проспект Карла Маркса (Большой Сампсониевский), трамвай замедляет ход, иногда совсем останавливается, а на повороте осенью появляется плакат «Осторожно, листопад». Справа высокий «сталинский» темно-коричневый дом с башнями, как будто сложенный из плиток шоколада. Это целый комплекс на углу Сердобольской улицы, куда мы поворачиваем: два больших здания, у одного башня четырехугольная в девять этажей, у другого, выходящего к станции Ланская, — круглая (ее видно из отходящих поездов), а в центре старый дом, в котором находилась последняя конспиративная квартира Ленина в октябре 1917 года. Всех нас школьниками туда водили не раз, твердили про окраину, плохие условия жизни дореволюционных рабочих, но мы, жившие в коммуналках на этой самой «окраине», правда обустроившейся, видели отдельную квартиру, белые чехлы на диване и креслах и вполне приличную по советским временам обстановку.

В «шоколадном доме» мы бываем с мамой. Она учительница математики в школе №120 на этой улице, значит, надо ходить к неуспевающим ученикам, интересоваться, есть ли у них условия для приготовления уроков, и беседовать с родителями. Моя добросовестная и застенчивая мама очень не любит эти посещения, в отличие от меня. Мне нравится, что все мною занимают, хвалят — подлизываются к маме и отвлекают внимание, норовят чем-нибудь угостить (мне строго запрещено брать), и вообще интересно. Однажды, например, попала квартира с чудесным большим аквариумом...

Станция Ланская. Здание в стиле северного модерна стоит внизу, а платформы наверху (по лестнице всегда мчатся, слыша стук электрички, те, кто не успел купить билеты), трамвай идет под мостом путепровода. Когда я прочту блоковское «По вечерам над ресторанами...», эти станционные здания того же финского архитектора — увы, уже без самих ресторанов — будут сами возникать перед глазами: Озерки, Шувалово, Парголово, Левашово.

Короткая остановка почти перед маминой школой, она справа, мрачное четырехэтажное здание с окнами прямо на шумную улицу. Напротив трампарк имени Калинина (Ланской), работники которого живут вокруг и поставляют в школу «контингент», от которого мама только вздыхает и ведет бесконечные бесплатные дополнительные занятия.

Дальше ничего особенно интересного, кроме гостиницы «Выборгская» слева, да и та «типовая», хотя в начале 1960-х совсем новая. Пейзаж меняется у Черной речки. Сама она пересекает наш путь, место дуэли Пушкина (туда мы пойдем пешком «в поход» в начальной школе) и Новая Деревня уходят вправо, а трамвай вырывается на простор. Длинный радостный пробег до Каменного острова. Перед мостом остается хорошенькая дача Салтыковой в парке и поворот на Старую Деревню (куда мы иногда ездим в гости или в кинотеатр «Юность» на трамвае № 2, легендарной «американке», с деревянными скамейками), а слева опять монументальный сталинский ампи́р — Военно-морская академия. И наконец, Большая Невка, мосты, простор, острова... Каменный, Крестовский, Елагин. Папа здесь все знает: в 1920-е он занимался в яхт-клубе на Крестовском, летом 1946-го работал начальником первого послевоенного пионерлагеря Дворца пионеров на Елагином.

Мосты и реки я путаю: сначала Ушаковский мост через Большую Невку, потом Каменноостровский — через Малую, но это не так важно. Главное — свежий речной запах, если окна открыты, и виды, насыщающие глаза зеленью и всеми оттенками цвета серо-стальной невской воды, иногда даже прикидывающейся голубой. Яркое пятно слева — красивая кирпичная церковь XVIII века со стрельчатыми окнами, названием которой я в детстве не интересуюсь и не знаю, что там любили молиться Александр I, Державин и Суворов, но про Пушкина, жившего недалеко на даче, папа мне рассказы-

вает. Мне кажется странным, что на Черную речку, где люди просто живут, можно было ездить на дачу ... лет сто тридцать назад.

Трамвай переезжает на Петроградскую сторону, но петляет по окраинам, прямая стрела Кировского (Каменноостровского) уходит влево.

— Папа, почему такие смешные остановки: «Улица Профессора Попова», «Улица Академика Павлова»? Кто выше — профессор или академик?

— И что же в них смешного? Академик выше.

— Ну, всегда говорят просто «проспект Энгельса», а не «проспект академика Энгельса» или «профессора Карла Маркса».

Папа-историк смеется:

— Они не профессор и не академик, а основоположники марксизма.

— Хорошо, — говорю я, не отвлекаясь на «основоположников», — но почему Павлов академик, а не просто Павлов?

— Наверное, чтобы отличить от других Павловых.

— А их много?

— Довольно много.

— А Канторов много? — интересуюсь я. Наша фамилия — Кантор.

Вмешивается мама:

— Да, есть знаменитый математик Георг Кантор и Канторово множество.

Так, непонятного я не хочу, лучше смотреть в окно. Песочная набережная.

— Почему нет песка?

Папа опять смеется:

— Раньше был, Почемучка! Берег раньше был песчаный, я еще помню.

Поворот. Набережная реки Карповки, название — всего-навсего перевод финского слова, но я не сомневаюсь, что оно от карпов, которые здесь, к сожалению, не водятся. Справа на повороте огромное из кирпичей в два цвета здание с куполами — бывший монастырь.

— Я там была, — говорит мама.

— В монастыре?

— Да нет, — она улыбается, — там живет наша учительница.

— В монастыре? — опять не понимаю я.

— Нет там сейчас никакого монастыря, там квартиры.

— Лучше, чем у нас?

— Н-не знаю. Но горячей воды тоже нет.

Ладно, это неинтересно. Дальше идут нормальные советские названия: Чкаловский проспект, улица Красного Курсанта, Пионерская улица, проспект Щорса. Правда, врывается какое-то странное — Большая Зеленина улица.

— Разве не надо говорить «Зеленая»?

— Нет, Зеленина — правильно. Зельем раньше называли порох.

Ну, правильно так правильно. Дома интересные, стоят, плотно прижатые друг к другу, и совсем не похожи на наши «сталинские».

— Доходные дома, — объясняет папа.

Очень любопытно: рост у домов разный, цвет разный, окна разные, крыши разные, бывают башенки, шпили, выступы, маленькие скульптурки, железные завитушки, ворота, колонны, балкончики, решетки. А иногда гладкая пустая стена без окон — брандмауэр, против пожаров. Все интересно, хотя слова трудные — я их не запоминаю, и жалко, что почти нет деревьев. Зато веселые названия: Плуталова улица, Бармалеева, Подрезова, Подковырова и Полозова.

— Бармалеева в честь Бармалея?

— Наоборот, — улыбаются мама и папа, — Чуковский придумал Бармалея, когда шел по этой улице.

— Ладно. А Плуталов плутает, Подрезов подрезает, Подковыров подковыривает, а Полозов ползает?

Тут уже и соседи оборачиваются посмотреть на меня. Мама просит говорить по-тише, а папа рассказывает, что все названия, и Бармалеева тоже, в честь домовладельцев и купцов, кроме Подковырова — он герой Гражданской войны. Это мне понятно: как «наш» Пархоменко. Дальше набережная реки Ждановки. Названием я не интересуюсь — в Ленинграде много всего имени А. А. Жданова: Дворец пионеров, университет, район — и имя это я слышала, правда, речка и набережная названы в честь совсем других Ждановых, братьев-купцов, но это мне неинтересно. Интереснее стадион имени Ленина (Петровский) на целом отдельном маленьком островке с огромными осветительными мачтами на длинных ногах, которые нависают сверху, как великаны из сказки. Слева большой желто-белый собор XVIII века, выглядящий скорее сиротливо, чем победительно. До свидания, Петроградская сторона, где когда-то жил папа, на Малой Пушкинской улице. Я, понятное дело, спрашиваю, были ли там пушки, и почему улица Малая.

Потом я перестаю задавать вопросы — очень уж красиво! «Люблю тебя, Петра творенье...» — стихи я уже знаю с папиного голоса, как раз понятно без объяснений: «Невы державное течение», «мосты повисли над водами» и «адмиралтейская игла», — когда проезжаешь Стрелку Васильевского острова, Биржу, Кунсткамеру, Дворцовый мост, Зимний дворец, Адмиралтейство, Исаакий... Около собора папа загадывает петербургскую загадку: «Дурак умного догоняет, да Исаакий мешает». Ответа я не знаю, и мне его показывают — памятники Николаю I и Петру I, Николай как будто скачет за Петром.

— Мама, твое отчество Исааковна из-за собора? И почему всегда надо повторять, что пишется два «а»? Помнишь, по телефону сказали, что уже написали два «р»: Сарра, зачем еще два «а»?

— Н-нет, это имя моего папы, твоего дедушки, его убили во время войны, — отвечает мама и отворачивается. Она никогда не говорит о своей погибшей семье и не хочет объяснять про имена, но уже мелькают на повороте Манеж, Сенат и Синод, надо же выяснить, что это означает. Мы едем вдоль боковых фасадов по бульвару Профсоюзов (Конногвардейскому), здесь папа тоже когда-то жил. Площадь Труда (Благовещенская), нам налево, мимо Новой Голландии справа и Юсуповского дворца на Мойке слева. Объявляют «Поцелуев мост». В ответ на мой вопросительный взгляд:

— Тоже купец.

Опять! Нет чтобы про поцелуи!

Музыкальная часть: улица Глинки, консерватория, Кировский (Мариинский) театр, проспект Римского-Корсакова (Екатерингофский). На улице Декабристов (Офицерской) мама говорит:

— Здесь жил Блок...

Запоминаю имя — короткое.

Еще несколько улиц и, наконец, площадь Репина (Калинкинская): трамвайное кольцо, дом, где жил Репин, кирпичный большой дом с пожарной каланчой (бывшая «съезжая» — полицейский участок, потом это слово будет мне попадаться в книгах), верстовой столб — такой же, как по дороге в Пушкин и Павловск, и дальше дом-утюг с одним очень узким боковым фасадом и другим очень широким, как у утюга. Есть

еще дом с мемориальной доской о квартире Пушкина, которая здесь была — Пушкин все время с нами в пути...

Красивый Старо-Калинкин мост с башенками и цепями, потом налево по набережной Фонтанки и через три-четыре дома — № 150. Надо пройти подъезд насквозь, во дворе повернуть направо и подняться по черной лестнице с ее петербургским запахом ста лет холодного камня, тумана, людей, кошек и русской литературы (последний оттенок я начну различать не сразу), у нас, в новых домах, так не пахнет. Звонок совершенно необыкновенный: старый, металлический, на него не нажимают, а поворачивают разукрашенную ручку! Тетя Лиля или ее дочка Наташа открывают не сразу — идти далеко, потому что квартира № 7А очень странная: попадаете вы в большую кухню с огромной неработающей печкой (готовят на обычной газовой плите), сбоку еще застекленная лоджия, заваленная всяким хламом, потом идете по узкому коридору, где слева «темная» комната без окон (для прислуги), и, повернув, попадаете в ванную! Вернее, это не отдельная ванная комната, а огромная старая ванна, стоящая на ножках на возвышении слева и задернутая занавеской, но все равно она посередине квартиры. Только потом будет дверь в комнату, вешалка и большое пространство, метров в двадцать пять-тридцать, заставленное замечательными вещами. От соседей отделяет не капитальная стена, а стена с заделанной дверью, так что шуметь особенно нельзя: слышно.

Лично я считаю, что такая коммуналка только с одними соседями лучше, чем наша на шестнадцать семей, но тетя Лиля и мама не уверены. Ладно, это меня не касается. Зато в моей «пещере Али-Бабы» есть барометр (стоит на «великая сушь»), разноцветные камни на широченном подоконнике окна на Фонтанку, старинное пианино с подсвечниками и круглой табуреточкой — играть я не умею, просто кручусь на табуретке. На полу стоят огромные морские раковины, куда я могу поместиться чуть ли не целиком, они гудят морским шумом дальних странствий. Свекор тети Лили, Александр Иванович Францкевич, был инженером-кораблестроителем, наблюдал за постройкой в Филадельфии крейсера «Варяг» (того самого) и броненосца «Ретвизан». Муж тети Лили, Андрей Александрович (которого я уже на застала), родился как раз в Филадельфии, что очень помешало его советской анкете. Хотя и в папиной анкете имеются японский порт Муроран, Сан-Франциско, Нью-Йорк, но это уже другая история...

Необычная тети-Лилина квартира с ванной посередине выкроена из большой, в целый этаж, которую снимали до революции Францкевичи, когда глава семьи дослужился до чина генерал-майора на Адмиралтейских верфях. Но обо всем этом не говорят при мне и вообще не говорят в начале 1960-х, только позже все сложится в общий рисунок: и доходный дом на Фонтанке, где тетя Лиля с новорожденной дочкой пережила блокаду, и коммуналки, и ленинградская прописка, и «бывшая» жизнь, проглядывавшая в разных мелочах — в пианино с подсвечниками, тети-Лилиных словах: «французская булка», «лавочка» или «зеленная» вместо магазин — в старых письмах...

Пора ехать домой.

КИНОТЕАТР «МИНИАТЮР»

Все в детстве казалось непоколебимым, правильным и уютным, как милый кинотеатрик недалеко от дома, на 2-м Мурынском проспекте — «Миниатюр». Он и вправду был маленьким, миниатюрным.

Мир расширялся потихоньку. Сначала только комната — и как в ней помещается столько вещей? На диване бояться сидеть гости, потому что над ним нависают длинные коричнево-вишневые книжные полки, и нижняя прогибается под тяжестью энци-

клопедий. Второй книжный стеллаж светлый и узкий, но зато с пола до потолка, стоит справа от двери. Еще есть вешалка для пальто, платяной шкаф с зеркалом посередине, кровать, моя кроватка, этажерка, буфет, письменный стол и в центре комнаты — круглый обеденный на одной толстой ноге. Он раздвигается, когда приходят гости, и становится овальным. На широких подоконниках — фуксии, на балкончике в шаг шириной папа сажает цветной горошек.

Странно, что мы трое, мама, папа и я, друг другу не мешаем, не сталкиваемся. Я хожу в детский сад, мама и папа на работу в школу, мама — в обычную, а папа в вечернюю. Папино место за письменным столом, покрытым зеленым ватманом, а мама проверяет бесконечные тетради ночью, когда я уже сплю. Я очень люблю ходить с ними в школу, куда меня берут иногда, потому что не с кем оставить. В маминой школе строго, на педсовете надо молчать, вопросы не задавать и сидеть смирно, в папиной разрешается гораздо больше: играть с бухгалтерскими счетами, открывать ящики столов в учительской, резать бумагу ножницами или раскрашивать, поливать цветы и разговаривать.

— Кто это к нам пришел? Здравствуй, Леночка. Ты сегодня умывалась?

Я обижаюсь:

— Конечно!

— А почему у тебя глазки такие черные?

Под смех, который считаю глупым, я безуспешно тру глаза и сержусь, пока папа не говорит, что это шутка.

Все со мной ласковы, иногда угощают конфетами, а одна мамина коллега, со странным именем Евфросинья Борисовна, всегда бросается обнимать и тискать, но я от нее прячусь — боюсь щекотки.

Дорога в детский садик короткая: через наш двор, слева останется аллея с тополями, которые сажал папа вместе с другими на субботнике, и вот уже следующий дом с детсадом на первом этаже.

Я — общественный ребенок, бабушек и дедушек у меня нет: погибли во время войны, и с трех лет я хожу в садик. Мама рассказывала, что меня не хотели принимать — кажется, не хватало месяца-двух до трех лет — и спросили, умеет ли девочка заплетать косички, на что я гордо заявила, что умею, и была записана. По правде сказать, две длинные темно-каштановые косички я заплетаю неважно, и воспитательница мне помогает. Зато быстро запоминаю и люблю читать стихи на утренниках, чем и славолюсь. И вообще я послушная девочка, меня любят и хвалят. Но однажды, когда мама задержалась на очередном педсовете, воспитательницы ушли домой, а меня оставили на улице — почему-то мы были в другом здании, деревянном, на углу проспекта Пархоменко, около трамвайной остановки. Меня охватило ужасное чувство оставленности, заброшенности и страстного ожидания. К счастью, я сделала, как мне велели: никуда не ушла, а сидела на скамейке у песочницы и с тоской смотрела на всех женщин в оранжевых пальто, каждый раз ожидая, что это мама, у которой было оранжевое демисезонное пальто, но в связи с советским плановым хозяйством многие были в таких же. Мама страшно побледнела, увидев меня одну на улице, но объяснения, кажется, ни к чему не привели — деваться было некуда, и я продолжала ходить в этот детский сад и выступать на утренниках.

И все же я была какая-то не такая, как все. Дети говорили, что их то ли нашли в капусте, то ли в магазине купили (аисты не упоминались по случаю отсутствия их на местности), а я твердо стояла на том, что меня мама родила: «Она сама говорила!» Воспитательница возмущалась и отчитывала моих родителей, но они не поддавались. Еще я задавала вопросы:

— Почему родилась я, а не кто-то другой? И какой бы он был, этот кто-то другой? Этот философский вопрос занимал меня довольно долго, но разрешен мною не был.
— Почему есть отчество от папы и фамилия от папы, ведь мама же рождает ребенка? Тут я нашла решение: чтобы папе не было обидно.

В садике мы рисовали на спор — кто быстрее — пятиконечную звезду, пели «Песню о тревожной молодости»:

И снег, и ветер,
И звезд ночной полет...
Меня мое сердце
В тревожную даль зовет, —

больше всего, видимо, подходящую нашему возрасту, и вообще очень развивались в патриотическом направлении.

Наверное, нам читали и сказки, но я была к ним довольно равнодушна и дома просила: «Папа, расскажи что-нибудь из твоей жизни». Это было гораздо интереснее! Мир расширялся: бухта Золотой Рог во Владивостоке, Сан-Франциско, Панамский канал, Нью-Йорк... А сказочное названия корабля — «Йомей Мару»! Это по-японски. И на нем папа, которому тогда тринадцать лет, дядя Миша — ему одиннадцать с половиной и восьмилетний дядя Володя, а с ними еще тысяча детей и воспитателей, и они совершили кругосветное путешествие. Кругосветное! Вокруг света! На корабле!.. Да, это было посильнее сказок...

Постепенно из многих рассказов сложилась любимая история моего детства, о которой велено было не распространяться среди незнакомых.

Весной 1918 года в Петрограде был голод, и детей решили отправить на Урал «подкормиться» (чуждое слово 1920-х годов, от папы впервые услышанное). Отправились 18 мая с Финляндского вокзала. Пока три недели добирались до Челябинска, там как раз произошел чехословацкий мятеж, но эшелон пропустили. Поселились в городе Миассе. Жили, гуляли, купались, «подкармливались», вокруг была чудная природа Южного Урала, чистейшее озеро Тургояк — и Гражданская война...

Кажется, в конце 1960-х мы гостили летом в Челябинске и специально поехали в Миасс, за сто километров. Красиво: горы, речка, длинная улица, ведущая к единственному в мире минералогическому заповеднику, куда я почему-то очень стремилась попасть — нравилось слово «минералогический». Но внутри я быстро соскучилась, запомнился только большущий сверкающий кусок горного хрусталя, похожий на замок с башнями. Когда папа шел по улице Миасса, он все время оглядывался, искал знакомые места, но сказал, что многое изменилось: прошло пятьдесят лет...

А тогда, в 1918-м, «детской питательной колонии» дорогу домой отрезал фронт. Воспитатели с детьми от пяти до семнадцати лет оказались в труднейшем положении: теплой одежды с собой не брали, рассчитывая вернуться к началу учебного года, и, главное, кончились деньги. Старшие колонисты пытались давать концерты, но сколько это могло дать? Решили распределять детей по семьям тех, кто соглашался помочь. Папа попал в интеллигентную семью, к врачу, где его кормили так же, как своих детей, а одиннадцатилетний дядя Миша оказался у сельского «кулака» (в моем детстве это слово знали все, мы уже в детском саду были политически грамотными), который заставлял его работать. «Батраки» из петроградских детей получались так себе: не умели ни косить, ни доить, ни лошадь запрячь. Младшие, среди них восьмилетний дядя Володя, оставались с воспитателями, которые старались их оберегать и потихоньку

учили. Но рядом воевали красные и белые, умирали от тифа, могли ворваться с обыском, расстреливали и вешали чуть ли не на глазах детей. Кончиться все это могло трагически, если бы не появились спасители — Американский Красный Крест (АКК).

Американцы первым делом накормили и одели детей — на фотографиях мальчики и девочки уже в шапках-ушанках и теплых полушубках. Начальник колонии, майор АКК, бывший главный редактор газеты в Гонолулу Райли Аллен летом 1919 года решил, что нельзя оставлять детей в зоне боев, а так как вернуться в Петроград было по-прежнему невозможно, то надо ехать во Владивосток. Части колонии соединились в Омске, столице Верховного правителя России адмирала Колчака, и отправились в вагонах с огромными красными крестами через всю Сибирь и даже часть Китая (КВЖД). Ехали долго, на одной из остановок случилась трагедия: наевшись ядовитых ягод, умерли колонисты — брат и сестра.

Наконец прибыли во Владивосток, на станцию Вторая Речка, где осталась часть колонии, а другая перебралась на остров Русский. Жизнь интересная: остров, лес, бывшие солдатские казармы, много спорта — даже соревнования по плаванию. Папа рассказывал, что им на спину прикрепляли термос с какао, от которого шла трубочка ко рту, а рядом с детьми плыла лодка с инструктором. Папа очень хорошо плавал кролем и соревнования часто выигрывал. Кроме того, учились. Играли в одном из двух оркестров, симфоническом и народных инструментов, устраивали театральные представления. Американцы пригласили из Владивостока скаут-мастера Новицкого, но часть подростков во главе с Валец Цауне устроила «восстание» и объявила себя «красными скаутами».

— Папа, ты в этом участвовал?

— Ну конечно, — смеется он и продолжает: — Мы стали носить синие галстуки, а не белые, как скауты.

— Почему не красные?

Не помню, что ответил папа, но что-то про Гражданскую войну и американцев.

— А потом?

— А потом пришли японцы, и мистер Аллен решил, что если невозможно вернуться в Петроград по железной дороге через всю Россию, то можно приплыть туда по морю. Давай посмотрим на глобус.

— Давай!

Оказалось, что по морям-океанам тоже можно добраться до Петрограда, и тогда круг замкнется и получится настоящее кругосветное путешествие.

— Американцы хотели, чтобы вы совершили кругосветное путешествие?

— Нет, они просто хотели вернуть нас домой.

— Так и получилось?

— Да, только не сразу. С остановками. Сначала наш завхоз, мистер Брэмхолл, зафрахтовал японский корабль, сухогруз «Йомей-Мару».

— Что такое зафрахтовал? И сухогруз?

— Зафрахтовал — арендовал, взял на время, как мы берем лодку или финские сани покататься в парке. А сухогруз — это корабль, который возит сухие грузы: лес, например, или продукты.

— Но вы же не груз, вы живые?

— Да, корабль для нас переделали, построили деревянные нары-кроватьи, столовую, душ. И мы поплыли в июле 1920 года сначала в Японию, в порт Муроран.

— Зачем?

— Чтобы сделать остановку, посмотреть, как все справляются: японская команда — с кораблем, наши воспитатели и американцы — с нами. Нас водили в японскую шко-

лу смотреть выступления детей — танцы и борьбу, потом мы сами выступали. Американцы дали нам карманные деньги, мне больше, потому что я старший, дяде Мише и дяде Володе поменьше, мы сложились и купили фотоаппарат «Кодак», настоящий.

— А где же все снимки?

— Украли. Когда мы вернулись в Петроград, нас выследили от самого вокзала и украли вещи и фотографии.

— Жалко. Фотографии-то им зачем?

— Не знаю, может быть, посмотреть... Ну вот, а потом мы поплыли через Тихий океан. Посмотри, видишь, какой он большой?

— Вижу. А вы что видели?

— Летучих рыб, например. Но мы все время были заняты: учились, читали, дежурили в столовой, тренировались управлять шлюпками и надевать спасательные жилеты, купались, кино смотрели на палубе. А потом приплыли в Сан-Франциско.

— Это большой город?

— Большой. И столько было шума от нашего приезда! Американцы еще не видели людей из Советской России, они, наверное, думали, что у нас рога на голове.

Мы с папой смеемся. А мама говорит:

— Зачем ты ребенку рассказываешь? Она сболтнет где-нибудь.

— Нет, она уже большая и все понимает, правда?

— Правда-правда. Дальше!

— Дальше нас встречал мэр города, и оркестр, и журналисты, и очень много людей. Все так шумели, что ничего не было слышно, тогда мэр взял у оркестранта трубу — и как дунет в нее! Сразу стало тихо, и он сказал речь.

— Интересную?

— Не помню. Я смотрел, как американцы жуют жвачку, раньше не видел. Потом мы сами выступали, а американцы удивлялись, что дети из дикой страны умеют играть на музыкальных инструментах.

— Почему из дикой?

— Ну, они так думали, потому что не знали. А мы скоро из Сан-Франциско поплыли в Нью-Йорк. Смотри, это далеко: надо плыть вдоль американского побережья, потом через Панамский канал, а потом в обратную сторону. Видишь?

— Вижу-вижу. Панамский канал называется из-за панамки?

— Нет, наоборот: панамка из-за страны Панамы и Панамского канала.

— Он длинный?

— Не очень. Наш корабль тащил маленький паровоз, который шел сбоку, по узкой железной дороге, на берегах стояли люди и бросали нам разные сладости, фрукты, мороженое — мы даже объелись.

— Почему бросали?

— Наверное, радовались, что большой корабль проходит. Канал ведь начал работать только в 1914 году, а официально — как раз в 1920-м, когда мы там плыли. Знаешь, какое было самое красивое зрелище? Когда впереди мы видели Атлантический океан, а сзади Тихий. Представляешь, сразу два океана перед глазами!

— Не представляю. Я тоже хочу в кругосветное путешествие!

— Съездишь обязательно. Вырастешь и поедешь!

— А вы куда потом поехали?

— В Нью-Йорк. Вот это был огромный город!

— И небоскребы?

— И небоскребы. И зоопарк. И театр с бассейном, куда артисты ныряли, а выплывали уже за кулисами. И экскурсия по городу. И форт Вордсворт, где мы жили.

— Почему форт? Что это?

— Это как крепость, там были казармы для солдат, и нас там поселили, даже охраняли солдаты с оружием.

— Почему?

— Чтобы мы не убежали в город, не разговаривали с журналистами, и вообще, американцы очень боялись «советской заразы». Потом президент США Вильсон решил переправить нас во Францию, в Бордо, и сделать из нас «перемещенных лиц». Потом я тебе расскажу, что это значит, когда вырастешь.

— А вы согласились?

— Нет, конечно, мы хотели домой, к родителям! И мы стали собирать подписи против «плана Бордо» и решили устроить митинг в самом большом помещении Нью-Йорка — Медисон-сквер-гарден.

— И устроили?

— Устроили. Мы шли через весь город большими колоннами, в Медисон-сквер-гарден собралось очень много людей, играл оркестр, выступали разные люди. Наши старшие колонисты заявили, что мы ни в какую Францию не поедem, а требуем отправить нас в Петроград, и показали подписи всех детей, кроме самых маленьких.

— Ну?

— Ну, мы еще немного пожили в форте Вордсворт, а потом поехали на наш «Йомей-Мару». Но сначала я убежал.

— Как это?

— А так: одни мальчики отвлекали солдат, другие помогли мне перелезть через ограду. Там меня ждали взрослые. К нашему форту приходили разные люди, которые давно уехали в Америку из России, и хотели кого-нибудь усыновить-удочерить, а иногда просто поговорить и расспросить, как там дела, в Петрограде, хотя мы уже два года как уехали. И вот ко мне подошел мужчина, сказал, что он тоже Кантор, наверное, родственник или однофамилец, и привез в большой торговый центр, где были баня, парикмахерская, ресторан, еще что-то. Первым делом он повел меня в баню — боялся заразы, потом стричься, затем купил мне новую одежду, накормил и повез к себе домой. Я так устал, что сразу заснул. Проснулся от того, что кто-то мне веки пытался поднять и говорил, что я очень долго сплю. Вся семья вокруг меня сбралась и вопросы задавала:

— У тебя папа есть?

— Есть. Вот это — папе.

— Мама есть?

— Есть. Это — маме.

В общем, надавали много подарков и спросили, не хочу ли я у них остаться, тогда они меня усыновят. Я, конечно, сказал, что не хочу: у меня два брата и родители. Тогда меня отвезли обратно в форт Вордсворт.

— А если бы ты остался?

— Ну, тогда бы тебя на свете не было, — смеется папа.

А я спрашиваю, остался ли кто-нибудь в Америке. Папа говорит, что, кажется, нет, но он не уверен. И еще перед отъездом случилась страшная история: один мальчик, который подружился с солдатом-охранником, попросил у него оружие посмотреть, тот дал, так как думал, что оно не заряжено, а оказалось заряжено, мальчик выстрелил в себя и погиб. Солдат плакал, клялся, что не знал, но его судили, хотя все колонисты просили за него...

— И вы потом уехали?

— Да. Поплыли сначала во Францию, в Бордо, но на берег не вышли, чтобы нас все-таки не оставили там. Потом в Германию, в порт Брест, там мы тоже не сходили, затем в Финляндию. Капитан-японец боялся, потому что в море были мины с Первой мировой войны, а он не умел ходить через минные поля, не был военным. Мы об этом узнали только намного позже. Прибыли в Хельсинки, но на берег нам сойти не разрешили, довольно долго стояли, а потом корабль отправили в порт Койвисто, сейчас это называется Приморск. Там мы попрощались с капитаном и японской командой.

— А почему вас не привезли сразу в Петроград?

— Потому что Гражданская война еще не закончилась. А еще американцы боялись, что за два с половиной года могли умереть родители и некоторым детям будет некуда возвращаться. Нас поселили в бывшем санатории «Халлила» и послали письма в Петроград. Мы очень хотели домой, но делать было нечего — ждали, учились пока, мечтали. Всем пришли ответы, тех, у кого родители умерли, сразу усыновили или удочерили. И вот в декабре 1920-го и в январе 1921-го мы все вернулись домой!

— На чем вы ехали?

— На финском поезде до станции Сестрорецк, там была граница, потом все пешком с вещевыми мешками перешли через реку Сестру по доскам, потому что мост был разрушен. Нас встречали красноармейцы, голодные — мы им отдали наш хлеб и некоторые вещи. В теплушках доехали до Финляндского вокзала, где ждали родители. Они тоже были голодные и очень плохо одеты, все плакали, что мы вернулись живые.

— Сестрорецк — это где дача дяди Миши? Но там нет никакой границы, мы же там грибы собирали.

— Границу потом перенесли, когда была финская война. А на дачу мы с тобой поедем и реку Сестру перейдем, хочешь ?

— Хочу, конечно. А в кино пойдём, в «Миниатюр»?

— Ну, если в «Миниатюр», то пойдём!

Никита НИКОЛАЕНКО

ГОРОДСКАЯ ЗАРИСОВКА

Рассказ

Хорошая погода выдалась в тот день. Тишь да благодать! Лето было на исходе, но о скором приходе осени, похоже, никто и не помышлял. Ближе к вечеру я собрался совершить привычный поход по окрестным улицам, для моциона. Возраст, знаете ли!

Успел отойти недалеко от дома, как вдруг внимание привлекла знакомая, казалось бы, картина. Шагов за сорок от меня небольшая группа людей стояла возле красной машины. Двое мужчин не без труда удерживали на ногах третьего человека, им помогала женщина, ребенок там же крутился рядом. Видно было, что человека удерживали на ногах с большим трудом.

С дачи вернулись, наверное, ну и расслабились там хорошенько! — первое, что пришло в голову. Будний день, правда, да лето ведь на исходе, за урожаем могли ездить, не иначе! Эх, пьют же у нас на Руси!

Но по мере того, как приближался, становилось понятно, что питье и красная машина здесь ни при чем. Двое крепких молодых мужчин пытались удержать на ногах подростка лет пятнадцати, правда, довольно крупного, если не сказать тучного, килограмм под сто, наверное. У парня подгибались колени, и если бы не усилия поддерживающих его людей, то он, несомненно, свалился бы на асфальт. На нем были белая футболка и короткие черные штаны. Небольшого роста женщина стояла рядом с ними, опираясь на большую доску с роликами, для катания. Доска доходила ей до плеч. Ее ребенок, мальчик лет пяти, крутился тут же, под боком. Я замедлил шаги.

— Мужчина, вы нам не поможете? — обратилась ко мне она, едва поравнялся с ними.

— Помогу! — кивнув, я приблизился.

В руке женщина держала телефон, по которому и говорила, отрываясь только затем, чтобы отдать указания мужчинам. Ко мне вот обратилась тоже. Как сразу ста-

Никита Альфредович Николаенко родился в 1960 году. Окончил МИСИ, аспирантуру МИСИ, кандидат технических наук. Работал руководителем керамического производства, научным сотрудником, директором охранного предприятия. С 2004 года — на творческой работе. Переводчик с венгерского языка. Публиковался в журналах и альманахах «Южная звезда», «Сибирские огни», «Нива» (Казахстан), «Истоки», «Наше поколение» (Молдова), «Голос эпохи», «Северо-Муйские огни», «Великороссь», «ЕДИТА» (Германия), «Идель», «Парус», «День и ночь», «Дрон», «Новая Немига литературная» (Беларусь), «Рукопись», «Дальний Восток», «Бийский вестник», в сборниках «Unzensiert» (Германия), «Остров Андерс» (Нидерланды). Победитель конкурса ОЛРС в номинации «Проза». Финалист II Международного литературного форума «Славянская лира-2015» в номинации «Малая проза». Номинант творческого конкурса VI Международного славянского литературного форума «Золотой витязь» в номинации «Проза», короткий лист. Живет в Москве.

ло понятно, разговаривала она с матерью крупного парня. Я осмотрелся, пытаюсь понять: что же произошло? Катался на доске, врезался в красную машину и потерял сознание? Или, наоборот, потерял сознание и врезался в машину? Второе предположение казалось более вероятным.

— Сознание потерял? — спросил я у женщины. Кивнув головой, она продолжила общение по телефону. Я прислушался к разговору.

— Да, ваш сын стоит рядом со мной, на ногах, но его поддерживают, чтобы не упал! — объясняла она матери парня.

Каким образом она дозвонилась до нее, если он был без сознания, для меня осталось загадкой. В памяти догадалась покопаться, наверное. А может быть, парень успел что-то объяснить. Бог ведает!

Тем временем ноги у молодого человека подкосились, и он стал оседать, буквально повиснув на руках поддерживающих его мужчин. Женщина вскрикнула. Он оседал все больше, и я торопливо сделал пару шагов к нему, намереваясь помочь удержать его, но мужчины справились сами. Они просто встряхнули парня немного, и сознание вернулось к нему. На ногах, пусть и с посторонней помощью, он устоял, не упал на асфальт. Затуманенным взглядом он посмотрел на меня. Его состояние было понятно. Как бывший боксер, я наблюдал подобное много раз на ринге и за рингом.

— Упал? — внятно задал ему вопрос, глядя в глаза.

— Да, — с трудом подтвердил он.

— Ударился?

— Ударился, — повторил он, как показалось, испуганно.

Ничего, в сознании, голова работает! — оценил его состояние. Ни крови не видно, ни повреждений видимых нет. Ничего, оклемается!

— «Скорою помощь» вызвали? — обратился я к женщине.

— Нет, не вызвали. Сейчас мать его подъедет! — оторвавшись от телефона, ответила она и вновь продолжила разговор: — Нет, видимых повреждений на нем нет! — доносились ее слова.

— Хорошо бы его усадить куда-нибудь! — обратился я к мужчинам и посмотрел на пенек на газоне поодаль. Мужчины тоже осмотрелись.

— Давайте отведем его на ту лавочку! — предложил один из них, кивнув головой в сторону подъезда.

— Конечно, лучше на лавочку!

— Идти сможешь? — внятно спросил я у парня.

— Смогу! — так же испуганно подтвердил он. Впрочем, на мужчин он по-прежнему опирался и не торопился избавиться от поддержки. Парень нерешительно сделал два маленьких шага вперед.

— Пошли!

На правую ногу он заметно припадал. Всей командой мы двинулись в путь. Женщина так и не прерывала разговора.

— Хромает! — объясняла она, по телефону передавая состояние парня его матери. — На правую ногу заметно хромает. Нет, кость нигде не торчит — да что вы, мамаша! Нет, ни крови, ни ссадин не видно.

Слушая, я только удивлялся: как та невидимая собеседница успевает собираться в дорогу и одновременно выяснять подробности.

— К лавочке его ведем! — объясняла наша ведущая.

Мельком я бросил оценивающий взгляд на нее. На вид ей было лет тридцать с небольшим, невысокого роста, полновата немного, в простых брюках и кофточке. Не-

взрачно выглядела. Если бы не это обстоятельство, то вряд ли обратил бы на нее внимание на улице. Она по-прежнему держала в одной руке телефон, а в другой руке — доску. Как я уже упомянул, доска была большая для ее роста, и при каждом шаге женщина постукивала ею об асфальт. И все-таки на ходу успевала отдавать указания еще и мужчинам: осторожнее ведите, не спешите! Те и так старались. Поневоле я прислушался к разговору.

— Что же вы, мамочка, — укоряла она собеседницу, — до сих пор не сводили его к доктору! Обследовали бы его, давно поставили бы диагноз! Нельзя же так запускать заболевание!

Мать, конечно, была в курсе проблем своего тучного сына, отвечала что-то по телефону. По делу они говорили — все правильно!

Так мало-помалу мы осторожно двигались к подъезду. Мужчины вели парня под руки, женщина с доской следовала за ними, ребенок, конечно, шел рядом, а я замыкал шествие. Взять, что ли, у нее доску? — мелькнула мысль. Да ладно, два шага до цели осталось — донесет уж теперь! Так потихоньку мы добрались до лавочки у подъезда, и мужчины, не без труда развернувшись, усадили парня. Сел он неровно, наклонившись чуть в сторону, и остался сидеть в таком положении. Не упал бы! Стало понятно, что оставлять его одного нельзя.

Мужчины между тем разогнулись и вопросительно посмотрели на женщину.

— Идите, спасибо за помощь! — не отрываясь от телефона, поблагодарила их она. Невольно обратил внимание на то, что поблагодарила их она так, как будто бы они что-то сделали для нее, а не для незнакомого парня. Не задерживаясь, те отправились по своим делам. — Не беспокойтесь, я буду рядом с ним и дождусь вашего приезда, — внятно произнесла женщина и выключила наконец-то телефон. Посмотрела на меня.

— И вы идите, спасибо за помощь! — произнесла она.

И мне спасибо! А я ведь ничего не сделал, поддержал своим присутствием только. Уходить пока не торопился.

— Может быть, лучше вызвать «скорую помощь»? — предложил ей.

— Не беспокойтесь, я останусь здесь до прихода матери, и если ему станет хуже, то обязательно вызову! — ответила она.

— Хорошо!

«Молодец тетка! — отметил я про себя. — Ребенок маленький ведь при ней, а все равно по делам не торопится! Доска еще эта огромная — не бросила ее там, у машины, с собой прихватила! Что это — женская солидарность или желание помочь человеку, попавшему в беду? Не на вознаграждение же она рассчитывает, конечно, нет! Отвык я от нормальных человеческих отношений, мерещится что-то все! — подумал еще. — Старее!»

Я перевел взгляд на парня. Он так же неровно сидел на лавочке, того и гляди — упадет, но был в сознании, озирался и, кажется, понемногу приходил в себя. Футболка его съехала набок, густые черные волосы были растрепаны. Женщина, не отпуская доску, стояла в двух шагах от него, готовая прийти на помощь. Ее ребенок весело вертелся рядом, не озадачиваясь заботами взрослых людей. Он дотрагивался до колесиков доски и даже крутил их немного, хихикая при этом. Сомневаться не приходилось — ситуация под контролем! Махнув рукой женщине на прощание, двинулся по привычному для меня маршруту — для моциона!

Хорошая погода стояла в тот день уходящего лета. И вечер выдался замечательный, тихий такой, безветренный. Офисный люд стройными рядами, помахивая пап-

ками с ноутбуками, расходился по квартирам. Загорелые до черноты торговцы арбузами с надеждой посматривали на проходящих мимо людей. Я прибавил шаг, наверстывая упущенное время. Появились велосипедисты. Пользуясь погожим вечером, они бодро крутили педали. Парень тот тоже ведь на доске катался! — мелькнула мысль. Но все спешили по своим делам. Никто не обратил внимания на незначительное происшествие. А если и обратили, то не сильно удивились, наверное, и не такое видели. Куда спешу — нагуляюсь еще!

Сбавив темп, я старался отвлечься, но в мыслях возвращался к увиденной недавно картине. Казалось бы, никому ни до кого нет дела — ан нет! В нужный момент из толпы выделилась невзрачная на вид женщина и взяла ситуацию под контроль, сама справилась и встретила поддержку людей, оказавшихся поблизости. И доску не оставила там, у красной машины, с собой ее прихватила! Наверное, мама того парня уже подъехала. Я пытался переключиться, говорил себе, что ничего особенного не произошло, что для Москвы подобные происшествия не редкость, но почему-то стал оценивающе посматривать на спешащих по делам людей: а много ли найдется среди них героев? Найдутся, конечно! Так стоит ли озадачиваться, быт ведь — и ничего больше! Но из таких мелочей и складывается жизнь. А вдруг я упаду? Спортсмен? Бывший! Вот тут многое и зависит от людей, оказавшихся рядом в трудную минуту: пройдут ли они мимо, спеша по своим делам, или, как та женщина, окажут помощь. А тетка все-таки молодец! А вообще-то, ничего особенного и не произошло — напоминал я себе. Так, простая зарисовка из жизни большого города.

НАЦИОНАЛИЗМ РОМАНТИЧЕСКИЙ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ

Люди всегда пытались подкреплять политику религией: приносили жертвы богам, чтобы те подарили победу, гадали, чтобы выяснить их волю, а когда рационалистический скепсис почти уничтожил практическую роль религии, ее место заняли идеологии. Социализм – все обобществить, либерализм – все приватизировать, расизм – все предопределено биологией, и в этом ряду национализм сделался едва ли не самой могущественной светской религией. Иногда, впрочем, не такой уж и светской.

Протестантский теолог века Разума Шлейермахер утверждал, что каждый народ представляет «особую сторону божественного образа», а следовательно, каждый народ должен блюсти свою чистоту в отдельном государстве, а многонациональные империи, по мнению философа той же эпохи Гердера, являются государствами испорченными, развращенными. Оскверняет нацию не только совместное проживание с инородцами, но даже использование чужого языка – прежде всего французского, поскольку к концу восемнадцатого века именно французский язык считался языком высшего общества: «Так выплюнь же, перед порогом выплюнь противную слизь Сены. Немецкий твой язык, мой немец!»

Во время наполеоновских завоеваний эта ненависть, естественно, удесятирилась – поражение прусской военной машины списывалось на франкофилию. «Отец гимнастики» Фридрих Ян, внедривший брусья и кольца, утверждал даже, что изучение французского языка толкает девушек на проституцию. А если народ переходит на иностранный язык, то он усваивает с ним и иностранные пороки (но почему-то не достоинства).

Но если язык из средства общения становится священным атрибутом, а государственные границы должны объединять всех, кто, по мнению националистов, говорит на достаточно близком для них наречии, то это становится поводом для бесконечных

Александр Мотелевич Мелихов родился в 1947 году в городе Россошь Воронежской области. Окончил матмех ЛГУ, работал в НИИ прикладной математики при ЛГУ. Кандидат физико-математических наук. Как прозаик печатается с 1979 года. Литературный критик, публицист, главный редактор журнала «Нева». Произведения переводились на английский, венгерский, итальянский, китайский, корейский, немецкий, польский языки. Набоковская премия СП Санкт-Петербурга (1993) за роман «Исповедь еврея». Премия петербургского ПЕН-клуба (1995) за «Роман с простатитом». Премия интернет-конкурса «Тенета.ринет»-2002 в номинации «Литературные очерки, публицистика». Премия им. Гоголя от правительства Санкт-Петербурга и СП Санкт-Петербурга за роман «Чума» (2003), за роман «Интернационал дураков» (2009) и за роман «Тень отца» (2011), премия правительства Санкт-Петербурга (2006) за роман «В долине блаженных». Премия им. Гоголя за роман «Свидание с Квазимодо» (2017). Премия им. Искандера (2022), премия правительства Санкт-Петербурга (2023) и премия «Книга года» (2023) за роман «Сапфировый альбатрос». Премия им. Гончарова за роман «Тризна» (2023). Премия «Неистовый Виссарий» за вклад в развитие критической мысли (2024).

раздоров. Что, например, считать языком, а что диалектом, хотя один умный человек разъяснил, что язык отличается от диалекта наличием армии и флота.

Автор классического исследования «Национализм» (СПб., 2010) английский историк Эли Кедури вынес такой приговор: «Расы, языки, религии, политические традиции и связи так перемешаны и запутаны, что нет убедительной причины понять, почему люди, говорящие на одном языке, но чья история и отношения различны, должны образовывать одно государство, или почему люди, говорящие на двух различных языках, но сплоченные историческими обстоятельствами, не должны образовывать одно государство».

Обычно в оправдание культа национального самоопределения националисты ссылаются на межнациональные конфликты внутри многонациональных государств, — не замечая, что эти конфликты в огромной степени являются плодом их собственного вероучения. По мнению же Кедури, национальное самоопределение само по себе не избавило ни один народ ни от бедности, ни от коррупции, ни от тирании, а часто лишь усугубило их и закрепило, снабдив тиранов дополнительными идеологическими вожжами. Национальные же меньшинства в новых национальных государствах, как правило, стали подвергаться гораздо худшей дискриминации, чем это было в «развращенных» империях: «Вместо того чтобы укреплять политическую стабильность и политические свободы, национализм на территориях со смешанным народонаселением провоцирует трения и взаимную ненависть».

Национализм сеет смуту даже в империях, предоставляющих меньшинствам обширные культурные права: «Культурная, языковая и религиозная автономия возможна для различных групп многонациональной империи только в том случае, если она не укрепляется и не оправдывается националистическим учением. Подобного рода автономия существовала в Османской империи несколько столетий (эта система называлась „миллет“) именно потому, что о национализме в ту пору еще никто ничего не знал».

Теперь мы все про него знаем и все-таки по-прежнему считаем чем-то само собой разумеющимся право наций на самоопределение, которое Ленин провозгласил ради разрушения многонациональных «буржуазных» государств, — то есть всех, кроме его собственного, — а президент Вудро Вильсон, похоже, из благородного, но неосуществимого желания уравнивать сильных и слабых: «Это принцип справедливости по отношению ко всем народам и национальностям, а также их права жить друг с другом на равных условиях свободы и безопасности, независимо от того, сильны они или слабы». И это при том, что именно борьба сильных за влияние на слабых, чья кротость, как выяснилось, порождалась лишь бессилием, спровоцировала Первую мировую войну, да и во Второй «благородная нарезка» европейской карты существенно облегчила задачу агрессоров, противопоставив им вместо крупных сильных государств россыпь малых стран, которые было очень удобно проглатывать поодиночке.

«С уверенностью можно сказать, что создание национальных государств, унаследовавших положение империй, не было прогрессивным решением. Их появление не способствовало ни политической свободе, ни процветанию, их существование не укрепляло мир. По сути, национальный вопрос, который, как надеялись, будет решен с возникновением этих государств, лишь обострился».

Раз за разом припечатывая национализм подобными формулировками, Кедури вместе с тем отказывается даже обсуждать, какие общие причины объясняют его возникновение: «Этот поиск общего объяснения, обобщения можно назвать социологическим соблазном».

Попробуем, однако же, поддаться этому соблазну.

Мне кажется, что *универсальная функция, которую выполняет национализм везде и всюду, это экзистенциальная защита личности*, ее защита от абсолютно обоснованного чувства своей эфемерности и незащитности перед безжалостным мирозданием. И с тех пор как многократно ослабела экзистенциальная защита, даруемая религией, так же многократно обострилась человеческая потребность прильнуть к чему-то сильному и хотя бы потенциально бессмертному — по крайней мере, не обреченному гибели в заранее отмеченный срок. Подавляющему большинству такое символическое бессмертие проще всего заполучить через причастность к нации. В особенности если эта нация гремит или блистает на исторической арене, оставляя долговечный («бессмертный») след в человеческой памяти.

Здесь-то и может помочь романтический национализм. Не геополитический, вечно борющийся за чистоту и полноту своих рядов — кого-то присоединить, кого-то изгнать, — а романтический, создающий для народа поэтическую родословную. Он изучает народную культуру, предания, отыскивает и воспекает в своей истории героев и святых и этим делает людей лучше, благороднее, пробуждая в них желание быть достойными великих предков.

Покуда его не берет на вооружение национализм геополитический, который решительно все превращает в средство подавления: так наступательный национализм создает оборонительный.

Иными словами, борьба за национальное самоопределение — это *борьба за символическое бессмертие*, и терроризм — оружие проигрывающих. В борьбе, выражаясь поумреннее, за историческую субъектность.

Концентрирующуюся чаще всего в исторических личностях, при этом почти безразлично, вошедших в историю со знаком плюс или со знаком минус. Тем более что общечеловеческих плюсов пока что не предвидится: ведь их обычно выставляют за победу над кем-то, но не может же человечество восторжествовать над самим собой! Вот освобожденные от советского диктата монголы устанавливают памятник Чингисхану, французы никак не могут забыть Наполеона, мы Сталина, а сербы называют улицу в Белграде и ставят памятник Гавриле Принципу, запустившему череду чудовищных бедствий. Все равно это след в истории, символическое бессмертие.

Правда, именем одного из отцов электрической цивилизации Николы Теслы в сербском Белграде назван аж целый аэропорт, да и в Подгорице (главный город Черногории), и в Загребе (столица Хорватии) имеются улицы его имени. Видите, скольким народам один-единственный гений укрепил экзистенциальную защиту! Причем у всех у них есть основание считать себя причастными к его становлению: серб по национальности, Тесла родился в Хорватии, а учился в Австрии и Чехии, и не каждый вспомнит, что вся история его становления на самом деле протекала в одной стране — в Австро-Венгерской империи.

А если бы все перечисленные страны уже тогда были разделены государственными границами, еще неизвестно, как бы сформировался его талант. Хотя даже в самом счастливом случае реализовать свой дар в маленьком государстве он все равно бы не сумел, ибо грандиозные проекты, для которых был рожден Тесла, для небольших государств неподъемны. Наш Король тоже не обрел бы бессмертие, если бы не имел в своем распоряжении целую промышленную империю.

Намек ясен? Отделяясь от империй, малые народы не укрепляют, но ослабляют свою экзистенциальную защиту, не укрепляют, но ослабляют свою историческую субъектность — оказываются еще дальше от исторического творчества, от возможности оставить бессмертный след в истории. В Большой Игре великих держав, чье величие измеряется прежде всего возможностями наносить неприемлемый ущерб, они

все равно остаются пешками. Но самое обидное — с обретением независимости у них резко падает возможность возвращать собственных гениев, являющихся, на мой взгляд, главным достоянием человечества, главным оправданием его земного бытия и главной для его безрелигиозной части экзистенциальной защитой. Вспомнив имена Бетховена, Микеланджело, Толстого, Ньютона, даже самый заматерелый циник невольно почувствует: да, человек — это, пожалуй, звучит все-таки довольно гордо.

Но чтобы возвращать гениев, нужно забрасывать сеть очень широко и воспитывать их на общении с высочайшими образцами. И есть огромная разница, выбирать из миллионов или из тысяч.

Дело, впрочем, не только в количестве молодежи, из которой производится отбор, хотя и в нем тоже, — дело еще и в качестве ее воспитателей. Представим, что какая-то российская область в силу особенностей происхождения или языка вообразила себя отдельной нацией (а нация и создается системой грез) и выделилась в самостоятельное государство. Тогда декан местного пединститута сделался бы президентом Национальной академии, краеведческий музей превратился в Национальный, единственный член Союза художников оказался бы родоначальником национальной живописи, а член Союза писателей автоматически вырос в национального классика. При этом все они, даже будучи одаренными людьми, поневоле оказавшись высшими достижениями своего народа, вместо стимулирования исторического творчества поневоле начнут его глушить, задавая слишком низкую планку.

А одаренная амбициозная молодежь, которая прежде ехала «поступать» в Москву и Петербург, не покидая при этом собственного государства, будет вынуждена уезжать, пусть и туда же, но уже за границу.

И какая сила заставит их вернуться на свою теперь уже не «малую», а просто родину? Забота об отечестве? Но они ничем не смогут послужить ему, прозябая без необходимых ресурсов и сообщества равных. Есть, конечно, профессии, не требующие особых материальных средств, — скажем, теоретическая физика или филология, — и тогда один гений, вроде Бора или Лотмана, может превратить вчерашнее захолустье в научную столицу; однако и в этом редчайшем случае с его уходом, как правило, теряется и «столичный» статус. Да и самих таких наук гораздо меньше, чем борющихся за бессмертие малых народов.

Теоретически, правда, можно допустить, что во главе государственного новообразования станет новый Лоренцо Великолепный, который начнет покровительствовать талантам, расходуя на необходимую им инфраструктуру те ресурсы, которые рядовая масса желала бы потратить на жилищное строительство, здравоохранение и пенсионное обеспечение, — однако в век демократии такой народный вождь вряд ли надолго засидится в президентском кресле. Народы, остро нуждаясь в экзистенциальной защите, редко, однако, сознают, что именно успехи их национальных гениев защищают их самих от чувства исторической ничтожности, которое они частенько начинают глушить геополитическими эскападами.

Короче говоря, именно тогда, когда нации занялись самообожествлением, империи для малых народов начали становиться в гораздо большей степени орудиями усиления и обогащения, орудиями обретения исторической субъектности, чем орудиями ее подавления, в гораздо большей степени орудиями формирования экзистенциальной защиты, чем орудиями ее разрушения. Лучшей защищенности, к слову сказать, национальным меньшинствам легче достичь в более «отсталой» империи, где на продвинутые малые народы взирают со смесью раздражения и почтения, чем в «передовой» цивилизации, взирающей на новичков свысока.

Империи, чья коллективная экзистенциальная защита открыта для всех желающих (в отличие от наций, стремящихся замкнуться в себе), едва ли не единственное средство вовлечь народы в общее историческое дело. В тех случаях, разумеется, когда имперская власть служит величию и бессмертию имперского целого, а не националистическим химерам. Немцы в царской империи, евреи в ранней советской сделали более чем достаточно и для государства, и для собственной экзистенциальной защиты — и продолжали бы служить тому и другому верой и правдой, если бы Сталин не принялся превращать империю в национальное государство. Одновременно истребляя и русских национальных романтиков — служащих уже не имперской, а национальной экзистенциальной защите, — поскольку справедливо усматривал в них угрозу межнациональному равновесию.

Кедури еще застал распад советской «империи зла» и, как и следовало ожидать, отнесся без всякого энтузиазма к появлению новых, не успевших набраться опыта и ответственности игроков на международной арене. Он даже успел высказаться в том духе, что международная политика не может руководствоваться возвышенными рассуждениями, кто из игроков воплощает добро, а кто зло, но должна стремиться к старому, хотя и недоброму принципу равновесия сил. А пока что право наций на самоопределение будет считаться священной коровой, пред которой должны расступиться все существующие государства, это равновесие будет постоянно нарушаться и вводить в соблазн все новых и новых авантюристов, мечтающих тоже пробиться в историю в качестве отцов-основателей новых государств, укрепив личную экзистенциальную защиту до полной бронебойности и ослабив ее у своего народа, может быть, даже навеки.

Национальное самоопределение должно быть низведено из права в простое желание, чья осуществимость целиком зависит от цены, которую за его исполнение придется заплатить миру — непременно с учетом возрастающей либо падающей способности самоопределяющихся народов взращивать собственные таланты, кои уже давно пора объявить общим достоянием человечества наряду с выдающимися красотами природы и архитектурными шедеврами. (Намек адресован ЮНЕСКО, тоже очень озабоченной разнообразием национальных культур и мало обеспокоенной творческим потенциалом этих культур, их способностью расширять наши представления о пределах человеческих возможностей.) И это вовсе не значит, что нужды национальных меньшинств должны подавляться в многонациональных государствах, почему-то как черт ладана страшщихся принять на себя имперское имя и имперскую ответственность, которой они все равно не в силах избежать. Избежать в том числе и ответственности за меньшинства, готовые впасть в националистическое безумие.

Сдерживать, однако, подобные безумства может лишь тот, кто сам от них свободен. Народы, на которые прихоти истории возложили имперское бремя, должны помнить, что имперский принцип требует преодоления национального эгоизма во имя более высокого и многосложного целого. От имперских народов требуется великодушные, умение любить чужое, к которому когда-то призывал русский народ Достоевский. Умение воспевать чужое и тем привлекать его к себе.

Имперский принцип, в частности, требует не подавлять экзистенциальные нужды меньшинств, но, напротив, всячески поощрять их утление в созидательной, а не агрессивной исторической деятельности. Для чего необходимо открывать как можно более широкую дорогу их особо одаренной молодежи к элитарному образованию, к работе в высокой науке и высокой культуре. Ибо каждый возвращенный империей гений, вышедший из национального меньшинства, есть сильнейший удар по национальной агрессии и национальному сепаратизму.

Владимир ЧЕРВИНСКИЙ

ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ БЕЗ ХЕППИ-ЭНДА

Семья Бориса, коммивояжера по профессии, переехала в город Борисоглебск из Минска в конце 90-х годов XIX века. Чем он торговал — неизвестно. Его супруга умерла, и три маленькие дочери остались на попечении отца. Борис больше не женился, часто бывал в разъездах, и ведением дома занималась условная «няня» с широким кругом обязанностей и прав. Старшую из девочек, мою будущую бабушку, звали Софья, среднюю — Вера, младшую — Мария.

Родились сестренки в Минске, где у их бабушки имелась аптека. Аптека второй половины XIX века имела мало общего с современной аптекой. В те времена аптека была фактически небольшой химической лабораторией, маленькой мастерской по производству лекарств, где работали один или пара провизоров — так называли тогда специалистов по изготовлению лечебных снадобий, чьи знания и опыт часто передавались из поколения в поколение.

Как правило, владелец аптеки являлся одновременно и хозяином, и продавцом, и провизором. Понятно, что ему полагалось иметь соответствующее образование, ну, если не университетское, то, по крайней мере, полученное в специальном училище. Владение аптекой тогда, да и в настоящее время, было делом достаточно прибыльным, и, взяв в жены дочку владельцев аптеки, Борис, скорее всего, получил приличное приданое и смог содержать большую семью.

Переезд Бориса со всей семьей из Минска, в самом начале XX века уже достаточно крупного российского города, в небольшой провинциальный Борисоглебск казался на первый взгляд странным решением, объяснить которое можно смертью жены, потерей доходов от аптеки и желанием вырваться за черту оседлости, где отсутствовали перспективы для подрастающих поколений. В конце XIX века случились первые еврейские погромы, затем последовали ужасы революции 1905 года. Положение евреев ухудшалось.

Как коммивояжер, занимавшийся поставкой различных товаров, Борис, безусловно, имел широкий круг знакомств, связей, много разъезжал, посещал многие российские города и, наверное, выбрал Борисоглебск совершенно осознанно, имея уже представление о нем и убедившись, что его собственный социальный статус и образование позволяют еврейской семье осесть в Борисоглебске. Находившийся за чертой оседлости Борисоглебск выглядел местом достаточно безопасным, к тому же в начале XX века там действовали женская и мужская гимназии, техническое училище, работали библиоте-

Владимир Исаакович Червинский родился в 1943 году в Новгородской области. Окончил ЛЭТИ. Кандидат технических наук, лауреат премии Совета Министров СССР, почетный машиностроитель. Автор четырех книг мемуарной прозы. Живет в Санкт-Петербурге.

тека, общественные клубы, летний кинотеатр, книжные магазины. Это открывало перед детьми Бориса определенные возможности, и действительно, девочки окончили гимназию и получили хорошее светское образование.

Сестры росли не религиозными, постулатов иудаизма не придерживались, то есть формально не являлись иудейками, — ведь именно по признаку веры в Российской империи отличали евреев от людей других национальностей. Но Борис и его семья оставались частью борисоглебской еврейской общины, сестры общались со своими сверстниками-соучениками, детьми борисоглебской еврейской интеллигенции.

Учили в гимназиях хорошо, много времени уделяли изучению русского языка и литературы. В поведении сестер, в манере их общения, в разговорах и интонациях не было ни капли местечковости, присущей подавляющему числу евреев, родившихся и проживших всю жизнь в маленьких городках (местечках), зажатых чертой оседлости. Замкнутость пространства, в которой жили еврейские семьи, как правило, многодетные и крайне бедные, малограмотные, с психикой, формируемой с детства религиозными догмами и постоянными унижениями, приводила к тому, что дети в таких семьях часто вырастали закомплексованными и малообразованными. Те, кому все же удавалось получить образование, становились зачастую известными в России и мире людьми. Черта оседлости калечила людей и нравственно, и физически. Сестрам повезло, они выросли в другой среде, получили хорошее образование, не испытывали нужды, и их сознание и души формировались вне религиозных устоев и традиций.

Все три сестры, особенно Софья и Вера, выросли и превратились в стройных девушек с прекрасными волосами, правильными чертами лиц, а их носы с небольшими горбинками, как у древнеримских красавиц, придавали им определенную изюминку.

Наверное, подрастая и оканчивая гимназию (а это период с 1908-го по 1911 год), старшие сестры, Софья и Вера, задумывались о будущем, о своем месте в жизни, о необходимости обустроить свою самостоятельную жизнь. Девичьи мечты наполнились ожиданием любви, встречи с избранником, будущей семейной жизни, а окружающая действительность становилась все более тревожной и мрачной. Узкий круг общения и осознание невозможности вырваться из провинциального Борисоглебска в условную «Москву» сводили к минимуму шансы устройства личной жизни. Коммивояжеру средней руки становилось все сложнее содержать трех взрослых дочек, а уж обеспечить их дальнейшее образование и дать им возможность приобрести какую-либо достойную профессию он просто не мог.

Неизвестно, как бы сложилась дальнейшая судьба Софьи, Веры и Марии, если бы усилившийся шторм российской и мировой жизни не прибил к борисоглебскому берегу два суденышка, скорее, две шлюпки с двумя молодыми людьми, что позволило сестрам покинуть берега небольшой русской реки Хопер и доплыть до берегов аж Черного моря.

* * *

На этих воображаемых шлюпках в Борисоглебск прибыли, не сговариваясь и в разные годы, два еврейских юноши: один с необычным именем Аба, а второй — с библейским именем Марк. Первым, очевидно, появился в Борисоглебске Марк.

Важной страницей в биографии Марка стало его участие в еврейском социалистическом союзе, на идиш — «Бунд». Эта деятельность в какой-то момент вынудила Марка отбыть за границу. А где предпочитали жить в эмиграции молодые революционеры и члены запрещенных в России партий, когда их начинали преследовать? Правильно, в Швейцарии или на худой конец в Германии. Эмигрантов из России в конце

90-х годов XIX века в этих странах было множество. Именно там разворачивалась их бурная политическая деятельность, там проходили конференции и съезды многочисленных партий, печатались газеты и листовки. «Революционное» прошлое и членство в Бунде моего деда, у которого отношения с большевиками складывались неровно, часто противоречиво, в семье не афишировались. Знали только, что он несколько лет жил в Швейцарии, там выучился на мастера-часовщика, что подтверждалось красочной грамотой-дипломом с печатями и размашистыми подписями, висевшей, как рассказывала мама, в рамке на стене их одесской квартиры. В Швейцарии, а затем и в Германии он приобрел профессиональные навыки ювелира и гравировщика.

Можно не сомневаться, Швейцария произвела на него большое впечатление. Прозрачные, как акварели, швейцарские пейзажи, домашняя чистота улиц и порядок в городах, доброжелательность и вежливость окружающих, терпимость к инородцам — все это не шло ни в какое сравнение с жизненными реалиями родного Ельца, провинциального, но не самого захолустного российского города. К его удивлению, выяснилось, что можно вполне прилично жить, не устраивая революций и государственных переворотов. К швейцарским впечатлениям добавился и опыт непродолжительной жизни в Германии, оставивший в его голове ощущение еще большего порядка, абсолютной немецкой точности и, как ему тогда показалось, порядочности. Через несколько десятков лет ему пришлось осознать, как чудовищно он ошибался.

В каком году он вернулся в Россию (но еще до начала Первой мировой войны) и чем занимался в родном Ельце, точно неизвестно, скорее всего, работал по своей специальности — ремонтировал часы, что, вероятно, давало приличный доход. В начале XX века часы все еще оставались если не предметом роскоши, то дорогим аксессуаром точно. Редко кто из простолюдинов имел часы, тем более карманные, на цепочке и с крышкой. Они стоили дорого, так же как и их ремонт. Механические часы и хронометры были сложными устройствами, и для их починки требовались профессиональные знания и опыт, и такая работа оплачивалась хорошо.

Когда и как Марк попал в Борисоглебск и как познакомился с Софьей, старшей из сестер, точно неизвестно. Но если посмотреть на карту России, то бросается в глаза, что такие города, как Ярославль, Борисоглебск, Москва, Тула и Елец, находятся практически на одной вертикальной линии, протянувшейся с севера на юг, и соединены железной дорогой. Во всех этих городах существовали еврейские общины. Многие еврейские семьи общались, поддерживали знакомства, посещали вместе синагогу, ездили в гости друг к другу или по делам. Отцы дочерей «на выданье» присматривали им в мужья молодых людей из приличных семей, сыновьям родители приискивали достойных невест. Так или иначе, но встреча Марка и Софьи состоялась в Борисоглебске. К моменту знакомства ей было лет 17, не более, а Марку — около 30, пора было обзаводиться семьей. Они, безусловно, могли понравиться друг другу с первого взгляда. Софья была стройной, красивой девушкой, а Марк — высокого роста, хорошо сложен, с правильными мягкими чертами лица. Подробности знакомства и его продолжения неизвестны, но тот факт, что Софья родила сына в 19 лет, говорит, что свадьба состоялась скоро. Думаю, сама перспектива уехать из Борисоглебска в Одессу, город мечты для многих в то время, явилась существенным аргументом в решении Софьи принять предложение руки и сердца Марка. Сбывалась мечта многих провинциальных барышень, как и героинь пьесы Чехова — вырваться из провинциального быта и тоски, и уехать туда, где, казалось, жизнь совершенно иная: интересная, счастливая, где все будет прекрасно. «В Москву, в Москву!»

Если Марк в молодости был причастен к борьбе с «царским режимом», то Аба принимал участие уже в становлении советской власти. Если свободомыслие Марка и ес-

тественные порывы молодости сделать мир лучше и справедливее со временем развеялись, то у Абы все было всерьез, и занимался он не расклеиванием листовок и организацией манифестаций, а реально принимал участие в Гражданской войне, носил кожаную тужурку, а на ремне револьвер в брезентовой кобуре.

Родился Аба в уральском городе Чебаркуль в семье отставного солдата-кантониста, отслужившего в царской армии 25 лет. Евреи-кантонисты («николаевские солдаты») и их потомки получали право жить в любой губернии Российской империи. Часть таких отставников, людей не робкого десятка, много повидавших и умевших постоять за себя, оказалась и в Чебаркуле. Несравненно более свободные, чем еврейское население в южных и центральных районах России, накопившие за годы военной службы некоторые средства, они сумели организовать небольшие предприятия. Наиболее успешные прилагали все усилия, чтобы дать своим детям приличное образование.

Вот в такой еврейской семье и появился мальчик Аба, унаследовав от отставного николаевского солдата уверенность в себе, стать, целеустремленность и умение постоять за себя и других.

Аба выучился на скорняка и стал первоклассным мастером этой довольно редкой профессии. Скорее всего, Аба появился в Борисоглебске по своим скорняцким делам, возможно, чтобы прикупить по выгодной цене шкурки каракуля высокого качества. В Борисоглебске же, вернее, в деревнях и поместьях около него широко занимались овцеводством и выделыванием овечьих шкур, в том числе и каракуля, на который идут шкурки совсем молодых ягнят.

Возможно, кто-то познакомил его с семьей Веры — на улице в то время с девушками не знакомились. Старшая Софья уже успела выйти замуж, младшая Мария училась в гимназии и о замужестве еще не думала, оставалась средняя — Вера. Вот ее сердце и поразил красивый, видный, стройный и явно небедный Аба. Познакомились Аба и Вера, очевидно, не позднее 1914 года, еще перед Первой мировой войной. На сохранившейся фотокарточке тех времен у Абы волнистые, ухоженные волосы, дерзкий взгляд, усиленный орлиным носом, модная рубашка с заколкой, красивый галстук и, наконец, пенсне, которое, уж без сомнения, показывает, что симпатичный молодой человек явно интеллигент и не из бедной еврейской семьи. Вере во время их знакомства было не более 18 лет, ему уже 24 года и тоже была пора жениться.

А потом все три сестры очутились в Одессе.

В самом деле, почему три сестры одна за другой оказались в этом шумном и неизвестном им ранее городе?

* * *

Сначала, за несколько лет до начала Первой мировой, Софья с мужем. После революции и установления в Одессе советской власти Вера, тоже с мужем, который хоть и вернулся с Гражданской войны, но кожаную тужурку и револьвер еще не снял. А потом и Мария, младшая незамужняя сестра. Ее «выписали» старшие сестры после того, как обосновались и обжились в Одессе.

Желание вырваться из провинциальной рутины, свойственное многим в среде интеллигенции небольших российских городов, особенно романтическим «чеховским» барышням, ждущих своих принцев и мечтающих о новой и интересной жизни? Возможно, да, но, скорее всего, Одессу выбрали не сестры, а мужья Софьи и Веры. Вернувшись из Европы со швейцарским дипломом часового мастера, знаниями и опытом ювелира, Марк понимал, что провинциальные Елец или Борисоглебск вряд ли обеспечат его заказами и доходами, на которые он рассчитывал. А вот Одесса, зажиточ-

ная, веселая и франтоватая, была, по его мнению, подходящим местом для успешной жизни и работы. Владельцев часов и золотых украшений там уж точно много, впрочем, как часовщиков и ювелиров, но далеко не у всех имелся швейцарский диплом, на минуточку.

Чем руководствовался Аба, выбрав Одессу, точно сказать трудно. Важным, даже определяющим в жизни Абы стало то, что в июле 1918 года части Красной армии выбили из Чебаркуля белогвардейцев, что с радостью восприняла большая часть жителей: рабочих, революционно настроенных масс и еврейской общины, натерпевшейся от белых. В этой ситуации по доброй воле — а возможно, и выбора особого не было — Аба и очутился в рядах Красной армии, а точнее, в особых ее частях. Скорее всего, переезд в Одессу не его решение, а приказ командиров, под началом которых он служил.

Но времена, в которые Марк и Аба делали судьбоносный выбор места жительства, были совершенно разные, абсолютно непохожие, а Одесса 1911 года резко отличалась от Одессы 1920-го, когда в ней появились Аба и Вера.

Можно попробовать понять характер этого удивительного города, разглядеть черты, которые придавали Одессе такой романтический флер, представить особые дух и характер ее жителей.

Вот что пишет Виктор Савченко в книге «Неофициальная Одесса эпохи НЭПа» (М., 2012): «До Октябрьской революции Одесса гордилась своим средиземноморским обликом, одесситы стремились походить на европейцев, а разноэтничное языковое многоголосие придавало Одессе сходство с эмигрантским Новым Светом. Исторический ландшафт Одессы также напоминал нечто американское: тот же „город на Холме“, „регулярный“, искусственно созданный город-„космос“ посреди „хляби“, естественного „хаоса“ — безлюдья колонизируемых, некогда диких степей. Язык города — его архитектура, она основывалась на мягкой „южной“ европейской классике, далекой от столичной помпезности и агрессивности. Отдаленность от имперских центров (С.-Петербурга и Москвы), официальный статус не просто губернского города, а иного важнейшего центра, близость к загранице делали из Одессы своеобразную „внутреннюю заграницу“. Одесса была устремлена в будущее и переселившиеся в этот город люди оставили в прошлом старые традиции, семьи, чтобы найти счастье в новом мире».

Марк и Софья тоже надеялись найти в Одессе «счастье в новом мире», когда в 1911-м или в начале 1912 года переехали в Одессу. Решение было довольно смелое и даже рискованное. За несколько лет до их приезда в Одессе произошло несколько еврейских погромов. В октябре 1905 года случился самый кровавый погром за всю историю города: были убиты более трехсот евреев, включая женщин и детей, разгромлены дома и магазины, десятки тысяч людей остались без крова.

Молодая пара, уже ожидавшая прибавления в семье, появилась в Одессе, когда обстановка в городе более-менее нормализовалась. Облик Одессы практически приобрел хорошо известный всем вид. Вся приморская часть города, бульвар, центр были застроены домами современной по тем временам архитектуры с богато украшенными фасадами и большими квартирами. Для состоятельной публики — крупных чиновников, богатых врачей и адвокатов — требовалось комфортабельное жилье европейского уровня. Завершалась застройка и улиц, примыкающих к центру, тоже привлекательных в смысле своего расположения относительно бульвара и порта. Такой шикарной стала Тираспольская улица, которая была даже старше, чем сама Одесса. Если в центре города стояли в основном четырех- и пятиэтажные дома, то на Тираспольской улице расположились уютные двух- и трехэтажные дома «с мягкой» южной европейской классической архитектурой. Вот на этой улице, точнее, в маленьком переулке, примы-

кающем к ней, снял квартиру для своей семьи Марк, преуспевающий к этому времени часовщик-ювелир.

Понимал ли, ощущал ли мой будущий дед, «починяя часы» и делая очередные обрубальные колечки для какой-нибудь счастливой еврейской пары с Молдаванки или Пересыпи, что спокойная и устроенная жизнь скоро закончится, что через несколько лет, как говорится, почти «на ровном месте» разразится Первая мировая война, а за ней еще более невероятные события, которые перевернут всю Россию, кардинально изменят жизнь миллионов людей, в том числе и жизнь его семьи? Думаю, нет, как и подавляющая часть населения России, а уж Одессы — точно. Одесса очень долго не могла поверить, что Октябрьская революция — это всерьез и надолго, надеясь, что все со временем рассосется, а если нет, то что-то удастся придумать.

Из книги В. Савченко: «Город, вокруг которого стали бушевать кровавые страсти, пытался долго их не замечать. Октябрьская революция вошла в „чисто“ одесскую жизнь на три месяца позже, чем в Центре, второе красное пришествие случилось на четыре месяца позже, чем в новой, „харьковской“, столице. Городской быт формировал уникальное „одесское самосознание“ — чувство особой принадлежности к своему городу, уникальной общности людей, которым свойствен буржуазный оптимизм и прагматизм, юмор и самоирония. В Одессе всегда жили „по-другому“, не так, как в империи или в Советской республике. Легче и зажиточнее...»

В период присутствия австрийцев и немцев в городе одесситы особой агрессии и каких-либо репрессий не почувствовали, тем более что немцы еще не были заражены антисемитизмом, а среди немецких генералов и офицеров в те годы встречалось немало этнических евреев. Можно предположить, что именно тогда Марк, еще не забывший немецкого языка и годы, проведенные в Швейцарии и Германии, уверенный, что немцы — культурный народ, решил, что пришло его время и он сможет продолжить свою работу и даже организовать собственный маленький бизнес. Однако развернуться он не успел, немцы быстро исчезли, но представление, что «немцы — культурный народ и при них можно работать», в его сознании, из которого еще не окончательно испарились остатки социалистических утопий Бунда, не исчезло. И это была его главная ошибка в жизни.

* * *

В самом начале 1920 года в Одессе оказалась большая часть русской интеллигенции, известные и не очень писатели, ученые, деятели искусств. Кровавый и неумолимый вал Гражданской войны гнал их на юг. Внутреннее и душевное непонимание или неприятие большевистской идеологии поставили эту часть российского общества, фактически гордость русской культуры, перед выбором: оставаться или покинуть Россию. Читая их дневники, которые они вели только для себя и были в них честны и искренны, можно почувствовать, как мучительно они приходили к своим решениям.

Владимир Вернадский, академик, писал в дневнике в 1920 году: «Лично и моя судьба неясна. Ехать в Крым? В Одессу? В славянские земли? В Киев с поляками? Какая странная судьба на распутье. Я часто подумываю об отъезде. Очень тяжело под большевиками. Хочется на большой простор: два года не знаешь, что делается на Западе и в мировой литературе. Но я все-таки не решаюсь на этот шаг — разрыв с работой в России».

Сергей Прокофьев, композитор, записал 24 февраля 1920 года: «Ростов опять занят большевиками. Прямо одно отчаяние с мамой: попасть в город, переходящий из рук в руки. У Дерюжинского мать в Херсоне, а у Анисфельда в Одессе. И на все три

города навалилась большевистская рать. А мы — три артиста — сидим здесь и одинаково не можем помочь, только, просыпаясь ночью, с ужасом рисуем страшные картины».

Владимир Короленко, писатель, записал 22 апреля 1920 года: «Проклятие всякой власти, опирающейся на насилие, в том, что она начинает мыслить установленными шаблонами. Таков был шаблон о неизбежности самодержавия и о преданности русского народа царям до степени самоотверженного подчинения диктатуре помещиков по приказу царей. Теперь — такой же шаблон — якобы диктатура рабочего класса и крестьян, которая сводится на диктатуру штыка».

По этим выдержкам можно представить, ощутить, какое тревожное, противоречивое и жесткое время — послереволюционные годы. Как трудно было разобраться в происходящих вокруг событиях, что-то предпринять, на что-то решиться.

Иван Алексеевич Бунин и его жена Вера Николаевна восприняли Октябрьскую революцию как катастрофу, решение покинуть Россию созрело еще в 1918 году. Сначала из Петрограда уехали в Москву, а из нее в январе 1920 года добрались до Одессы, откуда на греческом корабле отплыли в Константинополь. Вот что записала в дневнике 21 января, за несколько дней до отплытия из Одессы, Вера Муромцева (Бунина):

«Вчера бегала по городу, искала дров. Шесть полен мне дали Розенблат. Они очень любезные люди, от денег или от того, чтобы я возвратила им дрова, они отказались. А дрова были необходимы, чтобы высушить белье на случай эвакуации. Еще не назначили день отхода парохода, на который нас берут. Невозможно ничего купить, ни валюты, ни денег. Вчера было скуплено почти все золото и бриллианты. На улицах масса народа. Все куда-то спешат. Около Лондонской гостиницы извозчики. На них накладывали зашитые в рогожи корзины. Анюта рассказывает, что в городе пальба, разъезжают грузовики, в порту Бог знает, что делается. Началась паника. В Государственном банке суета — эвакуируются. Словом, шансов немного, чтобы быть живыми и невредимыми. Хлеба купить уже нельзя. Завтра цена еще повысится»

В этих коротких записях В. Буниной воссоздана обстановка в Одессе в 1920 году: смута, неразбериха, хлеб по бешеным ценам, толпы растерянных людей, стремящихся покинуть Россию. Вот-вот в Одессу войдет Красная армия, что дальше — совершенно непонятно. Эти записи сделаны 21 января, а за два дня до того у Марка и Софьи родился второй ребенок, Анечка, — моя будущая мама. О чем они думали? Скорее, ни о чем не думали, просто жизнь, несмотря ни на что, брала свое.

Вот в такую Одессу, где интеллигенция и торговый люд с трудом и тоской отвыкали от привычного устроенного образа жизни и никак не могли приспособиться к новому укладу, а рыбаки с Пересыпи, портовые грузчики, биндюжники и даже обычные голодранцы с одесских окраин лишились свободы, которая была им дороже всего, вот в такой город после окончания Гражданской войны приехала тогда еще бездетная семья Абы и Веры. Скорее всего, Аба не просто приехал в Одессу по своему желанию, а «прибыл», как выражаются военнослужащие. Как грамотный и образованный красноармеец, он успел послужить на границе и даже в особом отделе. В какой последовательности занимал он эти должности, уже неважно. Важно то, что в Одессу он прибыл, будучи сотрудником некоей «силовой структуры», входившей в состав Красной армии. Сколько лет он в ней состоял и когда расстался с кожаной тужуркой и револьвером на поясе — неизвестно. Важно, что его документы и «статус», как сейчас говорят, помогли ему получить жилье в Одессе, и не просто жилье, а отдельную квартиру в очень престижном месте и хорошем доме. Эта квартира сыграла огромную роль в жизни ее жильцов, моих родственников, которые заселяли ее в разные годы и в разном составе.

Не думаю, что он, размахивая револьвером, лично сам подыскивал себе жилье в самом центре незнакомой ему Одессы, скорее всего, Аба попал в списки новой со-

ветской номенклатуры, которую городские власти расселяли по барским квартирам, покинутым своими владельцами по собственному желанию или в результате драматических событий.

Дом по Екатерининской улице находился в самом центре Одессы, «центрее» некуда. По степени престижности это так же, как если бы вы жили в доме рядом с Кремлем в Москве или Исаакиевским собором в Санкт-Петербурге. От нее, Екатерининской, было рукой подать до Одесского оперного театра, Воронцовского дворца, Приморского бульвара и Потемкинской лестницы. Тут селились только солидные и состоятельные люди, городские чиновники, известные адвокаты и врачи. Одну из трехкомнатных квартир дома на Екатерининской заняли Аба и Вера. В ней еще оставалась мебель, а в шкафах посуда и другая утварь прежних хозяев.

Невольно возникает вопрос, не великовата ли была такая квартира для одного из бойцов Красной армии не очень высокого ранга? Думаю, Аба сумел убедить того, кто выписывал ему ордер на квартиру, что в ней будет жить не только он, но и родная сестра его жены с двумя детьми, и ее муж, бывший «революционер», спасавшийся в молодости от тирании царизма в Швейцарии и даже, возможно, общавшийся там с самим Лениным. Вполне мог заболтать не очень грамотного чиновника. Так или иначе, но в 1921 году в квартиру на Екатерининской улице переехала с Тираспольской семья Марка и Софьи с девятилетним Львом и годовалой Анечкой, моей будущей мамой.

Дом на Екатерининской улице, его дворы и его жители не имели ничего общего с теми домами и дворами двухэтажных районов Одессы, с обязательно веселыми, остроумными, общительными одесситами, разговаривающими с еврейским акцентом и энергично жестикулирующими, что фигурируют во всех книгах и кинофильмах, посвященных Одессе. В таких книжно-киношных дворах на вторые этажи домов с открытыми или застекленными деревянными балконами и верандами всегда ведет металлическая лестница, между домами протянута веревка с бельем, воду набирают в колонке, у которой также моют овощи и полощут белье, а мусор выбрасывают в большой ящик, который называют по-украински «смитник». Квартирки в этих домах маленькие, тесные и душные, поэтому хозяйки часть жизни проводят во дворе, обсуждают с соседками все городские новости, слухи и сплетни, готовят, стирают и часто кормят своих домочадцев за большими столами, за которыми по вечерам их мужья забывают «козла». Во дворе всегда стоит запах жареной рыбы и лука. Ничего подобного во дворах солидных барских домов в центре Одессы и в характерах моих родственников и в помине не было. Жареной рыбой там никогда не пахло, и белье стирали не у колонок, а в ваннах. Да и одесситами, в привычном смысле этого слова, мои родственники не были изначально, а стать ими впоследствии просто не успели.

Квартира в доме на Екатерининской постепенно заполнялась моими родственниками, и к началу 30-х годов в ней проживали девять человек: две семьи по четыре человека, включая детей, и одна незамужняя Мария (по-домашнему — Манюшка).

Казалось бы, жизнь налаживается, вся семья собралась под одной крышей вполне приличной квартиры, в двух шагах от которой, сияя витринами шикарных магазинов, кафе и ресторанов, шумит Дерibasовская, а по ночам в открытые окна квартиры доносятся шум прибоа и гудки пароходов.

* * *

Но устроенная и спокойная жизнь длилась недолго. Чтобы понять почему, надо представить себе жизнь в Одессе после окончательного установления в ней советской власти. Изменения произошли очень быстро, буквально за пару лет город потерял свой буржуазный лоск, и относительное благополучие почти всех слоев населения сме-

нилось упадком, разрухой, обнищанием и каждодневным ощущением страха за свою жизнь. Бандиты и воры Молдаванки, ставшие впоследствии героями многих книг и кинофильмов, почувствовав полную безнаказанность, грабили и убивали одесситов, не смотря на их социальную принадлежность.

«Вряд ли какой-нибудь другой город так изменился за годы революции, как эта беспечная и жизнерадостная хипесница (от блатного слова „хипеш“ — крик, гвалт). Дело не в мертвенности порта, не в разрушенных зданиях... Легкомысленная Одесса, эта Манон Леско с еврейским акцентом, по-женски обаятельно занятая спекуляцией, как модница папилотками, не выдержала аскетической атмосферы правоверных лет. На прощание она еще одарила хмурый север некоторыми (перворазрядными) писателями, а также преступниками (предпочтительно шулерами и шантажистами), внесла в блатной словарь московских притонов ряд выражений... Никакие ветры, никакие декреты не успели окончательно проветрить этот питомник франтов, хвастунов и жуликов, где можно пить черный кофе, наслаждаться иностранным „дюком“ и не менее иностранным небом, печатать фальшивые ассигнации, влюбляться напропалую и спорить с неповоротливым Далем». Так, с поэтическим преломлением, описал обстановку Одессы тех лет Илья Эренбург¹.

В реальности сам город и жизнь в нем были далеки от этого поэтического образа, все выглядело гораздо хуже и прозаичнее.

В. Савченко в своей книге обрисовывает Одессу тех лет: «Холодная зима 1920–1921 гг. обезобразила лицо города, придав ему выражение затравленности. Темный, без освещения город поражал своей безлюдностью, большая часть заводов и фабрик бездействовала, порт замер. На улицах — почти полное отсутствие транспорта: трамваи вообще не ходили, а автомобили или брички были большой редкостью. Разве что в темноте проносились страшные автомобили одесского ЧК. Город выглядел искореженным, брошенным на растерзание, а его роскошная архитектура — декорацией для народного трагифарса. Огромное количество свободного времени одесситы тратили на то, чтобы приспособиться к экстремальным условиям „нового мира“. Но этот страшный жизненный набор дополнялся еще и страхом, что охватил опустевший город, страхом перед беспричинными чекистскими арестами и милицейскими облавами, страхом быть ограбленным или убитым многочисленными бандитами и хулиганьем, страхом потерять работу, квартиру, лишиться последних средств к существованию...»

Как зарабатывал себе на жизнь Марк — не знаю. А ему надо было кормить уже двоих детей. Не думаю, что он получал достаточно заказов на ювелирные изделия, владельцы дорогих часов были уже далеко от Одессы. Возможно, сохранились какие-то накопления от прежних благополучных лет, возможно, он занимался мелким ремонтом примусов и швейных машинок, без которых не обходилась ни одна одесская семья, руки у него были золотые.

Могу предположить, что радостное возбуждение, вызванное рождением дочери, сменялось у моего деда беспокойством, тревогой и, возможно, отчаянием: «Софочка, я не понимаю, объясни мне, пожалуйста, чем я мешаю этой власти? Ты же знаешь, что я тоже немного пострадал от царизма. Мне пришлось бежать за границу без денег, а мой идиш имел мало общего с немецким, и мне там было не сладко. Почему я не могу теперь нормально работать? Я же не банкир и, не дай бог, никакой не спекулянт, я ничего не продаю и никого не эксплуатирую, я работаю один и все делаю вот этими руками и немного вот этой головой. Я просто ремонтирую часы, а они нужны при любой власти. Деньги заканчиваются, и я не знаю, как заплатить за квартиру и где купить молоко для Анечки...» Это письмо написано не Марком, а мной, его внуком, на основе

¹ «Рвач». Собр. соч. в 9 т. Т. 2. М., 1962–1967.

тех обрывков фраз, запомнившихся моей маме с детства, которые она произносила с интонацией отца, протягивая руку, как и он, открытой ладонью к собеседнику. Думаю, что я не ошибся.

Существенную часть общесемейного бюджета обеспечивал Аба, получая жалованье, так как в эти годы он еще не оставил службу, то ли в ЧК, то ли на таможне. Детей у них с женой еще не было, и они могли помогать родственникам. На нем же, имевшем оружие и нужные связи, вероятно, лежала обязанность по обеспечению безопасности жителей квартиры. Но вскоре наступили времена еще хуже — голод, и оружие тут стало бесполезно.

Из книги В. Савченко: «В Одессе царила безработица, город был полон уголовниками, босяками, проститутками, попрошайками. Город захлестнула невиданная инфляция. На „вольном“ рынке Одессы цены были безумными, даже хлеб и подсолнечное масло были почти недоступны простому народу. Летом 1921 года на Украине начался голод, который привел к гибели огромного количества людей. Засуха и недород дополнялись драконовскими методами управления сельским хозяйством и усугублялись продразверсткой... В Одессу потянулись толпы голодающих крестьян, для которых „городское благополучие“ было единственной возможностью выжить. В начале октября 1921 года были зафиксированы первые случаи голодной смерти среди рабочих. Одеситы доедали последних кошек и собак, По Одессе прошла череда эпидемий сыпного тифа, дизентерии и других болезней».

Помощь неожиданно пришла от западного «буржуинского» мира: несколько частных благотворительных организаций организовали гуманитарную помощь голодающим Страны Советов. Самой мощной из них была АРА (American Relief Administration), которая добилась от властей права самой организовать помощь, обязуясь оставаться вне политики.

В столовых, открытых АРА, бесплатная порция еды состояла из горячего какао, рисовой каши на молоке, молочной лапши, куска хлеба из кукурузной муки. Фактически АРА спасла от голодной смерти или истощения десятки тысяч одесситов. Помогла АРА и моим родственникам пережить тяжелые времена, особенно прокормить детей.

* * *

Пережить голод семье Софьи и Марка помогла их ссылка в Тобольск. Развернувшаяся кампания по преследованию и ограничению в правах буржуазных элементов затронула и семью скромного часовщика-ювелира, который в эти годы на службе не состоял, был ремесленником, занимался частной деятельностью и, по определению большевиков, был явно чуждым элементом. Вероятно, «ссылка» в Тобольск, большой, старинный и благоустроенный в те годы город, была, что называется, наиболее мягким репрессивным вариантом, добиться которого мог Аба, будучи в те годы еще сотрудником органов, близких к власти. Необходимость покинуть на несколько лет Одессу Марк воспринял не как катастрофу, а как спасительный шаг, о котором он размышлял в те голодные и холодные годы, но сам никогда не предпринял бы его в силу своей нерешительности.

В начале 20-х годов поездка из Одессы в Тобольск была если не подвигом, то серьезным испытанием уж точно. Расстояние от Одессы до Тобольска по железной дороге составляло 3400 километров.

Весь долгий путь в душном и прокуренном вагоне родителей Анечки не оставляли тягостные мысли и тревога, каждый думал о своем. Марка тяготила неизвестность, ощущение беспомощности и вины перед женой и дочкой за невозможность защитить

их от обрушившихся на них напастей, сломавших их еще недавно устроенную и спокойную жизнь. Софья же, измученная неудобствами вагонного быта, страдающая от отсутствия воды и свежего воздуха, вспоминала счастливые дни в Борисоглебске и отгоняла от себя мысли о возможной ошибке, которую совершила, согласившись выйти замуж за этого милого, но не очень надежного молодого человека.

«Ссылным одесситам» отвели просторную избу, и в дальнейшем отношении к ним у местных властей не было враждебным. В деревянном большом доме было две комнаты и кухня с большой печью, которая обогревала и комнату. Софья быстро освоилась, научилась готовить в русской печи, обустроила и навела уют в избе и чувствовала себя там хорошо. Зимой было тепло и очень уютно, пахло лиственницей, из которой были срублены стены и настлан пол, выскобленный до состояния белизны. Марк много работал, изготовлял цепочки и крестики из серебра, обручальные кольца из царских золотых монет. Ремонтировал часы, в том числе и ходики с кукушками, не очень надежный механизм которых, на его счастье, периодически требовал ремонта. Заказы расплачивались продуктами: мукой, маслом, яйцами.

Жилось им неплохо, гораздо спокойнее, сытнее, чем в Одессе. Тем не менее оставаться в Тобольске они не намеревались. Местные власти считали их ссыльными, для окружающих своими они не стали, а кроме того, их тянуло в теплую Одессу, в привычную среду обитания, и, самое главное, они очень скучали по родным, и прежде всего по оставшемуся в Одессе сыну Леве, подростку, который, окончив семилетку, пошел работать. И как только они получили разрешение, то вернулись домой.

Передо мной семейная фотография, сделанная в фотоателье по возвращению в Одессу. В то время фотографирование считалось важным событием. К нему готовились, тщательно подбирали одежду, конечно, самую лучшую и нарядную. Вот и на этом фото: Марк в костюме с бабочкой, Софья в элегантном черном платье и модной маленькой шляпке, а моя будущая мама в красивом «выходном» платье и с уложенными волосами. Композиция и свет создали камерную обстановку, подчеркнув солидность Марка, изящность Софьи, трогательность и молодость их дочери. Прошло почти сто лет, а они смотрят и смотрят на меня, будто что-то хотят мне сказать.

* * *

После возвращения Марка с семьей в Одессу все три сестры вновь стали жить под одной крышей. Марк устроился в артель, объединявшую часовщиков и ювелиров, работающих на дому. Аба уже не носил кожаную тужурку, а работал на каком-то предприятии рядовым экономистом: скорняки в Одессе были тогда не очень актуальны. Младшая сестра Манюшка трудилась на багетной фабрике. Скорее, не на фабрике, а в обычной скромной одесской артели, так как трудно представить, чтобы спрос на багеты требовал их массового изготовления. Лев, окончив семь классов школы, работал на судостроительном заводе учеником клепальщика. Доходы у всех были очень скромные, и на содержание всей семьи хватало с трудом, поэтому жилось им непросто, и не только им.

В конце 20-х годов после относительного благополучия времен НЭПа опять начались перебои с хлебом и продуктами. Весной 1928 года в Одессе ввели карточки на продукты питания, что привело к появлению огромных очередей в магазинах. На базарах Одессы толпы голодных крестьян, у которых власти уже успели конфисковать все продукты, громили хлебные будки.

Вот в такой обстановке слухов, паники, тревоги и реальной нехватки еды, хлеба жили обитатели квартиры шикарного дома на Екатерининской улице. Их жизнь не от-

личалась от жизни абсолютного большинства одесских семей. Марк и Аба работали, их жены рыскали в поисках продуктов, стояли в огромных очередях за хлебом и вели домашнее хозяйство. Манюшка пропадала на багетной «фабрике». Она резко отличалась от своих старших сестер и по характеру, и по образу жизни. Если Софья и Вера были «чеховскими барышнями» с хорошими манерами, то Манюшка выросла если не хулиганкой, то возмутителем спокойствия точно. Она единственная из всех родственников представляла рабочий класс, состояла в партии, пропадала на собраниях, была активной и раскрепощенной девушкой

Ее раскованность распространялась и на отношения с молодыми людьми, быстрые романы с которыми иногда заканчивались неожиданными беременностями, но не рождением детей. В оправдание этой молодой и незамужней женщины можно сказать, что Одесса с ее темными и томными вечерами, тихим шелестом набегающих волн и пьянящим морским воздухом очень располагала к вспышкам романтических отношений. Да и одесские молодые люди были красивы, щедры и обаятельны, в их крови текла смесь всех причерноморских народов, давших миру особую национальность — одессит. Устоять было невозможно. Все домочадцы любили Манюшку, но досталась ей только маленькая комнатка с окном, выходящим в лестничный проем.

В поисках продуктов и для отоваривания карточек приходилось отправляться в магазины и на базар несколько раз в неделю. Трамвай ходили редко и нерегулярно, поэтому передвигались пешком. Готовили в основном на печке, которую топили углем, если удавалось его купить, или на примусе. Лапшу для супов, если удавалось достать муку, делали сами. Тесто раскатывали скалками во всю длину стола и резали затем на длинные полоски шириной 5–6 миллиметров, развешивали на веревках, как белье, и сушили на балконе. Поисками и приготовлением еды занимались практически весь день.

Но в те дни, когда удавалось раздобыть на рынке какие-нибудь продукты или какой-нибудь зажиточный владелец хозяйства из дальних пригородов Одессы приносил в качестве расплаты за отремонтированные часы живую курицу или рыбу, две «сестры-хозяйки» демонстрировали чудеса кулинарного искусства. Главной особенностью кухни обычной еврейской нерелигиозной семьи в Одессе была ее экономичность, рациональность и почти «безотходность». В те дни, когда удавалось добыть на базаре курицу, конечно обязательную живую, то она шла в дело почти на сто процентов. Из грудки делались котлетки; шкурка, потроха, немного мяса перемальвались, добавлялись мука, куриный жир и этим фаршировалась куриная шейка; остальная тушка шла на приготовление наваристого бульона с лапшой домашнего приготовления. Даже лапы, очищенные от кожи, и петушиные гребешки, которые накапливались за несколько недель, тоже шли в бульон, от которых он становился более наваристым. Из шкуры также готовили шкварки, которые добавляли в кашу или в отварную картошку. Таким образом, одна курица обеспечивала семью два дня.

Черноморская рыба: кефаль, скумбрия, камбала, хамса, барабулька — на одесском базаре водилась всегда, даже в самые голодные годы. Рыбаки с Пересыпи выходили в море, и «шаланды, полные кефали, в Одессу Костя привозил», но она, как говорится, «кусалась», цены всегда держались высокие, поэтому доступными были «гლოსики» — небольшие, размером с ладонь, камбалы, конечно, барабулька и черноморские бычки. Их было очень много, и стоили они недорого, продавались они «снизками», то есть нанизанными на веревку по 10–15 штук в зависимости от размера. Когда хозяйка шла с ними с базара домой, то часто в одной руке у нее висела пара живых кур, а во второй болталась, касаясь тротуара, снизка бычков. По форме бычки похожи на ершей, только крупнее, с большой головой и выпученными глазами, и такие же наваристые, как они. Их тушили в низкой большой кастрюле с небольшим количеством воды, с добав-

лением лука, моркови, свеклы, зелени и, наверное, каких-то специй. В результате получалась наваристая ароматная «юшка» коричневого цвета, которую ели, макая в нее булку, вместе с бычками, правда, в них костей было больше, чем мякоти. Каждый обед сопровождался салатом из помидоров, огурцов и лука, заправленного, конечно, постным маслом. В салат часто добавлялись кусочки соленой черноморской скумбрии

Когда деньги в семье были почти на исходе, на базаре покупалась мелкая и совсем дешевая рыбешка типа хамсы или тюльки, обычно составляющая меню одесских кошек. Ее жарили, но чаще рубили сечкой на мелкие кусочки, заливали яйцами, добавляли немного муки, рубленую зелень, перемешивали и жарили в виде небольших котлеток, причем прямо с головками, хвостиками и хребтом. Вообще, для экономии все, что можно, старались превращать в фарш или паштеты. Форшмак из селедки — тоже гениальное изобретение еврейских бедняков, но это действительно вкусно, если кусочки селедки пропустить через мясорубку, добавить лук и несколько долек антоновских яблок. Бутерброд с маслом и форшмаком — великолепная закуска к рюмке холодной водки, которую евреи уважают не меньше, чем их русские соседи и друзья.

Если отбросить голодный период 20-х годов, то надо признать, что до революции и потом, уже в 30-е годы, изнуряющей нужды и тем более голода в Одессе не было. Прокормиться в Одессе даже людям с совсем скромным доходом было несложно. Большой ломоть свежего хлеба, спелая сочная помидорина с ароматным постным маслом, густая уха из бычков или любой другой дешевой черноморской рыбы, которой были завалены одесские рынки, горячий початок вареной кукурузы, или «пшенки», как ее называют в Одессе, — вот типичный обед портового грузчика, или биндюжника. А еще большой кусок спелого, искрящегося на солнце арбуза, по-украински кавуна. Такое меню было не только у биндюжников, но и у многих других одесситов, по крайней мере, в семье моего папы и его школьных друзей.

О чем беседовали меж собой сестры? Наверное, о бытовых проблемах, о детях, о том, что и из чего приготовить обед на завтра, вспоминали свои счастливые годы в Борисоглебске.

* * *

Но больше всего мне бы хотелось узнать, о чем по вечерам или выходным дням разговаривали Марк и Аба и как они относились друг к другу. Они были абсолютно разные люди — и по характеру, и по взглядам, и по, как сейчас принято говорить, менталитету, то есть по образу мышления и оценке происходящих событий, да и по отношению к людям, в конце концов.

Марк — мягкий, интеллигентный человек с отзывчивой душой, не избежавший в молодости увлечения социалистическими настроениями и в какой-то степени пострадавший из-за них, и Аба — жесткий и прагматичный, усмотревший и не упустивший свой шанс, не побоявшийся найти свое место в бурных и рискованных событиях Гражданской войны. В Красной армии служило очень много евреев, выходцев из местечек черты оседлости, живших в условиях постоянного унижения, беспросветной бедности и нужды, свидетелей диких по своей свирепости еврейских погромов, на глазах которых пьяная чернь убивала и насиловала их матерей и сестер. Это навсегда впечатывалось в их память. Кровь пульсировала в их висках при виде тех, кого они считали врагом или причисляли к убийцам их родных. Они были жестоки и недолго размышляли не только во время боя, но и после него.

Надеюсь, что Аба, служа в ЧК или работая в особом отделе, никого к стенке не ставил и приговоры не подписывал, но то, что ему приходилось принимать решения, от которых зависела судьба многих людей, это могло быть вполне.

С Марком его объединяло только то, что оба евреи, женаты на родных сестрах и жили под одной крышей.

Идейными врагами они не были, но во многом их взгляды, конечно, расходились. Наверное, попав волею судьбы в Швейцарию, а затем в Германию, молодой Марк получил европейскую цивилизационную прививку, которая позволила ему взглянуть на многие вещи и проблемы по-иному: добиваться лучшей жизни для себя и окружающих, не круша и не ломая все на своем пути, не заставляя страдать окружающих тебя людей. Слишком идеалистическое восприятие Европы привело его впоследствии к трагической ошибке. Аба руководствовался не столько идеями, сколько холодным расчетом и здоровым прагматизмом.

Они притерлись друг к другу и общались только на бытовые темы. Марк, наверное, сторонился Абы и был рад, когда тот с женой и двумя детьми — шестилетним Борисом и годовалой Маргаритой — уехал в начале 30-х годов в Ленинград, где ему предложили должность технического директора на меховой фабрике «Рот фронт».

* * *

Начало 30-х годов стало самым счастливым временем для трех сестер. Казалось, все невзгоды, проблемы и лишения позади, дети, слава богу, живы и здоровы. Ничего не омрачало их повседневную жизнь. Политика интересовала мало, а информация о событиях, разворачивающихся в мире, в их мирок, ограниченный стенами квартиры и двора, почти не доходила и черпалась в основном в очередях за продуктами, где живо обсуждались последние городские новости вперемежку с зарубежными событиями. Конечно, Марк просматривал «Правду», но статьи о «великой депрессии» в США или политической нестабильности в европейских странах не привлекали его внимание, так же как и не взволновало появление в Германии нового рейхсканцлера с никому ранее не известной фамилией Гитлер. Да и какие поводы могли быть для беспокойства. «Где мы и где Германия?» — отвечал он вопросом на вопрос, когда Софья, обладавшая обостренной внутренней интуицией, с легкой тревогой воспринимала слухи о событиях в Германии. «Немцы — культурная нация, я же знаю, я там жил. Никакой политикан типа Гитлера погоды там не сделает. И потом, ты посмотри, из порта каждый день уходят в Германию корабли, полные зерна». И Софья, привыкшая доверять своему Маркуше во всем, успокаивалась. Еще большая уверенность в своей правоте укрепилась в нем после подписания в 1939 году Пакта о ненападении между СССР и Германией.

Жизнь налаживалась, и, казалось, беспокоиться было не о чем. Марку удалось преодолеть кризис конца 20-х годов с его разрухой, голодом и, самое главное, отсутствием работы: часы и колечки мало тогда кого интересовали. Ремесленников, особенно частных, ограничивали, как могли, запрещали приобретать драгоценные металлы и камни, и он стал работать на фабрике «Ювелирторг», выпускавшей в основном «ширпотреб», получал там небольшие для ювелира его уровня деньги, но на жизнь хватало, тем более что иногда удавалось заработать, получив «левый» заказ на ремонт часов от состоятельных одесситов.

Из Швейцарии помимо диплома часовщика Марк привез великолепный набор профессиональных инструментов, хранившихся в большом плоском кожаном чемоданчике. Внутри него покоились разнообразные инструменты, приспособления и специальные детали и насадки, разложенные по отдельным углублениям, затянутым черным бархатом. Получив заказ на ремонт карманных часов, особо сложную работу он брал на дом. Серебряные или даже золотые часы, значения не имело, главное,

что они, как правило, были швейцарские, со сложным часовым механизмом, с крышкой, при открывании которой иногда звучала короткая музыкальная фраза. Несмотря на швейцарское происхождение, часы эти иногда ломались, а профессионализма и опыта у Марка было достаточно, чтобы чинить их.

Его дочь Нонушка, так ее называли в семье, моя будущая мама, любила подолгу сидеть около него и наблюдать, как он работает, особенно следить, как он изготавливает золотые цепочки, предварительно протягивая через миниатюрные вальцы или фильеры тонкую серебряную или золотую проволоку. Делал он колечки и сережки. Ей запомнилось, как он припаивал малюсенькие детали сережек одну к другой. Он зажигал обычную свечку, брал в губы тонкую керамическую трубочку и, чтобы увеличить температуру пламени, дул через трубочку прямо в ее центр, разогревая детали сережки, спаивая их затем припоем.

На окончание дочерью школы Марк, продав свое обручальное кольцо, купил Нонушке в Торгсине настоящие кожаные туфли-лодочки на высоком каблучке, мечту всех одесских девушек. Это было целое событие, потому что в Одессе у всех девчонок, да и парней тоже, повседневной обувью были парусиновые туфли на резиновой подошве.

В конце 30-х годов перед ее отъездом в Ленинград он сделал ей простенькое золотое колечко с аметистом. Она носила его, почти не снимая, всю свою жизнь.

Отношения дочери и отца были нежнейшие. Сохранилось всего одно его маленькое послание дочке. Написано оно на оборотной стороне фотографии, сделанной примерно в 1931—1932 году во время его поездки в Грузию. «Родная моя! Уверю тебя честным словом, что это я снят на коне. (На фото Марк сидит на коне с саблей в руках, но конь и туловище всадника нарисованы на большом листе фанеры, и только лицо Марка выглядывает из овального отверстия.) Но он (фотограф) изготовил меня таким помолодевшим, что и узнать меня трудно. Это снимок я сделал специально для тебя, чтобы видела, какой отец у тебя храбрый. А выражение лица какое суровое — прямо джигит! Жаль лишь, что мало нахожусь здесь, в Сухуми, я малость отъехал и отдохнул. Но ночь просидел на пристани в ожидании парохода и измучился. Опоздание на 18 часов и его еще нет! Жду от тебя письма в Батуми, буду там числа 5—6-го». Оказывается, были у Марка и редкие дни отдыха, когда он смог «отъесться».

Марк был не только высококлассным часовым мастером, но и ювелиром, признанным авторитетом среди знатоков драгоценных камней. Он мог с одного взгляда отличить поддельный камень от настоящего, что доказал однажды, огорчив своего друга армянина Акима, который числился сапожником, а на самом деле зарабатывал контрабандой, во множестве шедшей через порт. Однажды Аким купил, как ему казалось, драгоценный камень и показал его деду, а тот, глянув издали, мгновенно определил, что это подделка. Аким был безутешен, так как отдал за стекляшку кучу денег.

В начале 30-х годов Марка, как опытного ювелира, пригласили экспертом в один из одесских банков для приема и, главное, для оценки драгоценностей, которые приносили советские граждане для обмена в конторах Торгсина на специальные рубли, позволявшие приобрести, несмотря на их высокую стоимость, дефицитные качественные продукты либо предметы обуви или одежды. Марк проработал там несколько лет. Ему доверялась не только сортировка, но и оценка драгоценных камней. Он раскладывал их по жестяным коробочкам, помещал туда опись с названием, весом в каратах и указанием рыночной цены камня, закрывал и печатывал своей печатью. Потом эти коробочки отправляли в Москву.

Как высококлассный специалист по драгоценным камням, Марк был вызван в Ленинград для работы над большой картой СССР. Инициатором создания такой карты, выполненной из добываемых в СССР самоцветов и драгоценных металлов, вы-

ступило правительство. В общей сложности над ней работало около семисот человек, а за подбор и крепление на карте драгоценных камней и бриллиантов отвечал Марк.

Когда я стою в петербургском Геологоразведочном музее имени академика Ф. Н. Чернышева перед этой огромной картой площадью около тридцати квадратных метров, я испытываю нестерпимое желание прикоснуться к ней, особенно к тем участкам, где в нее вкраплены драгоценные камни, которые, как мне хочется верить, еще хранят тепло рук моего деда. Но сделать это невозможно.

Казалось, после такого успеха Марк мог рассчитывать на престижное место работы в Одессе. Но, вернувшись из Ленинграда, он попал в автомобильную катастрофу, повредил руку и из-за травмы ушел с фабрики на инвалидность, стал работать на дому, изготавливая красивые комбинированные, затейливые пуговицы, пряжки, гребни и другие нехитрые изделия, и это был его единственный заработок, так как ремонтировать часы рука не позволяла. Денег на жизнь не хватало. Когда с финансами стало в семье совсем напряженно, Нонушка, окончив восьмой класс, устроилась на телевную фабрику. Деньги платили небольшие, но для семейного бюджета нелишние. Работа была тяжелая и грязная, но зато в трудовой книжке появилась запись — «рабочая». Поэтому, проработав два года и сдав экзамены экстерном за среднюю школу, она получила право поступить в финансово-экономический институт. Прошло два года, и в институте опять ужесточились требования к социальному статусу студентов, который у нее все еще хромал, так как в анкете указывалось, что отец ремесленник. Она подала документы в аналогичный институт в Ленинграде и — о чудо! — получила согласие и в конце августа 1939 года уехала туда.

Во второй половине 30-х годов в квартире остались только Марк, Софья и Манюшка. Сын Лева после службы на границе и участия в советско-финской войне уехал в поисках работы в Ленинград.

Квартира опустела. Марк почти весь день сидел за рабочим столом, точил пуговицы и пряжки, Манюшка по-прежнему пропадала на багетной фабрике, вечерами приходила поздно, а иногда вообще не приходила, у Софьи резко поубавились домашние дела и обязанности, на улицу она выходила редко.

Софья получила хорошее гимназическое образование, но не имела никакой профессии, если не считать профессией материнство, супружество и созидание семьи и дома. Исключая недолгие счастливые и почти безмятежные годы со своим Маркушей на Тираспольской улице в благополучной и уютной буржуазной Одессе до начала Первой мировой войны, большая часть ее жизни состояла из бесчисленных преодолений трудностей, тревожного ожидания перемен, переживаний и огорчений. Несмотря на все испытания, она всегда оставалась спокойна, ни на кого не повышала голоса, никогда не жаловалась на усталость, умела дистанцироваться от неприятных ей людей, не вступала ни с кем в споры и ничего не говорила плохого за глаза о ком-либо, хотя в глаза могла сказать человеку то, что думала, и то, что он заслуживал.

После отъезда Нонушки Софья очень скучала. Вечерами уходила на балкон, читала, там же писала письма и смотрела на арку, ведущую со двора на Екатеринскую улицу, ожидая, что вдруг там появится ее Нонушка и помашет ей рукой. Нонушка больше не приехала, но в начале мая 1941 года под аркой появилась и помахала рукой ее десятилетняя племянница Маргариточка, или, как ее звали в семье, Тикамочка, которую родители отправили в Одессу на все летние каникулы.

За неделю до отъезда из Ленинграда Аба записал в дневничке своей дочке две первые строфы из стихотворения «Одуванка» талантливой русской поэтессы, отмеченной в свое время Блоком и Горьким, Поликсены Соловьевой, удивительно созвучно и образно отражавшие его отношение к дочке:

Там, на речке, где лесок,
А за лесом и полянка,
Вырос желтенький цветок —
По прозванию Одуванка.
Был он ярок, золотист,
Словно маленькое солнце,
Кверху поднял длинный лист,
Как резное веретенце.

А в конце поставил дату — 22/04.1941 г. — и расписался твердым, уверенным и красивым почерком.

Ровно через два месяца началась война.

* * *

Для одесситов известие о начале войны стало, по всей вероятности, даже большей неожиданностью, чем для жителей остальной страны. Лето в разгаре, светит солнце, тепло, все цветет и благоухает. Привоз завален абрикосами, черешней и вишней. Переполненные поезда везут в Одессу отдыхающих с детьми со всех районов СССР. По Приморскому бульвару и Дерibasовской беззаботно фланируют одесситы и приезжие. Казалось, что все нормально, даже чудесно.

Можно допустить, что обитатели квартиры могли не знать и не ведать — как и подавляющее число обывателей Страны Советов, — что план нападения на СССР вынашивался нацистскими идеологами начиная с 1933 года, когда к власти пришел Адольф Гитлер, и нацисты объявили своей целью создание расово чистого «арийского государства, которое должно иметь все необходимое для благополучного существования тысячелетнего рейха». «Даровать немецкому народу почву и территорию, на которую они имеют право претендовать. Это, пожалуй, единственная цель, которая оправдывала бы пролитие крови перед Богом и будущими поколениями. Говоря о новых территориях, мы должны в первую очередь думать о России и тех окраинных государствах, которые ей подчинены».

Но не могли же они не знать, что к осени 1939 года Гитлер уже оккупировал Австрию, Чехословакию, Польшу, а в 1940 году почти без боев захватил Францию, Голландию и Данию, продолжал бомбить Лондон! Обо всем писали газеты, говорили по радио, но, судя по всему, это не вызывало у них особого беспокойства. Сейчас, оглядываясь назад, конечно, можно недоумевать и досадовать. Возможно, их успокаивало, что между СССР и Германией продолжал действовать Пакт о ненападении, а из одесского порта один за другим отходят корабли в Германию, груженные пшеницей, нефтью, металлом.

Поэтому Тикамочка после окончания третьего класса отправляется на летние каникулы в Одессу к тете Софе, которая заправляет домашним хозяйством, и к дяде Марку, который обеспечивает одесских модниц пуговицами и пряжками ручной работы, и ко второй тете, незамужней Манюшке, ударнице Одесской багетной фабрики, постоянно перевыполняющей план по производству багета. А Нонушка, моя будущая мама, успеваает неожиданно для всех 16 июня выскочить замуж за моего будущего папу, который на пару дней приехал из Таллина в Ленинград.

Много бы я отдал, чтобы узнать, как обитатели одесской квартиры встретили известие о начале войны 22 июня. Могу предположить, что первой о нем услышала Манюшка, встающая раньше всех и разбудившая Софью, Марка и Тикаму. Как член партии и самая политически продвинутая, стала успокаивать своих растерянных род-

ственников, говоря им что-то про войну на чужой территории и про то, что «танки наши быстры». Думаю, Марк подавленно молчал, не решаясь успокаивать семью тем, что «немцы — культурный народ», и только Софья, обняв испуганно прижавшуюся к ней племянницу, застыла в интуитивном ощущении надвигающейся беды.

Как встретили войну и как жили мои одесские родственники, я так почти ничего не узнал. Но дневники, которые вели одесситы, живущие рядом с ними, за стенами их дома, на соседних улицах, позволили с высокой точностью и объективностью воссоздать обстановку, настроение и чувства, поселившиеся в их душах и сердцах в первые дни войны и, что еще важнее, в последующие 907 дней оккупации, когда их уже не было в живых.

22 июня 1941. Нина Дятлова, студентка, 22 года: «Несмотря на воскресенье, читальные залы переполнены — завтра у нас экзамены... И тут слышим страшное слово: „война“. Прибежала взволнованная Лариса Бойко, позвала: — Идите быстрее в комнату! Передают важное правительственное сообщение!

По коридорам спешно разбегаются студенты. Слышатся возгласы: — Молотов выступает! Война!

Затаив дыхание, стоим мы возле черной тарелки репродуктора в комнате студенческого общежития и слушаем страшную весть. Говорит Молотов: — Сегодня утром немецкие войска перешли нашу границу... Фашистские самолеты без объявления войны бомбили города Киев, Минск, Брест, Одессу... Весь советский народ встанет на защиту своей Родины. Фашизм будет разбит и уничтожен. Победа будет за нами!

Нет слов, чтобы передать охватившее всех чувство волнения. Словно невидимый ураган пронесся, сорвал и унес все дорогое, светлое и радостное. Этим светлым и дорогим, что мы сейчас потеряли, была мирная жизнь народа, страны, всех нас. Чутьем угадываем, что надвигается страшное, жестокое, беспощадное, и оно будет молотом наши судьбы и жизни...»

22 июня 1941. Михаил Эдельман, 20 лет, лейтенант: «И вдруг, словно электрическая искра пробежала по гарнизону: „Германия вступила с нами в войну. Немецкие самолеты бомбили Киев, Минск, Смоленск, Одессу и другие города“. Кто первый сообщил эту версию неизвестно. Но все как-то встрепенулись, стали строже. И почему-то эти слова не вызывают никакого сомнения, и от этого делается как-то жутко и по спине пробегает легкий холодок. Война!... Страшное слово! Звери-фашисты посягнули на нашу страну. Они хотят обратить в рабство мой народ, как обратили в рабство народы Польши, Франции, Греции, Югославии. Не выйдет! „С песней родной мы по земле чужой бурей хлынем по вражьему следу!“ Война будет жестокой, это ясно, но ведь весь наш народ встанет на защиту своей свободы. Мы разобьем врага и освободим мир от ига черных фашистских угнетателей!»

23 июня 1941. Иван Фротер, 25 лет, офицер: «Начиная примерно с 3-х часов ночи, слышу на аэродроме непрерывный шум моторов, но самолеты не взлетают, вижу, самолеты рассредоточиваются. В 5.00 иду к летчикам узнать что-нибудь у них, встречаюсь с командиром эскадрильи капитаном Кудишовым. Он столько же осведомлен, как и я, но вести говорит для меня новые: „Румыны с помощью немцев решили отобрать Бессарабию, перешли границу. Ну, будет им Бессарабия, мы им дадим!“»

3 июля 1941 года Филадельф Паршинский, эсер, непримиримый противник советской власти: «Радио передавало в 6 ч. 30 мин. выступление Сталина. „У микрофона товарищ Сталин“. Голос Сталина козлетонистый, говорит он нескладно, интонация унтер-офицерская, слышно было, как булькает вода, которую наливает себе в стакан Сталин. Репродуктор очень плохо работал, но все же я хорошо слышал слова: „Враг захватил Литву, большую часть Латвии, Западной Белоруссии, Западной

Украины; бомбардируют Мурманск, Могилев, Смоленск, Оршу, Гомель, Одессу, Севастополь... Как это могло случиться, что фашисты имеют успех? Это случилось потому, что мы не были подготовлены к этому нападению. В тот день, когда враг был уже на нашей земле, мы только начали мобилизацию“. Кончил словами: „Вперед, на врага!“ Врет Сталин! Красная Армия была очень хорошо подготовлена к этому „нападению“. Даже больше: Сталин готовился к нападению на Германию, но выжидал, когда она истощится, чтобы легче вспыхнула коммунистическая революция в Германии. Гитлер был прав, что не стал дожидаться, когда Сталин начнет, и сам начал! Неуспех Красной Армии заключается в том, что она хуже оснащена и что $\frac{3}{4}$ красноармейцев смотрят на Гитлера как на своего освободителя».

11 июля 1941. Владимир Швец, студент Одесской консерватории, пианист, композитор, преподаватель школы Столярского: «Утром перестрелка. Потом затишье. Такое солнечное утро! Ходил вниз, рвал букет маков. Но лепестки стали быстро осыпаться. После завтрака пекся на солнце, чтобы загореть. Потом был в Консерватории. Встретил Павленко — „Что, сдал гармонию?“ Говорили, что Ворошилов, Буденный и Тимошенко выезжали на фронт. Из Бессарабии в Одессу эвакуировали санатории. Говорят, что река Прут, так загружена трупами, что по ним переправляются. Говорят, мы отвоевали Хельсинки, а маршалы поклялись Сталину доставить ему Гитлера живьем».

15 июля 1941, он же: «С утра ездил к отцу на завод. Пошли с ним домой. Сборы. Поцелуи и слезы. Из нашего военкомата угнали целые партии людей в порт. Их провожали. Впереди видел девушек и среди них — консерваторская певица. Был в пустой Консерватории. Дома узнал, что наши отпущены домой. Столярский с дороги пишет телеграммы, что хочет обратно в Одессу».

22 июля 1941, он же: «Вдруг появилось шесть чужих бомбардировщиков с длинными хвостами и тихим ходом. Все люди бросились по квартирам. Они летели прямо над нами, и началась стрельба. Начался ужаснейший свист бомб, которые взрывались где-то совсем близко. Вспыхнули пожары, запахло гарью. Наконец, все стало утихать. Когда мы вышли во двор, всюду был дым, черный, сливающийся с туманным небом. Внизу, над водой горела водная станция».

Конец июля 1941. Адриан Оржеховский, 65 лет, поляк, красильщик Одесской суконной фабрики: «В ночь на 22-е июля, т. е. ровно месяц с начала войны с Германией, часов в 9 был первый крупный налет и бомбежка нашего города. Сначала было сброшено большое количество зажигательных снарядов, и сейчас же были сильные взрывы. Вся наша улица была, как бы иллюминирована горящими огнями на небольшом друг от друга расстоянии.

Передать ту панику и душу раздирающую сцену, когда жители спасали свое имущество, те истерики и вопли, это мрачное пламя пожара, да и не одного дома, т. к. на следующем квартале и на Успенской уже видно было море огня, невозможно описать. На Пушкинской и в центре, я увидел нечто ужасное, непередаваемое. Останавливаться над каждым разрушенным домом и описывать его разрушения не стоит, т. к. все они разрушены до основания. На целые кварталы выбиты стекла, вырваны оконные рамы, согнуты шторы у магазинов и все превращено в груды мусора и пепла».

Журналист Ян Петерле, также ярый антисоветчик, свидетель всех событий, начиная с момента начала войны, обороны Одессы, ее оккупации и освобождения в апреле 1944 года писал в очерке «Одесса — Столица Транснистрии» (Нью-Йорк, «Новое русское слово», 1952): «С конца июля начались частые налеты с бомбардировками, причем страдали не только порт, железнодорожные и фабрично-заводские районы, но и жилые кварталы. Немцы довольно быстро шли на восток, и в августе Одесса попала во вражеское полукольцо, которое все туже сжималось, закрыв в сентябре пути эвакуа-

ции на суше. Оставалось еще море. Из порта отчаливали считанные пароходы на Мариуполь, Бердянск, позже на Новороссийск. Переполненные до отказа, они подвергались при выходе и по пути следования жестоким воздушным налетам, пикировке, пулеметному обстрелу, и ходили слухи, что два из каждых трех сильно страдали, а то и гибли. Количество человеческих жертв было громадно. Смельчаки и люди помоложе нанимали подводки, грузили вещи, женщин и детей, а сами — пешком или на велосипедах, сопровождая телеги, шли в далекий путь, в надежде найти щели для прохода по суше».

18 августа 1941. Ян Сашин, житель Одессы, 30 лет: «Плотным кольцом окружили фашистские войска Одессу с трех сторон. Связь с миром осуществляется только морем. Уже месяц, как осажденная с трех сторон Одесса героически сражается с превосходящим по численности врагом. Лузановка — в руках фашистов. Их войска стоят у самой Одессы. В городе очень трудно раздобыть воду. Воды мало. Она выдается по карточкам. Одесское водохранилище захвачено фашистами. Эта сволочь разбрасывает листовки такого примерно содержания: „Прекратите сопротивление, мы дадим вам воду“, или: „Переходите на нашу сторону, и вы получите по 10 рублей и по стакану чаю с сахаром“».

20 августа 1941. Адриан Оржеховский: «Итак, Одесса вся в баррикадах. Я только что ездил на фабрику и по дороге на всех улицах видел, как разбирали мостовые и из этих камней устраивали баррикады во всю ширину улицы, это всюду на всех подступах в город. Значит, решено Одессу не сдавать, а из этого выходит, что для жителей готовится кровавая баня».

Из статьи Яна Петерле: «Во второй половине августа была объявлена всеобщая мобилизация мужчин от 16 до 55 лет. Толком не обмундированные, не знающие, как обращаться с оружием, мобилизованные молниеносно сколачивались в отряды и бросались в бой. В качестве подкрепления были присланы крымские отряды моряков и морской пехоты. За ночь они героически разжимали вражеское кольцо километров на десять, а днем это кольцо снова сжималось».

25 августа 1941. Нина Герасимова, жительница Одессы: «Передали, что в Москве был еврейский митинг. В газетах помещено воззвание к евреям. Но их этим не прошибешь, воевать они не пойдут. Пусть другие воюют, они любят только хорошо жить, а теперь прячутся за спины других».

1 сентября 1941. Зоя Хабарова, школьница, 14 лет, Одесса: «Сегодня наконец-то я пошла в школу. В классе стало меньше ребят. Уехали Лейбович и Бейлис, Уланов хоть русский, но его отец работал в органах НКВД. Нет Риты и Тани. Нас осталось 17 человек, но еще некоторые хотят уехать, а нас почему-то не выпускают. Я забыла написать, как тонул огромный теплоход. Я шла по набережной, когда увидела над морем самолеты. По морю со стороны Одессы шел пароход. Самолеты один за другим пикировали на пароход и сыпали бомбы. Потом был взрыв, чернота, пароход разломился пополам, и тут же задралась нос и корма, и он ушел под воду».

Еще в июле было принято решение об эвакуации из Одессы заводов и промышленных предприятий на восток страны. Порядок эвакуации гражданского населения Одессы и беженцев из других районов Украины не был разработан и своевременно доведен до одесситов, многое решали связи, блат и деньги.

Вот что писал о событиях тех дней Иосиф Каплер в своей книге «Путь смерти. Записки узника гетто» (М., 2014): «Отступление продолжается. Фронт приближается. Уже появились в Одессе эвакуированные из Буковины и Бессарабии. Они осаждают пароходные и железнодорожные кассы. Очереди тянутся на целые кварталы. Глядя на них, одесситы готовятся к отъезду. Началась спекуляция билетами и талонами на поезда и пароходы для эвакуации. Очень много в Одессе эвакуированных евреев. Они прибывают отовсюду и спешат дальше. Знают, что ждет их. Сообщения о том,

что делали с евреями немцы в Варшаве, Люблине, других городах Польши и Буковины, вселяют ужас».

Даже те, кто, несмотря ни на что, принял решение и хотел эвакуироваться, не мог себе этого позволить, многие колебались, но было достаточно много и тех, кто и не собирався покинуть Одессу и даже прятался в подвалах, предполагая, что с приходом немцев им будет не хуже, чем было при большевиках.

10 сентября 1941. Сергей Сергеев, 40 лет, морской офицер: «Перед нашими изумленными взорами развернулась потрясающая панорама обороны Одессы. На огромном фоне трепещущего огненного зарева, освещающего почти половину небесной сферы, ярко оранжевые бешено перебегающие сполохи по всему фронту взрывов и выстрелов тысячи орудий, молнии снарядных трасс в кровавом небе создают видение фантастическое, дикое, почти нереальное. Громы взрывов и орудийных выстрелов сливаются в единый устрашающий гул. Воздух дрожит, сотрясается и наполнен воем, скрежетом и громовыми раскатами. Страшно от этого могучего дыхания войны».

4 октября 1941. Адриан Оржеховский: «Я нашел немецкую прокламацию следующего содержания: „Командиры и бойцы! Одесса все равно, что потеряна! Такой город как Одесса не защищается без войск, без воды и без пищи. Через несколько дней падет Одесса. Кавказцы и кубанцы не будут защищать одесских жидов. Они поголовно сдаются в плен. Следуйте их примеру и переходите к нам!“. Только что передали по радио, что немцы на подступах Москвы. Таково положение сегодняшнего дня. События разворачиваются молниеносно».

Утром 15 октября над Одессой кружил советский самолет, который разбрасывал листовки, в которых сообщалось, что по стратегическим соображениям советские войска оставляют город, но одесситы и без них уже осознали это, последние сутки Одессу уже не бомбили.

Рано утром 16 октября крейсер «Червона Украина» последним покинул Одесский порт и взял курс на Севастополь. Одесса была сдана.

Что в эти дни могли чувствовать одесситы? Страх, отчаяние, надежду? Как Одесса и сами одесситы пережили годы оккупации?

Об этих днях и годах оккупации писали сами одесситы в своих дневниках, писали искренне и откровенно. В самом деле, оказывается «рукописи не горят» — в Интернете нашлись десятки дневников, записи в которых обрывались на полуслове. Опубликованы многочисленные воспоминания очевидцев и чудом выживших жертв, найдены и стали доступны тысячи документов, от чтения которых мурашки бегут по спине и стынет кровь в жилах.

Я не знаю точно, что думали, о чем говорили и как прожили свои последние дни мои родственники в квартире на Екатерининской улице, но информации о том, что происходило в те дни рядом с ними, буквально за стенами их дома, достаточно, чтобы представить их состояние.

* * *

В середине дня 16 октября 1941 года в Одессе появились не немецкие, а в основном румынские войска, они долго не решались войти в город, опасаясь засад. Колонна машин и румынская пехота двигались по опустевшим улицам, город замер в ожидании. На следующий день одесситы проснулись в совершенной другой Одессе, еще не ведая, кому какая судьба предопределена.

Никто тогда не знал, что перед самым началом войны румынам за участие в войне против СССР Гитлером был обещан возврат территории Молдавии и Бессарабии, отторгнутой в 1940 году и получившей название Транснистрии, в том числе и самой Одессы.

Где были и что чувствовали мои четверо родственников в тот вечер 16 октября? Наверное, как и все одесситы, собрались в одной комнате, замерев в тревожном ожидании, онемевшие от волнения и страха, который накатывался на их сознание и заполнял души. Думаю, что более других был подавлен и терзался сомнениями Марк, мой будущий дед. Примерно за месяц-полтора до этого вечера он, возможно, впервые в жизни принял вопреки мнению и просьбам окружавших его близких людей самостоятельное решение: отказался от эвакуации из Одессы, хотя билеты на корабль практически лежали на столе. У него в голове и в памяти, как и у многих других «мудрых» евреев, отложилось, что немцы — культурная нация, что при них можно будет нормально жить и в Тобольск уезжать не придется. «Софочка, успокойся, я знаю, что говорю, я же жил в Швейцарии и Германии и помню немцев, это же культурная нация. А вспомни восемнадцатый год, когда немцы были в Одессе, при них я работал, и неплохо». Так или почти так дед отвечал, когда жена уговаривала его эвакуироваться. Что это было? Ну, то, что не все пожилые евреи мудрые, это и так понятно, по себе знаю. Не был дед, конечно, и антисоветчиком, с нетерпением ожидавшим прихода фашистов. К сожалению, объяснение до обидного простое: он просто ничего не знал или не верил сообщениям о том, что происходило в Германии с евреями после прихода к власти Гитлера, потом в Польше, а потом в Бессарабии. Эвакуированные оттуда евреи уже заполнили Одессу и брали штурмом поезда и пароходы, понимая, что бежать нужно во что бы то ни стало. Они уже видели, что с евреями делали гитлеровцы, а советские газеты почти ничего об этом не писали. То, что свои же русские или украинские соседи, опьяненные водкой и ненавистью, могут убивать евреев, в это он верил и хорошо знал о погромах 1905 года в Одессе. Но в то, что вежливо-надменные, образованные, выдержанные немцы, всегда с терпимостью относившиеся к иммигрантам и иноверцам, могут расстреливать и сжигать евреев заживо, он поверить категорически не мог. Уверен, что его Софочка женским чутьем ощущала надвигающуюся опасность, что уезжать надо, но, возможно, впервые не стала настаивать на своем, хотя умела это делать очень хорошо. Решила довериться мужу. Может быть, в августе, когда встал вопрос об эвакуации, у нее оставались еще надежды, что весь этот ужас скоро кончится и немцам войти в Одессу не дадут, в чем дружно уверяли одесситов газеты и радио почти до самого последнего дня.

Сохранилась одна-единственная открытка, которую она отправила 13 августа Нонушке в Ленинград. Писала ее, еще, наверное, не зная, что именно в тот день, 13 августа 1941 года, из Одессы на восток ушел последний поезд и что немецко-румынские войска перерезали линию железной дороги, вышли к Черному морю и полностью блокировали Одессу с суши.

13 августа 1941: «Дорогая Нона! Вчера получили твою телеграмму от 25-го (июля) очень опечалились о Левушке и Изя. У нас все живы и здоровы, живем в подвальном этаже. Папа работает, Манюшка нет. Пока нам денег не надо. Тамара уехала с родными не знаем куда. Я тебе писала уже несколько писем и телеграмм. Пишу часто, но ведь теперь письма идут долго. Что слышно у дяди, как тетя и Боба. Надеюсь, что скоро все кончится, мы уничтожим гадину Гитлера и увидимся. Я с тобой моя дорогая доченька. Мама, целую крепко. Маргарита и все наши целуют. Напиши где Лева и Изя».

(Изя, или полностью Исаак, за пять дней до начала войны стал мужем Нонушки.)

На штемпеле, поставленном в Одессе на почте, которая, как ни странно, еще действовала в эти дни, дата отправки указана 14 августа 1941 года, а на штемпеле, поставленном на почте в Ленинграде, — 29 ноября 1945 года. Открытка шла долго, всю войну, но не потерялась, ее не выбросили, хранили и вручили адресату, когда война уже закончилась, и Нонушка уже знала о судьбе своих родителей и близких.

Но в одном Софья Борисовна не ошиблась: «гадина Гитлер» был уничтожен.

Гораздо реальнее оценивала события и понимала, что надо уезжать, только Манюшка, хорошо представляя, что ждет при фашистах ее, с ее партийным билетом в кармане. Осталась, чтобы быть рядом с родными.

Как себя чувствовала и как жила во все дни обороны Одессы Маргариточка — Тикама, можно только гадать. Конечно, родные пытались успокаивать девочку, отвлекали, пытались скрывать, что происходит на линии обороны Одессы. Но бомбежки и обстрелы не скроешь. Наверное, бывала она и в городе, ходила с Софьей на базар, на Приморский бульвар, который был рядом с домом, видела разрушения, воронки от снарядов, заграждения и баррикады, появившиеся на улицах. Вела она и свой дневничок, как делала это в Ленинграде, тот самый, где Аба записал ей два четверостишия перед ее отъездом в Одессу: ежедневно писала, о чем думала, как жила, что видела вокруг в последние недели после прихода в Одессу румын.

Спустя всего лишь месяц, в декабре 1941 года, другая девочка, сверстница Маргариточки, начала вести дневник в блокадном Ленинграде. Девочку звали Таня Савичева. Записей было мало, они заняли всего девять страничек, на каждой из них Таня оставила всего по одной фразе: кто и когда из ее родственников умер. Последняя запись гласила: «Умерли все». Таню, полуживую от истощения, вывезли весной 1942 года на Большую землю, но ее здоровье было подорвано безвозвратно, и 1 июля она умерла. Ее дневник сохранился, и его странички можно увидеть в Музее блокады Ленинграда.

Ровно через год, в июне 1942 года, начнет вести дневник еще одна девочка, на два года старше Маргариты, ее звали Анна Франк. Ее семья бежала из Германии в Нидерланды в 1933 году, сразу же после прихода к власти Гитлера, когда Анне было только четыре года. Но в 1940 году Германия оккупировала Нидерланды и начала, как и в остальных оккупированных европейских странах, вести охоту на евреев, арестовывая и отправляя их в концлагеря. Бежать из Нидерландов было уже поздно и, чтобы избежать концлагеря, отец Анны с помощью своих друзей по фирме, где он работал, оборудовал надежное убежище, которое располагалось в промежутке между двух зданий, принадлежавших этой фирме, а вход в это помещение закрыли книжным шкафом. Вся семья Анны переехала в это убежище 6 июля 1942 года и пробыла там до 1 августа 1944 года. Вот одна из первых записей Анны в дневнике от 19 ноября 1942 года: «По вечерам всюду снуют зеленые или серые военные машины. Из них выходят полицейские, они звонят во все дома и спрашивают, нет ли там евреев. И если находят кого-то, то забирают всю семью. Никому не удастся обойти судьбу, если не скраться вовремя. Часто по вечерам в темноте я вижу, как идут колонны ни в чем не повинных людей, подгоняемых парой негодяев, которые бьют и мучают, пока те не падают на землю. Никого не щадят: старики, дети, младенцы, больные, беременные — все идут навстречу смерти».

Точно такую же запись могла бы, наверное, сделать в своем дневнике и Тикама, из которого сохранились только два листка, один со стихотворением, а второй с короткой записью: «Сегодня в Одессу вошли румынские солдаты, что будет завтра, я не знаю, мне страшно, но я уверена, что придет мой братик и спасет меня». Эти листки будут найдены в 1946 году Нонушкой среди груды мусора на полу разгромленной квартиры в доме на Екатерининской улице.

О событиях первых дней, недель и лет оккупации Одессы писали украинские журналисты, которые не только пережили эти годы, находясь в Одессе, но и работали в издававшихся там газетах, являясь фактически коллаборационистами.

Справедливости ради надо сказать, что в своих воспоминаниях о зверствах румын и немцев по отношению к мирному населению, и прежде всего к евреям, пишут они однозначно с возмущением. Насколько это было искренне, остается на их совести.

Из книги М. Д. Мануйлова «Одесса в период Второй мировой войны, 1941—1944», служившего до войны «директором планово-экономического отдела» в какой-то организации. Советскую власть люто ненавидел, что очевидно с первых же страниц его мемуаров. Мануйлов принадлежал к тому поколению, которое помнило прежнюю жизнь и знало жизнь новую, которую он воспринимал крайне негативно. Хотя внешне, конечно, никак это не проявлял. Это был, по-видимому, типичный «внутренний эмигрант». Войну он рассматривал как шанс покончить с коммунистическим режимом. Вот такой человек шел по улицам полупустынной Одессы, констатируя происходящее вокруг.

Со всех сторон города начали появляться грузовики — большие и малые, наполненные румынскими солдатами. К некоторым грузовикам были прицеплены маленькие пушки. А внутри грузовиков в отдельных случаях видны были пулеметы. Войска, не встретив сопротивления и провожаемые приветствиями, въезжали в город свободно, без военной подготовки. Я встретил первую часть неподалеку от дома, на Соборной площади, где собралась маленькая группа горожан. По Преображенской улице, со стороны Николаевской дороги, на открытых машинах въезжала немецкая группа офицеров. Поравнявшись с нами, в ответ на приветствие жестом руки одной из присутствовавших дам, немецкий офицер взял под козырек и сказал на ломаном русском языке: «Здравствуйте». Дамочка была вне себя от удовольствия и, очевидно, рассказывая об этом случае, создавала молву о симпатичных немцах, встретившихся ей. Процедура «занятия» города длилась недолго и, как видно, по заранее разработанному плану отдельные воинские части (20—30 человек) начали располагаться в разных частях города, занимая свободные помещения для постоя. Население очень быстро вступило в общение с солдатами. Румыны держали себя просто и без достоинства; немцы держались гордо и с достоинством. Румыны, очевидно, плохо довольствовались и не отказывались от куска хлеба, предложенного гостеприимной русской женщиной, но их особенно прельщал сахар, который они тут же поедали. В это время никаких враждебных актов не было проявлено ни с одной, ни с другой стороны. Через несколько часов от дома к дому стало распространяться сообщение, что на Соборной площади состоится молебен, организованный самим населением. Весть о предстоящем всенародном молении с быстротой молнии разнеслась по всему городу, и вскоре большая Соборная площадь была заполнена народом.

Каких бы ни был Мануйлов убеждений, но про «теплую» встречу, оказанную частью одесситов оккупантам, он не выдумал. Кто входил в эту «часть одесситов» и как много их было? С момента революции прошло менее 25 лет, и часть одесситов еще не забыла былую устроенную и комфортную жизнь, отобранную у них большевиками заодно с деньгами, барскими квартирами и дачами в Люстдорфе; кто-то не забыл, что потерял адвокатскую или медицинскую практику; третьи таили глухую злобу и ненависть из-за расстрелянных или пропавших в подвалах ЧК и НКВД родственников и близких. А небогатый торговый и базарный люд с неистребимой коммерческой жилкой с тоской вспоминал времена, когда имел возможность делать свой небольшой «гешефт»: что-то где-то купить, а потом с небольшой выгодой продать, получить удовольствие от общения с покупателем, и за это полиция их не хватала за шиворот и не тащила в кутузку. В общем, недовольных хватало, но вряд ли они ждали с нетерпением именно фашистов, просто, как они потом объясняли «не было другого варианта», и многие совершенно сознательно остались в Одессе.

О первых днях оккупации пишет и Ян Петерле: «В Одессу вошли „победители“. Действительно, количественно преобладали довольно бедно и грязно одетые румыны».

ские солдаты, но распоряжались сначала немцы, резко отличавшиеся своей муштрой. Как всегда бывает при переходе власти, темные элементы, пользуясь моментом, грабили магазины, опустевшие квартиры, хулиганили, доносили, „помогали завоевателям“. В течение нескольких недель держался жесточайший режим. Каждое распоряжение военных властей было составлено в громовом стиле с перечислением наказаний — и смертная казнь на первом месте. В первые же дни было схвачено много заложников, и они умерщвлялись за самое незначительное нарушение изданных приказов. Схватывали подозрительных и вешали их на столбах или балконах. По домам забирали мужчин и тащили их колоннами в подозрительные места за город, где предполагались заминированные большевиками участки. Там гнали эти колонны через участки, чтобы вызвать взрывы. Группы евреев были загнаны на Среднем Фонтане к берегу моря и расстреливались пулеметным огнем».

А вот что записал в своих воспоминаниях «Годы бедствий» (Питсбург-Кишинев, 2003) Рубин Вудлер, еврейский подросток, впоследствии известный молдавский и американский лингвист: «Утро 16 октября оказалось непривычно тихим. Было трудно понять, что происходит. Сгрудившись у приоткрытой калитки, мы увидели, что со стороны вокзала под самой стенкой домов по одному, на расстоянии примерно шесть метров друг от друга, медленно и осторожно продвигаются заросшие солдаты в грязной, серо-зеленой форме. Террор начался с первых же часов. Группами и в одиночку они врываются в квартиры якобы в поисках скрывающихся советских солдат, коммунистов и евреев. Удары прикладами и зверское избиение всех, независимо от возраста и пола, сопровождалось угрозами немедленной казни. В карманы и ранцы записывалось спешно все, что видели их алчные глаза. Особым спросом пользовались часы, браслеты, кольца, серьги, деньги. И тут же, будто кто-то их подгонял, они вторгались в соседние квартиры, где повторялись их мерзкие действия. Окрики возбужденных жадностью и вседозволенностью румынских солдат и вопли насмерть перепуганных людей, совсем не понимавших румынскую речь, заполняли весь дом, всю улицу. Осажденные солдаты гнались за молодыми женщинами, насиловали их группами, часто на глазах окаменевших от ужаса членов семьи».

18 октября, через два дня после появления румын в Одессе, была издана «Инструкция по организации, отбору и эвакуации евреев Одессы в гетто» (здесь и далее документальные материалы публикуются из сборника «История холокоста в Одесском регионе», Одесса, 2006). В инструкции, в частности, говорилось: «Во исполнение приказа создается временный лагерь-гетто для евреев города Одессы. Помещением созданного преториальной службой гетто является, начиная с 16 часов 18 октября 1941 г., тюрьма Одессы на улице Фонтанная дорога. Все евреи, независимо от пола и возраста, будут эвакуированы по участкам вместе с семьями. Дети, женщины, мужчины, которые, покидая жилище, могут взять с собой строго необходимое для питания и сна. Не берется мебель».

Один из тех, кто в первые же дни оккупации попал в жернова этой адской смертельной мельницы, был ранее упоминавшийся Иосиф Каплер. Буквально через два дня после появления румын его в числе многих вытащили из дома и в колонне с остальными одесситами, среди которых были не только евреи, отправили на разминирование улиц. В своих воспоминаниях он писал:

На площади между Слободкой и городом всех выстроили на улице. На тротуарах стояли женщины, чтобы передать что-нибудь поесть своим близким, но часовые никого не допускают. Команда идти вперед. Длинной вереницей, военным строем ведут к Слободке-Романовке. На площади между Слободкой и городом всех выстро-

или, как на параде. Команда офицера: немцам выйти из строя. Вышли немцы, и их отправили домой. Остальных выстроили снова и отправили сомкнутым строем искать мины, заложенные на улицах перед уходом из Одессы. Заставляли быстро двигаться, а часто пускали колонну бегом. Я не молод — астма, сердце. Задышался, чувствовал, вот-вот упаду. Но отстающих и падающих убивают, поэтому пересиливаю себя и бегу дальше. За психиатрической больницей, у пригородного села устроили небольшой привал, но быстро погнали обратно в город. По дороге врача, который был среди нас, охранники раздели, и он бежал в одном белье, и они над ним смеялись. Было уже темно, а нас все гнали, и мы, задыхаясь, бежали и обязаны были под угрозой смерти еще топтать ногами — авось попадем на мины.

Первый массовый расстрел евреев произошел уже 17 октября. В этот день в порту убили четыре тысячи евреев, а 19 октября объявили о начале поголовной «регистрации мужского населения», и к военнопленным начали добавляться многие тысячи мирных жителей, большинство из них — евреи. Всех их заперли в девяти пустых пороховых складах и в течение нескольких дней, начиная с 19 октября, расстреляли.

В «Известиях» от 14 июня 1944 года был напечатан рассказ свидетельницы об одном из самых массовых и зверских убийствах одесских евреев: «19 октября 1941 года в помещении пороховых складов, расположенных по Люстдорфскому шоссе, возле моего дома ... румыны начали тысячами сгонять арестованных мирных жителей — мужчин, женщин и детей. Когда они заполнили советскими людьми девять пустых складских помещений, тогда стали подкатывать к складам бочки с горючим. Я лично видела, как румыны насосами качали горючее из этих бочек и через шланги поливали склады, в которых находились согнанные ими жители города. Когда пороховые склады были облиты горючим, румынские солдаты их подожгли. Поднялся страшный крик. Женщины и дети, объятые пламенем, кричали: „Спасите нас, не убивайте, не сжигайте!“ Подоженные румынами склады продолжали гореть несколько дней. Когда пожар прекратился, румыны к месту пожара пригнали жителей города, которые выкопали большие и глубокие ямы. Потом появились румынские солдаты, которые стаскивали обгоревшие трупы в эти открытые ямы и закапывали».

После освобождения Одессы в этих ямах было обнаружено примерно 28 тысяч трупов.

Мануйлов в эти дни записал в своем дневнике: «Шестой день оккупации принес и ряд других печальных неожиданностей. Около семи вечера, когда перепуганные одесситы прятались в своих квартирах, город весь задрожал от страшного взрыва. Взрыв был настолько силен, что создавалось впечатление, что дом затрясся. Трудно было понять в первые минуты, что произошло, но все рисовали себе картину чего-то страшного. Через некоторое время выяснилось, что взрыв произошел на улице Марзалиевской, в здании бывшей комендатуры НКВД. Оказалось, что непредусмотрительные оккупанты расположили свой штаб в этом страшном здании, а большевики, при оставлении его, заложили мину с механизмом замедленного действия. В условленный час мина взорвалась».

22 октября 1941 года в этом здании проходило большое совещание румынских и немецких высокопоставленных военных. Здание взлетело на воздух вечером в результате взрыва нескольких тонн взрывчатки, заложенной туда и искусно замаскированной саперами Красной армии еще до сдачи города советскими войсками. Взрыв комендатуры и штаба румынских войск послужил спусковым крючком для настоящей безумной кровавой вакханалии по истреблению евреев, и не только евреев, всех, кто попался первым под руку. Прибывшая на следующий же день немецкая айнзатцгруппа провела акцию по уничтожению около 10 тысяч заложников. По всей улице Марз-

лиевской оккупанты врывались в квартиры одесситов и всех найденных там жителей без исключений расстреливали или вешали.

Самое страшное зрелище представлял собой Александровский проспект — на нем было повешено около четырехсот горожан. Вешали на уличных фонарях, на ветвях платанов, на балконах, но потом вешать евреев прекратили, так как уже было негде, а кроме того, как писали в своих рапортах румынские жандармы, «исполнители теряли психологическую устойчивость из-за вида конвульсий и лиловых языков, вываливающихся изо рта повешенных».

Колонны заложников гнали на Люстдорфскую дорогу к артиллерийским складам, где их расстреливали или сжигали заживо. Разбирать руины барачков и закапывать останки людей, изуродованных огнем и взрывами, пригнали евреев из ближайшей тюрьмы, среди которых был и Иосиф Каплер, описавший этот день впоследствии в своих воспоминаниях: «Нас был 120 человек, шли строем с лопатами на плечах, пулеметчик следовал за нами. На тротуарах валялись трупы. Остановившись, копали ямы, бросали туда убитых, закапывали и шли дальше... Пришли к артиллерийским складам. Вошли за колючую проволоку. От корпусов остались лишь прокопченные стены, потолков и дверей уже не было. Возле зданий валялись куски человеческих тел, трупы без голов, без ног, без рук».

Уже после войны правительственная комиссия, расследовавшая уничтожение гражданского населения румынскими и немецкими войсками, определила, что в общей сложности после взрыва комендатуры было уничтожено около 50 тысяч одесситов, подавляющее большинство которых — евреи.

Расстрелы шли и во многих других районах Одессы, документов об этом имеется великое множество. За каждым из них мучения, боль и нечеловеческие страдания ни в чем не повинных людей. Обо всем не расскажешь. Но хотелось представить, что происходило за стенами квартиры, где, оцепенев от страха и ужаса, прятались четверо моих родственников. Они не могли не слышать выстрелы и взрывы за окнами, топот солдатских сапог и криков людей на улице и не ощущать в воздухе, который проникал в комнаты, дыма, гари и странного сладковатого запаха. В те дни они еще были живы, случайным образом избежав той кровавой мясорубки.

Ян Петерле писал: «В ноябре было объявлено об устройстве гетто. В связи с этим начались самоубийства, травились, вешались врачи, юристы, педагоги, оставляя краткие трагические записки. Некоторые сходили с ума. Перегоняемые в гетто шли как в траурной процессии, со скарбом, с насиженных гнезд в другие районы, на Слободку, в Дальник. Целыми семьями, с седовласыми старцами, без крика и рыданий шли с торжественными, окаменелыми лицами, шли в неизвестность, на муку, на страдания. Молча плелись маленькие дети, не понимая, что происходит. А затем... затем: часть попала в Дальник, в какие-то амбары, и как-то ночью они были подожжены. Люди пробовали выбрасываться из окон, — их расстреливали, они горели заживо. Количество погибших там не учтено, говорили — много тысяч».

В конце декабря Антонеску дал указание окончательно изгнать из Одессы всех евреев. Об этих событиях писал и Ян Петерле: «В лютые морозы декабря, а, в особенности, января (1942 г.) евреев стали перевозить в холодных товарных вагонах со станции Одесса-сортировочная в район станции Березовка. Загнанные в вагоны, люди замерзали в пути и их, окоченевших, вынимали потом и складывали в штабели, как шпалы, и зарывали в общих безвестных могилах. К счастью, кое-кому удалось бежать. К чести прочего населения надо сказать, что были мужественные люди и в городе, и в селе, которые помогали уцелевшим. А кара за такую помощь была страшна. Дети

от смешанных браков и евреи, перешедшие в христианство, тоже направлялись в гетто: нацисты искореняли „неарийскую“ кровь». Объективность заставляет отметить, что широкие массы населения со стыдом, ужасом и отчаянием переживали эти дни и события, и это в дальнейшем определило их отношение к оккупантам.

В один из этих месяцев, скорее всего еще до начала 1942 года, были обнаружены и отправлены в один из лагерей и мои несчастные родственники. Находили последних евреев, скрывающихся на чердаках и в подвалах домов, с помощью многочисленных доносов тысяч добровольных активистов, имена которых стали известны после освобождения Одессы из документов румынской полиции и администрации города.

К весне 1942 года «еврейский вопрос» в Одессе был практически решен, в июне, уже за ненадобностью, было закрыто последнее гетто.

Из примерно ста тысяч евреев, оставшихся в Одессе к моменту начала оккупации, румынскими войсками не без помощи местного населения было уничтожено более 90 тысяч, оставшиеся в количестве не более пяти тысяч за время оккупации постепенно ушли в землю или в дым, и ко дню освобождения Одессы — 10 апреля 1944 года — их осталось всего несколько сот человек.

Данные по числу погибших евреев в Одессе в различных источниках разнятся, и это неудивительно, никто точного учета погибших не вел. Более всего заслуживают доверия документы, находящиеся в Мемориальном комплексе истории холокоста «Яд Вашем» в Иерусалиме.

С 25 октября по 3 ноября 1941 г. оставшиеся 40 000 евреев были вывезены за город в гетто Слободка. Там они жили под открытым небом в течение 10 дней. Многие старики, женщины и дети замерзли насмерть. 7 ноября мужчин забрали в городскую тюрьму. 12 января 1942 г. начались депортации в концлагеря Транснистрии, и к 23 февраля 1942 г. было депортировано более 19 000 евреев. Те, кого не депортировали, в большинстве своем были убиты немцами, заселившими эту территорию, или умерли от голода, холода и болезней. Советские войска освободили Одессу 10 апреля 1944 г. За время оккупации из 201 000 одесских евреев, живших в Одессе до войны, погибло 99 000².

Одесситы оправились от душевного смятения и даже определенной неловкости и жалости к исчезнувшим соседям и «воспользовались» оставшимися вещами — не пропадать же добру, заняли их квартиры и начали жить новой, хотя, скорее, старой жизнью, которую многие еще не забыли. Румынские планы сделать Одессу столицей Транснистрии стали претворяться в жизнь. Немцы ушли, и румыны, засучив рукава, приступили к строительству новой и счастливой жизни, а одесситы, к своему приятному удивлению, почувствовали и оценили это очень быстро.

* * *

Когда я задумал написать эти записки, то не предполагал, что буду касаться темы «Одесса и одесситы во время оккупации». Я ничего не знал об этом периоде, дома об этом не говорили, если не считать одной фразы, которую я случайно услышал, когда мама, разговаривая с кем-то по телефону, сказала: «Что ты мне рассказываешь, ты, наверное, не знаешь, что несколько тысяч комсомолок выстроились в очередь, когда румыны объявили в Одессе набор в публичный дом. Не знаешь, а я вот точно знаю».

² Encyclopedia of the Holocaust, In Association with Yad Vashem, The Holocaust Martyrs' and Heroes' Remembrance Authority, Dr. Robert Rozett and Dr. Shmuel Spector, Editors, Yad Vashem and Facts On File, Inc., Jerusalem Publishing House Ltd, 2000.

Мне было лет 12—13, я тогда не совсем понимал, что такое публичный дом, предполагая, что это библиотека, но фраза мне запомнилась. В печати, книгах и газетах о тех годах писалось очень скупо, в основном про зверства оккупантов или про подвиги партизан, укрывавшихся в одесских катакомбах и наводивших ужас на немцев (почему-то румын почти не упоминали) своими дерзкими вылазками.

«Одесса 1941—1944 годов... Эти годы были самыми трагичными в истории нашего города: несколько месяцев обороны, а затем два с половиной года оккупации. Как жил город в этот период? Какие взаимоотношения установились между людьми, так давно знакомыми друг с другом, но оказавшимися в новых условиях существования?» С этих вопросов начинается предисловие Лилии Мельниченко, сотрудницы Одесского литературного музея, к воспоминаниям Адриана Оржеховского³: «И если период обороны Одессы нашел свое отражение в советской литературе, будь то художественная или документальная, то годы оккупации города рассматривались в основном с точки зрения партизанского движения. Публикации же о том, как выживали одесситы во время обороны, а затем в оккупированном городе, встречались крайне редко. Писать разрешалось только о тех, кто героически сопротивлялся оккупантам, кто уничтожал врага либо активно саботировал его приказы и распоряжения. А как же все остальное население? Врачи, преподаватели, рабочие и инженеры — в общем, все те, кто не смог или не захотел эвакуироваться. Им никто не помогал, о них никто не заботился. Они должны были в этих экстремальных условиях выживать сами, кто как мог. Причем выживать по правилам, написанным уже новой властью, — оккупационной».

Возможно, я бы прошел мимо этой публикации и, не располагая больше никакой информацией, заслуживающей доверия, опустил бы в своих записках этот период жизни одесситов, тем более что к жизни, а вернее, к гибели моих родственников прямого отношения он не имеет — к этому времени их уже не было в живых, — если бы мне не попала в руки книга О. В. Будницкого «Одесса: жизнь в оккупации. 1941—1944. История коллаборационизма» (М., 2013), материалы из которой я цитирую в дальнейшем.

В обширной вступительной статье к этой книге Будницкий пишет: «По словам Александра Верта, автора известной книги „Россия в войне 1941—1945“ (М., 2003), многие одесситы чувствовали себя как рыба в воде во внешне беспечной Одессе, какой она была при Антонеску, — с ее ресторанами и „черным рынком“, ее домами терпимости и игорными притонами, клубами для игры в лото, кабаре и всеми другими атрибутами „европейской культуры“, в том числе с оперой, балетом и симфоническими оркестрами. Период оккупации стал для одних одесситов временем жесточайшего террора, а для других стал годами свободы предпринимательства, своеобразного нео-НЭПа, резко отличавшего Одессу от других оккупированных городов СССР».

Прочитав эту книгу, я был просто ошеломлен и даже подавлен. То, что там было написано, никак не укладывалось в моем сознании, ибо полностью противоречило моим представлениям, сформированным еще в школьные годы, о том, как «должны были жить и жили наши советские люди в оккупированных городах». Абсолютно беззащитные, так как в захваченных гитлеровцами городах оставались в основном только женщины, старики и дети, страдающие от голода, холода и лишений, зарабатывающие миску похлебки на подневольных работах у врага, оказывающие посильную помощь партизанам, презирающие предателей и полицаяв и, конечно, верящие в скорое освобождение и в то, что «враг будет разбит и победа будет за нами». Пред-

³ Л. Мельниченко. Дневник Адриана Оржеховского. Сб. научных статей и публикаций. Вып. 4. Одесса, 2007.

ставить себе, что одесситы, которые всегда были для меня синонимом благородства, доброты и чести, могли 2,5 года оккупации наслаждаться жизнью, стоять в очередях в рестораны, кабаре и публичные дома, заказывать костюмы в лучших одесских ателье и питаться свежайшими продуктами, которыми был забит знаменитый одесский Привоз, я категорически не мог. «Утешало» только одно, что в этом празднике жизни не участвовали евреи. Как говорится, Бог уберет, хотя, если говорить откровенно, не уверен, что никто из евреев, если бы им было дозволено остаться в живых, отказался бы от соблазна открыть в городе небольшую лавочку.

* * *

Дневники в период оккупации продолжили вести Адриан Оржеховский, Владимир Швец и школьник Юрий Суходольский. Абсолютные разные по возрасту, профессии и по своим жизненным взглядам.

11 января 1942. Адриан Оржеховский: «Сегодня знаменательный у нас день: открытие нашего магазина. Вечером подсчитали выручку, которая показала 132 руб. Для первого дебюта это вполне хорошо. С таким капиталом, как у нас, больше и ожидать нельзя. Завтра будет у нас и молоко. Публика валом валит, одни, как всегда, критикуют, а меньшее число покупает. Наш магазин очень чистенький, имеет весьма опрятный вид. Для большей торжественности повесили икону Николая Чудотворца. Словом, все честь честью. Сегодня произошла ужасная драма для всего Одесского еврейства. Ранним утром был расклеен приказ о выселении поголовно всех евреев из Одессы на Слободку, где для них устроено гетто. Отчаянию их нет границ, ведь негде спать, холод, к довершению пошел снег. Словом, картина неопишная, трудно всю эту драму передать. Какое счастье сейчас не быть евреем».

12 января, он же: «Сегодня поистине день страшного суда для всех евреев. Уже с раннего утра, шести часов, потянулись длинные вереницы на Слободку. Видел двух старух, древних совершенно обессиленных, лежавших прямо на снегу, не имея сил подняться. Занят по горло в магазине целый день, нет времени даже пообедать, но, конечно, это совсем не плохо, лучше, чем быть сейчас гонимым».

24 марта 1942. Владимир Швец: «Отец рассказал, что в их заводском дворе одна женщина прятала в сарае евреев. Как-то пошла им покупать еду. Оставшийся четырехлетний ребенок проговорился об этом румынам. Их схватили, но один еврей убил ногой этого ребенка. Женщину и евреев тут же расстреляли».

27 сентября 1942. Юрий Суходольский: «В 5 часов утра были в Одессе. Добралась пешим порядком. Ну, конечно, встречи, лобзания... Подали заявления в индустриальный техникум... Буду бесплатно учиться. Вообще же плата 200 марок в год. Марки тут зовут рублями. Продуктов тьма... Страшнейшая радость. Пребывание с отцом и товарищами. Рад очень. Все — божественно. Но все-таки что-то не то. Жалко смотреть на разбитые дома. И вообще...»

14 октября 1942, он же: «В Одессе, что и говорить, — жизнь налажена. Городской голова господин Герман Пынтя на открытии Университета сказал, что жизнь в Одессе лучше, чем в каком-либо другом городе Западной Европы. Действительно, на базаре прямо что-то удивительное: колбасы, мясо, масла, фрукты и все прочее, конечно, все страшно дорого, но все-таки. Учебные заведения функционируют, трамваи ходят. В городе на каждом шагу „бодега“, пестрят вывески, комиссионные магазины, по улицам ходят нарядные дамы (сильно накрашенные). Часть домов уже отстраиваются, открываются новые магазины, мальчишки бегают, рекламируя множество городских газет. Завтра открытие сезона в оперном театре — „Борис Годунов“. Папа поет...»

16 октября 1942. Владимир Швец: «Сегодня празднуется годовщина занятия Одессы. Много шума и музыки. Много речей, уверений, молитв. По улицам встречаются собиратели „пожертвований“. В консерватории был молебен...»

16 октября 1942. Юрий Суходольский: «Сегодня в Одессе праздник — годовщина освобождения города от „ига большевизма“ и т. п. В церкви на Пушкинской улице молебен. Весь город украшен национальными флагами держав Оси. Приказано вывешивать с балконов ковры... По улицам ходят люди с кружками, продают флажки в пользу бедных».

18 октября, он же: «Были сегодня с отцом в цирке на боксе — по пропускам, которые достал Игорь. Интересно. Бились семь пар. Самый интересный был бой между румыном из Кишинева и одним одесситом. Одессит буквально не дал опомниться румыну и так его избил, что тот совсем ошалел и не сопротивлялся. В цирке стоял дикий вой, победителя целовали. Румын подает в суд, и делу еще, как видно, придана „окраска“».

17 февраля 1943. Владимир Швец: «На углу Дерибасовской и Ришельевской румыны роют пулеметные гнезда. Но жизнь по-прежнему в Одессе оживленная. В консерватории прошел концерт, посвященный Моцарту, прошел вяло».

21 февраля 1943. Адриан Оржеховский: «На фронте, вот уже два месяца, красные, собрав огромные силы, пошли в наступление и без перерыва, волна за волной, день и ночь со страшной стихийной силой нажимают на немцев, которые за последнее короткое время, а в особенности за эти несколько дней потеряли огромное пространство, отступив почти по всему фронту, а особенно на Украине, сдав Сталинград и ряд других городов вплоть до Харькова. В Германии объявлена тотальная мобилизация. Что будет дальше — посмотрим. У меня настроение подавленное».

11 мая 1943. Владимир Швец: «Утром был в Университете на Итальянском. Мне рассказывали причины выселения крестьян: они якобы спрятали высадившийся советский десант и не хотели выдать его. На Сахарном заводе в Одессе несколько раз разбрасывали прокламации, и румыны обещали расстрелять каждого пятого. Тоже происходило в Университете. Там поймали педагога, занимавшегося этим. Его так били, что „чуть кишки не вылезли“».

14 октября 1943, он же: «Был в Университете... Моя работа по переложению Симфонии для фортепиано подвигается. Погода отвратительная, сырость и дождь. Но это очень хорошо, ибо срывается эта наглая комедия торжеств по случаю 2-летия пребывания варваров в Одессе. Усиленно говорят, что город перейдет к немцам. Но все это уже мало трогает. Кроме наихудшего, ожидать нечего. Вечером был в театре Вронского».

26 сентября 1943, он же: «Сообщено об эвакуации Анапы и Смоленска. Целый день переписывал Симфонию. В Вознесенске партизаны взорвали мост через Буг и немецкий эшелон. В Одессе есть подпольная организация, в которой принимают участие и слепые. Вечером был у Галины Георгиевны. Она нагадала мне дальнюю дорогу. Но этого не может быть! Я все-таки спрячусь при отступлении немцев...»

25 декабря 1943 Адриан Оржеховский: «Мы с Тосей одиноки. Я пишу эти строки, а она читает „Новое слово“, статью „Одесса и одесситы“, где корреспондент описывает жизнь и обилие всего у нас. И действительно такого благополучия, пожалуй, во всей Европе нет. Все есть. В нашем, например, магазине полное изобилие. Литров 400 вина, водка, ликер, колбасы — всего полно. Базары полны белым прекрасным хлебом и все-таки, несмотря на такое изобилие, очень многие ждут не дождутся красных, не понимая того, что на следующий же день не достанешь куска хлеба...»

14 марта 1944. Владимир Швец: «Был в Консерватории. В связи с неудачами немцев всюду опять паника. Говорят, о сдаче Николаева, Херсона и Очакова. Местным избранным немцам дан приказ до четверга приготовиться к эвакуации».

25 марта 1944. Адриан Оржеховский: «Суббота, пять часов. Настроение отвратительное. Каждый день встаю в 11–12 часов дня. Голова полна глупейших мыслей. Полный паралич воли, стремление к чему-либо и вообще к полезной деятельности. Что делать? Надо открыть магазин и нет никакого желания. Да и собственно нечем торговать. В Одессе, началась паника, и население бросилось раскупать продукты, крестьяне же прекратили подвоз. Наш магазин за два дня опустел, и мы остались без товара, только с кучей бумажек, на которые нельзя ничего купить. Что будет дальше — посмотрим. У меня настроение подавленное».

26 марта 1944, он же: «Сажу при лампе, пью чай и пишу эти строки. Ходил в город. Одесса снова умерла, как было при первом приходе румын, с той только разницей, что сейчас немцы, а румын очень мало, все эвакуируются. Улицы пусты, народу не видно, только одни немецкие грузовики, полные разным хламом, и то сегодня их значительно меньше, чем третьего дня. Говорят, что в порту уже закладывают мины, чтобы при отступлении все взорвать. Беженцы утверждают, что немцы при отходе выгонят все население из города. Судьба нам готовит второй еврейский исход».

10 апреля 1944. Юрий Суходольский: «Итак! Одесса занята русскими. День полон впечатлений. Запишу кратко. Узнав о том, что в городе красные (утром, часов в 7), мы с папой пошли на Преображенскую и увидели первых красноармейцев (офицер в зеленой фуражке)...»

Причины, по которым авторы этих дневниковых записей остались в Одессе и пробыли там все 2,5 года оккупации, различны.

Адриан Оржеховский, натерпевшийся в 20-е годы от большевиков, как мелкий частник лишенный избирательных прав, озлобленный на советскую власть, остался в Одессе осознанно, полагая, что фашисты скинут большевиков и он уже не должен будет работать красильщиком на фабрике, а откроет, как и в былые времена, небольшой магазинчик.

Владимир Швец, студент консерватории, талантливый музыкант, полностью поглощенный музыкой, не интересующийся политикой и полагавший, что сможет остаться вне ее даже с приходом немцев.

Юрий Суходольский, школьник, комсомолец, приехавший на каникулы в Одессу и не успевший ее покинуть.

Не уверен, что было бы справедливо упрекать их в коллаборационизме, в каком-либо пособничестве оккупантам. Они, как и многие другие одесситы, просто выживали, но выживали совсем неплохо, приняв установленные оккупантами правила этого выживания, закрыв или прикрыв глаза на творящиеся вокруг них ужасы. Никто из них после освобождения ни в чем не был обвинен и никакого наказания не понес.

Краткость и определенную субъективность дневниковых записей дополняют впечатления об Одессе корреспондента берлинского нацистского «Нового слова» Николая Февра, который побывал в Одессе в ноябре–декабре 1943 года: «Знаменитый одесский Привоз кипел жизнью. Магазины, подводы и масса оживленных людей придавали ему вид ярмарки: по сторонам видны горы разнообразных товаров. Тут и сало, сложенное ярусами, окорока, колбасы, копченая рыба, бесконечные корзины с виноградом и яблоками, а на улице — живая птица и поросята с камнем, привязанным к ноге, чтобы не убежали от хозяина. На человека, хорошо знакомого в то время с полуголодной жизнью большинства европейских городов, одесский рынок производил ошеломляющее впечатление не только своим обилием, но и непонятными вначале причинами последнего».

Когда я читал об изобилии на рынке во время оккупации Одессы или о том, что одесский театр уже через пару дней после занятия города румынами и немцами открыл

свои двери и продолжил свою работу, предлагая восторженным зрителям свои лучшие постановки, то невольно искал для себя объяснение этим фактам, которые категорически не укладывались в моем сознании и противоречили тому, что я знал о жизни в других советских городах, захваченных немцами. Очевидно, объяснял я сам себе, румыны, считая Одесскую область и саму Одессу уже территорией Транснистрии, поощряли там развитие сельского хозяйства, урожаи там всегда были хорошие, рынки стали наполняться, и одесситам не пришлось голодать, как в других захваченных советских городах, что избавило их от мучений и страданий, и слава богу, думал я. То, что одесситы могли пойти в театр, послушать там оперу и хорошую музыку, позволяло им отвлечься от переживаний, страха и горестей, ненадолго забыться, сберечь свои душевные силы. То, что университет, консерватория и другие учебные заведения продолжили работать, давало возможность молодежи, которая осталась в городе, не потерять несколько лет жизни, не быть угнанными в Румынию, получить образование и потом успешно работать на благо их советской Родины после Победы, которую они все же ждали, думал я.

Но на этом мои попытки объяснить самому себе эти неожиданные факты из жизни одесситов в период оккупации моей любимой Одессы закончились, так как то, о чем еще написали журналисты в своих воспоминаниях, объяснить было уже трудно. К своему большому и искреннему удивлению, я выяснил, что помимо куска хлеба с маслом и возможности компенсировать жизненные горести музыкальными переживаниями Одесса предлагала, а большинство одесситов с удовольствием и даже с жадностью пользовалось массой других повседневных радостей и удобств, которые делали их жизнь в высшей степени приятной и комфортной.

Февр, не скрывая удивления и восхищения, продолжает описание Одессы периода оккупации: «Шум и гомон толпы оглушают, а шустрые одесские мальчишки вскакивают на подножку пролетки и наперебой предлагают спички, папиросы и зажигалки. На человека, хорошо знакомого в то время с полуголодной жизнью большинства европейских городов, одесский рынок производил ошеломляюще впечатление не только своим обилием, но и непонятными вначале причинами последнего.

Именно на этом базаре один крестьянин, приехавший сюда из голодного Николаева, простояв некоторое время в восторженном оцепенении, вдруг — еще раз осмотревшись по сторонам — снял с себя шапку, перекрестился и воскликнул: — „Господи!.. Ну, ей-богу, как при царе!“

В городе появилось много магазинов, торгующих первоклассной мануфактурой, обувью, драгоценностями, а какие-то особо предприимчивые акционеры открыли также универмаг „Лафайет“, занимавший целый этаж и снабжавший самыми различными товарами. Если бы какой-нибудь одесский франт, ушедший в небытие в 1916 году, вдруг появился бы снова в Одессе, то он мог бы без всяких карточек и комбинаций заказать себе фрак у портного на Дерibasовской улице, купить в магазине букет цветов, коробку шоколадных конфет и поехать на балетную премьеру в театр. А после театра устроить приятелям, по случаю нового воскресения, банкет в „Лондонской гостинице“ с икрой, шампанским и дичью».

Примеры описаний благополучной жизни Одессы в годы оккупации можно продолжить. В воспоминаниях Верта, Февра, Петерле и Мануйлова им уделено много внимания, но это уже ничего существенного не добавит к тому выводу, который приходится делать: одесситы, за малым исключением, с готовностью и удовольствием окунулись в неожиданно набежавшую на них волну счастливой жизни, не замечая привкуса крови в ее мутной воде.

В январе 1944 года в связи с приближением к Одессе войск Красной армии немцы ликвидировали в Одессе румынскую администрацию во главе с Германом Пынтей и ввели в город свои войска.

Вот как завершает свои воспоминания Ян Петерле: «В марте 1944 года уже начался хаос, и немцы почти без сопротивления со стороны перепуганных румын прибрали управление к своим рукам. В конце марта Одесса замерла. По ночам на улицах опять стреляли. Базарные будки заколачивались. Кто мог, запасался продуктами. И только для немецких военных шли последние спектакли в опере»

Конечно, было и немало в Одессе людей, перед которыми не стоял выбор: бежать вместе с немцами или оставаться, они жили в ожидании конца оккупации и освобождения Одессы.

Вот что записала Екатерина Гажий в своем дневнике, изданном после войны под названием «Жизнь в плену»⁴: «10/04/44 (5 часов утра). Боже, неужели свершается. Русские в городе. Да, русские солдаты, офицеры... И население осталось... Нас не выгнали, не убили, не разграбили. Пришли наши родные, дорогие действительные освободители. Схожу вниз. На улицах народ кучками стоит у ворот, но все боятся выказать свою радость. Все говорят: «Может быть, немцы провоцируют». Но вот к нашему дому подъезжает машина с русскими красноармейцами и офицерами. Сомнения нет. Народ их обнимает, целует, зовет в квартиры, поит, кормит. Целый день в городе царит оживление. Все поздравляют друг друга. В церквах молебны по случаю избавления от „иноплеменных“, колокольный звон... Неужели мы выжили? Неужели все ужасы кончились?»

10 апреля 1944 года войска 3-го Украинского фронта под командованием генерала армии Родиона Малиновского при поддержке Черноморского флота под командованием адмирала Филиппа Октябрьского полностью освободили Одессу от захватчиков.

За время оккупации города, продолжавшейся 907 дней, погибли около ста тысяч жителей, 78 тысяч человек были угнаны на принудительные работы в Германию. Спасаясь, фашисты почти полностью уничтожили Одесский порт, но, к счастью, не успели взорвать ряд заминированных зданий Одессы, в том числе и Одесский оперный театр.

* * *

Прошел год. Постепенно, не сразу опустели магазины, и большинство из них закрылось, в ресторанах и кафе снимали вывески и рекламу, исчезли, растворились в одесских переулках и дворах предприниматели, не успевшие уехать, не действовали городской транспорт и электростанции, Одесский порт лежал в руинах.

В марте 1945 года в Одессе побывала журналистка Ирина Эренбург, дочь знаменитого писателя и публициста. «Дул холодный ветер, море неприветливо. Мертвый порт, темные улицы, электростанция взорвана, всюду очереди. Веселое беспечное население недовольно приходом советских войск: при румынах — частная торговля, было полно товаров, а какая мануфактура! Евреев они, правда, расстреляли, но сделали это под нажимом немцев, а сами никому зла не желали. И за хлебом не надо было стоять в очередях».

⁴ Л. Мельниченко. Дневник Екатерины Гажий / Дом князя Гагарина. Сб. научных статей и публикаций. Вып. 8. Одесса, 2017.

На протяжении нескольких лет после войны чувствовалось, что Одесса в немилости у Москвы и в списке городов, подлежащих восстановлению, занимала последнее место.

То, что Одесса имела запущенный вид, стены домов изуродованы следами артиллерийских обстрелов, многие окна забиты фанерой, а в большинстве домов не действовал водопровод, заметил в 1948 году даже я, хотя мне было только шесть лет, но многие картинки той Одессы врезались в мою память на всю жизнь. Электричество часто отключали, и вечерами мы обедали при свете карбидной лампы, которая давала яркий свет, но от нее исходил очень неприятный, невкусный запах. Город, особенно район, прилегающий к Привозу, был заставлен ларьками, будочками и небольшими дощатыми сарайчиками, в которых что-то продавали, покупали и ремонтировали все на свете, но чаще всего примусы — основную кухонную принадлежность каждой одесской семьи. На улицах мостовые и тротуары покрыты мусором и лошадиным навозом, много инвалидов, передвигающихся на костылях с протезами из обрубков бревен, и нищих, как правило, женщин, сидящих прямо на дороге с младенцем на руках. Стайки подростков, одетых в поношенную военную форму, шныряли на базаре вдоль прилавков, стреляя глазами по сторонам.

Хорошо помню, как я шел с отцом по Дерибасовской, он крепко держал меня за руку, но через каждые 50—100 метров кто-нибудь окликал: «Исаак, это ты?» Мы останавливались, к нему подходили какие-то мужчины, хлопали по спине и крепко его обнимали. Несколько раз мы спускались в полутемные и прохладные подвалчики, где стояли огромные бочки с вином, и разговоры продолжались уже там за стаканом вина, очевидно, это были те самые бывшие румынские «бодеги».

Потом мы поднимались наверх и продолжали путь по залитой солнцем улице. Мы шли по старым, как сама Одесса, затертым до блеска каменным плитам, на поверхности которых опытные криминалисты наверняка могли бы обнаружить следы крови и частицы подошв тысяч евреев, которых румынские солдаты гнали на смерть по этим улицам всего семь лет тому назад. А вокруг шли одесситы, многие из которых видели эти процессии и, наверное, еще помнили крики несчастных людей, но страстно желали забыть их.

В 1954 году Одессе было присвоено звание города-героя, а через 20 лет за мужество и героизм, проявленные трудящимися города в борьбе с немецкими захватчиками, она получила медаль «Золотая Звезда». Перечисляя в уме другие города-герои, такие, как Ленинград, Севастополь, Сталинград, невозможно отделаться от досадного ощущения, что Одесса, моя любимая и многострадальная Одесса, попала в этот ряд незаслуженно, а ее «героизм» пополнил ряд мифов, рожденных в кабинетах советских партийных идеологов или в павильонах киностудий, где гениальные советские кинорежиссеры снимали имевшие мало общего с реальными историческими событиями мировые шедевры о революции и войне. Думаю, что ленинградцы, выдержавшие 900-дневную блокаду, севастопольцы, оборонявшие город 250 дней, и сталинградцы, не покинувшие руины города и внесшие свой вклад в разгром немецких войск, могли бы разделить мои крамольные мысли.

* * *

Никакой информации о судьбе родственников, кроме того, что они не эвакуировались и остались в оккупированной Одессе, у Нонушки (так это имя и закрепилась за ней до самого конца ее жизни), не было вплоть до лета 1944 года. Что остались в Одессе, стало известно из письма моей второй бабушки, мамы моего отца, полученного в конце 1941 года. Она писала уже из Уфы, что приходила в августе в квартиру на Ека-

терининской улице к маминим родителям, предлагала уходить вместе, но Марк отказался, а сама она с мужем и дочкой успели уйти пешком из Одессы до ее окружения.

Информация о том, как поступали фашисты с еврейским населением на захваченных советских территориях, конечно, просачивалась, но о массовом и зверском уничтожении евреев в газетах и по радио не сообщали. Поэтому, несмотря на то что все годы оккупации Одессы Нонушка прожила в тревожной неизвестности, какая-то мизерная надежда, что они живы, в душе теплилась.

О судьбе родителей, Манюшки и Тикамы ей стало известно из писем от ее близкой, еще школьной подруги Тамары и от ее двоюродного брата Бориса, сына Веры.

Письмо Тамары. Одесса. 10 июля 1944 года.

Дорогая моя незабываемая Нонушка!

И снова я в Одессе, там, где прошли наши золотые невозвратные денечки. 22 июня мы приехали и прямо с Одессы-товарной я пошла к Вам домой, заранее предвкушая радость встречи с твоими, которые как я надеялась должны были быть в Одессе. Я почти не чувствовала расстояния, так была возбуждена по пути. Много ран нанесено самым красивым домам и, несмотря на то что они все снаружи залечены, они не ушли от моего взора. Если бы ты попала в город в несолнечную погоду, тебя особенно поразила бы ободранность домов из-за давнего ремонта. И все в целом производит жалкое впечатление. Но говорят, что по сравнению с многими городами, бывшими в оккупации у немцев, Одесса очень сохранилась.

По дороге я не встретила ни одного знакомого лица. Зайдя к Вам во двор, я на минуту забыла, что прошло три тяжелых года, так много унесших. Мне хотелось по привычке помахать тебе и увидеть твою привычную фигурку на балконе. Подняв голову кверху, я увидела вашу квартиру, распахнутый балкон и окна, вырванные рамы. Затем я спросила, где же родители Нонушки, и услышала страшную истину, которую рассказала мне, внезапно подошедшая, кажется бывшая Ваша домработница, некрасивая такая, чуть косая. У нее была маленькая девочка перед войной, которую Сока часто брала играть. Знаешь кто? И кроме того, рассказ дополнила старшая из сестер, уже превратившаяся в интересную, но румынского образца девицу, которые жили над Любовскими. Я не хочу это от тебя скрывать, следуя твоей просьбе рассказать всю правду, ту которую ты рано или поздно узнала бы сама, ту, к которой ты себя часто подготавливала в течении всех этих военных лет. Мне тяжело писать, вот причина, из-за которой я тебе так долго ничего не писала. Собери силы и послушай: спустя 7 дней после прихода немцев все евреи должны были пройти регистрацию. Вскоре после этого они были в числе колоссального количества собранные и угнаны в так называемое гетто, это было уже в зимнее время, как говорят жители, в небывалый до сих пор мороз. Манюшка больше всех плакала, особенно всем было жалко Тикаму. Ее хотели спрятать соседи, но мама не решилась оставить ее у чужих в такое страшное время.

Всех погнали на Романевку, я не хочу сгущать краски и описывать все происходящее в дороге, скажу тебе, что кровь стынет в жилах и мороз бежит по коже, когда слышишь подробности. По дороге умерла Манюша за что-то сказанное в тоне протеста. Тикамочка тоже умерла в дороге от дизентерии, погиб там и папа. Затем говорят, что кто-то из соседей видел маму, седую, полуслепую, в мешковине, голодную в какой-то деревне, она умоляла принести ей что-нибудь из вещей, но никто ее просьбу не выполнил и больше о ней ничего не слышали. Как устроиться в дальнейшем, не знаю. В Одессе нет ни малейшего желания жить. Представляешь, она сейчас совершенно чужая, город спекулянтов и проституток, зараженных всякой дрянью. Еще много пройдет времени пока он очистится от этой нечисти. Как жаль, что никого нет из близких, все кто не уехал в большинстве своем евреи, убиты и замучены, для нас Одесса сейчас кладбище...

Борис появился в Одессе в самом конце лета 1944 года, приехав из Чебаркуля, куда его, 15-летнего подростка, эвакуировали с его мамой из блокадного Ленинграда в феврале 1942 года. Их, завернутых в одеяло, умирающих от истощения, положили в грузовой вагон между ящиков с оборудованием для самолетов, направленным в Ленинград из восточной части, в которой служил мой отец.

Как и в связи с чем приехал Борис в Одессу и что он там узнал, будет понятно из его воспоминаний, которые он написал в 1998 году. Они начинаются с момента приезда с его мамой в марте 1942 года в Чебаркуль, куда их вывезли из блокадного Ленинграда. Через два года, в апреле 1944 года, как только освободили Одессу, Борис пишет в Одесское мореходное училище письмо с просьбой вызвать его на сдачу экзаменов.

Как это не звучит фантастически, но уже летом 1944 года мне пришел вызов. С большим трудом увольняюсь с завода и через полстраны добираюсь до Одессы. Оформляюсь в общежитии мореходки и в первую очередь иду на Екатерининскую 2 в квартиру № 41.

Пришел, флигель разбит бомбой до самого подвала. По парадной не подняться, только по черному ходу. Квартира пустая, только мусор и обломки. В квартире подняты полы, вынуты изразцы из печки. Куб для воды разобран. Четко видно, что искали ценности. Знали, что Марк ювелир. В куче мусора нашел несколько фотографий и старых писем. Во дворе встречаю свою сверстницу, которая прожила в доме всю оккупацию. Она рассказала, что после попадания бомбы в подъезд, дома ночевал только Марк, остальные жили на первом этаже в квартире Хостов. В одну из бомбежек у ворот дежурила Софа, с ней была Маргаритка, и ее ранило в руку, а Софу контузило. Манюшка умоляла уехать из города, но Марк не хотел, наверное, планировал жить так, как прожил при немцах пару месяцев в Первую мировую войну.

Если верить Тамаре, то она приносила пропуск и билеты на всю семью для эвакуации на пароходе, но Марк не хотел уезжать, а женщины не могли очевидно без него решиться на отъезд. Что принесла бы эта эвакуация неизвестно, большинство пароходов фрицы потопили.

Приятель Марка, Аким-сапожник де-юре и контрабандист де-факто, у которого было четыре дочки, как только начали сгонять евреев в гетто, пришел и просил отдать ему Тикаму, мол, среди четырех армянок спрячется. Не отдали естественно. Когда уже выгоняли евреев во двор, Маргаритка убежала к няньке, но Сока забрала ее обратно. А Маргаритка няньке говорила: „Все равно братик меня спасет“. Я знаю абсолютно точно, что это выдумать нянька не могла. Это были слова Маргаритки, продиктованные нашей предыдущей жизнью, моим поведением и нашими отношениями до войны. И эта фраза мне не дает спокойно жить до сих пор, я виноват перед ней, ведь я действительно это ей всегда обещал, даже в детских играх.

И вот стали евреев выгонять из квартир, из домов, из дворов на улицу и по ней гнали. Когда пришли за нашими, Марк стал сбрасывать продукты с балкона, у него был приличный запас, он уже был вне себя.

На Дальнике, куда согнали евреев, житель того же дома, борец, не помню фамилию, задушил Манюшку, вырвал зубы золотые, взял серьги и еще что-то. Подкупил румын и убежал. Остался жив. Я пришел к нему, он в квартиру не пустил и разговаривать отказался. Вера, домработница Бродского рассказала, что видела Софью Борисовну в селе Красное, это на полпути в Николаев. Ее вел полицейский, она была без глаза, в каком-то мешке, в струпьях. Она Веру узнала и сказала: „принеси мне какие-нибудь платья, ведь там у меня осталось столько вещей“. Выдувала это Вера или нет, кто знает. На мой вопрос — возила ли платье, ответила да, но не застала там никого.

В тех местах в то время Госкомиссия вела вскрытия захоронений, и я поехал, но после того как я там упал в обморок около одной из могил, уехал. Опознать там что-либо было невозможно.

Что было в голове в тот момент, я не помню, но сейчас мне представляется, что решил: учебу потом, а сейчас на фронт. Все время буравила мысль о том, как буду смотреть в глаза людям, не был на фронте, отсиживался в тылу. После трехнедельного пребывания в Одессе и последовало то, что долго зрело — ушел на фронт.

Вот такие два письма получила мама осенью 1944 года. Ей было 24 года, возраст, когда потеря родителей вызывает сильнейшую боль в сердце и ноющую тоску в душе.

Обстоятельства смерти маминых родителей, Манюшки и Тикамы, рассказанные Тамарой и Борисом, разнятся, но не в этом суть. Очевидно только одно: умерли они мучительно, претерпев длительные страдания, унижения, страх, отчаяние и беспомощность. Можно еще раз посетовать на заблуждения и «дремучесть» Марка, моего деда, и на нерешительность бабушки, которые не распознали руки Бога, которую он протягивал к ним, когда Тамара принесла билеты на пароход, когда мама моего отца предлагала им вместе уйти пешком из Одессы, когда приятель Марка Аким хотел забрать Маргаритку к себе в армянскую семью и, наконец, уже в последнюю минуту, когда их уже выгнали во двор и няня Тикамы взяла ее за руку и хотела увести к себе в русскую семью, а они эти шансы отвергли. Что сказать? Не мне их судить и винить. Они сполна расплатились за свои ошибки.

Летом 1946 года моя Нонушка приехала в Одессу, и поднялась в разгромленную, полную мусора квартиру. Нашла несколько фотографий и те чудом сохранившиеся два листка из дневника Тикамы, разговаривала с соседями, и они отдали ей несколько вещей: пару вазочек и пару кашпо, которые теперь висят на стене моей квартиры как немые свидетели ужасных событий, происходящих за стенами дома. Больше она в свой двор никогда не заходила. Я пришел туда в 1983 году, но ничего там не почувствовал, ничего не напоминало о былых трагических событиях. Весь двор был закатан асфальтом, надежно прикрывшим булыжники и следы сапог румынских солдат, все жильцы — новые, не знающие и не подозревающие о том, что происходило в их доме осенью 1941 года. Недавно, путешествуя в Интернете по Одессе, выяснил, что в этом флигеле теперь устроена гостиница. Надеюсь, ее постояльцев по ночам кошмары не мучают.

В материалах Одесской областной и Чрезвычайной комиссии по расследованию преступлений гитлеровских войск приводится таблица, занявшая несколько страниц, в которой перечисляются способы, каким образом были умерщвлены румынскими фашистами тысячи евреев в Ворошиловском районе Одессы: «расстреляно, повешено, сожжено на кострах, заморожено, утоплено, закопано в землю живыми, умерло от голода, погибло в результате бомбардировок, угнано в рабство, замучено, забито, и прочее».

Широко распространен — и многие иудеи сами поддерживают — миф о «богоизбранности» еврейского народа. Кто-то в это верит, кто-то иронично улыбается, а для кого-то это является поводом для проявления ненависти и злобы. Мало кто задумывается, что это якобы «особое божественное отношение» очень часто, слишком часто выливалось в неизмеримые страдания и мучения еврейского народа, и, пожалуй, только дарованная евреям свыше стойкость, позволившая сохранить себя как нацию, как этнос, как удивительный цивилизационный феномен, оправдывает Всевышнего в глазах истории.

Дмитрий АНИКИН

АННА АХМАТОВА. ПАМЯТНИК САМОЙ СЕБЕ

Есть в Евангелии от Матфея притча о талантах:

«Одному дал он пять талантов, другому — два, и третьему — только один, каждому в соответствии с их способностями, сам же уехал. Тот, что получил пять талантов, тотчас пустил их в оборот и нажил еще пять. Получивший два таланта таким же образом нажил еще два. А тот, который получил один талант, пошел, выкопал в земле яму и спрятал в ней деньги своего господина» (Мф. 25:15–18).

А бывает тот, кто получает один талант, но настолько выгодно пускает его в оборот, что на выходе — пять. И господин не знает, что делать с таким рабом.

«Юность моя — юность гения. Я жил и поступал так, что оправдать мое поведение могут только великие деяния», — писал о себе Брюсов. Юность Ахматовой, с ее лунатизмом, ее любовным дурманом, не обещала гениальности. Это была юность декадентки, модернистки, модной поэтессы. Все ярко, все символично, все соответствует духу эпохи. Ахматова, бродящая ночами по коридорам Смольного, — это сцена для дурного фильма с прицелом на дешевую мистику. Тут еще нет русской литературы. В СМОЛЬНОМ НЕ БЫЛА.

Гумилев часто сравнивал ее со змеей, и у других это сравнение было ходовым. Она была гибкая, как змея, и такая же опасная, такая же хладнокровная.

Из логова змиева,
Из города Киева,
Я взял не жену, а колдунью.

Гумилев и Ахматова. Этот брак действительно был заключен на небесах. На землю идеальный небесный образ отразился в виде искаженном и мучительном. Как они ни противились, но обе их поэзии, пошедшие от единого анненского корня, постоянно переплетались ветвями. Все остальные были призваны в акмеизм только для того, чтобы семейственность этого дела не выглядела такой явной. Может быть, это была одна поэзия на двоих. Инь и ян. После смерти Гумилева Ахматовой приходилось справляться одной.

Дмитрий Владимирович Аникин родился в 1972 году в Москве. По образованию — математик. Предприниматель. Публикации: циклы стихов в журналах и альманахах «Prosodia», «Перископ-Волга» «Нижний Новгород», «7 искусств», «Сетевая словесность», «Клаузура», «Русский колокол», «Русский альбион», «Русское поле», «Русло», «Золотое руно», «Новая литература», «Зарубежные задворки», «Великороссь», «Камертон», «Тропы», «Новый енисейский литератор», «Фантастическая среда», «Айсберги подсознания», «Русское вымя», «Фабрика литературы», «Точка зрения», «9 муз», «Арина», «Littera-Online», «Поэтоград», «Вторник». Автор книг «Повести в стихах», «Сказки с другой стороны», «Нечетные сказки». Живет в Москве.

Городецкий называл Ахматову «моя недоучка». Каково слышать такое от самого бездарного поэта эпохи? Но в чем-то он был прав: Ахматова пришла в поэзию человеком необразованным. Учила языки и изучала мировую литературу уже в зрелом возрасте, уже состоявшись сама. Это странный опыт — впервые прочитать Данте, как равный равного.

И Ахматова, и Гумилев писали до крайности безграмотно. Гумилев утверждал, что при том, сколько книг он прочел, его безграмотность — это признак кретинизма, а кретинизм — гениальности. Когда видишь рукопись Ахматовой, вообще кажется, что писал не просто малограмотный, но человек, для которого русский неродной. В ее рукописях можно найти: «выставка», «разказал», «оплупленный». Вот уж когда поверишь в происхождение от татарской княжны.

О себе Гумилев писал:

Только змеи сбрасывают кожи,
Чтоб душа старела и росла.
Мы, увы, со змеями не схожи,
Мы меняем души, не тела.

Ахматова, как истинная змея, меняла кожу, а душа старела и росла. Другое дело, что кожа зачастую сдиралась вместе с мясом. Ну так отечественный способ выделки! А душа неестественно, не по годам, росла, так часто кожу сдирали.

Никто не сумел с таким достоинством прожить свою грешную жизнь.

С возрастом Ахматова становилась все больше похожа на Екатерину Вторую — Анна Великая, императрица всяя Руси.

«Прервалась связь времен». Ахматова оставалась единственной, кто эту связь поддерживал. Вокруг нее дышалось не воздухом Серебряного века, но воздухом пушкинской, дворянской России.

В греческой культуре оценивали поэтов по степени близости к Гомеру; так, из девяти великих лириков гомеричнейшим считался Стесихор. Самым пушкинским поэтом двадцатого века была Ахматова.

Ни один поэт не может получить пушкинское наследство целиком. Юмор, беспокойный ум, полемический задор Ахматовой не достались.

О Любви Блок, всеобщей *Прекрасной Даме*, Ахматова сказала: «Бегемот, вставший на задние лапы». Ненавидела Наталью Гончарову, презирала Лилю Брик.

Нечего в поэзии делать непишущим женщинам, так называемым *музам*.

Лев Лосев предположил, что в названии «Поэма без героя» как раз и зашифровано имя главного героя, по первым буквам: П, б, г — Петербург.

Или «Поэма без героя» потому, что все место, все строки заняла героиня, и автор мучительно пытается понять, кто эта героиня: двойник? отражение в зеркале? она сама, пишущая свои строки?

Ахматова думала сделать из поэмы трагический балет. Гибкая, сильная была, многие пророчили ей балетное будущее.

В Кремле не надо жить — Преображенец прав,
Там древней ярости еще кишат микробы:
Бориса дикий страх, и всех Иванов злобы,
И Самозванца спесь — взамен народных прав.

«Петербург — самый умышленный город на свете», — писал Достоевский. Неудивительно, что самый умышленный русский поэт — Ахматова — стала голосом Петербурга.

Возможно ли представить московскую Ахматову или петербургскую Цветаеву? Цветаева, конечно, подарила Ахматовой Москву, но та не знала, что с подарком делить, и отдариваться не стала.

Знаменитая встреча Ахматовой и вернувшейся из Парижа Цветаевой. «Кто я против Марины? Телка!» — якобы сказала Ахматова. Иногда эти слова объясняют преклонением Ахматовой перед стихами Цветаевой, иногда — презрительной завистью к парижским шмоткам. Взгляд поэтический и взгляд женский.

Русская литература сделала все, чтобы никакое оправдание Сталина не было возможным. Русская история делает все, чтобы появился новый «Реквием».

«Реквием» — это прекрасные стихи, иногда кажется, что слишком прекрасные. Как будто Ахматова смогла гармонизировать то, что гармонизировать было нельзя.

Ахматова когда дарила томик своих стихов, тщательно заклеивала те, которые попали туда из сборника «Слава миру», а зря: бездарность сервильных стихов только подчеркивала честность и чистоту ее дара.

Упорная мастерица, когда это касалось собственной поэзии, Ахматова равнодушно относилась к качеству своих переводов и беззастенчиво пользовалась трудами литературных «негров». Этакая Александра Дюма-мать.

Видимо, рассуждала: кому надо, те прочтут в подлиннике.

Переводческая халтура приносила ей серьезные деньги.

Как известно, холодная война началась после ночного визита Берлина к Ахматовой. Ахматова обладала редким даром: она чувствовала историческое время, в котором приходится жить. Рассказывают, что и обычное время она тоже точно чувствовала, прекрасно обходясь без часов.

«Полумонахиня, полублудница» — определение хлесткое, но уж очень поверхностное. Кажется, что Ахматова сама подталкивала к таким дефинициям, привлекающим читателя, но скрывающим истинную сущность поэта. Ахматова не обрела всю глубину поэтического дара только в 30-е, в годы «ежевщины», но обладала некоторыми впадинами, омутами изначально. Просто не хотела отталкивать курсисток. Вся эта знаменитая любовная лирика Ахматовой, она не только о любви...

В том библиотечном шкафчике, куда рассовывают стихи, все, что целиком и без остатка помещается в одну ячейку, немного стоит. Любовные, эротические, военные, гражданские стихи — если эпитетом определяется вся суть стихотворения без остатка — не имеют прямого отношения к поэзии.

Ахматова не обладала выдающимся умом, но была по-настоящему мудра. Она понимала границы своего разума и за них — ни-ни. Сдержанность — редкое качество для поэзии.

Печальным взором и молящим
Глядит Ахматова на всех,
Был выхухолем настоящим
У ней на муфте драный мех...

На эти строки нешуточно обиделась. Юмор в свои стихи не допускала, опасалась, что будет недостаточно умно. К чужим поэтическим шуткам относилась холодно. Невозможно представить ее одним из авторов «Античных глупостей». Ирония Ахматовой — «Я научила женщин говорить, / Но... как их замолчать заставить» — отдает некоторым жеманством. Сама не обладая чувством юмора, она боялась показаться смешной.

Стихи молодой Ахматовой обещали большое поэтическое будущее, но не то, которое ей досталось. Трагедию от драмы отличает присутствие рока — чего-то тако-

го, что начинает влиять на действие независимо от планов писателя. Или так: готовилась трагедия классическая, личная, а случилась та, где, по словам Элиана и Бродского, гибнет не только протагонист, но и хор.

Скоро мне нужна будет лира,
Но Софокла уже, не Шекспира.

И шекспировская лира не была для Ахматовой первой. Начиналось пение под лиру Сафо. И ни одну лиру Ахматова не отбрасывала окончательно. Все в хозяйстве пригодится.

Кто она под конец жизни, если с точки зрения домоуправления? Человек без определенного места жительства. Бомж. Если бы это было игрой, модернистским жизне-творчеством, то отдавало бы дурновкусием.

После чтения Ахматовой появляется ощущение, что она так мало сказала, хотя так много знала. Боюсь, что это ощущение ложное. Ахматова — уникальное явление в русской поэзии, она смогла реализовать свой талант полностью. Как говорил гоголевский Осип: «Веребочка?.. И веревочка... пригодится». Всякое лыко шло в строку. Казалось, что поэтический КПД Ахматовой асимптотически приближается к ста процентам. А потом, без какого-то великого перелома, без взрыва, меняющего суть явлений, продолжает увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться.

Под конец жизни Ахматова скрупулезно правила свои стихи и чужие мемуары. Кажется, что создание ахматовского мифа было для нее важнее самой поэзии.

А если когда-нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне...

Ахматова первая после Пушкина без иронии заговорила о памятнике себе.

Понятно, откуда взялись все эти пакостные книжонки, разоблачающие Ахматову. Слишком законченным, слишком целостным получился ее образ, так и тянет как-нибудь выщербить. Таких людей не бывает в жизни, такие бывают только герои в классической литературе.

Ариадна Эфрон, то ли сама, то ли передавая слова матери, сказала об Ахматовой: «Она — само совершенство, и в этом ее предел». Это был предел не Ахматовой, это был предел самой поэзии.

Гениальность не врожденная, но благоприобретенная. Наверное, единственный случай в русской, а может быть, и в мировой поэзии.

«Какую биографию делают рыжему», — сказала Ахматова, узнав об аресте Бродского. Настоящая биография поэта — это список написанных и прочитанных книг, все остальное — маргиналии. Бродский всю оставшуюся жизнь пытался отделаться от своей биографии, он хотел, чтобы его ценили как русского поэта, а не как жертву режима.

Лев Гумилев упрекал мать: «Тебе было бы лучше, если бы я сгинул в лагере». Ей было бы хуже, а мифу лучше.

У нее были свои истории, анекдоты: продуманные и затверженные до последнего слова, они должны были казаться слушателям импровизацией. Она называла эти приспособления для *table-talk* «мои пластинки».

Ахматова так тщательно выстраивала свой миф, что не заметила, как его переросла. Для того чтобы звучала любовная лирика и даже трагические стихи 20-х годов, нужна была поза, нужны были тщательно проработанные модуляции голоса, нужен был

подтекст, обеспеченный нелитературными средствами, нужна была биография. А вот «Реквием» и «Поэма без героя», поздняя лирика не нуждаются в знаковом авторе. Кто угодно подойдет: хоть та, кто трехсотая с передачею, хоть аристократка и богачка, — ничего не прибудет и не убудет.

Так что разоблачители Ахматовой, может быть, работают на благо ее поэзии. Как на Суд Божий душа человеческая является без лишних атрибутов вроде имени и судьбы, так и поэзия имеет значение только сама по себе. Пушкину и в голову бы не пришло заботиться о том, как он будет выглядеть в воспоминаниях современников. Кстати, когда Ахматова писала о Пушкине, то понимала, что поэт в обычной жизни должен быть бестактен. А вот когда речь шла о ней самой, то какие-то провинциальные страхи сдерживали ее живую натуру. Может быть, эти страхи и оставались единственной подлинной чертой в каноническом облике Анны всея Руси.

Обычные стихи стесняются своего автора, стихи гениальные принимают свое сомнительное происхождение как должное.

Когда б вы знали, из какого сора...

Простим поэту его биографию, любую, даже самую прекрасную!

ГОНЧАРОВ КАК ЗЕРКАЛО РУССКОГО КОНСЕРВАТИЗМА

Создатель бессмертного Обломова в обоих своих первых романах «Обыкновенная история» и «Обломов», принесших ему всероссийскую славу, столкнул восторженного романтика Адуева-младшего и мечтателя-лежебоку Обломова с трезвыми, практичными «новыми людьми» Адуевым-старшим и Штольцем, дабы выразительнее или даже, если угодно, разительнее показать торжество и необходимость для России людей дела, деловых людей.

Но как они черствы и малосимпатичны и как трогательны романтики и мечтатели! И с какой любовной улыбкой живописует Гончаров райский уголок, Обломовку, где безмятежно расцветал ее будущий хозяин! Там и само небо не возносится над людьми чем-то далеким, холодным и опасным. «Небо там, кажется, напротив, ближе жметя к земле, но не с тем, чтоб метать сильнее стрелы, а разве только, чтоб обнять ее покрепче, с любовью: оно распростерлось так невысоко над головой, как родительская надежная кровля, чтоб уберечь, кажется, избранный уголок от всяких невзгод». «Измученное волнениями или вовсе не знакомое с ними сердце так и просится спрятаться в этот забытый всеми уголок и жить никому не ведомым счастьем. Все сулит там покойную, долговременную жизнь до желтизны волос и незаметную, сну подобную смерть». В этом раю «счастливые люди жили, думая, что иначе и не должно и не может быть, уверенные, что и все другие живут точно так же и что жить иначе — грех».

Штольца Гончаров конструировал умом, а Обломовку живописал сердцем. Неудивительно, что у радикальной интеллигенции он прослыл консерватором, тем более что к революционным фантазиям он и впрямь относился безо всякой симпатии. И во все не потому, что был каким-то особенным «крепостником» — Гончаров происходил из зажиточных купцов и никогда крепостными душами не владел, он просто не верил, что жизнь можно выстроить по каким бы то ни было идеальным планам: его много лет

Александр Мотелевич Мелихов родился в 1947 году в городе Россошь Воронежской области. Окончил матмех ЛГУ, работал в НИИ прикладной математики при ЛГУ. Кандидат физико-математических наук. Как прозаик печатается с 1979 года. Литературный критик, публицист, главный редактор журнала «Нева». Произведения переводились на английский, венгерский, итальянский, китайский, корейский, немецкий, польский языки. Набоковская премия СП Санкт-Петербурга (1993) за роман «Исповедь еврея». Премия петербургского ПЕН-клуба (1995) за «Роман с простатитом». Премия интернет-конкурса «Тенета.ринет»-2002 в номинации «Литературные очерки, публицистика». Премия им. Гоголя от правительства Санкт-Петербурга и СП Санкт-Петербурга за роман «Чума» (2003), за роман «Интернационал дураков» (2009) и за роман «Тень отца» (2011), премия правительства Санкт-Петербурга (2006) за роман «В долине блаженных». Премия им. Гоголя за роман «Свидание с Квизимодо» (2017). Премия им. Искандера (2022), премия правительства Санкт-Петербурга (2023) и премия «Книга года» (2023) за роман «Сапфировый альбатрос». Премия им. Гончарова за роман «Тризна» (2023). Премия «Неистовый Виссарий» за вклад в развитие критической мысли (2024).

преследовала тема человеческой слабости, неспособной удержаться на высоте каких бы то ни было идеалов, хоть «прогрессивных», хоть «реакционных», если даже допустить, что таковые возможны. Однако радикальная инквизиция в такие тонкости входить не желала и в отместку за образ нигилиста Марка Волохова из итогового романа «Обрыв» обвинила его автора не менее как в продажности. Разумеется, это была клевета, Гончаров совершенно искренне считал «жалкими и несамостоятельными доктринами материализма, социализма и коммунизма» (при том, что должность цензора, сколько ни твори на ней добрых малых дел, украсить писателя, увы, никак не может).

В августовском письме 1869 года Афанасию Фету Гончаров писал о недавно опубликованном в «Вестнике Европы» романе: «Это дитя моего сердца; я слишком долго (с 1849, когда он зачался, во время моего посещения берегов Волги) носил его под ложечкой, оттого он и вышел большой и неуклюжий. Я его переносил». «Обрыв» действительно продуман чересчур тщательно — персонажи почти не выходят из отведенных им сюжетных функций: простушка Марфинька всегда простушка, горячка Вера всегда горячка, эстет Райский всегда эстет (хотя их внешние проявления почти неизменно точны и живописны), в якобы непринужденных диалогах герои высказываются о важных для автора предметах с полнотой, возможной лишь в научных дискуссиях, — в общем, чистый Солженицын, хотя и гораздо более роскошный в живописном и языковом отношении. Ну, и отклик явился сопоставимый — с поправкой на многократно более узкую читательскую массу. Редактор «Вестника Европы» Стасюлевич лишь публикацией «Обрыва» объяснял «страшный успех журнала: в прошедшем году за весь год у меня набралось 3700 подписчиков, а ныне, 15 апреля, я переступил геркулесовы журнальные столпы, т. е. 5000, а к первому мая имел 5700». В России такие подскоки тиражей возможны лишь по политическим, но никак не по эстетическим причинам.

При том, что Гончаров в своем остро социальном романе впрямую не коснулся ни одного из животрепещущих социальных «вопросов» — ни крестьянского, ни судебного, ни армейского, ни женского, — все романские катаклизмы вращаются вокруг сугубо личного предмета — вокруг любви. И оказалось, что именно в любви старое и новое проявляются в наибольшей полноте. Гордая чистая Вера влюбляется в хамоватого Марка Волохова именно потому, что воображает за его демонстративным презрением ко всем условностям какую-то новую мечту о более осмысленной и честной жизни: он и яблоки-то крадет, приговаривая, что это как раз собственность есть кража. Но если его честность требует избавляться от разных романтических украшений, а спариваться так же откровенно и на короткий срок, как спариваются животные, то Веру уже не интересуют никакие Прудоны с Фейербахами.

— Вы хотите драпировки: все эти чувства, симпатии и прочее — только драпировка, те листья, которыми, говорят, прикрывались люди еще в раю...

— Да, люди! — сказала она.

Он усмехнулся и пожал плечами.

— Пусть драпировка, — продолжала Вера, — но ведь и она, по вашему же учению, дана природой, а вы хотите ее снять.

Она с изумлением увидела этот новый, вдруг вырвавшийся откуда-то поток смелых, иногда увлекательных идей, но не бросилась в него слепо и тщеславно, из мелкой боязни показаться отсталой, а так же пытливо и осторожно стала всматриваться и вслушиваться в горячую проповедь нового апостола.

Ей прежде всего бросились в глаза зыбкость, односторонность, пробелы, места-ми будто умышенная ложь пропаганды, на которую тратились живые силы, дарования, бойкий ум и ненасытная жажда самолюбия и самонадеянности, в ущерб простым и очевидным, готовым уже правдам жизни только потому, как казалось ей, что они были готовые.

Иногда в этом безусловном рвении к какой-то новой правде виделось ей только неумение справиться со старой правдой, бросающееся к новой, которая давалась не опытом и борьбой всех внутренних сил, а гораздо дешевле, без борьбы и сразу, на основании только слепого презрения ко всему старому, не различавшего старого зла от старого добра, и принималась на веру от не проверенных ничем новых авторитетов, неведь откуда взявшихся новых людей — без имени, без прошедшего, без истории, без прав.

Она добиралась в проповеди и увлечениях Марка чего-нибудь верного и живого, на что можно опереться, что можно полюбить, что было так прочно, необманчиво в старой жизни, которой во имя этого прочного, живого и верного она прощала ее смешные, вредные уродливости, ее весь отживший сор.

Она страдала за эти уродливости и от этих уродливостей, мешавших жить, чувствовала нередко цепи и готова бы была, ради правды, подать руку пылкому товарищу, другу, пожалуй, мужу, наконец... чем бы он ни был для нее, — и идти на борьбу против старых врагов: стирать ложь, мести сор, освещать темные углы, смело, не слушая старых, разбитых голосов, не только Тычковых, но и самой бабушки, там, где последняя безусловно опирается на старое, вопреки своему разуму, — вывести, если можно, и ее на другую дорогу. Но для этого нужно было ей глубоко и невозвратно убедиться, что истина — впереди.

Она шла не самонадеянно, а, напротив, с сомнениями, не ошибается ли она, не прав ли проповедник, нет ли в самом деле там, куда так пылко стремится он, чего-нибудь такого чистого, светлого, разумного, что могло бы не только избавить людей от всяких старых оков, но открыть Америку, новый, свежий воздух, поднять человека выше, нежели он был, дать ему больше, нежели он имел.

Она прислушивалась к обещанным им благам, читала приносимые им книги, бросалась к старым авторитетам, сводила их про себя на очную ставку, — но не находила ни новой жизни, ни счастья, ни правды, ничего того, что обещал, куда звал смелый проповедник.

А сама шла все за ним, увлекаемая жаждой знать, что кроется за этой странной и отважной фигурой.

Дело пока ограничивалось беспощадным отрицанием всего, во что верит, что любит, на что надеется живущее большинство. Марк клеймил это враждой и презрением, но Вера сама многого не признает в Старом Свете. Она и без него знает и видит болезни: ей нужно знать, где Америка? Но ее Колумб вместо живых и страстных идеалов правды, добра, любви, человеческого развития и совершенствования показывает ей только ряд могил, готовых поглотить все, чем жило общество до сих пор. Это были фараоновы тощие коровы, пожиравшие толстых и не делавшиеся сами от того толще.

Он во имя истины развенчал человека в один животный организм, отнял у него другую, не животную сторону. В чувствах видел только ряд кратковременных встреч и грубых наслаждений, обнажая их даже от всяких иллюзий, составляющих роскошь человека, в которой отказано животному.

Самый процесс жизни он выдавал и за ее конечную цель. Разлагая материю на составные части, он думал, что разложил вместе с тем и все, что выражает материя.

Угадывая законы явления, он думал, что уничтожил и неведомую силу, давшую эти законы, только тем, что отвергал ее, за неимением приемов и свойств ума, чтобы уразуметь ее. Закрывал доступ в вечность и к бессмертию всем религиозным и философским упованиям, разрушая младенческими химическими или физическими опытами и вечность, и бессмертие, думая своей детской тросточкой, как рычагом, шевелить дальние миры и заставляя всю вселенную отвечать отрицательно на религиозные надежды и стремления «отживших» людей.

Между тем, отрицая в человеке человека — с душой, с правами на бессмертие, он проповедовал какую-то правду, какую-то честность, какие-то стремления к лучшему порядку, к благородным целям, не замечая, что все это делалось ненужным при том указываемом им случайном порядке бытия, где люди, по его словам, толпят-

ся, как мошки в жаркую погоду в огромном столбе, сталкиваются, мнутся, плодятся, питаются, греются и исчезают в бесплодном процессе жизни, чтоб завтра дать место другому такому же столбу.

«Да, если это так, — думала Вера, — тогда не стоит работать над собой, чтобы к концу жизни стать лучше, чище, правдивее, добрее. Зачем? Для обихода на несколько десятков лет? Для этого надо запастись, как муравью зернами на зиму, обиходным уменьем жить, такую честностью, которой синоним ловкость, такими зернами, чтоб хватило на жизнь, иногда очень короткую, чтоб было тепло, удобно... Какие же идеалы для муравьев? Нужны муравьиные добродетели... Но так ли это? Где доказательство?»

А он требовал не только честности, правды, добра, но и веры в свое учение, как требует ее другое учение, которое за нее обещает — бессмертие в будущем и, в залог этого обещания, дает и в настоящем просимое всякому, кто просит, кто стучится, кто ищет.

Новое учение не давало ничего, кроме того, что было до него: ту же жизнь, только с унижениями, разочарованиями, и впереди обещало — смерть и тлен. Взявши девизы своих добродетелей из книги старого учения, оно обольстилось буквою их, не вникнув в дух и глубину, и требовало исполнения этой «буквы» с такою злобой и нетерпимостью, против которой остерегалось старое учение. Оставив себе одну животную жизнь, «новая сила» не создала вместо отринутого старого никакого другого, лучшего идеала жизни.

Вглядевшись и вслушавшись во все, что проповедь юного апостола выдавала за новые правды, новое благо, новые откровения, она с удивлением увидела, что все то, что было в его проповеди доброго и верного, — не ново, что оно взято из того же источника, откуда черпали и не новые люди, что семена всех этих новых идей, новой «цивилизации», которую он проповедовал так хвастливо и таинственно, заключены в старом учении.

От этого она только сильнее уверовала в последнее и убедилась, что — как далеко человек ни иди вперед, он не уйдет от него, если только не бросится с прямой дороги в сторону или не пойдет назад, что самые противники его черпают из него же, что, наконец, учение это — есть единственный, непогрешительный, совершеннейший идеал жизни, вне которого остаются только ошибки.

Вера не шла, боролась, — и незаметно, мало-помалу перешла сама в активную роль: воротить и его на дорогу уже испытанного добра и правды, увлечь, сначала в правду любви, человеческого, а не животного счастья, а там и дальше, в глубину ее веры, ее надежд!..

Ужас, который «падение» Веры вызывает в ее патриархальном семействе, отдает изуверством, но, настаивает Гончаров, и оно может быть преодолено любовью. И последний его «новый человек» Тушин, трепетно влюбленный в Веру, просто-таки считает ее «падение» не какой-то низостью, но просто ошибкой и несчастьем, в котором он готов ей помогать, покуда она будет в этом нуждаться. Именно этот дар верности и сострадания, а не выдающиеся деловые качества и превращают Тушина (не перекличка ли тут с толстовским капитаном Тушиным?) едва ли не в единственного безупречного — пожалуй, чересчур даже безупречного — героя романа.

Ценность экономических и политических учений должна быть испытана их отношением к любви — вот, пожалуй, главный урок «консерватора» Гончарова. Урок, возможно, сознательный. И еще один урок, скорее всего, бессознательный — у консерватизма нет собственной грезы, пробуждающей в людях «смелость и огонь», как выразился о тайне обаяния Волохова сам Гончаров в своих критических заметках «Лучше поздно, чем никогда». Именно потому консерватизму так трудно обольщать романтическую молодежь, что она не может разглядеть смелости и огня в исполнении долга без изрядной примеси бунтарства.

Этим, «безочарованностью», грешит и «пробудившийся Обломов», пылкий эстет и одаренный дилетант Райский (тоже говорящая и более похожая на семинарскую, чем на дворянскую, фамилия): «Равнодушный ко всему на свете, кроме красоты, Райский покорялся ей до рабства, был холоден ко всему, где не находил ее, и груб, даже жесток, ко всякому безобразию». Вот его и не возбуждают серьезные дела: «Всякое так называемое „серьезное дело“ мне кажется до крайности пошло и мелко. Я бы хотел разыграть остальную жизнь во что-нибудь, в какой-нибудь необыкновенный громадный труд, но я на это не способен, — не приготовлен: нет у нас дела! Или чтоб она разлетелась фейерверком, страстью!»

Но что представляется истинно великим самому Гончарову? Раздавленная своим унижением Вера внезапно испытывает сострадание к тоже истерзанному несчастной любовью Райскому, — «и в голосе ее — отозвалось, кажется, все, что есть великого в сердце женщины: сострадание, самоотвержение, любовь». Райский и завершает свои метания мысленным обращением к женщинам: «Не манил я вас в глубокую бездну учености, ни на грубый, неженский труд, не входил с вами в споры о правах, отдавая вам первенство без спора. Мы не равны: вы выше нас, вы сила, мы ваше орудие. Не отнимайте у нас, говорил я вам, ни сохи, ни заступа, ни меча из рук. Мы взроем вам землю, украсим ее, спустимся в ее бездны, переплывем моря, пересчитаем звезды, — а вы, рождая нас, берегите, как Провидение, наше детство и юность, воспитывайте нас честными, учите труду, человечности, добру и той любви, какую Творец вложил в ваши сердца, — и мы твердо вынесем битвы жизни и пойдем за вами вслед туда, где все совершенно, где — вечная красота!

Время сняло с вас много оков, наложенных лукавой и грубой тиранией: снимет и остальные, даст простор и свободу вашим великим, соединенным силам ума и сердца — и вы открыто пойдете своим путем и употребите эту свободу лучше, нежели мы употребляем свою!»

Райский и на последних римских страницах думает о них же, о любимых женщинах: «Ему хотелось бы набраться этой вечной красоты природы и искусства, пропитаться насквозь духом окаменелых преданий и унести все с собой туда, в свою Малиновку...

За ним все стояли и горячо звали к себе — его три фигуры: его Вера, его Марфинька, бабушка. А за ними стояла и сильнее их влекла его к себе — еще другая, исполинская фигура, другая великая „бабушка“ — Россия».

Намек понятен: двигателем прогресса должно быть не противоречие производительных сил и производственных отношений, а любовь к Родине-бабушке.

В письме 1877 года к известному государственному деятелю Валуеву, пробовавшему себя и в литературе, Гончаров писал, что не понимает тенденции «новых людей» заменить в художественной литературе чувство любви «другими чувствами и страстями, когда и в самой жизни это чувство занимает так много места, что служит то мотивом, то содержанием, то целью почти всякого стремления, всякого честолюбия, всякой деятельности, самолюбия и т. д.» В этом суждении застарелого холостяка, доживавшего последние годы при чужом семействе, гораздо больше смелости и огня, чем во всех трактатах о производительности труда, ренте и финансах.

Доведенный чуть ли не до паранойи, подозревающий, что все кругом состоит в заговоре против него, измученный, но не сломленный в своих устремлениях романтик писал влюбленной в него, по-видимому, Софье Александровне Никитенко, дочери его коллеги по цензорскому цеху Александра Васильевича Никитенко: «Я стараюсь забыть об „Обрыве“ и в этом следую общему примеру».

Но — никто не забыт, и ничто не забыто.



ТЕРРИТОРИЯ ПАМЯТИ

Виктор НИКИФОРОВ

ВЫСОЦКИЙ В ЛЕНИНГРАДЕ, ИЛИ ПРИЧУДЫ ПАМЯТИ

По опросам общественного мнения, проводившимся в России в начале XXI века о людях, определивших историю века ушедшего и оставшихся в памяти кумирами прошлой эпохи, вторым в неофициальном рейтинге популярности у жителей страны после первого космонавта Земли Юрия Гагарина стал Владимир Высоцкий.

Не получив при жизни официальное признание в качестве поэта, *de facto* он стал русским поэтом номер один второй половины XX века, отразив в своих стихах и песнях бытовые, трагические и героические стороны советской эпохи. Острый актерский талант и неповторимые вокальные данные Высоцкого помогли сделать его творчество понятным, любимым и в конечном счете близким народу.

Всенародная слава способствовала тому, что после смерти кумира возник феномен «друзей Высоцкого»: многие стали писать воспоминания и давать о нем интервью, даже те, кто с ним был едва знаком. Правда, как писала Марина Влади, «у Володи было много друзей. Одни встречались с ним каждый день, другим лишь удавалось иногда попасть на его концерты, третьи только слушали магнитофонные записи. Но все они были друзьями...»¹

И с этим нельзя не согласиться. У каждого поклонника творчества Высоцкого в памяти сохраняется свой образ этого поэта, певца и актера. Так же как в любом уголке страны, куда Высоцкий приезжал с гастролями, концертами или на съемки фильмов, возникали о нем свои дополняющие его биографию новыми фактами истории.

Виктор Никифоров — врач, живет и работает в Санкт-Петербурге. Доктор медицинских наук, профессор, автор научных и научно-популярных работ. На протяжении многих лет пишет стихи и прозу. Дипломант Всероссийского Пушкинского студенческого конкурса поэзии (1996). Издана книга стихов и песен «На рубеже веков и судеб» (2000). Литературные произведения неоднократно публиковались в периодических изданиях.

¹ Влади М. Владимир, или Прерванный полет: Пер. с фр. — М.: Прогресс, 1989. — С. 7.

Особую, судьбоносную роль в жизни Высоцкого сыграл город на Неве. Здесь состоялась первая видеозапись концертного выступления Высоцкого для документального фильма «Срочно требуется песня» (режиссер С. Чаплин, 1967) и последняя концертная видеозапись в апреле 1980 года в здании БДТ (режиссер В. Виноградов).

В Ленинграде Высоцкий сделал предложение своей второй жене Людмиле Абрамовой и сюда же неоднократно приезжал с другой супругой — Мариной Влади. «Здесь у нас много друзей — писателей, композиторов, художников. Мы проводим нескончаемые белые ночи в прогулках по проспектам, огибающим роскошные дворцы. Мы подолгу останавливаемся перед Адмиралтейством, где заседал некогда мой прадед — адмирал Балтийского флота. Тебе не надоедают мои рассказы, ты гордишься тем, что мои корни так глубоко уходят в русскую землю, твои друзья тоже слушают с интересом», — писала Марина Влади².

Сам Высоцкий связывал с городом на Неве начало своего песенного творчества. «Я когда-то давно услышал во время съемок в Ленинграде, по-моему, даже это было, услышал, как Булат Окуджава поет свои стихи. И меня тогда поразило», — вспоминал он в 1979 году³. «Я первую песню свою написал в Ленинграде...» — рассказывал Высоцкий про песню «Татуировка» в интервью в клубе авторской песни «Восток» в 1967 году⁴.

Почему же Высоцкий в интервью подчеркивал связь начала своего песенного творчества с городом на Неве? Позволю себе предположить, что для Высоцкого этот город прежде всего олицетворялся его любимым поэтом — А. С. Пушкиным. Марина Влади удивленно и восторженно писала об увлечении Высоцкого: «Единственный поэт, портрет которого стоит у тебя на столе, — это Пушкин. Единственные книги, которые ты хранишь и время от времени перечитываешь, — это книги Пушкина. Единственный человек, которого ты цитируешь наизусть, — это Пушкин. Единственный музей, в котором ты бываешь, — это музей Пушкина. Единственный памятник, к которому ты приносишь цветы, это Памятник Пушкину. Единственная посмертная маска, которую ты держишь у себя на столе, — это маска Пушкина. Твоя последняя роль — Дон Гуан в „Каменном госте“. Ты говоришь, что Пушкин один вмещает в себя все русское Возрождение. Он — мученик, как и ты, тебе известна каждая подробность его жизни, ты любишь людей, которые его любили, ты ненавидишь тех, кто делал ему зло, ты оплакиваешь его смерть, как будто он погиб совсем недавно. Если воспользоваться словами Булгакова, ты носишь его в себе. Он — твой кумир, в нем соединились все духовные и поэтические качества, которыми ты хотел бы обладать»⁵.

Как вспоминал К. Ласкари, во время первых гастролей Театра на Таганке в Ленинграде в 1965 году, когда после вечернего домашнего концерта под утро они шли по городским улицам, «дружные, пьяные счастьем актерской молодости и очарованием города», то Высоцкий экспромтом в шутку перефразировал пушкинские строки:

Люблю тебя, Петра творенье!
Вот это да! — стихотворенье...⁶

Символично, что в 1976 году Высоцкий захотел со своими друзьями встретить День лица, 19 октября, в Царском Селе. Актер Всеволод Абдулов вспоминал: «Нам раз-

² Там же. С. 66.

³ Цыбульский М. Владимир Высоцкий в Ленинграде. — СПб.: Студия «НП-Принт», 2013. — С. 23.

⁴ Там же. С. 24.

⁵ Влади М. Владимир, или Прерванный полет: Пер. с фр. — М.: Прогресс, 1989. — С. 68.

⁶ Цыбульский М. Владимир Высоцкий в Ленинграде. — СПб.: Студия «НП-Принт», 2013. — С. 40.

решили посидеть за партой Поэта, показали все, что можно было показать. И слова здесь, в стенах Лицея, звучали музыкой, отраженной от старых стен, как от прошлого времени. Эхо пушкинских дней. И мы молчали наедине с Пушкиным, и расставание было нелегким. Володя в пояс поклонился нашей доброй спутнице, поцеловал ей руку»⁷.

Наиболее полно пребывание в Ленинграде Высоцкого рассмотрено в книгах Марка Цыбульского «Владимир Высоцкий в Ленинграде» и Льва Годованника «Тайные гастроли. Ленинградская биография Владимира Высоцкого». Среди множества содержащихся в них воспоминаний современников обращают на себя внимание те из них, которые содержат противоречивые сведения, что нельзя назвать иначе как «причудами памяти». «В литературе о Высоцком так бывает часто — разным людям запомнились разные вещи», — замечает М. Цыбульский. Позволю себе упомянуть о некоторых таких историях.

Вспоминая выступление в ленинградском клубе авторской песни «Восток» бард В. Туриянский говорил: «Выяснилось, что двадцать пять лет назад я пел с Высоцким в этом зале. В первом отделении нас было, кажется трое: Кукин, Полоскин и я; а во втором отделении — один Высоцкий <...> Вот тогда-то мы и познакомились». Но как отмечает автор книги М. Цыбульский, на самом деле все было не так, и это зафиксировала фонограмма. Высоцкий выступал в первом отделении, а во втором пели ленинградский бард В. Сачковский и москвич В. Туриянский⁸.

В 1972 году во время неофициального концерта Высоцкого в ленинградском Дворце культуры имени Кирова директор ДК, которого не предупредили об этом мероприятии, потребовал его прекращения. Тогда организатор концерта Эдуард Крейнин, по его словам, написал Высоцкому записку о том, что в зале скоро должно состояться профсоюзное собрание. Высоцкий якобы догадался об истинной причине и быстро завершил концерт. Однако ленинградский фотограф Семен Товгер, провожавший после концерта Высоцкого, опроверг эту версию, сказав, что концерт был полноценный, а Высоцкий ушел чуть раньше, потому что спешил⁹.

По-разному выглядят воспоминания о приглашении Высоцкого на съемки на «Ленфильме». Режиссер И. Хейфец позднее писал: «Когда в начале семьдесят второго года я искал исполнителя роли фон Корена для своего фильма по чеховской „Дуэли“, я вспомнил о Высоцком». Второй режиссер фильма Е. Татарский иначе описывал приглашение актера: «Когда в 1971 году мы начали работать над картиной „Плохой хороший человек“, у меня возникла идея снимать вместе Даля и Высоцкого, и я предложил ее Иосифу Ефимовичу Хейфицу. Тому идея понравилась. Были фотопробы, кинопробы, и в результате Володя оказался на одной из главных ролей»¹⁰.

Разные взгляды на одну и ту же встречу Высоцкого и Аркадия Райкина в Ленинграде высказывали очевидцы события А. Кусков, Е. Бащинский и Г. Левина¹¹. Так А. Кусков утверждал, что по просьбе А. Райкина встретился с Высоцким во время гастролей в Ленинграде Театра на Таганке и пригласил к А. Райкину в гости. В противоположность ему, Е. Бащинский вспоминал, что А. Кускову пригласить Высоцкого не удалось, поэтому приглашать пришлось ему, Е. Бащинскому. А Г. Левина утверждала, что Аркадий Райкин лично пригласил Высоцкого, однако ее участие во встрече Высоцкого и Райкина категорически отрицал Е. Бащинский.

⁷ Там же. С. 220.

⁸ Там же. С. 82.

⁹ Годованник Л. Тайные гастроли. Ленинградская биография Владимира Высоцкого. — М.: Астрель, 2012. — С. 215.

¹⁰ Цыбульский М. Владимир Высоцкий в Ленинграде. — СПб.: Студия «НП-Принт», 2013. — С. 114.

¹¹ Там же. С. 127.

Не менее запутанная история о том, кому посвящена песня Высоцкого «Скалолазка». Участвовавшая в фильме «Вертикаль» инструктор по альпинизму С. Лепко в беседе с петербургским журналистом В. Желтовым сказала, что песня посвящена ей. Однако другая альпинистка, тоже участвовавшая в съемках картины, М. Готовцева считала, что именно она стала той, кому автор посвятил «Скалолазку». Актриса М. Кошелева, сыгравшая роль альпинистки, отрицая чужие версии, утверждала: «Пусть говорят, что хотят, но Володя сам мне сказал, что песня посвящена мне»¹².

Конечно, как справедливо заметил Л. Годованник по поводу противоречий в воспоминаниях, «по прошествии времени те события могли немного подзабыться у всех их участников. Кроме того, кто-то мог что-то и додумать: память — штука коварная и непредсказуемая»¹³.

Иногда я задумываюсь о том, что Высоцкий был моим современником. Он неоднократно приезжал в Ленинград, и я мог случайно встретить его в городе.

О возможности подобной встречи свидетельствует рассказ журналиста В. Желтова о барде Михаиле Кане. Когда в один из дней в 1976 году в Ленинграде «Михаил Азриельевич [Кане] зашел перекусить в молочное кафе „Ленинград“» (Невский проспект, дом 96), то «очень удивился, увидев за столиком никем не узнаваемого „всемирно прославленного“ В. Высоцкого. Высоцкий был один. Поговорили о чем-то и разошлись...»¹⁴

Правда, причуды памяти, как мы знаем, могут сыграть злую шутку. И все же иногда хочется верить, что встреча была, а значит, рассказать о ней. Так поступил Сергей Довлатов, описав в рассказе «Судьба» возможную встречу в детстве с писателем Андреем Платоновым как реально произошедшую.

Прочитав историю о М. Кане, я подумал: где же я мог встретить Высоцкого? И сразу нашелся ответ: конечно, на Невском проспекте...

Мне представляется, как он идет навстречу, не узнаваемый прохожими. Он почему-то задумчив: то ли его внимание поглощает новый ритм песни, то ли новые стихотворные строчки. И вдруг его взгляд останавливается на лице ребенка, идущего навстречу, с любопытством рассматривающего окружающих. Высоцкий улыбается и подмигивает мальчишке.

Как сказал Довлатов, «было ли все так на самом деле? Да разве это важно?! Думаю, что обойдемся без нотариуса. Моя душа требует этой встречи...»

¹² Там же. С. 69.

¹³ Годованник Л. Тайные гастроли. Ленинградская биография Владимира Высоцкого. — М.: Астрель, 2012. — С. 215.

¹⁴ Цыбульский М. Владимир Высоцкий в Ленинграде. — СПб.: Студия «НП-Принт», 2013. — С. 223.

Михаил ХЛЕБНИКОВ

ИВАНОВ И АЛДАНОВ

Один из ключевых послевоенных конфликтов Георгия Иванова развивался с Марком Алдановым, который всегда симпатизировал поэту. Военные годы Марк Александрович провел в США. Он печатается не только в эмигрантской периодике, постепенно у него налаживаются отношения с американскими издателями. Его книги переводятся, имеют определенный успех. Насколько, конечно, это возможно в Америке. Следует учитывать традиционно низкий интерес американцев к переводной литературе. Тираж романа «Начало конца», опубликованного в престижном издательстве «Charles Scribner's Sons», к весне 1945 года превысил отметку в триста тысяч экземпляров. Кроме того, писатель фактически основал «Новый журнал», превратившийся в ведущий толстый журнал русского зарубежья на долгие десятилетия. Также Алданов участвовал в помощи писателям, оставшимся в оккупированной Франции. В рамках деятельности Литературного фонда собирались и отправлялись посылки. Фонд обладал весьма скромными возможностями. К началу 1945 года организация располагала четырьмя тысячами долларов. В конце марта фонд отгрузил во Францию 150 отдельных, именных посылок. Вес каждой посылки ограничивался 4,4 фунтами, что соответствует двум килограммам. Русские писатели получали мясные консервы, шоколад, мыло, нижнее белье. Кроме того, готовился большой общий груз продовольствия и одежды, делить который между нуждающимися следовало уже во Франции. Для этого нужно было отделить коллаборационистов от «честных» литераторов. Об этом Алданов рассказывает в большом и обстоятельном письме Адамовичу от 12 июля 1945 года: «Вы, верно, знаете, что я состою в президиуме здешнего Литературного фонда. <...> Председателя мы после кончины Н. Д. Авксентьева не избирали, и у нас довольно многочисленный „президиум“: Коновалов, Николаевский, Зензинов, Авксентьева, я из парижан и несколько нью-йоркцев, Вам едва ли известных. После освобождения Франции президиум единогласно принял решение не оказывать никакой помощи писателям, ученым, общественным деятелям, сочувствовавшим немцам, — все равно, активным или не очень в этом активным. Это было отступлением от правила старого Красного Креста, который оказывал помощь всем в ней нуждавшимся. Но и положение теперь не то, — решение было принято единогласно, утверждено позднее многолюдным собранием, и мы от него не отступим и не хотим отступать. Мы послали множество продовольственных посылок во Францию и при их отправке исходили из этого решения. Так как информация у нас о том, как кто был настроен в период оккупации, естественно, не полна и не безупречна (теперь же многие перекрасились), то мы, вероятно, сделали несколько ошибок —

Михаил Владимирович Хлебников родился в 1974 году. Критик и литературовед. Кандидат философских наук. Автор ряда книг, среди которых «Союз и Довлатов. Подробно и приблизительно», «Довлатов и третья волна. Приливы и отливы», а также сборники литературно-критических статей «Большая чи(с)тка» и «Строгий отчет». Публиковался в газетах «Культура», «Литературная газета», в журналах «Сибирские огни», «Новый мир», «Вопросы литературы», «Наш современник», «Урал» и др. Живет в Новосибирске.

и очень странно, что нас в этом обвиняют. Между тем обвиняют нас, как мы слышали, очень резко, чуть ли не в том, что мы заведомо „поддерживаем явных германофилов“ и т. д. Это очень неприятно, как обычно бывает неприятна клевета, и к тому же практически вредно фонду, — т. е. нуждающимся писателям и ученым. Здешняя русская колония (а деньги у фонда только от нее) настроена совершенно непримиримо в отношении явных и тайных германофилов, и если она клевете поверит, то касса фонда, постоянно пустеющая и вновь пополняющаяся, иссякнет раз навсегда. Повторяю, я допускаю, что из нескольких сот посылок (по 6—8 долларов каждая), отправленных фондом во Францию, четыре или пять (никак не думаю, что больше) были нами по неведению посланы людям, сочувствовавшим немцам. Мы не знали об их симпатиях, — узнали гораздо позднее и, конечно, больше им ничего посылать не будем».

Алданов делает еще один заход, сужая круг. Он рассказывает о большом грузе «гуманитарной помощи», отправленном во Францию Николаю Саввичу Долгополову — врачу, депутату II Государственной думы, министру здравоохранения в кабинете Деникина. Марк Александрович относится к Николаю Саввичу с большим уважением. Но есть большая принципиальная проблема: Долгополов стоит на позициях «абстрактного гуманизма» и считает, что помогать следует всем нуждающимся, независимо от их политических убеждений. А если посылку с шоколадом и бельем получит «тайный германофил»? Может ли подобный случай повредить фонду, как об этом говорит Алданов? Тут не совсем понятно, так как возникает естественная проблема идентификации скрытой формы германофилии. И в чем тогда заключается опасность для фонда? Но оставим в стороне логические выкладки. Алданов наконец формулирует то, ради чего так долго говорил: «Зачем я Вам все это пишу? Вот зачем. Кроме старого списка лиц, которым мы оказываем помощь (из него мы, повторяю, с опозданием, от нашей воли не зависевшим, вычеркнули несколько имен), появляются, естественно, и новые кандидаты. Мы ведь и адресов многих не знали, не знали даже, и живы ли некоторые люди, — или, в сомнении об их симпатиях в пору оккупации, иным писателям и ученым посылок не отправляли. Чтобы избежать новых ошибок, мы решили в каждом таком случае требовать чего-то вроде поручительства, вполне ясного и определенного. <...> В качестве возможных и необходимых „гарантирующих лиц“ мы наметили из писателей в тесном смысле слова Вас и Бунина, а из публицистов и политических деятелей несколько человек, как тот же Долгополов, Альперин и др. Предвижу, Вы скажете: „это неприятная задача, я ее не принимаю“. Очень просим Вас этого НЕ делать. Конечно, это „корвэ“, но почему же возлагать ее только на нас?»

Очень точно выбирается французское «согее» — барщина, отработка. Алданов из деликатности замаскировал достаточно жесткий смысл своей просьбы. Но настоящий удар следует в следующем большом периоде письма: «Однако если бы Вы и отказались от нее как от „корвэ“ общей, то вот частный случай, от которого Вы уж никак не можете и не имеете права отказаться. Вчера я получил письмо от Георгия Владимировича (Villa Turquoise, av. Edouard VII). Он пишет мне, что и жена его, и он сам больны от недоедания, и просит похлопотать в фонде об отправке ему посылок. Надо ли говорить, что как писатели они были бы в числе первых же кандидатов? Фонд их знает, а Вам известно, как и я, в частности, высоко ценю их талант. Адреса их фонд не знал. Но дело было не только в этом. Г<еоргий> Вл<адимирович> пишет, что какой-то его враг сообщил в Нью-Йорк о „нашей дружбе с немцами“. Я не знаю, кого он имеет в виду, и мне ничего о таком сообщении кому бы то ни было не известно. Однако какой-то глухой слух об этом здесь действительно прошел еще в пору оккупации, года два тому назад. Получив письмо Г<еоргия> В<ладимирович>а, я позвонил одному из парижан-литераторов. Он сказал то же самое: ни о каком сообщении

из Парижа об этом я ничего не слышал, а глухой слух был, и поэтому фонд „в сомнении воздержался“, да и считали их людьми состоятельными. Между тем Г<еоргий> В<ладимирович> добавляет, что в жеребковской газете его называли „писателем“ в кавычках, что немцы ограбили его до нитки, сожгли рукописи, вывезли обстановку. Это я тоже прочел упомянутому парижанину, и он, человек в фонде весьма авторитетный, сказал то же, что думаю я! Фонд не будет отправлять посылки без того, что я выше назвал „поручительством“ — бесполезно ему и предлагать. И он же посоветовал мне то же самое: напишите Адамовичу. Я это и делаю».

Алданов мягко, но определенно говорит, что решение фонда о помощи Иванову целиком зависит от мнения Адамовича. Писатель особо подчеркивает бедственное положение Иванова: «Как Вы и Г<еоргий> В<ладимирович> сами поймете, фонд не удовлетворится одним заявлением самого заинтересованного лица. Но если Вы и Бунин подтвердите, что оно никогда немцам не сочувствовало и с ними не якшалось, то мы (с упомянутым литератором), несомненно, тотчас проведем отправку серии посылок (считаюсь и с тем, что Г<еоргий> В<ладимирович> до сих пор ничего не получал). Не ручаюсь, но считаю возможным, что достаточно будет и одной Вашей гарантии (Ваша „ориентация“ здесь всем давно известна), но решено было требовать двух поручителей, и было бы гораздо лучше, если бы и Бунин к Вам в этом присоединился. Я Бунину не пишу, так как он мне ответит через месяц, а здесь дело идет о голодающих людях. Может быть, Вам ответит открыткой тотчас. Но Вас я очень прошу ответить мне сейчас же, письма по воздушной почте теперь идут 7—8 дней. Г<еоргий> В<ладимирович> просит меня о том, чтобы фонд об этом телеграфировал Долгополову».

В финале письма наносится еще один удар: «Как только получу от Вас ответ, что Вы (лучше Вы и Бунин) „гарантию“ даете, я все сделаю и напишу Г<еоргию> В<ладимировичу> о результате. Знаю, что Вы, независимо от симпатий и антипатий, фонда не подведете, да и оснований никто не имеет думать, что в „глухом слухе“ была правда ввиду указываемых фактов. Но без посторонней гарантии (т. е. Вашей и Бунина или, в крайнем случае, не-писателей Долгополова, Альперина) фонд ничего сделать не может. Я не знаю, каковы у Вас сейчас личные отношения с Г<еоргием> В<ладимировичем>, но не сомневаюсь, что Вы с ними считаться не будете, а его известите».

Как мы знаем, Алданов — поклонник Толстого, считавший вслед за Томасом Манном, что в «Войне и мире» литература подошла к пределу своих возможностей. К Достоевскому он относился сдержанно, не принимая «идеологичности» и «морализаторства». Еще в 1921 году писатель публикует в берлинском журнале «Жар-птица» статью, посвященную столетию Достоевского. Называлась в духе криминальных романов начала века «Черный бриллиант». Трудно найти в юбилейной статье признаки симпатии к Достоевскому или даже просто желание его понять: «Всю свою жизнь он чему-то учил и что-то проповедовал. Проповедует „Преступление и наказание“; проповедуют „Братья Карамазовы“; „Дневник писателя“ есть сплошная проповедь, густо перемешанная с политическими предсказаниями».

Алданов предлагает несколько лобовой вариант прочтения «Преступления и наказания», в котором автор равен Раскольникову: «Философская идея очищения страданием, одна из самых искусственных и злополучных мыслей Достоевского, своевременно пришла ему на помощь, — дала возможность как-то отвязаться от проблемы Раскольникова».

Вывод, сделанный в финале текста, понятен и прочитывается уже из заголовка: Достоевский — больной гений, от которого лучше держаться подальше.

А вот в письме Адамовичу перед нами настоящий поклонник и ученик Федора Михайловича. Алданов ставит жестокий психологический эксперимент, принуждая Ада-

мовича не просто ответить, но рассказать о письме и своем ответе Иванову лично. При таком раскладе Георгий Викторович не может уклониться. Он обязан совершить два тяжелых последовательных действия.

Адамович отвечает автору «Ключа» через две недели — 28 июля. Он заверяет Марка Александровича, что репутация фонда во Франции безупречна. В следующем пассаже он отказывается от роли независимого эксперта: «Вопрос второй — о гарантиях, которые я должен был бы давать. Спасибо за доверие, я искренне ценю его. Но принужден отказаться. Все эти годы я прожил безвыездно в Ницце. Доходили до меня только слухи. В Париже слухи проверить трудно (все, конечно, были „резистантами“), да и охоты у меня к этому нет. Лично мне ближе и понятнее позиция старого Кр<асного> Креста, о которой Вы пишете: помогать всем нуждающимся (т. е., в сущности, не подражать нашим врагам). Но может быть, Вы и правы, *par letemps qui court*. Только я никак не могу взять на себя роль судьи, больше всего потому, что у меня нет для того нужных сведений. Это не „корвэ“, как Вы пишете. От „корвэ“ я не отказался бы. Это нечто такое, за что я не могу взять нужной Вам ответственности».

Достоин, не правда ли? Адамович сомневается в необходимости жить по законам сегодняшнего дня — «*par le temps qui court*», когда жертвы и палачи поменялись ролями. Тут сразу вспоминается стихотворение, которое Адамович не мог знать, но попал в его «нерв». Про звериный облик времени. Вслед за Мандельштамом он мог бы повторить: «Потому что не волк я по крови своей». Мог, но не повторил, потому что пишет дальше:

«Наконец, третье — о Г. В. Иванове. Скажу откровенно, вопрос о нем меня смущает. Вы знаете, что с Ивановым я дружен, и дружен давно, хотя в 39 году почти разошелся с ним. Я считаю его человеком с такой путаницей в голове, что на его суждения не стоит обращать внимания. Сейчас его суждения самые ортодоксальные. Но прошлое не таково. Я был бы искренно рад, если бы Вы послали ему хоть десять посылок, но дать то ручательство, которое Вам нужно, не могу. Писать мне это Вам тяжело. Но Вы просите меня „не подвести фонда“, и по всему тону Вашего письма я чувствую, что не имею права отнестись к поставленному Вами вопросу легкомысленно. Пусть официальной причиной моего отказа дать гарантию останется общее мое нежелание их давать. Остальное — строго между нами. Не скрою от Вас, что мне было бы неприятно, если бы о нашей переписке по этому поводу узнал сам Иванов. Он истолковал бы мое поведение как недоброжелательство. А недоброжелательства нет. Но я не могу в отношении Вас — и при моем уважении к Вам — поступить иначе. Кстати, Роговский мне только что рассказал, что на совещании у Долгополова Иванову было в выдаче посылки отказано на том основании, что он состоял членом сургучевского союза писателей¹⁵. К сожалению, я думаю, что такой факт, всем, к тому же, известный, делает все гарантии ненужными и недействительными. Если Вы принимаете во внимание раскаяние и понимаете — дело, конечно, другое. Но, судя по Вашему письму, в Нью-Йорке настроения не таковы. (Мне сейчас приходит в голову: не возникла ли у Вас мысль о гарантиях только в связи с мнимым „негодованием“? Нужны ли они, если негодования нет, и так ли страшны ошибки?»

Адамович пытается вывернуться, снять с себя ответственность, ссылаясь на то, что «всем и так известно» о нахождении Иванова в «сургучевском союзе писателей». О том, кто эти «все», история умалчивает. Исходя из сказанного, «гарантии недей-

¹⁵ Сургучевский союз писателей — объединение русских деятелей культуры и искусства, которое начало свою деятельность в 1940 году в оккупированном немецкими войсками Париже. В 1945 году его глава Илья Сургучев был обвинен в сотрудничестве с нацистскими властями. Но в 1946 году суд освободил его из заключения.

ствительны». И тут снова страх, попытка отпетлять: нежелание давать гарантии следует понимать как признание вины Иванова без ее доказательства. Настоящий страх вызвало предложение обратиться к поэту. «Неприятно» — явное преуменьшение, за которым скрывается почти осязаемый ужас. Проблема не в том, что Иванов — коллаборационист. Если бы о «преступлении» было известно точно, то самая легкая и понятная реакция — сказать об этом Алданову, фонду и миру. Адамовичу предложено оценить возможность вины старого друга. Адамович с оговорками, уточнениями, с разведением рук в стороны (решение и так принято на совещании у Долгополова) объявляет Иванова потенциальным коллаборационистом. Точнее, закрепляет за ним статус «находящегося под подозрением».

21 сентября Адамович снова пишет Марку Александровичу небольшое письмо. В нем он заступает за поэта Перикла Ставрова, которого также могли «заподозрить». Адамович «ручается» за то, что Ставров чист перед фондом и обществом. Но настоящая цель обращения в конце письма: «Простите, если надоедаю Вам. Кстати, меня продолжает смущать то, что я написал Вам о Г. Иванове. Не знаю, был ли я прав. У меня к нему отношение, как было у бедной З. Н. Гиппиус к Блоку, — помните: „общественно“ или „необщественно“? А лично у меня чувство такое, что надо бы устроить торжественное чаепитие и в слезах и лобызаниях забыть общие грехи. (Без капли лести, Вы для меня единственный человек — плюс М. Л. Кантор — у которого я не могу даже в воображении заподозрить греха). Крепко жму Вашу руку и жду ответ».

Напомню, что бойкот Блоку «прогрессивные силы» пытались организовать за «Двенадцать». Согласно воспоминаниям самой Гиппиус, встретив в трамвае поэта, она подала ему руку, оговорив, что делает это только от своего имени, но «не общественно». Вызывает уважение такая привычно высокая самооценка. Гиппиус искренне считала, что она имеет право «измерять, взвешивать» и предъявлять претензии Блоку от имени общества. Зинаида Николаевна успела вовремя умереть, иначе бы ей самой пришлось оправдываться и за себя, и за Мережковского.

Слова о необходимости «забыть общие грехи» можно трактовать расширительно. В этом случае они относятся и к предыдущему письму Адамовича. Георгий Викторович прекрасно осознавал цену своих слов для Иванова, а самое главное — для себя. Игривость тона: «торжественное чаепитие», «слезы и лобызания» не скрывает, а подчеркивает растерянность и подавленность Адамовича.

Алданов отвечает 1 октября. Он прозрачно намекает, что прекрасно понимает, что слова о Ставрове — лишь предлог для письма к нему: «Не очень давно, хотя и задолго до получения Вашего письма, я написал Ставрову: поблагодарил его за „Встречи“, сообщил, что знал об его рассказах, и т. д. Разве он не получил этого моего письма?»

«Успокой» Адамовича по поводу Ставрова, Алданов сразу переходит к разговору об Иванове: «Благодарю Вас за полученное мною в свое время письмо об Иванове. Разумеется, я на него (на Ваше письмо) не ссылался. Но одновременно с моим запросом, отправленным Вам, Зензинов запросил об Иванове Долгополова. Николай Саввич ответил совершенно определенно, да еще сослался на решение его Координационного комитета, постановившего не оказывать помощи Иванову. При таких условиях мы решительно ничего сделать не могли. Фонд не может подходить к делу „общественно“ или „необщественно“, хотя бы уже потому, что он себя здесь погубил бы: повторяю, по отношению к людям, сочувствовавшим немцам, русский Нью-Йорк совершенно пока непримирим (есть разница только в оттенках, — меня, например, причисляют к наименее непримиримым — на обе стороны). Что же нам было делать? Мы с Зензиновым написали Г. Иванову общее письмо (он писал и Владимиру Михайловичу): сказали всю правду, — фонд запросил своего официального представителя

в Париже, д-ра Долгополова, и ввиду его отрицательного заключения ничего сделать не может. От себя посоветовали ему, Иванову, устроить суд чести (указали и желательных, по нашему мнению, кандидатов в „судьи“: Маклакова, Бунина, Польде, Альперина, Тер-Погосяна, Зеелера, еще кого-то). Разумеется, если бы суд чести признал, что по отношению к Иванову была допущена ошибка или несправедливость, мы, и я в частности, сделаем для него все возможное. Без этого и до этого не можем сделать ничего. Зная меня, Вы догадываетесь, как мне неприятно и тяжело было писать такое письмо. Но иначе мы поступать не можем. Я давно пишу в Париж, что пора бы Вам устроить суд чести из беспристрастных, спокойных и справедливых людей, который, хотя бы и без „приговоров“ или „решений“, просто установил бы фактическую сторону дела в каждом отдельном случае (ведь таких случаев и вообще немного). О моем письме к Вам и о Вашем ответе я, конечно, не писал ни слова».

Успокоив Адамовича относительно сохранения тайны его сотрудничества с фондом, Алданов высказывается по поводу гипотетического «праздника примирения»: «Вы пишете: „...надо бы устроить торжественное чаепитие и в слезах и лобзаниях забыть общие грехи“. Вероятно, этим дело и кончится. В Париже, быть может, это произойдет очень скоро. Нью-йоркцы год-другой подождут. Покойный Илья Исидорович, наверное, на это всех благословил бы. Но он — с христианской точки зрения, я хочу сказать, с евангельской. А Вы с какой? Я читал Вашу истинно блестящую статью во „Встречах“ „А его сожгли в печке“. Да, сожгли. Все же устроим чаепитие и будем „лобызаться“ с теми, кто сочувствовал людям, которые его сожгли в печке? Не люблю говорить и писать „пышно“, — скажу все же, что для всевозможных духов Банко такое чаепитие было бы весьма подходящим местом. Для Лулу Каннегисер, которую я очень, очень любил, для Юрия Фельзена, который меня терпеть не мог, для матери Марии, для многих, многих других. Нет, я еще подожду, — хотя меня, скажу еще раз, здесь считают слишком снисходительным и слишком равнодушным ко всему человеком. Мне пишут (НЕ Полонский, — кажется, у Вас считают, что во всем виноват Полонский, а пишут сюда из Парижа человек десять, если не больше), итак, мне один старик-публицист пишет о другом старике-писателе, будто он печатно выражал сожаление, что такой прекрасный памятник искусства, как Нотр-Дам, выстроен „в честь одной жидашечки“. Это так хорошо, что даже и неправдоподобно. У меня со старым писателем были довольно добрые, хотя и отдаленные, отношения. Звать ли и его на торжественное чаепитие?»

Учитывая всем известную подчеркнутую корректность и вежливость Алданова, можно считать, что ответ Адамовичу составлен им в предельно жестких выражениях.

Сам Иванов пытался наладить отношения с Алдановым лично. Делал он это неоднократно. И всякий раз безуспешно. Алданов уклонялся от возможности объясниться, считая, что «суд чести» — оптимальная форма возвращения поэта в общество. В архиве Алданова сохранился черновик письма к поэту, датированный 30 октября 1946 года: «Многоуважаемый Георгий Владимирович. Я сейчас нездоров и встретиться с Вами до отъезда не могу. Уезжаю в Италию, затем на Ривьеру. Мы можем встретиться месяца через два, если Вы тогда будете в Париже. Поверьте, что и без тяжелых „объяснений“ (по делам, которые меня не касаются) я искренне желаю Вам всего самого лучшего. Преданный Вам М. Алданов».

К тому времени Алданов уже вернулся из Америки во Францию. Жить в Париже он не захотел. Причин на то несколько. Это и заметно сдавшее здоровье, и нежелание дважды входить в одну и ту же реку. Русский Париж зримо обезлюдел, да и были персоны, с которыми Алданову явно не хотелось встречаться. К их числу принадлежал

и Георгий Иванов. Писатель объездил несколько приморских городов, выбирая удобное место для жизни. Выбор был остановлен на Ницце. В те годы Ницца — достаточно дешевый город, без толп богатых туристов и дорогого жилья. Алдановы сняли комфортабельную трехкомнатную квартиру, в которую писатель перевез свою библиотеку. Окончательно в Ниццу Алданов переехал в январе 1947 года. Последние десять лет жизни он занимался тем, чем и всегда хотел: неторопливо писал романы, в которых он предлагал свой взгляд на историю, как отечественную, так и мировую. Писатель знал, что полностью «осветить проблему» он не сможет, но не сильно переживал по этому поводу. Круг общения в Ницце свелся к минимуму. Неподдалеку в Грассе жил Бунин. С другими лицами он поддерживал регулярную переписку. Георгий Иванов в число его избранных корреспондентов также не входил. Поэт пытался обойти Алданова, апеллируя к другим влиятельным лицам русской Америки. В конце 1947-го — начале 1948 года Иванов обращается к Александру Полякову — секретарю редакции «Последних новостей». Нельзя сказать, что в Париже они были близки, но такой ход имеет свою рациональную основу. В случае с Ивановым частота контактов автоматически повышала вероятность конфликтов. В любом случае выбирается лицо достаточно отстраненное:

Дорогой Александр Абрамович,

Шлю вам привет от фашиста, продавшего Россию Гитлеру и купавшегося в золоте и крови во время оккупации. Таковы, насколько мне известно, слухи обо мне в Вашей Америке, о чем позаботились местные добрые друзья. Если к этому прибавить, что я прожил всю войну в Биаррице, был выгнан друзьями немцами из собственной дачи и ограблен ими до нитки, обвинялся ими в еврейск. происх. за свой нос и дружбу с Керенским, и конечно, после liberation, когда все местные гитлеровцы удрали или были посажены, спокойно жил в Биаррице же, пока отсутствие средств не заставило переехать в Париж.

Далее Иванов озвучивает просьбу, типичную для его писем тех лет. Он просит прислать ему чай, кофе, сахар, сухое молоко, одежду, хайтековские тогда нейлоновые чулки для жены.

Отчаявшийся поэт прибегает к помощи третьих лиц. В качестве посредника он использовал того же Адамовича. 1 ноября — через два дня после несостоявшейся, точнее, отмененной встречи — Адамович пишет Алданову:

Дорогой Марк Александрович,

Вас, вероятно, удивит это мое письмо. Пишу я Вам после встречи с Георгием Ивановым и почти что по его просьбе.

Он очень тяготеет к разрыву (или чем-то вроде разрыва) с Вами. Я ему говорил, что тут надо различать «общественное» и «личное» — как, помните, Гиппиус говорила Блоку после «Двенадцати», — но этот ответ для него, очевидно, неубедителен. Мне кажется, он за последнее время изменился, во всех смыслах. Вы его знаете — это странный и сложный человек, по-моему даже больной. Если в результате этого моего письма что-либо улучшится бы в Вашем отношении к нему, я был бы искренно рад. Простите за самонадеянность — хотя, правду сказать, я ни на что и не надеюсь.

Из самого строя и тона письма ясно, что Иванов «надавил» на бывшего друга, вызвав у того смешанные чувства. В словах Адамовича читаются и призыв к милосердию, и снисходительная жалость к падшему товарищу. Иными словами, равные говорят об отверженном, который когда-то был почти ровень, но не удержал высоту. Предлагая «улучшить отношение», Адамович, конечно, знал о вероятной реакции Алданова на письмо Иванова, которое писатель получит в феврале 1948 года:

Многоуважаемый Марк Александрович.

Не скажу, чтобы мне было приятно беспокоить Вас. Вы знаете почему. Все-таки я это делаю...

Вы, конечно, слышали от Буниных и других людей о наших стесненных, мягко выражаясь, обстоятельствах. Я знаю, что Вы выразили желание выхлопотать нам помощь Литературного Фонда. Буду Вам за это, конечно, крайне признателен. К сожалению, как и два года тому назад, я бессилен «оправдаться» в поступках, которых не совершал. Если — по Толстому — нельзя писать о барыне, шедшей по Невскому, если эта барыня не существовала, то еще затруднительней доказывать, что я не украл или не собирался украсть ее несуществовавшей шубы. Я не служил у немцев, не доносил (на меня доносили, но это, как будто, другое дело), не напечатал с начала войны нигде ни на каком языке ни одной строчки, не имел не только немецких протекций, но и просто знакомств, чему одно из доказательств, что в 1943 году я был выброшен из собственного дома военными властями, а имущество мое сперва реквизировано, а затем уворовано ими же. Есть и другие веские доказательства моих «не», но долго обо всем писать.

Иванов готов признать некоторые иллюзии и заблуждения прошлого: «Конечно, смешно было бы отрицать, что я в свое время не разделял некоторых надежд, затем разочарований тех же, что не только в эмиграции, но еще больше в России разделяли многие, очень многие. Но поскольку ни одной моей печатной строчки или одного публичного выступления — никто мне предъявить не может — это уже больше чтение мыслей или казнь за непочтительные разговоры в „Круге“ <...>. Таким образом, я по-прежнему остаюсь в том же положении пария или зачумленного, в каком находился два года тому назад, когда жена моя была тяжело больна и просила той же помощи... у того же Фонда».

Иванов обращается к Алданову, зная об его авторитете в американских издательских кругах. В то время жена поэта Одоевцева написала свой очередной роман с подходящим названием «Оставь надежду навсегда». Супруги всерьез рассчитывали на его успех:

Буду очень рад и крайне Вам благодарен, если Вам удастся на этот раз снять с нас «заклятье». Но скажу Вам откровенно, что наше нынешнее положение не таково, чтобы такая помощь, если даже будет учтено, что два года мы не получали ничего — могла бы нас серьезно выручить.

Как бы Вам сказать?.. Когда-то наш общий друг, покойная Лулу, рассказала мне о решении (будто бы) принятом Вами на случай, если Ваш дебют как романиста не удастся материально, не даст Вам возможности жить. Возможно, что Лулу преувеличивала, возможно, что преувеличивали Вы. Я не преувеличиваю. Мы должны иметь возможность жить литературой, никакой другой малейшей возможности у нас нет.

И вот я обращаюсь к Вам с просьбой прочесть новую книгу моей жены и дать о ней отзыв такой, какого, по Вашему мнению, книга заслуживает. Для американского и английского издания Ваш отзыв — Вы сами знаете — имеет огромное значение.

Не буду больше обременять Вас чтением и без того затянувшегося письма. Хочу только прибавить, что я обращаюсь сейчас не к «Марку Александровичу», бывшие дружеские отношения с которым волей судьбы (и клеветы) оборвались, а к русскому писателю Алданову. Это может сделать каждый, даже незнакомый человек. Достаточно знать Ваше безукоризненное джентльменство — и житейское, и литературное.

Преданный Вам Георгий Иванов.

Говоря о «решении», Иванов имеет в виду, что Алданов в начале своего литературного пути не был уверен в успехе. Будучи неплохим химиком, он полагал, что в случае

неудачи он всегда сможет вернуться к своей первой профессии. Думаю, что маститому писателю подобное напоминание о сомнениях при вхождении в литературу могло показаться грубым вторжением в его «личную историю». Алданов, известный своим личным доброжелательством, предпочитал держать некоторую дистанцию даже с самыми близкими людьми. Понятно, что Иванов в их число не входил.

Нужно сказать, что и отсылка к Лулу — Елизавете Иоакимовне Каннегисер — не самый удачный ход для возобновления отношений с Алдановым. Лулу — родная сестра Леонида Каннегисера, который в 1918 году застрелил председателя Петроградской ЧК Моисея Урицкого. После казни брата Елизавета вместе с родителями эмигрировала во Францию. Оккупировавшие Францию нацисты депортировали Лулу в Германию. Там в концлагере она и погибла. Точная дата и место смерти Елизаветы Каннегисер неизвестны. Иванов и Алданов знали ее хорошо еще по Петрограду. Можно предположить, что Иванов сослался на Лулу еще и потому, что не хотел называть имена современников, которые вызвали бы у Алданова резкое неприятие. В любом случае получилось не очень хорошо, что видно из ответного письма Алданова. Оно написано 9 февраля 1948 года:

Многоуважаемый Георгий Владимирович.

Получил сегодня Ваше письмо от 6-го. Разрешите ответить Вам с полной откровенностью.

Вам отлично известно, что я Вас (как и никого другого) ни в чем не «изобличал» и не обвинял. Наши прежние дружественные отношения стали невозможны по причинам от меня не зависящим. Насколько мне известно, никто Вас не обвинял в том, что Вы «служили» у немцев, «доносили» им или печатались в их изданиях. Опять-таки, насколько мне известно, говорили только, что Вы числились в Сургутчевском союзе. Вполне возможно, что это неправда. Но Вы сами пишете: «Конечно, смешно было бы отрицать, что я в свое время не разделял некоторых надежд, затем разочарований, тех, что не только в эмиграции, но еще больше в России, разделяли многие, очень многие». Как же между Вами и мной могли бы остаться или возобновиться прежние дружественные отношения? У Вас немцы замучили «только» некоторых друзей. У меня они замучили ближайших родных. Отлично знаю, что Ваши надежды, а потом разочарования разделяли очень многие. Могу только сказать, что у меня не осталось добрых отношений с теми из этих многих, с кем такие отношения у меня были. Я остался (еще больше, чем прежде) в дружбе с Буниным, с Адамовичем (называю только их), так как у них никогда не было и следов этих надежд. Не думаю, следовательно, чтобы Вы имели право на меня пенять. Мне говорили из разных источников, совершенно между собой не связанных и тем не менее повторявших это в тождественных выражениях, что Вы весьма пренебрежительно отзывались обо мне как о писателе. Поверьте, это никак не могло бы повлечь за собой прекращение наших добрых отношений. Я Вас высоко ставлю как поэта, но Вы имеете полное право меня как писателя ни в грош не ставить, тем более что Вы этого не печатали и что Вы вообще мало кого в литературе цените и признаете. Наши дружественные отношения кончились из-за вышеупомянутых Ваших настроений, о которых в Нью-Йорке говорилось, и еще по одной личной причине. В письме ко мне в Америку Вы написали, что «клевета Полонского» заставила Вас и т. д. (помнится, печататься в «Патриоте»). Если бы и в самом деле Полонский что-либо сообщил о Вас в Нью-Йорк, то Вы не имели бы права писать об его «клевете» МНЕ, так как он женат на моей сестре. В действительности же Полонский о Вас ни мне, ни другим НЕ ПИСАЛ НИ ОДНОГО СЛОВА. Писали о Вас другим другие, а мне о Вас никто ничего не писал вообще.

Ответ достойный. Хотя в свое время Алданов очень высоко отозвался о «Петербургских зимах», отношение к нему со стороны Иванова было весьма прохладным. Выразительный пример тому — дневниковая запись Антонина Ладинского от 19 сентября 1932 года: «Говорят, на набережной у букиниста какой-то русский нашел книги Алданова с надписью „Дорогому Георгию Владимировичу Иванову на долгую память“».

Понятно, что слухи «из разных источников» о таком пренебрежительно-оскорбительном жесте (Иванов мог бы просто вырезать дарственные надписи) доходили до Алданова быстро. Тем не менее Марк Александрович не позволял себе публично или приватно высказывать недовольство. Единственный срыв или повышение тона в письме Иванову мы видим в финальной части. Раздраженное упоминание Якова Борисовича Полонского — журналиста из «Последних новостей» и неумолимого разоблачителя русских коллаборантов — объясняется в том числе и усталостью писателя от политического активизма шурина.

Высказавшись по поводу ответственности и памяти, Алданов переходит к деловой части письма: «Прекращение наших дружественных отношений не мешает мне быть готовым к тем услугам Вам, которые я оказать могу. Не так давно в Париже Вы мне написали, что хотели бы моей помощи в получении посылки Фонда. <...> Через шесть недель я буду в Нью-Йорке и лично поддержу ходатайство о помощи Вам в Фонде: только позавчера я получил скрестившееся с моим письмо Николаевского, — он мне сообщает, что касса Фонда сейчас совершенно пуста и что они надеются весной ее пополнить. Не скрою от Вас, я ходатайствовал из Франции о помощи слишком большому числу людей, и поэтому мои ходатайства очень там обесценились и теперь выполняется одно из трех или четырех. Было бы хорошо, если бы о Вас Фонду написал (Зензинову) какой-либо еще не „использованный“ в Фонде другими известный человек. А я там еще устно поддерживаю, обещаю это Вам твердо, никак не гарантируя, что Президиум Фонда удовлетворит просьбы».

На просьбу Иванова о помощи в продвижении романа Одоевцевой был получен развернутый ответ. В первой его части Алданов снимает с себя звание «человек, который может помочь»: «Теперь книга Ирины Владимировны. Я как раз на днях говорил и Бунину, и Даманской, что мой издатель Скрибнер НЕ принял двух книг очень известных лиц, которых я ему рекомендовал, и даже был не слишком любезен, и у меня с ним теперь холодок. Из других американских издателей я еще знаю Кнопфа, который прежде издавал меня (и Бунина). Он не очень любит русских эмигрантов вообще. Поверьте моему опыту: рекомендация моя не может сама по себе иметь значения. Нет такого писателя, который не мог бы получить рекомендации от другого писателя, и американские издатели прекрасно это знают и на такие рекомендации не обращают внимания».

Далее Алданов дает осторожные советы и вроде бы не отказывает в возможной рекомендации:

У Ирины Владимировны есть французский перевод, его и надо представить. Мой совет — всегда это делать через агента, как я и делал. В случае принятия романа комиссия агента всегда окупается, так как он выговаривает обычно лучшие условия, чем автор. В случае отказа он не получает ничего. Я очень доволен своим нынешним агентом М. А. Гофманом (теперь 75, rue Caumarlin, Paris). У него большие связи и в Америке, и в Англии. Советую И<рине> В<ладимировне> через агента послать французский перевод в Америку и непременно приложить лестные английские рецензии о прежних ее книгах. Она может, конечно, сослаться и на меня: если тот или иной издатель ко мне обратится, я искренне скажу то, что думаю об ее таланте.

Подобный снисходительно-благожелательный, отстраненный тон письма не может задеть Иванова. Он «затаил». Возможность ответить Алданову представилась достаточно быстро.

В январе 1949 года в Париже вышел первый номер «Возрождения». Как раз тогда в Париже готовился к печати новый роман Марка Алданова. Еще в Америке он задумал большую вещь, раскрывающую природу русской революции. Работа спорилась. Понятно, что в условиях войны и первых мирных лет путь к русскому читателю оказался трудным. Большинство издательств в Европе не выдержали испытаний. В богатой Америке еще не возникла полноценная русская издательская инфраструктура. Поэтому самый большой роман Алданова сначала увидел свет на английском языке. Роман вышел осенью 1947 года под названием «Before the Deluge». Перевод «Перед потопом» пересекался с русским названием романа «Истоки», хотя, конечно, «водная природа» двух заголовков различна. Русский вариант предполагает попытку найти ту самую точку в русской истории, которая предопределила национальную катастрофу, сделав ее неизбежной. Английский заголовок заманивает читателя обещанием широкого драматического полотна. Роман имел некоторый успех в Англии. В письме Адамовичу от 15 мая 1952 года писатель говорит по этому поводу: «„Истоки“ („Before the Deluge“) имели немалый успех, были выбраны „Book Society“, и пресса была очень хороша».

Но куда важнее реакции иностранного читателя отклик русской эмиграции, для которой «истоки», как и «потопы», не пустые слова. Писатель сокрушался, что в условиях европейской разрухи он должен выбирать между «Возрождением» и «УМСА-Press». Выбор в пользу второго издательства определился меньшей политизированностью американских христиан — хозяев издательства. «Истоки» на русском языке выходят в 1950 году. Иванов внимательно прочитал двухтомный роман и откликнулся на него в № 10 «Возрождения». Публикация сразу же обращает на себя внимание необычной редакционной врезкой: «Помещая эту острую оценку одного из первых русских поэтов нового романа нашего крупнейшего беллетриста, считаем нужным оговорить, что редакция с некоторыми положениями критики Г. В. Иванова, носящей скорее характер публицистический, чем литературный, решительно не согласна. К роману М. А. Алданова мы еще вернемся, но уже пером историка».

Читая рецензию, по сути, приличного объема статью, мы не узнаем привычной лихости Иванова-критика. Тут все на полутонах, автор отказывается от эпатажа и того, что сегодня называют диффамацией. Зачин рецензии нетороплив и даже солиден: «„Истоки“ Алданова чрезвычайно объемисты, даже для этого, приучившего нас к большим полотнам, писателя. Два тома, 932 страницы. На этот раз Алданов выбрал темой конец царствования Александра II. Роман начинается 11 января 1877 года, когда одного из его героев, Мамонтова, будит утром салют в честь бракосочетания царской дочери, великой княжны Марии, с герцогом Эдинбургским, и кончается цареубийством 1 марта и вступлением Александра III на престол».

Но достаточно скоро Иванов переходит к проговариванию своей главной претензии к Алданову. Делает он это изящно и неторопливо. Позволю себе обширную цитату: «Во втором томе „Истоков“ мимоходом, но очень выразительно, набросан портрет Клемансо в молодости. „Уже тогда“, отмечает Алданов, Клемансо „делил громадное большинство людей на прохвостов и дураков“. Но „теоретически“ — т. к. „никогда не встречал“ — Клемансо „допускал возможность“, что „где-нибудь очень далеко в пространстве“ могут „изредка появляться святые“, как „они, по-видимому, изредка появляются во времени, например, в первые века христианства“...

Уже подбор слов в этом отрывке замечателен сам по себе! Сколько оговорок делает Алданов, „теоретически допуская“, что „святые“, может быть, „изредка появляются“.

Чувствуется, что Алданов, так же как Клемансо, „в существование святых верит плохо“, — точнее говоря, не верит и сознает, что поверить не способен. И не только потому, что сам „никогда их не видел“, но и потому еще, что если бы и увидел, то вряд ли бы все-таки поверил... по врожденному скептицизму. Это подтверждается немедленно на примере. В том же вводном эпизоде „Клемансо, глядя на революционера с наружностью библейского патриарха“ — известного эмигранта Лаврова, колеблется, к какому разряду людей относится Лавров. Что Лавров „не прохвост“, Клемансо совершенно ясно. „Не святой ли перед ним“, — приходит Клемансо в голову. Клемансо „допускает“ эту возможность — ему хорошо известны высокие нравственные качества Лаврова. Но остается в силе и другая возможность, что Лавров просто дурак, — возможность для Клемансо гораздо более естественная. Решить окончательно Клемансо так и не может: разница между дураком и святым ему не вполне ясна.

От лица Клемансо явно говорит сам автор. Его взгляд на человечество, настойчиво проводимый им во всех его романах, абсолютно тот же. Характерно, что единственное исключение из „правила“ — что люди либо прохвосты, либо дураки, либо помесь этих двух особей „большинства людей“ — делается Алдановым в „Истоках“ для таких же, как Лавров, революционеров-народовольцев.

Эпизод Клемансо — Лавров характерен и для всего алдановского мировоззрения. В общих чертах оно сводится к следующему: „дураками и прохвостами“, составляющими „большинство человечества“, и в их личной жизни и в истории, которую они же творят, — двигают почти исключительно жадность, честолюбие и эгоизм. Только одни эти чувства в людях естественны и неподдельны. Все остальное — обман или самообман, сознательное или инстинктивное притворство. Ум — привилегия прохвостов. Он, по существу, не что иное, как более или менее удачная комбинация эгоизма и хитрости. Умение перехитрить ближнего, использовать его глупость — сила, возвышающая человека над окружающими. Она — залог и предпосылка успеха. Умный человек, прокладывая себе дорогу к удовлетворению собственной жадности, честолюбия, эгоизма, — тем лучше достигает цели, чем глубже его знание человеческих слабостей и чем более он свободен от предрассудков, созданных притворством или корыстью. Таков рядовой ум. Высшая же — философская — форма ума отличается от рядового тем, что презирает не только себе подобных, но и самое себя. Презрение это основано на самопознании».

Конечно, изначальная ссылка на Клемансо — только внешний повод, слабая маскировка, от которой поэт тут же отказывается. Читавшие рецензию Иванова в 1950 году, вряд ли понимали то, что хотел и что сказал рецензент. Речь в ней идет не просто о писателе Алданове. Нужно знать историю отношений Марка Александровича с Георгием Владимировичем в послевоенный период. Знаем или предполагаем отчасти мы. Иванов говорит о природе знаменитого джентльменства Алданова. В ее основе лежит не стоицизм — делание добра вопреки превосходящим силам действительности. Холодноватое доброжелательство Алданова — следствие его изначального неверия в человека. Человек подл, поэтому «зрячий гуманизм» умножает себя на два. К просто добру поступку прибавляется тот факт, что умеренно облагодетельствованный субъект никак не заслуживает этого. «Гуманист» устало улыбается, окружающие приветствуют его трагические усилия. Уклонение Алданова от желавшего «объясниться» Иванова следует понимать как последовательное сохранение комфортной мировоззренческой позиции. Инстинктивно Алданов понимал, что случай Иванова не вписывается в его «онтологическую сетку». Полутона Марк Александрович оставлял для прозы. Хотя и там «психологические тонкости» излишне прописаны и акцентированы. При чтении романов Алданова возникает чувство, что писатель почти курсивом обозначает

«сильные места». В этом плане он невероятно далек от учителя — Льва Толстого. Лев Николаевич писал заметно корявее, технически несовершенно, но одновременно и убедительнее. Может быть, здесь и скрыта тайна его ошеломляющего воздействия на наше сознание. Алданов слишком аккуратный ученик Толстого. Разбирая и копируя «приемы учителя», он не осознает, что те работали в силу нерасчлененной стихийности.

В жизни Алданов придерживался грубоватой, но рабочей модели отношений с людьми, компенсирующей его писательскую сложность. Цель Иванова — показать механистичную одномерность алдановской глубины и почти прозрений:

«Авторский скептицизм и безверие разлиты на этот раз по всему, роману равномерно и бесстрастно. От этого они меньше обращают на себя внимание: но, пожалуй, еще более всепроникающи и ядовиты Мамонтов и Черняков, неизменно попадающие по воле автора в нужную минуту в центр событий, — те же, только слегка перегримированные, наши старые знакомые Штааль и Иванчук. Оба в меру ограничены, в меру себе на уме. Оба одинаково стремятся к тому, чего у них нет, и оба неизменно разочаровываются, если добиваются цели. Но, как правило, они ее не добиваются, потому что от природы „душевные импотенты“. Их безверие, не менее убежденное, чем у Брауна или Ламора, лишено воли и темперамента. Они вяло желают, вяло стремятся к цели и, вяло грустя о неудаче, на личном опыте и примере подтверждают все ту же основную истину: все в жизни притворство и самообман, жадность, глупость и эгоизм...»

Напомню читателю слова Алданова в письме Иванову: «У Вас немцы замучили „только“ некоторых друзей. У меня они замучили ближайших родных».

Уместные и горькие слова Алданова оборачиваются против него. Мученическая гибель ближайших родных не помешала писателю творить в той же размеренной и продуктивной манере: «Сами по себе „Истоки“ — такой же, в общем, алдановский роман, как предыдущие. Но то, что „Истоки“ появились после войны, меняет многое. То, что прежде, смутно раздражая, с лихвой искупалось чисто литературными достоинствами, выступает теперь на первый план, вызывая уже не смутное, а определенно тягостное чувство. Как рефлектор, за „Истоками“ стоят события последних десяти лет. В их свете ироническая усмешка автора, оставшаяся неизменной, приобрела новый зловеще-отталкивающий оттенок».

При таком раскладе обнищавший, подвергнутый какому-то нелепому полуостракизму, расплачивающийся за реальные или мнимые грехи Иванов — настоящая жертва войны и всего безумного двадцатого века. По Алданову падение русской истории в начале века задано общей нелепостью отечественной жизни: «Вывод напрашивается, по-моему, сам собой: даже тем немногим, что было в русской истории „цивилизованного“, не скучного, не непонятого, — русским людям чрезмерно гордиться нечего: оно или создано иностранцами или заимствовано у них. Не наивно ли строить на этой не вполне обоснованной гордости — надежды на русское будущее? Какие, в самом деле, если верить нарисованной в „Истоках“ картине, у нас основания для этого? Сзади — скучное и непонятое „предисловие“. В настоящем — кровавое „послесловие“. В мимолетном „просвете“ — заимствованная, не успевшая привиться цивилизация, скверные цари в построенных итальянцами дворцах, пустое общество и — единственное положительное явление среди этой смеси лицемерия, интриг, бестолковщины и разочарования — бомбы революционеров, героически жертвующих жизнью во имя „светлого будущего“... которое обернется сталинским „настоящим“...»

Вывод Иванова на фоне его предыдущих критических упражнений кажется бледноватым, почти выверенным: «Говорят: „Талант обязывает“... Мне кажется, что в нынешних „исключительных“ обстоятельствах еще в большей степени обязывает престиж. Имя Алданова, бесспорно, самое прославленное из имен русских современных

писателей. „Истоки“ не только прочтет каждый русский эмигрант, „новый“ и „старый“, но и множество иностранных читателей. Большинство из них прочтут „Истоки“ не только как увлекательную и блестящую книгу, но и вдобавок как книгу писателя, которого давно чтут и словам которого заранее верят. И вот иностранцы узнают лишний раз, что Россия, в лучшую свою пору, была такою, какой ее изображает знаменитый и независимый русский „историк“. „Новых эмигрантов“ роман Алданова обогатит, кроме этого отрицательного изображения почти неизвестного им русского прошлого, еще и тонкой прилипчивой проповедью неверия и отрицания. А эмигрант старый с горечью задумается — кто ж все-таки прав? Он, несмотря на все продолжающий гордиться русским прошлым и верить, опираясь на эту гордость, в русское будущее, или так красноречиво и убедительно разрушающий эти „иллюзии“ Алданов? Короче говоря — первоклассная по качеству книга принесет больше вреда, чем пользы, и вред этот вряд ли искупят ее художественные достоинства... Последние, повторяю, велики. Но все-таки, если бы это было возможно, следовало бы отложить чтение Алданова до лучших времен, когда все раны зарубцуются...»

Иванов в очередной раз продемонстрировал неконвенциональность собственной природы. Очень часто его биография заставляет вспомнить слова Бориса Поплавского из его дневника: «Одним я слишком перехамил, другим слишком переклялся». Поэт считал, это личное качество лишало его равновесия, не давало ему возможности поддерживать нормальные отношения с окружающими. Георгий Иванов усовершенствовал формулу Поплавского: кланясь и хамя одним и тем же людям.

Статью Иванова прочитали все заинтересованные лица.

Интересен диалог по ее поводу между Василием Маклаковым — видным кадетом, депутатом Государственной думы нескольких созывов и главным героем публикации. Алданов пишет Маклакову: «Я прочел „Возрождение“ и рецензию Иванова еще до получения Вашего письма, — получаю журнал по абонементу. Если я правильно разобрал Ваше слово, Вы говорите, что были „ошеломлены“ этой рецензией. Я могу только сказать, что мне она была так же неприятна, как непонятна». Прозаик упрекает Иванова в наивном читательском восприятии, отождествляющего позицию автора с мнением его героев: «У меня естественно высказываются отзывы об Александре II разными действующими лицами. Есть отзывы восторженные (госпожа Дюммлер), есть отзывы чрезвычайно положительные (Муравьев), есть отзывы отрицательные (революционеры). Казалось бы, что это естественно, — не может же революционер хвалить царя. Однако Иванов все отрицательное вообще приписывает мне. „Алданов говорит!“ Мой „порт-пароль“ и Мамонтов (который сам себя у меня в романе называет пигмеем), и Клемансо в своем суждении о людях, и даже немецкий коммерциентрат, — хоть всякому добросовестному читателю должно было быть ясно, что я никак не отвечаю ни за Клемансо, ни за постоянно меняющиеся мысли Мамонтова».

Ну а далее критику достается за то, что он Георгий Иванов. Алданов не выдерживает и принимается перечислять грехи поэта: «Не стоит касаться того, что упрекает меня в неуважении к человеку, к прошлому России и т. д. человек, написавший чисто нигилистическую книжку о „распаде атома“, стихи „Хорошо, что нет царя, Хорошо, что нет России, Хорошо, что Бога нет“, и, вдобавок, б[ывший] сотрудник „Советского Патриота“, перекочевавший в „Возрождение“. Конечно, его рецензия была исключительно продиктована желанием сделать мне неприятность (он ее, не скрывая, и сделал). Чем это желание объясняется, — не знаю: он от меня ничего кроме добра никогда не видел. Но он такой человек. Что мне в его похвалах? Если б он назвал мою книгу бездарной, я почти не огорчился бы».

Ссылаясь на ивановское «Хорошо, что нет Царя. Хорошо, что нет России...», Алданов демонстрирует поразительную для писателя глухоту. Это стихотворение — не политический лозунг Иванова, оно отражает обреченность русских эмигрантов первой волны и всю беспросветность этой обреченности. Кстати, ограниченность Алданова замечали и другие. Вера Зайцева, жена Бориса Зайцева, в 1949 году пишет в дневнике: «Были на испанском балете Greco — неплохо! Были и Алдановы. Скучные люди». Кроме того, увлекшись отповедью, Марк Александрович грешит неточностью. Иванов никогда не был сотрудником «Советского патриота». Там в 1945—1946 годах напечатано несколько стихотворений и одна рецензия Иванова. На этом сотрудничество прекратилось.

Редактор «Возрождения» Сергей Мельгунов лично написал пострадавшему перwokлассному писателю: «Вышел № 10 с отзывом Иванова о Ваших „Истоках“. Я поместил с редакционной оговоркой. Роман Ваш дался мне тяжело. Первый вариант Иванова я решительно отказался печатать. Вообще я решил с Ивановым расстаться — он не подходящий для меня обозреватель. Мне его жаль — он человек талантливый. Но в состоянии опьянения превращается в невозможного хама».

Наверное, мы навсегда потеряли тот самый «первый вариант» отзыва. Жаль. Но насколько же Иванову была важна публикация об Алданове, если он, укротив гордость, усадил себя переписывать «острые» места в тексте. Не забывал Иванов Алданова и потом, когда уже не мог или не хотел писать, а тем более переписывать объемные статьи.

В начале 50-х Иванов крепко задружил с «Новым журналом». Издание, основанное как раз Алдановым, постепенно превращалось в лучший журнал русской эмиграции. Этим еще раз подчеркивалась провинциализация русских в Европе. Иванову неплохо платили в «Новом журнале», кроме того, хотелось показать бывшему «своему» «Возрождению», что он не потерялся, работает, печатается. Иванов написал несколько писем главному редактору профессору Михаилу Михайловичу Карповичу, в которых честно хвалит журнал, его авторов и самого Карповича. В апрельском письме 1952 года Иванов подробно разбирает № 28 «Нового журнала». Главное, что его смущает — «Повести о смерти» Алданова. Пытаясь быть «объективным», Иванов уличает автора исторических романов в незнании самой истории: «Марк Александрович блещет эрудицией, но в его знания, в отличие от познаний Вейдле, я не очень верю. Тут уж, т. е. в мелочах былых времен, брака Бальзака <и> Ганской, особенно в Киеве и т. п., я решительно ничего не знаю. Однако нет-нет и засомневаюсь, как всегда, читая нашего знаменитого эссеиста. И как всегда, сомнения тут же укрепляются уверенностью в чем-нибудь, что что-нибудь случайно твердо знаешь. Вот, например, прочел, что какой-то его персонаж — не мог жить без вспрыскиваний морфина. И взяло сомнение — м. б., разумеется, и неосновательное: были ли в те времена и шприц, да и сам морфин. Посмотрите при случае в словаре... Мне что-то не верится. Опиум — лауданум — разумеется, был повсеместно распространен и без всяких рецептов. Но его как будто не вспрыскивали, а попросту глотали. Это сомнение... А на той же странице „Ганский никакой не граф“. Совершенно случайно, но совершенно точно, тут уж определенно знаю: вздор. Оттого, что моя родная бабушка (с мат<еринской> стороны) носила ту же фамилию, и в послужном списке моего прадеда было ясно написано: женат на девице Констанции Федоровне, графине Ганской. Если не ошибаюсь, титул этот дан был детям от морганатического брака какой-то королевы, вроде Марии Лещинской...»

Иванов не перестал «клевать» Алданова до самой смерти писателя. Процесс разоблачения продолжился в письмах и немногочисленных устных беседах.

РЕЦЕНЗИИ

«ДЕТСТВО НЕ ПОДЛЕЖИТ УЦЕНКЕ...»

**Дина Рубина. Не вычеркивай меня из списка. Большая проза Дины Рубиной.
М.: ЭКСМО, 2024. 416 с.**

Детство не подлежит уценке. Сказано точно и безошибочно. Дина Рубина вообще мастер точных формулировок, остроумных, берущих за душу, близких по своей сути. А что подлежит уценке? Юность, зрелость, старость? Нет, конечно, все остается в нашей памяти, и ценность воспоминаний только растет с каждым годом. В тех воспоминаниях молодые, смеющиеся мама с папой, бабушки и дедушки, чья любовь с возрастом только крепче... Семейные воспоминания — почти в каждой книге Рубиной, и это только добавляет чтению интерес, а описаниям — обаяние. Это стало частью стиля одного из самых известных прозаиков нашего времени, коим, на мой взгляд, является Дина Рубина. «На солнечной стороне улицы», «Почерк Леонардо», «Белая голубка Кордовы», «Русская канарейка»... В этих и других рубинских романах мы встречаем пронзительные главы воспоминаний, рассказы о родственных взаимоотношениях, и все это — с неизменной любовью, нежностью и иронией, юмором и сарказмом, главное, предельно честно и откровенно, без сюсюканья и традиционно розово-сентиментальной словесной патоки, свойственной иным мемуарным произведениям. В новой книге «Не вычеркивай меня из списка» ко всему этому добавляются интонация отчаяния и ощущение неумолимости протекающего сквозь пальцы времени. Времени, в котором все остается и все исчезает. И какое счастье, что благодаря таланту рассказчика то, что исчезает, казалось, бесследно, остается (навсегда?) на страницах книги, переходя в коллективную память, поднимая житейские переживания до уровня драмы и комедии большой литературы. Наполняя неожиданным смыслом летучие мгновения уходящей и в то же время вечной жизни.

Семейная хроника в новой книге представлена в виде небольших повестей, объединенных рассуждениями автора о жизни и смерти, любви и ненависти. Обо всем, что и составляет суть прожитых лет. Потрясающая в своей откровенности книга читается, что называется, на одном дыхании. Даже учитывая, что не все повести новые и, соответственно, уже читанные. Но они так точно вплетены в общую ткань повествования, что воспринимаются как новые. Наверное, нужно немалое мужество, чтобы рассказывать о родных людях, не скрывая то, что обычно не выносится наружу, как пресловутый сор из избы. Но правда всегда важнее предрассудков. К тому же она всегда интереснее и более непредсказуема, чем самые замысловатые выдумки. Ведь это жизнь, и Рубина пишет о ней так:

Моя личная родня была неистова и разнообразна. Чертовски разнообразна касательно заскоков, фобий, нарушений морали, оголтелых претензий друг к другу. Не то чтобы гроздь скорпионов в банке, но уж и не слезыньки Господни, ох нет. С каждым из моей родни, говорила моя бабка, «беседовать можно, только наевшись гороху!». ...Свое раннее детство в окружении родственных персонажей я помню сквозь непрямую дымку цветения каких-то кустов или фруктовых деревьев или сквозь плотную, как парча, вязь виноградных усиков. Вижу их всех как на дагерротипе: я взирала на клетот и грохот семьи с высоты своего горшка. Он был си-

ний, эмалированный, с голубой незабудкой на боку, установленный для меня посреди беседки, увитой виноградом сорта «дамские пальчики». Сидеть на нем было уютно, сидела я подолгу, меланхолично впитывая громогласную перебранку всех со всеми, лай невменяемой собаки Найды, боевые вопли соседских кошаков, грозные окрики бабки... А надо всем этим балаганом — томный гул фиолетовых горлинок — тончайшую аранжировку детства.

Молочные реки, кисель-берега, где Кот в сапогах, Колобок, Айболит... Закроешь глаза: «Кто летит?» — «Га-га-га»... Крылатая память из детства летит. Летит, то смеется, то плачет в пути, и я улыбаюсь и хмурюсь в ответ. Пытаюсь молочную речку найти. Но там только эхо того, чего нет.

Интересно, что открывает книгу повесть об армейской службе мужа. Интересно, потому что символично. Ведь история мужа — это продолжение истории рода, в которой служба в армии — обязательная часть мужской биографии. Ох, как близко и знакомо это пронзительное повествование каждому, в чьей судьбе была неминуемая в те годы страница, осененная тяжелыми крыльями солдатских погон.

И хоть Борису, юному талантливому живописцу, призванному из художественного училища, к тому же спортивному и коммуникабельному, было, возможно, немного проще влиться в ряды отличников боевой и политической подготовки, все равно это было испытание на прочность души и тела, характера и умения переносить нелегкие испытания. Такой, впрочем, служба была всегда и остается сегодня. Не зря ее называют школой жизни, в которой не выдают аттестаты, но штамп в военном билете — он на всю жизнь.

Дни его теперь были размечены по минутам от «Рррота, подъем!» до «Рррота, отбой!». Зарядка-пробежка, завтрак, занятия в классах. Стрельбища, спорт, обед и снова занятия. Немного свободного вечернего времени перед ужином или очередной наряд... Наконец, вожделенное: «Рррота, отбой!»

Перед отбоем армейских будней, то есть перед демобилизацией, Борис создал солдатскую «фреску» на большом листе обоев. Свои изображения сослуживцы, увольняясь, забирали с собой как память, в которой надежды и желания сильнее будущих разочарований.

Это было веселое застолье: ломящийся от яств могучий деревянный стол, вокруг которого уместилась почти вся рота. Поднимая и опрокидывая бокалы, каких в жизни в глаза не видал ни один посетитель местной солдатской столовой, вонзая ложку в салат горой, подцепляя вилкой кусок огромного осетра с хребтом дракона; воздевая, как шпаги, шампуры шашлыков, срывая виноградину — кто развалившись, кто привскочив, кто хохоча, кто разева в песне рот... — сидели его однополчане, праздную молодость и Новый год.

Вспоминаю армейскую жизнь.
Как шептал я себе: «Держись!»
Как гонял меня старшина
и кричал мне: «А вдруг война?..»
Как я песни в строю орал,
как потом в лазарете хворал...

А потом по команде «Отбой» —
засыпал я, довольный судьбой,
потому что служил стране,
и светилась звезда в окне,
потому что, как ни ряди —
жизнь была еще вся впереди.

А у читателя книги впереди самые трепетные и душераздирающие истории о родителях и дедушках с бабушками, в чьих житейских коллизиях время отразилось всеми красками и оттенками с преобладанием тревожного красного цвета. Не избалован-

ные лаской и комфортом, эти поколения в полной мере познали вкус перемен, нищеты, тщеты, ожиданий, разочарований. Были и надежды, и свои локальные победы. И была война, тень которой ощущалась ими потом всю жизнь. Но при этом была и любовь, которая побеждает все, и войну в том числе. Была жизнь, о которой Дина Рубина пишет талантливо и с улыбкой. В этой улыбке — все. И сочувствие, и сопереживание, и понимание, что все — временно и вот-вот невидимая ниточка оборвется. А дальше — только воспоминания. Это ощущается и в главе, посвященной отцу, тоже художнику, у которого (как у всех нас) недостатков не меньше, чем достоинств. А талант только расцветивает все в тона счастья и несчастья.

Он похудел, вдруг понимаю я. Он похудел! Вот оно, вот что... Сердце у меня сжимается в паническом спазме. Ну-ка, возьми себя в руки, говорю я себе. Ему восемьдесят пять, говорю я себе, не сорок и даже не шестьдесят, он прожил длинную и абсолютно безмятежную эгоистичную жизнь под охранным боком моей матери, которая все годы вытанцовывала перед ним на цыпочках, «чтобы в доме было тихо». (В старости она, впрочем, восстала, и сейчас это два закаленных бойца, занятых войной друг с другом и каждый своими обидами.)

Приходили в комнату тени
и вели беспокойные речи
о потерях-приобретеньях,
о грядущих разлуках и встречах.
И язык мне их был понятен,
и в крови стыла дрожью истома,
словно тенью солнечных пятен
обожгло окна отчего дома.

Обжигает горечью глава о маме, о ее омраченном болезнями уходе. Яркая, талантливая, остроумная... Ее уроки истории остались в головах учеников если не на всю жизнь, то очень надолго. Ее обаяние не давало поверить в болезнь до последнего дня. Она боролась, стараясь не замечать ее. Подробности этого кошмара разрывают душу даже постороннему читателю. Состояние дочери передает текст книги. Это тот случай, когда лишний раз понимаешь: жизнь и смерть всегда рядом.

Нет, это была не мама... Из любимого человека выглянула и стала прорастать, неумолимо заполняя личность, незнакомая, чуждая ей самой, вздорная и забывчивая старуха. Так мы стали вместе с ней погружаться в темные воды забвения...

— Пропишите мне диету, доктор, — говорила она, входя в кабинет и присаживаясь к столу врача, — а то скоро моя фигура будет уже писаться не через «фи», а через «фе»!

И врач хохотал. Объяснять врачу, что она не помнит, жив ее муж или умер, было бесполезно.

Я только изумлялась, наблюдая, как она собирается, концентрируя последние силы своей проигравшей армии, с какой готовностью вздымает флаг, трубит всеобщий сбор и чуть ли не «ура!» кричит после каждой своей маленькой, но все же победы... На обратном пути в машине она, изрядно уставшая, говорит мне:

— Яша звонил. Никак не может решиться оставить свою ташкентскую развалюху, подхватить Свету с ребенком и махнуть сюда. Как тебе это нравится?

Я молчу... Что можно сказать этой артистке, этой танцовке на канате памяти? Что брат ее Яша, а также жена его Света уже лет восемь как покинули этот мир, а их «ребенку», моему двоюродному брату, уже под пятьдесят, и десять лет он живет в Хайфе?

«Остановка Вылезайка», — говорила в детстве мама,
и трамвайное движение громыало позади.
Позади уже так много, за горами, за лесами,
за небесными холмами тает эхо «выходи»!..

«Последний выход», как последний парад, — это боль памяти для тех, кто остается. А те, кто уходят, не исчезают совсем. Их парад длится теперь вечно. Их горизонт, удаляясь, остается зримым. И с каждым шагом понимаешь, что звание «папа» или «мама» — это на всю оставшуюся жизнь, и даже больше. Рубина рассказывает о своих родных, но когда читаешь, возникает ощущение, что речь идет о твоих близких людях. И ты вспоминаешь и сравниваешь. И внезапная слеза не оказывается лишней, и это не ветер в лицо, это картинки прошлого в сердце, и в них — то, что было и уже никогда не будет. Трогательную и добрую книгу написала Дина Рубина, хотя тон ее порой насмешлив и невесел. Но в жизни все именно так и перемешано.

...И начался следующий этап нашей с мамой жизни. Прощальный... Мама умира-ла бессловесная, пергаментная — как старинный документ. Медсестра, которой пришлось оказаться рядом за несколько минут до маминой смерти, спросила: «Рита, как ты себя чувствуешь?» И мама прошептала: «Хорошо...» Не думаю, что она вообще что-то чувствовала в ту минуту. Просто это был ее девиз, вымпел, который она выбрасывала в ответ на все запросы мира и людей.

— Как ты провела здесь эту жизнь, Рита?

— Хорошо. Очень хорошо! Просто великолепно!

Господи, прошу я мысленно, только не испорть мне выход! Сохрани до конца мой стервчатый ум, мой насмешливый взгляд на человеческие поступки, мою беспощадную к себе иронию. Не затягивай и не комкай реплик — я так люблю значительный финал. Дай же поставить точку в нужном месте! Не испорть мне выход. Не вычеркивай меня из списка...

Приходят ненадолго,
а думают — навечно.
Попутная дорога
становится вдруг встречной.
И рвется кровь сквозь вены
в неведомые дали.
И это — неизменно.
А все вокруг — детали.

— Ты слышишь, как сердце стучит у меня?
— Нет, это — колеса по рельсам...
— Ты видишь — дрожу я в сиянии дня?
— Ты мерзнешь. Теплее оденься...
— Ты видишь — слезинки текут по щекам?
— Нет, это дождевики — к удаче...
— Ты чувствуешь — я ухожу к облакам?
— Я вижу, я слышу... Я плачу.

Но этот плач и эта печаль по-пушкински светла. Наверное, это главное впечатление, и именно для этого пишутся хорошие книги. Которые не хочется вычеркивать из списка прочитанных. И еще, на мой взгляд, важные слова, с которыми автор обращается сама к себе, но и ко всем нам. Они просты и сердечны. Тем не менее иногда, чтобы прийти к ним, не хватает всей жизни. И воспоминаниями уже ничего не справишь.

Ты пристаешь по пустякам к детям и внукам, перебиваешь их, читаешь нотации и учишь жизни в собственном понимании — что она такое, эта неуловимая и необъяснимая жизнь, в которой все равно никто ни черта не понимает. А надо просто давать им деньги и говорить: тратьте их, мои любимые, тратьте эти жалкие бумажки, делайте глупости, покупайте собачью чушь, потому что, когда кончается собачья чушь, кончается и жизнь.

На мой взгляд, в этих словах нет нравоучительности. В них — любовь и отчаяние. Ведь все проходит так быстро. И только эти чувства удлинняют мгновение и останавливают его хотя бы в нашей памяти.

Что успел — подарить мне любовь между строчек,
 что хотел — научить не стесняться себя...
 Ты прости, что я был благодарным не очень.
 «Ты прости», — это нынче шепчу я, любя.
 Становлюсь на тебя я похожим с годами.
 Интересно, узнаешь меня или нет...
 Преломляется время, парившее с нами,
 и рождает, как в детстве, мерцающий свет.

«На Верхней Масловке», «Двойная фамилия», «Почерк Леонардо», «Белая голубка Кордовы», «На солнечной стороне улицы», «Любка»... Эти и другие книги Дины Рубиной, на мой взгляд, по праву считаются одними из самых заметных произведений современной русской прозы. Их отличительная черта (наряду с талантом автора, конечно) — добрый юмор, незлая ирония (и самоирония), виртуозное владение словом, образность, рождающая магию повествования, и многое еще, о чем подмечено: «Талантливо — это когда здорово, но непонятно как». И еще одно свойство прозы Дины Рубиной — увлекательность (о которой как-то Юрий Поляков сказал, что это — вежливость писателя). Ее вежливые книги читаются на одном дыхании, это как раз тот случай, когда оторваться от чтения трудно. И это не зависит от времени и обстоятельств, в которых мы живем. А также от того, где на данный момент проживает автор. Повороты судьбы прихотливы. Их не выпрямишь. В них можно только вписываться (или нет). Рубина вписывается мастерски. Не зря же говорят, что талант человека проявляется во всем. И пусть сегодня она живет не в России, но пишет о жизни так, что это понятно читателям в столицах и в провинции, где ее книги ждут и читают. Очередная книга «Не вычеркивай меня из списка», думаю, будет встречена с не меньшим интересом. Она стоит того. Своей пронзительной откровенностью, трогательной открытостью, неизменным юмором и иронией. Она о родителях, о семье, а это всегда интересно и поучительно (но без нравоучений). Писатель пишет, читатель читает. Жизнь продолжается, и, значит, «есть еще для счастья время».

Владимир СПЕКТОР

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

У БЕРЕГОВ ИСПАНИИ

Часть 1

В 1992 году исполнилось 500 лет со времени открытия Америки Христофором Колумбом. К этому юбилею была приурочена международная парусная регата «Колумбиада-500», в которой приняли участие десятки парусников из разных стран. Петрозаводский клуб «Полярный Одиссей» снарядил в это путешествие три ладьи древнерусского типа: «Веру», «Надежду» и «Любовь». Летом 1991 года ладьи, выйдя из Мариуполя, дошли до Генуи и встали на зимнюю стоянку в гавани близлежащей Савоны. Для согласования этого вопроса с местной мэрией один из участников будущей «Колумбиады-500» отправился в Савону с оказией — на грузовом теплоходе «Ростов-на-Дону». Далее теплоход проследовал в Касабланку (Марокко) с заходом в Барселону...

ПАСХА ХРИСТОВА В БАРСЕЛОНЕ (весна 1991 года)

В Великую субботу, накануне празднования Пасхи Христовой, теплоход «Ростов-на-Дону» покинул гавань Валенсии и встал на рейде, чтобы к вечеру взять курс на Барселону. В 23 часа по судовому времени, то есть в полночь по московскому, через местную радиосеть началась трансляция пасхального богослужения, передававшаяся через радиостанцию «Родина». «Слава Святей и Единосущней и Животворящей и Нераздельной Троице...» — раздался возглас священнослужителя, начавшего пасхальную вечерню в московском Елоховском кафедральном соборе. И несмотря на помехи в эфире, радость о воскресшем Спасителе проникала в сердца тех членов экипажа, которые были свободны от несения вахты и могли мысленно следить за ходом богослужения. В море как-то по-особенному воспринималось молитвенное прошение, возглашавшееся на великой ектенье: «О плавающих, путешествующих... Господу помолимся».

Утром, в Светлое Христово воскресение, членов экипажа ждал сюрприз: Всемирная служба Московского радио, работающая для наших соотечественников за рубежом, посвятила специальную передачу рассказу о Пасхе Христовой. «Христос воскрес!» — приветствовали друг друга члены экипажа, лишь в сентябре 1991 года освободившиеся от идеологической опеки помполита¹. «Воистину воскрес!» — слышалось в ответ.

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.

¹ Помполит — помощник капитана по политической части на судах СССР.

В Барселоне теплоход поставили у дальнего причала. До выхода из порта пешком идти примерно полчаса. Воскресный день, и в порту ни души. Изредка проезжает машина с полицейским патрулем. Полицейский стоит и у проходной порта; не спрашивая документов, он лениво машет рукой: проходи! Предвкушаю встречу с колумбовской «Санта-Марией», которая должна стоять где-то у городской набережной. Вот показалась колонна со статуей Колумба наверху — этот монумент был воздвигнут барселонцами в честь отважного мореплавателя: город помог ему при жизни снарядить экспедицию в Америку и щедро отблагодарил его после смерти. Здесь же должна стоять его каравелла... У набережной действительно покачивается старинный испанский галеон, но по размерам он явно превосходит колумбовский корабль, да и название, выведенное на борту, гласит: «Нептун». Центральная часть набережной заканчивается, но где-то вдаль, там, где бухта для яхт, просматриваются знакомые очертания, не раз виденные на рисунках. Подхожу ближе, но почему же на корме «Санта-Марии» развевается японский флаг? Почему ее название написано не только латинскими буквами, но и иероглифами? Почему портом приписки значится город Кобе?

На борту японский экипаж; идет чаепитие, каждый облачен в белую униформу с надписью на груди: «Фонд „Санта-Мария“-500». Японцы и здесь опередили европейцев, которые только начинают подготовку к переходу через Атлантику в 1992 году, в честь 500-летия колумбовской экспедиции. Соорудив копию «Санта-Марии», они перегнали ее в Барселону и потихоньку обживают здесь. Вспоминаются слова из старого фильма о Гражданской войне на Дальнем Востоке: «Японский разведка — самый луссий в мире разведка». Неужели и «японский морехода — луссий в мире морехода»? Но где же колумбовский «подлинник»? Нарушаю церемонию чаепития и спрашиваю об этом одного из японцев. Закончив беседу с одним из местных жителей, он по этому случаю переходит с испанского (!) на английский язык. Оказывается, полгода назад на «Санта-Марии» случился пожар, и ее увели в дальний док для реставрации. Ведь к 1992 году Барселона должна достойно встретить два события: международную экспедицию «Колумб-500» и очередную летнюю Олимпиаду. Город готовится к этой дате: моется, скребется, чистится, ремонтируется. Набережная благоустраивается, фонтаны на профилактике, колонна Колумба в ограждениях; везде стук отбойных молотков...

Только в одном месте города, похоже, не торопятся отрапортовать к юбилейной дате. Если встать спиной к набережной, а затем начать подъем по одной из боковых магистралей, то через полчаса можно выйти к уникальному сооружению: это строящаяся уже в течение нескольких десятилетий церковь Сакрада Фамилия (Святое Семейство), названная в честь Богородицы с Младенцем и св. Иосифом. Своеобразие этого величественного памятника в том, что это не просто традиционная испанская готика, но она причудливо сочетается с модернистским стилем; чувствуется что-то близкое к творчеству Сальвадора Дали.

Высокие шпили храма похожи на гигантские кактусы, усеченные на конус. Здесь нет ни одной прямой линии, ни плоской поверхности; все изгибается, плавно переходя из одной сферы в другую. Строительство еще далеко от завершения; впрочем, куда торопиться, ведь речь идет о сопричастности к вечности. Пожалуй, единственная плоскость на церковной стене — это мемориальная доска: из надписи следует, что римский папа Иоанн Павел II посетил этот храм 7 ноября 1982 года. Как раз в том году прозвучал выстрел на площади Святого Петра в Риме. Как раз в этот день в 1917 году прозвучал выстрел «Авроры». Благодаря крепкому здоровью папа римский вскоре выздоровел и продолжил свою папскую миссию. Сможем ли и мы выкарабкаться из затянувшегося кризиса, или можно надеяться лишь на ремиссию?

Новый храм уже сегодня является символом Барселоны. Но любителей старины неизменно влечет в старую часть города, где, зажатый с трех сторон средневековыми стро-

ениями, высится кафедральный собор. К счастью, его фасад открыт для обзора; ажурная готическая резьба представляется застывшим органическим хоралом в камне. Внутри собора мерцает множество красных огоньков — это горят «лампариллос» (лампады) — толстые, короткие свечи, величиной с кулак, помещенные в красные стеклянные стаканчики. Верующие покупают их при входе в храм и во множестве приносят лампариллос к подножию Распятия или к чтимой иконе Божией Матери, обращаясь с молитвой о помощи в житейских делах.

На городской набережной в разгаре воскресный променад. В центре внимания публики — парусник «Нептун». Как и японская «Санта-Мария», это новодел — на его корме развевается тунисский флаг. История постройки «Нептуна» такова. В 1982 году кинорежиссер и продюсер Тарик бен-Аммар задумал снять фильм о пиратах. Действие картины должно было происходить на борту испанского галеона; в некоторых сценах предполагалось занять до 300 актеров. Сначала было решено проводить съемку фильма в кинопавильоне, используя макеты и декорации. Но постепенно бен-Аммар пришел к выводу, что единственный выход — строить настоящее судно. Он был реалистом, этот режиссер, и, в отличие от соцреалистов недавних времен, стремился снимать то, что видит, а не то, что слышит.

Вскоре работа закипела. Корпус корабля сооружался на мальтийской верфи под наблюдением тунисских специалистов из Бизерты (своеобразное международное разделение труда). Для особо сложных работ были приглашены английские корабельщики из Саутгемптона, а также французские специалисты. Этот трехмачтовый трехпалубный корабль строили около двух тысяч умельцев в течение двух лет, что обошлось в 8,2 млн долларов. В марте 1986 года галеон был спущен на воду; его окончательная отделка и оснащение производились в Тунисе.

Застрахованный компанией «Ллойд» на 30 млн долларов, «Нептун» совершил пробный рейс из Бизерты до Суса вдоль тунисского побережья; тогда же на нем велись съемки фильма. Затем галеон подался к Лазурному берегу на 39-й Международный каннский кинофестиваль, где, естественно, привлек всеобщее внимание. Он был показан в 140 международных телепрограммах; тогда же на фестивале демонстрировался снятый на нем фильм «Пираты», который, как и наши «Пираты XX века», был обречен на успех.

В 1991 году галеон пришвартовался в Барселоне. Это внушительное сооружение длиной 203 и шириной 52 фута, его грузоподъемность 1500 тонн. Нос парусника украшает огромная статуя Нептуна с трезубцем в руке. Прикрыв от солнца глаза, он всматривается вдаль. Парусная оснастка корабля, потрепанная штормовыми ветрами, явно нуждается в ремонте. Поэтому нынче деревянный «Нептун» зарабатывает звонкую валюту. Барселонские детишки тянут за руку своих родителей к трапу корабля. При входе их встречает приветливый кассир, который продает входные билеты — по 500 песет на лицо. Это примерно 5 долларов — та минимальная почасовая плата, за которую соглашается работать нью-йоркский мусорщик. А в 1991 году, в пересчете по «павловскому» курсу рубля, — это месячная ставка отечественного молодого специалиста. И чтобы ему по приезду в Барселону было доступно посещение шхуны. — делайте новые ставки, господа!

...На Светлой седмице из кают-компании со стены как-то незаметно исчезли портреты «основоположников» — следы деятельности уже упраздненного помполита, и вместо них появились политическая (но деидеологизированная!) карта мира и карта Средиземноморья. Во время этой же Пасхальной недели из передачи Всемирной службы Московского радио мы узнали, что в Большом театре в Москве состоялся праздничный концерт духовных песнопений, во время которого один из московских настоятелей обратился к публике с пасхальным приветствием. Впервые за 70 с лишним лет в этих стенах в ответ прозвучало: «Воистину воскрес!»

...Весной 1992 года участники международной экспедиции, стартовав из Генуи, пересекли Атлантику и завершили свой маршрут у берегов американского континента. А наши три ладьи — «Вера», «Надежда» и «Любовь» — со многими приключениями смогли пройти лишь часть пути — от Генуи до Канарских островов. Однако в отличие от больших парусников мы не участвовали в гонке на время вдаль от суши, а неспешно следовали вдоль берегов Италии, Франции и Испании, заходя в гавани старинных городов и обозревая их достопамятности. Это обитель Монтсеррат, острова Мальорка, Ивиса, Форментера, города Таррагона, Мурсия, Эльче, Авила, Сантьяго-де-Компостела. Последним городом «матерой земли» перед выходом в Атлантику был испанский Кадис, история которого в прошлом была тесно связана с Россией.

ПАЛОМНИЧЕСТВО В МОНТСЕРРАТ

Путешественники, прибывающие в Барселону, в первую очередь посещают величественный кафедральный собор, а также всемирно известное творение Антонио Гауди — Сакрада Фамилия (храм Святого Семейства), уже ставший символом столицы Каталонии. Но не менее притягательны окрестности Барселоны, и в первую очередь городок Манреса с расположенной недалеко от него обителью Монтсеррат. Для европейца, а особенно каталонца, Монтсеррат — это то же самое, что для россиянина Оптина пустынь или Троице-Сергиева лавра.

От площади Испании на Монтсеррат часто ходят электрички; поезда отправляются в Монтсеррат прямо из-под площади. У железнодорожной кассы виден целый ряд объявлений о том, как доехать до обители: они написаны на шести европейских языках. Это своего рода свидетельство о всемирной известности монастыря.

Пригородный поезд выскакивает из тоннеля на окраине Барселоны; вскоре за окном вагона начинают мелькать апельсиновые рощи и небольшие ухоженные поля. Поезд приближается к подножию горного хребта; Каталония ограничена с севера Пиренеями. Всего в 50 километрах от Барселоны, прямо посреди окружающей равнины возвышается гора Монтсеррат со странно отсеченной вершиной. В буквальном переводе с каталанского это название означает «отпиленная гора» (или «зубчатая гора»), что как нельзя лучше соответствует ее внешнему облику.

Наш поезд замирает как раз напротив этой горы, и паломники из разных стран сыплются на перрон, совмещенный со станцией фуникулера. К обители можно нынче подняться в вагончике по канатной дороге.

Из глубины веков до нас дошла легенда о том, что Монтсеррат обязан своей странной конфигурацией ангелам, которые с помощью золотой пилы хотели превратить гору во дворец для Божией Матери. Но среди каталонцев бытуют и другие предания, уходящие в глубину веков. В них причудливо переплетаются языческие, дохристианские верования и повествования, относящиеся ко времени христианизации этого края. С Монтсерратом связаны поэтические легенды каталонцев; трубадуры воспевали его в своих стихах.

Из истории известно, что впервые в документах о Монтсеррате упоминается в 888 году, а в 1025 году епископ Рипольский Олиба основал здесь монастырскую обитель на высоте 725 метров над уровнем моря, почти на отвесном утесе у одной из вершин хребта. Здесь поселились бенедиктинцы. В обители благоговейно сохранялась статуя Божией Матери Монтсерратской. (По местному преданию, она была вырезана из черного дерева евангелистом Лукой и принесена в Испанию апостолом Петром. Во время набега мавров в 718 году епископ и правитель Барселоны скрыли в одной из многочисленных пещер, вырытых в горах Монтсеррата, статую Пресвятой Девы, почитавшуюся в Барселоне уже несколько веков. Обретение этой статуи в 880 году дало повод к возведению тут первой в ее честь часовни).

С тех пор слава Монтсеррата постоянно росла. Со всех концов Испании сюда стремились богомольцы, привлекаемые чудотворными исцелениями Монтсерратской Богоматери и красотой здешних мест. Графы Барселоны, короли арагонские, наваррские, кастильские приезжали сюда на поклонение и обогащали обитель щедрыми пожертвованиями. Постепенно Монтсеррат стал национальной сокровищницей. Летом 1888 года сюда пожаловала испанская королева-регентша Мария-Христина, которая находилась в Барселоне по случаю торжеств, приуроченных к открытию в этом городе Всемирной выставки. Во время пребывания королевы в Монтсеррате два епископа и аббат монастыря в сослужении с братией с большим торжеством отслужили праздничную обедню.

...Вагончик фуникулера, набитый, паломниками, не спеша поднимается ввысь, втягиваясь в ущелье. Где-то над обрывом виден крест с Распятием, где-то небольшая часовня. И везде — цепочки паломников, туристов, бредущих по тропам в окрестностях обители. Вот и она сама: монастырь представляет собой небольшой городок, состоящий из базилики, пятиэтажных зданий гостиницы, монашеских келий, музея, магазинчиков с сувенирами, почты, кафе, ресторанчиков и других служб «сокультурбыта». При входе в монастырь — стоянка для паломнических автобусов, которые упорно взбираются сюда по горному серпантину.

Выходим на площадь Святой Марии и, миновав галерею одного из монастырских зданий, оказываемся на небольшом дворике. Перед нами богато украшенный портал средневековой базилики; она была выстроена и освящена, по местным меркам, довольно поздно — в 1592 году. А за 500 лет до этого памятного нам события один из монтсерратских насельников, прослышавших об открытии Колумбом Америки, выразил желание отправиться с отважным генуэзцем к берегам Нового Света. Это был послушник Бернард Боиль; он участвовал во второй экспедиции Христофора Колумба, и когда 11 ноября 1493 года мореплавателями был открыт один из Малых Антильских островов, его назвали в честь этой обители — Монтсеррат.

Войдя внутрь храма, осматриваем стены, украшенные мозаиками; сюжеты посвящены истории монтсерратской бенедиктинской обители. Паломники, попадающие сюда, как правило, удивляются, когда видят здесь коленопреклоненную статую Игнатия Лойолы (1491—1556), основателя другого монашеского ордена, получившего название «Общество Иисуса». Табличка, помещенная рядом, сообщает, что именно на этом месте Игнатий провел ночь в покаянных молитвах и наутро оставил здесь свой меч.

Испанский дворянин, сражавшийся с французскими войсками за независимость своей страны, Игнатий (Иньиго) был ранен при осаде Памлоны и должен был протиснуться с военной карьерой. Непростым был его путь от военного до монаха. В начале 1522 года Игнатий решил отправиться с миссионерскими целями в Палестину. Для этого он предпринял путешествие до Барселоны, чтобы там сесть на корабль, идущий в Святую землю. Из своего родного городка — Лойола — Игнатий направился на юг и, миновав Сарагосу, прибыл в Игуаладу, откуда уже был виден Монтсеррат. В этом городке было много мастерских, где делали мешки из грубой холстины. Для паломничества в Иерусалим он купил себе такой длинный мешок, кроме того, посох, флягу и полотняные туфли на веревочной подошве; привязал покупки к седлу и отправился в Монтсеррат.

Прибыв в монастырь 22 марта, Игнатий нашел там духовника, который исповедовал паломников. Им был тогда французский монах о. Иоанн Шанонес. Это был его первый духовный отец. Три дня Игнатий готовился к исповеди. 24 марта ночью он незаметно от всех облачился в «покаянную» одежду — в мешок, купленный в Игуаладе, а снятую с себя одежду подарил бедняку. После этого он начал свою «Ночную стражу». Он совершал ее то на коленях, то стоя, не позволяя себе садиться.

По старинному обычаю «Ночная стража», предшествовавшая посвящению в рыцари, состояла из омовения, исповеди, причастия, благословения и вручения шпаги. Но в душе Игнатия, очищенной отпущением грехов и исполненной желанием совершенства, воспоминания о былом рыцарстве преломились удивительным образом. Он передал свое оружие, шпагу и кинжал о. Иоанну Шанонесу, чтобы тот повесил их как его приношения в часовне Божией Матери после того, как Игнатий покинет монастырь. Отныне он считал себя посвященным в рыцари Царицы Небесной. С рассветом Игнатий Лойола покинул обитель, отправившись в уже известную нам Манресу, в маленький городок, где он хотел собраться с силами перед путешествием в Барселону и Святую землю. Впереди были испытания нищетой и славой, взлеты и падения... Но все начиналось в тихой горной обители. Мы знаем от самого Игнатия некоторые подробности его путешествия. «Я принес — говорит он, — обет целомудрия по дороге в Монтсеррат».

...Согласно размеренному монастырскому распорядку дня, наступает час, когда паломники могут поклониться Монтсерратской Божией Матери. Вместе с сотнями пилигримов из разных стран Европы медленно поднимаемся по левой боковой лестнице к статуе Богородицы, помещенной в алтарной части храма, высоко над престолом. В какой-то момент сверху открывается весь храмовый интерьер, а через несколько секунд перед нами предстает Пресвятая Дева с Богомладенцем, сидящем на ее коленях. Чтимую святыню можно видеть только через прозрачное прочное стекло, и лишь внизу небольшой проем открывает правую ступню статуи, к которой прикладываются богомольцы. Опускаемся вниз по правой боковой лестнице и проходим через небольшую галерею на площадь Святой Марии. Здесь можно не торопясь познакомиться с историей Монтсерратской обители.

Чудотворная статуя Божией Матери привлекала в обитель многих паломников; монастырь посещали кардиналы и римские папы. В 1881 году в Монтсеррате был торжественно совершен принятый в Римско-католической церкви чин коронации Пресвятой Девы Монтсерратской, и она стала покровительницей Каталонии. А в 1947 году было совершено ее возведение на трон согласно аналогичной католической традиции.

В истории обители были и печальные страницы. В 1811 году наполеоновская армия, вторгшаяся в Испанию, разрушила монтсерратский монастырь. Когда французы вошли в Барселону, в горах Монтсеррата раздались первые звуки «соматена», призывавшие каталонцев к защите родной страны. Вскоре все скалы заняли вооруженные крестьяне. Монтсеррат был укреплен батареями, траншеями и минами, а монахи-бенедиктинцы, с крестом в одной руке и саблей в другой, стали во главе восстания.

Защита велась с невиданным упорством: три раза каталонцы были изгнаны из Монтсеррата, скалы и ущелья были усеяны трупами, монастырь разрушен и разграблен. Но как только французы удалялись, считая, что уничтожили вконец это орлиное гнездо, как на вершинах скал вновь мелькали красные береты каталонских крестьян, и сопротивление продолжалось с новой силой. Французы были выведены наконец из терпения таким упорным сопротивлением; они в последний раз взяли Монтсеррат, поместили в разных концах монастыря и в церкви бочки с порохом и взорвали их. Этот взрыв разнесся эхом на 30 километров в округе.

Бедствия коснулись и чудотворной статуи Богородицы, о чем упоминает в своих записках отечественный паломник К. А. Скальковский. «Святыня его — чудотворная Мадонна с Младенцем Иисусом на руках, отыскана еще в IX столетии и с тех пор приобрела громкую известность, — пишет Скальковский, — Мадонна помещается, одетая в роскошное платье, в главном алтаре грандиозного собора. Чтобы приложиться к Мадонне, надобно взбираться сзади алтаря по высокой лестнице. Всюду толстейшие бронзовые решетки, потому что и Мадонна и другие святыни собора содержат множество драгоценных камней; часть из них была похищена французами при Наполеоне I».

После ухода наполеоновских войск закипели восстановительные работы, но через несколько лет Церковь в Испании подверглась гонениям со стороны государства. В 1835 году были приняты законы, подорвавшие экономическую основу жизни обитателей. Это затронуло и братию Монтсеррата; насельники вынуждены были покинуть родное гнездо, и монастырь опустел. Лишь в 1844 году начался приток иноков в обитель, после чего в 1858 году под руководством аббата М. Мунтадеса началось возрождение монастырских построек.

Мы снова входим на монастырский дворик, чтобы посетить часовню Божией Матери, которую здесь в 1876—1884 годах воздвиг архитектор Виллар-и-Кармона при участии тогда еще молодого Антонио Гауди (1852—1926). На центральном витраже часовни можно видеть изображение святого Георгия, который считается здесь покровителем Каталонии.

Примечательно, что впоследствии Антонио Гауди снова в своем творчестве обратился к Монтсеррату. Уже полным ходом шло по его проекту строительство собора в Барселоне, но в 1906 году, наряду с другими известными каталонскими архитекторами, Гауди принял участие в воплощении в камне на горе Монтсеррат идеи тайны Воскресения. Для размещения монумента он выбрал поворот дороги, за которым ставилась стена с барельефом Воскресения, перед которым непосредственно на газоне с дикорастущими цветами устанавливалась скульптурная группа трех евангельских Марий. Именно Гауди предлагал выложить на склоне Монтсеррата гигантский герб Каталонии из многоцветной керамики, способный соизмеряться с горными вершинами гряды. Именно Гауди хотел, чтобы в ущелье между скальными выступами той же горы был подвешен огромный колокол.

Собрание печатных и рукописных материалов Монтсеррата поистине одно из уникальных. В его фондах 250 тысяч томов, 400 инкунабул, 220 египетских папирусов и 200 манускриптов, а в архиве — 6 тысяч пергаментов, 10 тысяч рукописных документов XIV—XVII веков и 28 тысяч — XVIII—XIX веков.

Музыкальные и певческие традиции Монтсеррата восходят ко временам средневековья. К 1223 году относится упоминание в монастырской хронике о «поющих мальчиках», которых обучали местные насельники. В 1844 году, после возвращения монахов в свою обитель, эта традиция была продолжена, и теперь хор мальчиков Монтсерратского монастыря известен не только в Испании, но и за ее пределами. Ежедневно в час дня (кроме каникулярного июля) юные певцы исполняют в храме песнопения, в числе которых — «Сальве, Регина» («Спаси, Царица») — любимое песнопение моряков Средиземноморья.

В Монтсеррате есть музей, где демонстрируются археологические находки из Месопотамии, Египта, Палестины, Кипра; прекрасная картинная галерея, в экспозиции которой работы знаменитых живописцев: Сурбарана, Риччи, Караваджо, а также собрание произведений каталонских мастеров XIX и XX веков. И это удивительно, поскольку монастырские сокровища не только подвергались разграблению во время войны за независимость, но и продавались, чтобы покрыть военные расходы испанской армии в борьбе с наполеоновскими войсками.

Благодаря многовековым культурным традициям и сама бенедиктинская община монастыря, насчитывающая около 80 человек, по составу своему необычна. Среди монахов есть не только прекрасные музыканты, целая школа книговедов, филологи и историки, не говоря уже о богословах, но даже альпинисты и горноспасатели. Вообще все здесь отлажено за долгие годы. Постоянно открыты ларьки, где паломники могут приобрести на память о монастыре иконки, книги, открытки, выпить баночку кока-колы, а то и что-нибудь покрепче. Нам не довелось полюбоваться звездным небом над Монтсерратом, но зато наши земляки насладились этим незабываемым зре-

лицем. В путевых записках К. А. Скальковского читаем: «Такого чистого неба, таких ярких звезд я никогда не видал, даже под тропиками. В Петербурге публика и не подозревает, что есть столько звезд на небе... Вот бы куда пулковским астрономам ехать наблюдать, в России же на обсерваториях приходится поневоле играть на биллиарде в тщетном ожидании ясной погоды».

Для каталонца Монтсеррат не просто монастырь. Он отправляется туда как домой. Расположенная примерно в центре его родного края, эта одинокая, непохожая на другие гора с ее необычной растительностью, историей, современной действительностью — символ Каталонии, живой и многогранный.

БАЛЕАРСКИЕ ОСТРОВА

За время морского плавания, в удалении от берегов, всегда найдется время, чтобы прочесть что-то об ожидающих нас неведомых землях. Ведь жизнь дарит щедрые впечатления, и лишь только человек с изломанной судьбой и искаленной психикой может всерьез утверждать, что он «проклинал красоту островов и морей». Творец создал водную стихию и земную твердь не для того, чтобы «венец творения» мог пропеть: «И окурки я за борт бросал в океан».

Острова всегда рисуются в воображении чем-то связанным с литературой, романтическим, полным неожиданностей, и потому приезжающие на отдых обычно чувствуют себя здесь немного Робинзонами. Но Балеарские острова всегда были центрами культуры и торговли. Греки, римляне, карфагеняне, арабы — все останавливались в их портах.

Вот несколько строк из истории Балеарских островов, до предела насыщенных событиями. Первые достоверные сведения об островах связаны с соперничеством древних мореплавателей за обладание Балеарами. Еще в VII веке до н. э., в борьбе с финикийцами и карфагенянами, греки основали город Артемисий, или Дианий (ныне — Дения), расположенный на Иберийском полуострове у мыса, от которого шел кратчайший морской путь до Балеарских островов. Несколько столетий Балеарами владели карфагенцы; в 206 году до н. э. римляне вытеснили карфагенцев из «матерых» (материковых) городов — Кадиса, Картахены — кончилась их эпоха, длившаяся четыре столетия. Но Балеары еще долгое время находились под властью карфагенцев, откуда они совершали пиратские набеги на южное побережье. Наконец в 123 году до н. э. римляне овладели Балеарами. И, подобно карфагенцам, владели островами несколько веков. В 425 году н. э. на Балеарах был совершен «акт вандализма»: на острова высадились вандалы, успевшие до этого разрушить Картахену и Севилью. Но долго они на Балеарах не задержались: Теодорих I, король вестготов, в 427 году начал войну с вандалами, после чего в 429 году они ушли в Северную Африку.

Около 795 года Балеарские острова подчинились Карлу Великому, а поскольку в 800 году он был провозглашен императором, то Балеары на некоторое время стали имперскими. Но вскоре у берегов Балеар появились арабы, и европейцам пришлось вступить в борьбу с ними. Так, в 813 году ампурданский граф Эрменголь разбил арабский флот около Балеарских островов².

Если читатель не устал от изложения исторических событий, упомянем еще о некоторых из них. Арабское владычество на Балеарах было сравнительно мягким по отношению к местным христианам. Это явствует из того факта, что при барселонском правителе Рамоне-Беренгере I (1035—1076) епископ Барселонский добился подчинения духовенства Балеарских островов и Дении, распространив таким образом свою власть и на эти земли, оказавшиеся в руках мусульман³. Правда, с пленниками мавры поступа-

² Арский И. В. Очерки по истории Каталонии до соединения с Арагоном (VIII—XII века). Л., 1941. С. 7.

³ Там же. С. 32.

ли по обычаям того времени, и с XIII века Балеарские острова были одним из крупных центров невольничьего торга на Средиземном море.

В 1229–1235 годах при короле Хайме I (1213–1276) Балеарские острова были отвоеваны у арабов, и с этого времени здесь распространяется каталанский язык. Один из самых великих островитян, уроженец Мальорки Рамон Люллий, богослов и поэт, философ и ученый, писал свои книги на каталанском, латинском и арабском языках. В его личности угадывается гуманистический дух эпохи Возрождения; это подтверждает даже его увлечение астрономией. Балеарец — не завоеватель по натуре. Пускаясь в море, он не берет с собой войск, оружия, военных кораблей. В плавании его сопровождают лишь звезды и солнце, лишь память о ни с чем не сравнимом свете, заливающим его землю, да о тишине ее ночей. Балеарские острова дали науке и географии целый ряд картографов и первооткрывателей, чьи имена остались не в истории империй, а в истории науки.

— Что ты попросишь, если я удвою твои муки? — спрашивает один из персонажей Люллия.

— Удвой же силу моей любви, — отвечает другой.

Отвоеванные острова оставались с тех пор христианскими, хотя было время, когда один из них оказался под контролем соперницы Испании на морских просторах. После распада мощной державы, какой Испания была еще в XVII столетии, началась война за «испанское наследство». По условиям Утрехтского мира, заключенного в 1713 году, Испания была вынуждена уступить Англии не только Гибралтар, но и один из Балеарских островов — Минорку⁴.

В течение нескольких десятилетий англичане держали свои корабли на этом острове. А в 1770 году на Минорку, в порт Магон, даже был назначен консулом российского флота поручик Федор Алексиано, грек по происхождению⁵. (Его братья служили в русском флоте под командование графа А. Орлова.) В этом порту останавливались русские военные корабли для починки, для пополнения провианта и т. п. На пути к островам Греческого архипелага и обратно. На Минорке был даже устроен госпиталь на 400 мест и склады для провианта. Это консульство просуществовало до 1776 года⁶.

Сегодня жизнь идет на этих островах в плавном ритме, спокойном и благородном. Оттого эти места так любимы туристами: ежегодно сюда устремляются миллионы людей со всех концов земли. Строятся гостиницы и жилые дома, аэропорты и торговые центры. Но стиль жизни при этом не меняется; он увлекает иностранца в свой плавный ритм, в тот покой, которому учишься в море, отдаваясь на волю волн.

ОСТРОВ МАЛЬОРКА

Двое суток продолжался переход нашей флотилии от Таррагоны до Мальорки. Море было удивительно спокойным. Рыбацкие суденышки приветствовали паломников. Вдалеке белел «парус одинокий», вероятно, это была чья-то яхта. Но нам, наслышанным о пиратах и корсарах, орудовавших в этих водах, хотелось приключений. Пусть на некоторое время все будет по-иному:

Белую вздымая пену,
Мчат алжирские галеры
За мальорским галеотом,
Словно гончие по следу.

⁴ Крылова Т. К. Отношения России и Испании в первой четверти XVIII в. М., 1967. С. 331.

⁵ Уляницкий В. А. Русские консульства за границей в XVIII веке. Ч. 1. М., 1899. С. 392.

⁶ Там же. С. 393.

Галеот вперед рванулся,
 Но четыре вражьих судна
 Мчатся по волнам, — о, горе! —
 За добычей неотступно.

Их подстегивает алчность,
 А преследуемых — ужас...⁷

Так писал уроженец Кордовы Луис де Гонгора-и-Арготе (1561—1627), хорошо знавший проблемы, не решенные в Средиземноморье даже после завершения Реконкисты (1492). Интересен жизненный путь Луиса Арготе: будущий поэт в 14-летнем возрасте принял монашеский постриг и в дальнейшем сочетал стихотворные упражнения с богословским образованием. Став клириком, в 1585 году он получил место архидиакона кордовского собора, но продолжал писать стихи.

Кордова и Мальорка удивительным образом пересеклись в жизни другого андалузского поэта — это был Ибн-Хазм Кордовский (994—1064), которого в Европе иногда называют Абенхазам. По-видимому, в Кордове особый климат, пестующий поэтов-богословов. Вот и Ибн-Хазм был богословом, знатоком хадисов; слава о нем шла по всей Андалузии. Но как порой это бывает, у него появились враги. Одно время он жил на Мальорке, но интриги снова привели его к высылке. Последние годы жизни Ибн-Хазм провел близ Севильи⁸.

Впрочем, пребывание Ибн-Хазма на Мальорке не было бесцельным, поскольку он обрел там талантливого ученика — Аль-Хумайди, известного в мусульманском мире богослова. Аль-Хумайди родился на Мальорке около 1029 года; там он испытал влияние Ибн-Хазма и приобрел прекрасное знание хадисов. Впоследствии он составил биографический свод мусульманских ученых Испании. Стремясь умножить свои познания, Аль-Хумайди отправился с Мальорки в крупнейшие богословские центры мусульманского мира. За свою жизнь он посетил Тунис, Египет, жил в Дамаске и везде славился ученостью. Умер он в Багдаде в 1095 году. Так что Мальорка известна не только пиратами, но и пиитами⁹.

Однако вернемся к реальности, чтобы тут же попасть в таинственный и сказочный мир средневековья. Наши ладьи приближаются к Мальорке, и очарованные странники любуются развернувшейся перед ними панорамой. Наш предшественник И. Яковлев в 1880-х годах очень ярко описал свои впечатления на подходе к Мальорке — ему и слово.

«Горячий диск солнца поднимался на горизонте, а перед нами налево лежал, точно вынырнув из моря, гористый изумрудный остров. На самом берегу его одиноко возвышалась круглая старинная башня; вдали, по береговой линии, то там, то здесь, виднелись такие же башни. Это atalaia, сторожевые пункты против африканских корсаров, выстроенные в XIII веке, вскоре после завоевания острова знаменитым дон-Хайме Завоевателем. Мавры долго не могли помириться с потерей этого богатейшего владения, которое вело торговлю со всем тогдашним коммерческим миром, было центром наук и искусств. И они постоянно делали нападения на остров, но вернуть его им уже не удалось ни разу. Каталонцы крепко держались того, что раз попало им в руки»¹⁰.

Уточним при этом, что Мальорка была отнята арагоно-каталонцами у мавров в 1229 году, и с тех пор шло усиление ее флота. Мальорские галеоты охраняли не только местные коммуникации, но и «защищали родину на дальних рубежах». Так, в начале XVI века

⁷ Поэзия испанского Возрождения. М., 1990. С. 349.

⁸ Уотт У., Какиа П. Мусульманская Испания. М., 1976. С. 126—127.

⁹ Там же. С. 129.

¹⁰ Яковлев (Павловский) И. Я. Очерки современной Испании. СПб., 1889. С. 456.

епископ Мальоркский владел галерами в Галисийской эскадре, базировавшейся на севере Испании¹¹.

Но и в христианский период истории Мальорки жители острова подвергались различным напастям. Так, согласно местным летописям, в 1348 году моровая язва унесла более 15 тысяч человек; эпидемия вспыхивала потом в 1362 и 1375 годах; мор унес в могилу еще 35 тысяч жителей. Не обошлось на Мальорке и без классовой борьбы, которая, как утверждали «основоположники», является движущей силой общества. Крупное восстание разразилось на Мальорке в 1384 году и с еще большей силой возобновилось в 1391 году, сопровождаясь погромами евреев-ростовщиков. (Как сообщал современный исследователь В. Парнах, на Балеарских островах еще до сих пор живут так называемые «чуэтакс» («свиноеды») — потомки марранов — евреев, принявших христианскую веру.)¹² Во время восстания избивали также невольников-мавров.

Но самое крупное восстание произошло здесь в 1451 году, когда богатые горожане главного города острова Пальмы потребовали от крестьян, желавших выкупить свои участки, предъявления письменных документов на право владения этими участками. С повстанцами, выступившими под руководством сына сельского батрака Симона Балестера, была произведена жестокая расправа¹³.

В феврале 1521 года вспыхнуло очередное восстание бедняков на Мальорке, после чего в октябре того же года сюда прибыла эскадра с королевскими войсками. 1 декабря началась осада Пальмы, которая продолжалась три года. Лишь в марте 1523 года Пальма сдалась королевским войскам¹⁴.

Так что Мальорка — остров «с норовом». В XVI и XVII веках здесь не прекращалась деятельность банд; в этих смутах наибольшую известность получили две враждовавшие между собой группировки: канамунтс и канавальс, в которых принимало участие даже немало лиц духовного звания¹⁵.

Сегодня все это в прошлом, но не следует его забывать. Ведь для россиян нынче особенно злободневно звучит афоризм: «Народ, который забывает свое прошлое, рискует повторить его в будущем»...

...Итак, перед нами царица Балеаров, как доселе называют Мальорку ее уроженцы. Большие пассажирские суда обычно швартуются в столичной гавани острова — Пальма-де-Мальорка, или просто Пальма. Но мы решили не торопиться и сначала осмотреть западную оконечность острова, богатую древностями. Вот почему наши ладьи пришвартовались в гавани, которая издавна служила морским портом для жителей близлежащего города Андрач (Andratx). Гавань так и называется — Пуэрто-де-Андрач. Осмотревшись и свыкнувшись с островными красотами, часть паломников разбрелась по берегам гавани, а некоторые отправились в глубь острова — посетить развалины траппистского монастыря и городок с крепостью, носящие имя Эльма — святого, весьма почитаемого моряками Средиземноморья.

Вернувшись в гавань, мы встретили у себя на борту гостей. Да не простых, а весьма высокого происхождения. К нам пожаловали Его Высочество князь Прусский Михаил Владимирович с супругой. На ладье «Любовь» быстро был разогрет самовар, и вот под звуки балалайки, прихлебывая с блюдечка, князь Михаил повествует про свое житье-бытье на острове. Уже идет по кругу книга «Михаил, принц Прусский» (1986), повествующая о родословной той династии, к которой он принадлежит. Вот фотография: кайзер Вильгельм с удивлением смотрит на праправнука, лежащего в одеяльце

¹¹ Альтамира-и-Кревеа Р. История Испании. Т. 2. М., 1951. С. 191.

¹² Парнах В. Испанские и португальские поэты. Л., 1934. С. 161.

¹³ Кудрявцев А. Е. Испания в средние века. Л., 1937. С. 145.

¹⁴ Альтамира-и-Кревеа Р. Указ. соч. С. 138.

¹⁵ Там же. С. 133.

у него на руках. Князь Михаил хоть как-то причастен к России: ведь Кёнигсберг (ныне — Калининград) — столица Восточной Пруссии, а кайзер Вильгельм и Николай II были родственниками. Что касается его супруги, то она из испанской королевской семьи, и кто-то из нас шутит, что если Восточная Пруссия объединится с Литвой, то может возникнуть новая династия — Бурбонов—Бурбулисов, а город Кёнигсберг переименуют в Караявичус.

Впрочем, еще одна интересная деталь: наша встреча состоялась 10 мая, на следующий день после празднования Дня Победы. Княжеская чета оказалась весьма демократичной: Михаил Владимирович, облаченный в джинсы, запросто разливал по стаканам бутылку вина, подаренную нам какими-то яхтсменами. А когда скитальцы почувствовали, что надо бы продолжить разговор, то «принцеска» быстро сбежала в «гастроном».

Эта скромная пара живет в земле Баден-Вюртемберг, близ Штутгарта, в скромном замке. А здесь, на Мальорке, они летом скромно отдыхают в небольшом особняке под названием «Прусский дом». Впрочем, на следующий день мы были приглашены в гости, где нас ожидало скромное угощение, а также встреча с местным священником — о. Бартоломео. На память о нашей встрече князь Михаил вручил каждому гостю визитную карточку, на которой начальную букву его имени венчала скромная корона.

Но не надо удивляться такой встрече. Ведь Мальорка издавна была пристанищем коронованных особ. Вот что писал в 1885 году корреспондент газеты «Новое время» И. Яковлев (Павловский) — один из немногих наших путешественников, побывавших к тому времени на Балеарах.

«В Пальме вы не пробудете двух часов, чтобы не услышать об „арчидука“ — другого имени ему вовсе нет. Несколько лет тому назад в гавани Пальмы остановился пароход под австрийским флагом. Кроме экипажа и двух более чем скромно одетых молодых людей, на пароходе никого не было. Один из них был, по-видимому, лицо важное, потому что экипаж относился к нему с величайшим почтением... Оба они шатались по острову то пешком, то на плохой тележке, любовались видами, рисовали, что-то записывали; иногда ночь заставляла их в поле, вдали от города, тогда они без всяких церемоний просились ночевать к первому попавшемуся крестьянину, ужинали за его бедным столом, спали на сеновале или в сарае. Расплачивались они по-царски; за ночь лег нередко платили по золотой унции (75 франков) — цена неслыханная!»¹⁶

Таинственным пришельцам так понравился остров, что один из них решил купить имение неподалеку от столицы — на берегу моря, в том месте, где помещалась когда-то знаменитая Академия восточных языков, основанная Раймоном Луллием, о котором у нас речь еще впереди. При заключении купчей оказалось, что молодой человек — не кто иной, как австрийский эрцгерцог Луис Сальватор (тосканской ветви).

«Он отказался от всякого официального положения при Дворе и посвятил свою жизнь путешествиям и описаниям их, — продолжает И. Яковлев. — Эрцгерцог работает очень много, встает рано и рано ложится. По костюму и манерам, это — типичный немецкий фермер. Его часто можно видеть приезжающим в Пальму в крестьянской тележке, без кучера; он сам правит лошадь, дает ей корм, как первый встречный крестьянин, и кто не знает, тот принимает его за такового»¹⁷.

Во время пребывания русского корреспондента на Мальорке ему рассказали забавный эпизод, связанный с эрцгерцогом. Луис Сальватор возвращался из Пальмы в свое имение и по дороге встретил крестьянина, у которого соскочило колесо с телеги. Увидев принца, он крикнул: «Эй, приятель, помоги-ка мне!»

«Принц слез с таратайки, и так как обладает железной силой, то они вдвоем скоро управились, — пишет И. Яковлев. — Крестьянин поблагодарил неожиданного помощ-

¹⁶ Яковлев (Павловский) И. Я. Указ. соч. С. 473—474.

¹⁷ Там же. С. 475.

ника и подарил ему франк на водку. Принц был в восторге; приехав домой, он приказал вправить монету в рамку и повесил в своем кабинете, как „единственный франк, который он заработал в течение своей жизни“, а доставившему этот случай крестьянину отправил в благодарность несколько золотых унций»¹⁸.

А вообще, эрцгерцог обладал литературным талантом и его сочинение о Балеарских островах по настоятельной просьбе испанцев было переведено на испанский язык и поступило в широкую продажу. «Сочинение это называется „Die Balearen“; оно состоит из пяти колоссальных томов на китайской бумаге, украшенных акварельными и олеографическими рисунками, гравюрами и картами», — пишет И. Яковлев, отмечая при этом, что «не мог лично познакомиться с этим симпатичным молодым человеком; во время моего пребывания на Мальорке эрцгерцог отсутствовал, он находился в Австрии, и его ждали со дня на день»¹⁹.

В Испании конституционная монархия, и здесь любят проводить свои дни королеванные особы. Позднее, когда наши ладьи продолжат свое плавание вдоль южного побережья Испании, мы пройдем мимо курортного городка Марбелья, лежащего недалеко от Малаги, по пути к Гибралтару. Там живет Хорхе (Георгий) Багратион — старший из трех детей покойного князя Ираклия Багратиона, умершего в 1974 году. Он считается прямым наследником грузинских князей; в 1990 году к нему приезжали грузинские монархисты из партии Тимура Жоржوليани и вели предварительный зондаж о восшествии на престол и реставрации монархии, которая была упразднена в 1801 году повелением российского императора.

На грузинский престол в начале 1990-х годов прочили старшего сына Хорхе — Ираклия, студента одного из американских университетов. Монархисты предполагали пригласить Ираклия в Грузию, чтобы юноша познакомился со страной, которой ему придется править, с ее традициями, культурой и языком, которого он не знает, и где после соответствующих законодательных решений и, возможно, референдума ему предстоит принять престол. Более того, было предусмотрено создание на первое время регентского совета, в который вошел бы отец будущего царя, а также патриарх Грузинской церкви Илия II, представитель грузинских интеллектуалов Чантуриа, Жоржوليани и, «не исключали, что и Эдуард Шеварднадзе»²⁰.

Отец Ираклия — Хорхе Багратион, бывший многократный чемпион Испании по автоспорту, привык к крутым виражам на трассах, но не приемлет их в политике. Поэтому он не торопится переселяться из Иберии в Иверию: кому охота участвовать в политической клоунаде и, что не исключено, разделить участь Звиада Гамсахурдиа?

Однако простимся с монархистами, монархами и продолжим плавание вокруг Мальорки. Теперь мы должны обогнуть небольшой полуостров на восточной оконечности Мальорки, чтобы затем, взяв курс на северо-восток, направиться к столичной Пальме. Сегодня жителей Мальорки обилие иностранных яхт и катамаранов не удивляет. Ведь все тут полная противоположность острову Робинзона — это земли, богатые историей и культурой, это возделанные поля, оливковые деревья, миндаль и ветряные мельницы, сосны и храмы, которые притягивают к себе туристов из многих стран.

Но так было не всегда, и еще в конце XIX века здесь текла монотонная жизнь, и покой жителей изредка нарушался немногочисленными туристами, о чем свидетельствовал И. Яковлев.

«Когда-то гавань Пальмы, просторная, глубокая и отлично защищенная, вмещала в себе многие тысячи кораблей, пришедших с Востока и Америки, в здании Лонхи (биржи) слышались языки всех стран света, улицы кипели жизнью живописной тол-

¹⁸ Там же.

¹⁹ Там же. С. 476.

²⁰ Известия, № 33, 10.02.1992.

пы. Теперь Пальма словно вымерла; в гавани несколько, как будто случайно попавших кораблей, улицы пусты и сонны, оживляются только при приходе пароходов с континента. Несмотря на то, что город насчитывает около 60 тысяч жителей, здесь всего две более-менее сносных гостиницы. Очевидно, на иностранцев и гостей здесь не считают и живут сами по себе. Пусты также кафе и лавки»²¹.

С этими строками перекликается сообщение одного французского художника, посетившего Мальорку несколько ранее И. Яковлева — в 1870-х годах. «Плывя вдоль берега, мы лавируем еще, прежде чем прибыть в Пальму, в продолжении 4-х часов, — пишет он. — Слева, на возвышенных точках города, виднеется большое число маленьких шестикрылых мельниц; справа, почти на самом берегу Средиземного моря, поднимается собор. Толпа народа смотрит на нас, как на животных, упавших с Сатурна»²².

Правда, у местных властей наше появление в гавани тоже вызвало некоторое замешательство. Представьте себе набережную, предназначенную для «променада», у которой стоят древнерусские ладьи с паломниками, раздувающими самовары... Но благополучно уладив вопрос со стоянкой и перекусив, чем Бог послал, паломники начинают обживать новую территорию. А здесь есть чем полюбоваться.

Гордость Пальмы составляет кафедральный собор, хорошо видный с набережной, у которой встали наши ладьи. «Пальма окружена со всех сторон укреплениями из желтоватого камня, который кажется пьедесталом для его великолепного собора»²³, — писал наш соотечественник И. Яковлев.

Форма храма довольно необычна, о чем писал один из наших предшественников, побывавший в Пальме в XIX веке: «Собор романской постройки и весьма простой архитектуры, составлен весь из жерновых камней. На солнце он кажется совершенно желтым. Общий вид его имеет форму раки для мощей»²⁴.

Но этот собор «простой архитектуры» имеет весьма непростую историю. Ведь первоначально это была огромная мечеть, воздвигнутая в эпоху мусульманского владычества на Балеарах. Работы по преобразованию старинной мечети в готический храм начались при короле Хайме I — завоевателе Балеарских островов, однако опоры, разделяющие нефы собора, были воздвигнуты лишь к 1406 году, и все сооружение было завершено лишь в 1613 году. Собор (длиной 120 метров) очень высок — 44 метра от уровня пола. После землетрясения 1851 года возникла очевидная опасность обрушений и начались восстановительные работы, тянувшиеся несколько десятилетий²⁵.

Несмотря на эти напасти, жители Пальмы не унывали, и у стен собора часто можно было видеть сценки, подобные той, что запечатлел в 1870-х годах один из французских путешественников: «Перед собором веселятся и танцуют в кружках группы мужчин и женщин, при свете нескольких костров, зажженных над толпой в больших курильницах, прикрепленных к стенам. Уличные мальчишки провожают нас криком и свистом и бросают нам в спины капустные кочерыжки и старые туфли. Покрой нашего платья заставляет принимать нас за обитателей другой планеты»²⁶.

Вдвойне любопытно то, что тому же французскому автору довелось видеть выходцев с Мальорки в Мадриде, где они выделялись среди прочих жителей своей необычностью и благочестием. «Жители Мальорки, — пишет он, — с тонзурой, как у священников, с прической подстриженной, как у пажей XV столетия, в узкой куртке, пышных исподних и очень открытом жилете, снимают, поравнявшись с церква-

²¹ Яковлев (Павловский) И. Я. Указ. соч. С. 457.

²² Имбер. Испания, ее роскошь и нищета. СПб., 1876. С. 68.

²³ Яковлев И. Указ. соч. С. 457.

²⁴ Имбер. Указ. соч. С. 72.

²⁵ Бассегода Н.-Х. Антонио Гауди. М., 1986. С. 61.

²⁶ Имбер. Указ. соч. С. 70.

ми, их шляпы из кошачьего меха, украшенные шелковыми и золотыми пуговицами. Жены их набожно крестятся»²⁷.

Но вернемся к истории кафедрального собора в Пальме-де-Мальорка. В самом конце XIX века имя каталонского архитектора Антонио Гауди было уже широко известно в церковных кругах. В 1899 году епископ Мальорки посетил Гауди на строительной площадке храма Сакрада Фамилия в Барселоне, был восхищен его замыслом и через год, после вторичного посещения, предложил ему взять на себя работы по реставрации кафедрального собора в Пальме. Прибыв на Мальорку в марте 1902 года и осмотрев собор, Гауди уже через три дня представил эскизный проект. В августе того же года архитектор вновь прибыл на остров, представив епископу деревянный макет с общей идеей проекта реставрации. После нескольких поездок Гауди и одобрения проектной идеи его помощник Рубио временно поселился в Пальме, чтобы наблюдать за ходом работ²⁸.

Смешавшись с группой туристов, войдем под своды этого храма. Интерьер собора необычен, и в его оформлении угадывается энергичная рука Гауди. В сознании Гауди цель реставрации не означала восстановления оформления интерьеров в прежнем виде. Архитектор сразу же предложил разобрать оба иконостаса (готический и барочный) в предалтарной части, переместить хоры из середины нефа к алтарю, расставить новые кафедры, установить балдахин над престолом и заменить утратившие прозрачность витражи. Не нарушая общей структуры интерьера храма, Гауди тем не менее трактовал его как своего рода пластичный материал и фон для введения в композицию совершенно новых акцентов.

Правда, иногда его действия были чересчур смелыми. Поскольку деревянная галерея в королевской капелле пересекала предалтарную часть, Гауди велел ее демонтировать, посчитав не слишком ценной и совершенно игнорируя тот факт, что галерея была создана в 1269 году. Барочный иконостас середины XVIII века был демонтирован и вывезен в другой храм, а находившийся за ним готический (середины XIV века) был установлен над дверьми галереи в два уровня: лицевая сторона внизу, обратная — наверху, над ней.

Привлекая к работе кузнецов с Мальорки, Гауди избрал кованое железо основным материалом нового оформления интерьера. Из него было сооружено ограждение предалтарной части, служащее одновременно для установки свечей, — снизу к венцу подвешены цепи с гербами Мальорки и Арагона. На стенах королевской капеллы были установлены канделябры и ограждение перед епископским креслом. Вокруг алтарного престола Гауди разместил четыре древние колонны, когда-то находившиеся в соборе, но вывезенные давно в молельню одной из старых усадеб, и превратил их в огромные канделябры.

Разместив по сторонам предалтарной части галереи для певчих, Гауди смонтировал их из деталей разобранных хоров, а в самом нефе расставил пятиметровой высоты канделябры, так как стремился создать своего рода цоколь для тонких восьмигранных колонн, уходящих на 20-метровую высоту.

Наконец, Гауди спроектировал новые витражи (епископ желал, чтобы в них были не изображения, а только надписи — титулы Марии), используя сложенные вместе цветные стекла, варьируя их размещение таким образом, чтобы получать производные цвета исключительно за счет естественного света²⁹.

Но не все, задуманное Гауди, было осуществлено: время расставило многое по своим местам. Гауди явно не везло с балдахинами — один из них, прямоугольной формы,

²⁷ Там же. С. 123.

²⁸ Бассегода Н.-Х. Указ. соч. С. 61.

²⁹ Бассегода Н.-Х. Указ. соч. С. 62.

был подвешен над престолом. Согласно проекту, под балдахином должна быть помещена многоугольная корона с семью гранями, декорированная виноградными листьями и колосьями. Но заболев, в жару, Гауди дал своему помощнику ошибочный вес балдахина (вес одной из семи сторон вместо общего веса), что едва не привело к катастрофе: тросы начали рваться сразу же после церемонии открытия собора.

Сходная судьба постигла балдахин, который Гауди сделал над кафедрой. Он был настолько необычен, что жители Пальмы немедленно окрестили кафедру «грибом». В 1970 году балдахин был демонтирован по решению настоятеля, хотя годом раньше работа Гауди была объявлена национальным памятником³⁰.

Не сумел Гауди реализовать и еще один свой проект. На сложном макете неосуществленной скульптурной группы для собора в Пальме Гауди предложил следующее цвето-световое решение: нимб вокруг головы Девы Марии — золотая мозаика, а покрывало и поддерживающие его фигуры — из полупрозрачного алебастра, сквозь который должны были угадываться цветные пятна витражей. Но несмотря на отдельные неудачи, все основные характеристики работы мастера налицо: уверенность в правоте замысла, щедрая изобретательность как в целом, так и в мельчайших деталях.

Работа Гауди по реконструкции собора в Пальма-де-Мальорка продолжалась с 1904-го по 1914 год; он воплотил в этом труде массу своих творческих замыслов. И французский историк Пьер Лаведан вряд ли столь уж неправ, когда он пишет: «Кафедральный собор в Пальма-де-Мальорка удостоился чести быть отреставрированным Гауди»³¹.

Мы посетили собор в будний день, а в праздники здесь не протолкнуться. Особенно оживленно бывает в Пальме зимой — в рождественские дни. В конце XIX века здесь разыгрывалась целая мистерия, в которой главные действующие лица в особых нарядах, изображающих восточных королей-магов, подъезжали верхом на лошадях к храму, где собирались молящиеся, входили в него и подносили новорожденному Иисусу свои дары: старик Мельхиор подносил Ему ладан как Богу, молодой Гаспар — освященную митру как Священнику, а негр Балтазар — золото как Царю. Теперь в Пальма-де-Мальорке «короли» прибывают в город на машинах с почетным военным эскортом в средневековых костюмах, под музыку военного оркестра.

...Возвращаясь на ладьи, заходим в одну из многочисленных книжных лавок, гнездящихся на улочках города. И вот неожиданность: в ворохе старых книг видим комплект журнала «Огонек» за 1970-е годы — еще «софроновского» издания. Как занесло сюда эти пропагандистские материалы? По-видимому, через тех испанцев, которых в 1939 году вывезли в Советский Союз. Повзрослев и поняв, что к чему, они вернулись в Испанию, но не прервали связи со своей второй родиной. Кто-то из них, еще в годы франкистского режима, регулярно получал журнал, а верные друзья, крадучись, приходили к нему по ночам и шепотом спрашивали: не найдется ли «Огонька»?

Эти традиции ведут свое происхождение еще с республиканских времен: в 1933 году в Мадриде стал издаваться журнал «Русия де ой» («Россия сегодня»). Вскоре он стал весьма популярным, и корреспондент ВОКСА (Всесоюзное общество культурных связей с заграницей) сообщал из Пальма-де-Мальорки, что тиража (3 тысячи экз.) не хватает для продажи³². А если к сему добавить, что как раз в эти 1932—1934 годы Франко был военным губернатором на Балеарских островах, то можно понять, откуда у него взялась такая «симпатия» к левым движениям...

Наши ладьи стоят у причала весьма удачно: отсюда довольно близко как до кафедрального собора, так и до крепости Беллвер, находящейся на противоположном конце города. Наскоро перекусив у дымящегося самовара, проследуем к этому вну-

³⁰ Там же.

³¹ Там же. С. 23.

³² Кулешова В. В. Испания и СССР: Культурные связи 1917—1939 гг. М., 1975. С. 136.

шительному сооружению, венчающему холм, утопающий в зелени. Многих пленников видели эти стены. Одним из них был знаменитый генерал Ласи, всеми уважаемый за подвиги в борьбе Испании с Наполеоном. Это был своего рода испанский «декабрист». Весной 1817 года он возглавил в Барселоне восстание в пользу Конституции 1812 года. Но его войска были ненадежны; его схватили в горах Каталонии и потом расстреляли на Мальорке³³.

Менее сурово судьба обошлась с другим узником крепости в Пальме — не менее знаменитым испанским патриотом Гаспаром Ховельяносом. Родом из Астурии, он был видным общественным деятелем, но не желал участвовать в хитроумных политических играх, ведшихся в корыстных целях. Правда, в 1798 году он в течение восьми месяцев был министром юстиции, но потом вынужден был подать в отставку.

Но все же ему не удалось до конца «выйти из игры»: 10 марта 1801 года Гаспара Ховельяноса арестовали и как злодея повезли на Мальорку, где он был заключен в картезианский монастырь на «неопределенное время». Потом Ховельяноса перевели из монастыря в крепость Пальмы; здесь ему не позволяли ни писать, ни выходить из камеры. К нему мог приходиться только духовник, да и то лишь при условии не говорить ни о чем, кроме спасения души, — как накануне смерти.

Семь лет пробыл Ховельянос в этом заточении; он оставил своим друзьям — картезианским монахам — тщательное описание окружающей их флоры; он составил также описание достопримечательностей Пальмы. Воспользовавшись рукописями математиков и архитекторов XVI столетия, он обработал историю средневекового зодчества Англии и стал переводить на испанский язык Мильтона. Наконец, он впервые глубоко заглянул в античный мир, который увлек его Гомером и Платоном. Но в то же самое время, сознавая потребности своего народа, он выступил против намерения знатных горожан Мальорки устроить аристократическую семинарию. «На образование, — заявил он, — имеет право всякий. Если же есть что-то решительно всем равно необходимое, так это изучение христианской религии»³⁴.

Вернувшись в 1808 году в Мадрид, Гаспар Ховельянос подвергся покушению, совершенному на него опять-таки по политическим мотивам. Это окончательно убедило его расстаться с политикой, и он снова отказался от поста министра при дворе Иосифа (брата Наполеона), предложенного ему самим Бонапартом. Летом 1811 года он вернулся в родную Астурию и там обнаружил развалины храмов и монастырей — плоды деятельности французских оккупационных войск. Годы, проведенные в крепости Пальмы, дали себя знать, и, не выдержав еще одного испытания, Гаспар Ховельянос вскоре скончался.

...На следующий день, прогуливаясь по набережной Пальмы, украшенной пальмами же, знакомимся с испанским коллегой по парусному делу. Недалеко от нашей стоянки у берега покачивается парусник, на корме которого начертано название — «Рафаэль Вердеро» и порт приписки — г. Ивиса. Капитан охотно приглашает нас в каюту и рассказывает о своих горестях. Парусник уникальный — он построен 150 лет назад, но все еще на плаву. Судовладелец, чьим именем названо это парусное чудо, предполагал возить из Барселоны по Балеарским островам богатых туристов, жаждущих настоящей романтики, а не скучных «туров». Но не всем эта идея пришлась по душе, и вот месяц назад, как-то ночью судно было подожжено. Его «интерьер» выгорел начисто, и пришлось взяться за реставрацию. Восстановление парусника подходит к концу; на палубе копошатся два проворных араба — выходцы из Северной Африки, которым посчастливилось найти этот временный заработок.

Сегодня жители Мальорки не такие простодушные, как в XIX веке. Ведь тогда капитаны тоже опасались пожаров на своих судах, но лишь со стороны незваных гостей.

³³ Трачевский А. Испания 19-го века. Т. 1. М., 1872. С. 284.

³⁴ Там же. С. 86—87.

Об этом писал, например, один французский художник, посетивший Мальорку в 1870-х годах. Отправившись с товарищами «на этюды» в гавань Пальмы, он повествует о дальнейших событиях: «Толпы зевак подходят к нам и с удивлением смотрят, как он (художник) выжимает на палитру из пузырей краски. При виде алой краски многие бегут со всех ног... Через полчаса, к нашему изумлению, все суда удаляются из порта, и к нам подходят два полицейских». К счастью, все разрешилось благополучно; по словам того же автора, причина недоразумения заключалась в том, что «губернатора Пальмы известили, что на остров прибыли какие-то иностранцы, революционные агенты, снабженные зажигательными снарядами и что будто бы они имели дерзость готовить на глазах простодушного населения острова какие-то воспламеняющиеся шары, вероятно, с целью зажечь ими суда, стоявшие в порту на якоре»³⁵.

Пожелав капитану старинного парусника удачи и «семи футов под килем», мы простились с ним и отправились осматривать город. Если снова вернуться к собору, то по пути можно увидеть памятник Раймунду Луллию, а близ францисканского монастыря, расположенного в старой части города, и улочку, названную в его честь. Жители острова по праву гордятся своим земляком. Уроженец Мальорки, Раймунд Луллий (1235—1315) в качестве францисканского миссионера проповедовал в разных странах, в том числе и в Армении. Его философские и богословские произведения заложили основы литературного каталанского языка. Его философско-мистический трактат «О великой науке» был популярен и на Руси, распространялся даже в крестьянской среде³⁶.

На сегодня философское и поэтическое наследие Раймунда Луллия изучено досконально, но в XIX веке такая работа только начиналась. Примечательно, что русский журналист И. Яковлев, побывавший на Мальорке в середине 1880-х годов, затрагивает эту тему в своих записках. Во время своего путешествия по острову он познакомился с испанским исследователем — сеньором Русильо, который изучал творчество знаменитого католического богослова.

«Вот уже 25 лет, как он занимается приготовлением к изданию полного собрания сочинений Раймона Луля и замечательной биографии, — сообщает И. Яковлев. — Это труд громадный, никем еще до сих пор не сделанный. В науке известно всего несколько трактатов майоркинского писателя, тогда как сеньору Русильо удалось открыть множество еще не напечатанных манускриптов самого разнообразного содержания: тут есть и описание путешествий, поэмы, философские и религиозные сочинения, научные исследования и пр., писанные на майоркинском наречии, на латинском, и даже, кажется, на арабском языке. Обнародование сочинений гениального человека, воплощавшего в себе всю науку и философию XIII века, могло бы, конечно, оказать большую услугу истории этой, столь мало исследованной эпохи, издание его — прямая обязанность нации. Но в Испании, увы! все делается навыворот: человек потратил полжизни на собирание и редактирование целой библиотеки любопытнейших исторических документов, и в стране не находится ни одного учреждения, которое взялось бы издать их. Только аюнтаменту Пальмы согласилось выдать сеньору Русильо небольшую субсидию, но ее не хватит на опубликование даже десятой части творений Раймона Луля!»³⁷

Поскольку речь зашла об исследователях, трудившихся в книгохранилищах Мальорки, надо упомянуть и о русском историке — профессоре Санкт-Петербургского университета М. М. Ковалевском, который занимался историей средневековой Испании. Результатом его разысканий в архивах Пальмы, а также Барселоны и Валенсии явилась

³⁵ Имбер. Указ. соч., С. 75.

³⁶ Крачковский И. Ю. Избранные сочинения. М.; Л., 1958. Т. 5. С. 314; Iberica: Культура народов Пиренейского полуострова в XX веке. Сб. ст. Л., 1989. С. 62.

³⁷ Яковлев (Павловский) И. Я. Указ. соч. С. 470—471.

его статья о славянах, проданных в рабство в Испанию в XV веке³⁸. Петербургскому ученому удалось обнаружить в мальоркских архивах любопытнейшие документы. Оказывается, в прошлом на Балеарские острова русских людей привозили насильно. Известны имена десятков русских мужчин и женщин, средний возраст которых едва достигал 30 лет, находившихся в рабстве на Балеарских островах, Каталонии и Барселове в XV веке. Это самая малая часть списка русских рабов в Испании, восстановить который, по-видимому, невозможно³⁹.

Поставщиками русских рабов в то время являлись, главным образом, купцы из итальянских колоний в Крыму, в свою очередь покупавшие их из числа пленных, захваченных во время ордынских набегов на русские земли. Русских рабов одни хозяева перепродавали другим, обращали в католичество. В прибрежных средиземноморских городах было правило: раб подвергается наказанию, если он был замечен на пристани, так как в таком случае его подозревали в подготовке лодки для бегства⁴⁰.

Чтобы сделать невозможным бегство рабов, запрещалось продавать им лодки под угрозой наказания. Правда, в отдельных законодательных актах конца XIV — начала XV века предусматривались условия, облегчавшие рабам православного вероисповедания выкуп на волю. Так, в ожидании Флорентийского собора (1439), на котором предполагалось заключение унии между Римско-католической и Православной церквями, архиепископ Валенсии обратился к рабовладельцам Мальорки с призывом отпустить на волю православных рабов.

Архиепископ писал о том, что недалеко уже то время, когда католики и православные станут членами одной Церкви. Известно, что активное участие в подготовке Флорентийского собора принимал участие и Киевский митрополит Исидор, — значит, освобождение из рабства могли получить и русские, жившие в Каталонии. В год созыва собора, то есть в 1439 году, городской совет Пальмы принял ряд мер, облегчавших православным рабам путь к достижению свободы. Многие жители Мальорки откликнулись на обращенный к ним Церковью призыв и поспешили «в интересах вечного спасения», как значится в грамотах, объявить свободными своих православных рабов⁴¹.

Но вскоре процесс освобождения русских рабов затормозился, поскольку Россия отвергла унию, а митрополит Исидор был вынужден бежать на Запад. Справедливости ради отметим, что был еще один путь освобождения из рабства, и судьба порой благоволила к тем невольникам, которые работали на мусульманских галерах. Счастливы в таких случаях были обьязаны свободой испанцам и каталонцам. Вот какие строчки из документов приводит проф. М. М. Ковалевский: «И туречин де его продал на каторгу, — показал Софроний Иванов, — и ишпанские де немцы его отгромили, и был де он в ишпанской земле, а из ишпанские земли шел на Рим».

Такое сообщение было отыскано об одном русском невольнике, освободившемся из плена в первой трети XVII века. Из Рима Софроний Иванов добрался до Варшавы, далее — в Киев и, наконец, прибыл в родной Путивль⁴².

А Ефим Мартынов рассказал, что его в море «отгромили шпанского короля немцы и шпанского короля владетель Дука Ференц, дав ему лист, от себя отпустил». Также и работавшего на галерах Лукаша Захарьева «на море отгромили шпанские немцы»,

³⁸ Ковалевский М. М. О русских и других православных рабах в Испании // Юридический вестник. 1886. Т. XXI. Кн. 2. С. 238–252.

³⁹ Россия и Испания. М., 1987. С. 12.

⁴⁰ Ковалевский М. М. О русских и других православных рабах в Испании // Юридический вестник. 1886. Т. XXI. Кн. 2. С. 238–244.

⁴¹ Там же. С. 249–250.

⁴² Расспросные речи иноземцев и русских, возвратившихся из плена, в Патриарший дворцовый приказ для допросов 1623–1624 гг. // Русская историческая библиотека (РИБ). Т. 2. СПб., 1875. № 166.

откуда он со временем вернулся на родину. Возвращаясь на родину, русские и украинцы делились с соотечественниками своими впечатлениями об испанских и каталонских традициях, в том числе и церковных; в Испании им открылся новый мир культуры.

В 1880-х годах жил на Мальорке еще один русский исследователь, о котором И. Яковлеву поведали еще на пароходе, шедшем по маршруту Барселона—Пальма. По словам попутчика корреспондента «Нового времени», «в Пальме живет какой-то русский сеньор, очень хороший, очень богатый и любимый на всем острове». Однако его имени пассажир назвать не смог: «Мы так его и называем просто „el ruso“; вряд ли кто даже знает его фамилию, она такая трудная!»

Сойдя на берег в Пальме, И. Яковлев навел справки у своих знакомых, те дали ему более определенные сведения о таинственном «эль русо», и вскоре состоялась встреча земляков. «„Калициным“ или „Колоциным“ оказался камергер И. П. Колошин, наш бывший charge d'affaires в Мадриде и потом в Баден-Бадене, — сообщает И. Яковлев. — Он провел почти всю свою жизнь на дипломатической службе, т. е. за границей, лет десять назад женился на даме из майоркинской аристократии и, выйдя в отставку (хотя И. П. и до сих пор еще считается членом совета при Министерстве иностранных дел), поселился в Пальме вместе со своей семьей»⁴³.

В свое время И. П. Колошин был хорошо известен в литературных кругах России, и однажды хорошо знавший его писатель В. А. Соллогуб (1814—1882) посвятил ему такие строки:

...Неужели жребий брошен?
 Всем свариться нам должно?
 Нет, нас выручит Колошин
 Бодро, весело, умно.
 Полный свежести привычной,
 Он утешит нас один,
 Дипломат многоязычный,
 Сердцем русский дворянин.

На Мальорке Колошин продолжил свои литературные занятия. «Здесь он живет уже около трех лет, окруженный книгами и журналами на многих языках, и из своего прекрасного далека внимательно следит за всем, что делается на свете, — пишет И. Яковлев. — Г-н Колошин — человек редкого образования; он не только говорит с совершенством на многих языках, но и превосходно знаком с литературой, историей и бытом всех европейских народов»⁴⁴.

И. П. Колошин не был одинок в своих литературных занятиях в Испании. Ведь один из его предшественников — протоиерей Константин Кустодиев — в 1860-х годах служил в Мадриде при посольской церкви, состоял членом столичного литературного клуба «Атеней» и даже читал там лекции по русскому языку. Так что русский камергер достойно продолжил дело, начатое русским протоиереем. «Само собой разумеется, что И. П., как истый образованный русский, знает каталонскую литературу, как только очень немногие каталонцы, — отмечал И. Яковлев. — Когда мы перешли из его кабинета в залу, где находилось довольно большое общество мужчин и дам местной и испанской аристократии, И. П. заговорил о литературных знаменитостях Каталонии. Оказалось, увы! что эти имена им так же мало знакомы, как если бы они были русские или турецкие»⁴⁵.

Не будем строго судить простодушных балеарцев. Вспомним лучше о том, как в 1980-х годах американские десантники высадились на Гренаде, противодействуя

⁴³ Яковлев (Павловский) И. Я. Указ. соч. С. 465.

⁴⁴ Там же. С. 466.

⁴⁵ Там же. С. 466—467.

проискам Фиделя, стремившегося к «кастрации» государств Карибского моря. В вечернем выпуске новостей прозвучало экстренное сообщение о «происках американских агрессоров», оккупировавших Гренаду, а за спиной московской теледикторши была помещена карта... Испании — с флажком, который указывал место десанта — это была Гранада. Кого винить за то, что в сознании нескольких поколений эти два названия слились в строчки комсомольского поэта Светлова: «Гренада, Гренада, Гренада моя!»?

Но так было не везде, о чем свидетельствует дальнейшее повествование русского журналиста. По его словам, И. П. Колошин сетовал на ограниченный круг интересов своих испанских знакомых.

«Все, что не касается боя быков, скандальных историй и политики, никого не интересует. Я прожил в Испании много лет и ни от кого не слышал имени Гальдоса, — рассказывал Колошин. — Несколько лет назад мне попала в руки книжка русского журнала, в которой была напечатана очень дельная статья об этом даровитом писателе. Статья так меня заинтересовала, что я тотчас выписал себе все сочинения Гальдоса и прочел их от доски до доски. Но с тех пор я все-таки еще не встречал испанца, который бы знал как следует творения своего соотечественника»⁴⁶.

Самое интересное состояло в том, что гости нисколько не обиделись и только почтительно смотрели на хозяина, который «прочел столько книг и такой ученый». «Это даже удивительно, — наивно заметил один из гостей, бывший мадридский губернатор, — какие все эти русские ученые! Ни одного не видывал, который не говорил бы на нескольких языках и не читал бы книжек. Это оттого, я думаю, что ваш язык самый трудный на свете; ну, понятно, когда человек осилит такой язык, то ему уже все другие нипочем!»⁴⁷

...Узкие средневековые улочки выводят нас на площадь Испании, и мы оказываемся перед реликтовым сооружением — железнодорожным вокзалом. Отсюда несколько раз в день уходят крошечные вагончики, напоминающие нашу детскую железную дорогу. Обычная колея в Испании, как ни странно, совпадает с нашей, российской, а здесь мы видим узкоколейку. Похоже, что она доживает последние годы, и пока не поздно, надо прокатиться по острову. Решение принимается мгновенно, и через несколько минут поезд уносит нас от прибрежной Пальмы в глубь острова. Где-то здесь путешествовал по острову И. Я. Яковлев, и мало что изменилось здесь с тех пор.

«Сквозь просветы рощ открывались обширные поля, точно покрытые зеленым плюшевым ковром, то всползавшие на подножие гор, то уходившие в теснины, — пишет он. — Каждые пять минут пейзаж менялся, как в калейдоскопе, и глаз от него нельзя было оторвать. Пальма все понижалась и уходила назад, извилистой линией охватывая берег залива и, как Нарцисс, любовно смотрелась в его зеркальной поверхности. Мясистые листья фиговых деревьев подчас постукивали в окна нашей тартаны, а немного дальше, приютившись на сером скате горы, финиковая пальма покачивала стройный ствол и молитвенно протягивала к небу свои тощие руки. Червонные лучи солнца, смешиваясь с морской лазурью и изумрудом зелени, придавали ландшафту странное и чарующее освещение, в котором преобладали нежно-фиолетовые тона»⁴⁸.

Наш крошечный состав недолго стоит на полустанках и упорно ползет по долине, преодолевая очередной подъем. Мелькают села, городки; в их названиях отражена бурная история христианско-мусульманских отношений на Мальорке: Санта Мария, Биниссалем... Конечная станция — Инка; дальше поезд не идет, хотя рельсы тянутся еще на несколько сот метров. Когда-то железная дорога пересекала весь остров, но автобусы постепенно ее вытесняют. От Инки дорога уходит в горы, туда, где прячется старинный монастырь Святого Луки. Но пешком добираться туда слишком долго, а никаких

⁴⁶ Там же. С. 467.

⁴⁷ Там же.

⁴⁸ Там же. С. 470.

автобусов не предвидится. Поэтому, осмотрев Инку с ее очаровательной церковью на главной площади, решаем вернуться обратно на том же «вечернем экспрессе».

На Мальорке есть что посмотреть как паломникам, так и поклонникам. Городок Вальдемосса, лежащий в горах к северу от Пальмы, известен многим поклонникам литературы и музыки: здесь зимой 1838—1839 годов побывали польский композитор Ф. Шопен и французская писательница Ж. Санд (Автора Дюдеван, 1804—1876). Они жили в старинном монастыре Ла-Картуха, который высится на холме посреди городка. В Вальдемоссе можно увидеть нотные рукописи и маленькое пианино, за которым работал Шопен.

А Жорж Санд работала здесь над книгой «Зима на Мальорке». Правда, погода не благоприятствовала ее творчеству, и, по словам И. Яковлева, «это сделало пребывание Жорж Занд на Майорке весьма незавидным и отразилось впоследствии на ее книге, переполненной дамскими жалобами на претерпенные *petites miseres*, на дурную погоду и невежество жителей. И это очень жаль, потому что при таланте Жорж Занд описание острова и его любопытного общества могло бы выйти маленьким шедевром»⁴⁹.

Вообще русский корреспондент «Нового времени» в Париже не очень жалуется французскую писательницу, посвятившую свою книгу Мальорке. Он обрушивает на Аврору залп обвинений, утверждая, что это сочинение «есть не что иное, как обширный обвинительный акт против миндального острова и его добродушных обитателей». «Избалованная парижанка и генеральша от литературы, прятавшая в поэтических рощах Майорки свои амурные дела с умиравшим Шопеном, — продолжает он, — была возмущена прежде всего не джентльменской выходкой природы, которой вздумалось развернуть свои небесные хляби как раз в то время, когда знаменитая писательница ослепила остров своим приездом»⁵⁰.

Вряд ли эта книга Жорж Санд вызывает сегодня у жителей Мальорки и вообще у испанцев. Другое дело — музыка Шопена. И когда в 1931 году в Мадриде был создан Испано-славянский комитет — для развития культурных связей между Испанией и славянскими странами, — то по инициативе членов комитета и при их участии состоялось четыре лекции, и одна из них о пребывании Шопена на Мальорке⁵¹.

Нынче музыка Шопена звучит на Мальорке не только по радио, но и в уникальном концертном зале под землей. Туда можно попасть, совершив поездку в знаменитую пещеру Дракона на восточном побережье острова. Длина пещеры — два километра. На дне ее распласталось кристальной чистоты озеро. Извиваясь между гигантскими сталагмитами на протяжении 200 метров и достигая глубины 29 метров, оно считается одним из крупнейших подземных озер в Европе. На его берегу и сооружен в виде амфитеатра «концертный зал», способный вместить 800 человек.

Перед началом представления повсюду выключается свет, и в кромешной тьме и почти абсолютной тишине рождается далекий звук — тоненькая скрипка. Мелодия начинает расти, расцветать. Загораются неяркие огни — и к амфитеатру направляется из темноты звучащая ладья, обрамленная по бортам гирляндами белых лампочек. Падающий от них свет скользит по черной глади озера, а шопеновские звуки заполняют тишину подземной ночи... Проходит 10—15 минут. Ладья с музыкантами исчезает за каменными колоннами. Раздается взрыв аплодисментов, вспыхивает свет, люди встают, начинаются разговоры, и живой поток направляется от озера вверх, к выходу, к солнцу...

А звуки Шопена, только что расчерченные струнами скрипки по бархату подземной ночи, остаются среди причудливых каменных сосул, которые никогда не видели моря и золотистой дымки, сотканной из солнца и тумана.

⁴⁹ Там же. С. 451—452.

⁵⁰ Там же. С. 451.

⁵¹ Кулешова В. В. Испания и СССР: Культурные связи 1917—1939 гг. М., 1975. С. 113.

Contents

Prose and Poetry

- Kira Groznaya.** Midnight Gloom is Poured out Like Molasses. *Poems* • 3
Igor Gelbakh. Notes from the Boulevard. *Story* • 9
Igor Lazunin. Poems • 82
Alexey Nebykov. Water Devil. Learned Punks. *Short stories* • 85
Igor Mikhailov. Echelon. *Short story* • 97
Igor Malyshev. My Nineties. *Short story* • 104
Dina Dronfort. Someday. *Poems* • 106
Mark Amusin. Transformations. Jerusalem Transformation. Petersburg Transformation. Vienna Transformation. *Short stories* • 110
Alexey Mironov. My Life in Art. *Poems* • 121

Favorite Corners of Russia

- Alexander Ginevsky.** Nightingale River. Methodius. The Last Fishing Trip. *Short stories* • 127

Universe of Childhood

- Elena Rumanovskaya. Chronological Dust.** Aunt Lilya and Tram 21. Cinema „Miniatures“. *Short stories* • 139

Archipelago of Nobility

- Nikita Nikolaenko.** City Sketch. *Short story* • 152

Publicistic Writings

- Alexander Melikhov.** Romantic and Geopolitical Nationalism • 156
Vladimir Chervinsky. Odessa History Without Happy End • 161

Criticism and Essays

- Dmitry Anikin.** Anna Akhmatova. Monument to Herself • 199
Alexander Melikhov. Goncharov as a Mirror of Russian Conservatism • 204

Petersburg Bookman

- Territory of Memory.** *Viktor Nikiforov.* Vysotsky in Leningrad, or the Quirks of Memory. *Mikhail Khlebnikov.* Ivanov and Aldanov. **Reviews.** *Vladimir Spector.* „Childhood is Not Subject to Markdowns...“ • 209

Pilgrim

- Archimandrite Augustine (Nikitin).** Off the Coast of Spain. *Part 1* • 233

Издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Журнал «Нева»
Адрес редакции: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 18
Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, а/я 9
Телефоны: (812) 314-72-50, 312-49-23
E-mail: nevaredaction@mail.ru, officeneva@mail.ru

Сайт «Невы»: neva-journal.ru. По вопросам, связанным с интернет-сайтом,
обращайтесь по адресу web@neva-journal.ru

Страница «Невы» в «Журнальном зале»: <https://magazines.gorky.media/neva>

Проект «Сохранить и умножить наше гуманистическое наследие»
реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

Подписку на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет АО «Почта России»,
подписной индекс П1743.

Свежие номера журнала в Санкт-Петербурге можно приобрести в магазинах
прессы у станций метрополитена.

**По вопросам, связанным с оптовой и мелкооптовой продажей,
приобретением** отдельных номеров журнала за последние годы, обращайтесь:

в Санкт-Петербурге — в редакцию журнала «Нева» (наб. р. Мойки, 18,
тел. (812) 312-49-23, e-mail: officeneva@mail.ru).

Почтовую рассылку отдельных номеров журнала и книг издательства журнала
«Нева» на территории РФ осуществляет редакция.

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-83135 от 26 апреля 2022 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: ООО «Журнал «Нева»

Сдано в набор 16.06.2025. Подписано в печать 23.07.2025.
Выход в свет 14.08.2025. Гарнитура «Октава».
Формат 70×108^{1/16}. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.
Тираж 800 экз. Свободная цена. Заказ № 46

Адрес издателя ООО «Журнал «Нева»: Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 18

Отпечатано в типографии ООО «ИПК „БИОНТ“»
199026, Санкт-Петербург, Средний пр., 86
Тел. (812) 207-58-43